
АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

Собрание сочинений в шести томах. Том 2

РАССКАЗЫ (ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ)

НОВАЯ ИСТОРИЯ
(из «ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ,
ОБРАБОТАННОЙ «САТИРИКОНОМ»)

ЭКСПЕДИЦИЯ В ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ
САТИРИКОНЦЕВ:
ЮЖАКИНА, САНДЕРСА,
МИФАСОВА и КРЫСАКОВА

КРУГИ ПО ВОДЕ

МОСКВА 2006

TERRA  **TERRA**
КНИЖНЫЙ КЛУБ

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6
A19

Вступительная статья,
составление, подготовка текста и комментарии
Ст. Никоненко

Оформление художника
A. Уткина

A19 Аверченко А. Т.
Собрание сочинений: В 6 т. Т. 2: Круги по воде /
Сост., подгот. текста, comment. Ст. Никоненко. — М.:
ТЕРРА—Книжный клуб, 2006. — 464 с.

ISBN 5-275-01391-4 (т. 2)
ISBN 5-275-01389-2

Аркадий Тимофеевич Аверченко (1881—1925) — замечательный русский писатель-юморист, редактор знаменитого журнала «Сатирикон». Современники называли его «Рыцарем Улыбки». Таланту Аверченко было подвластно все: от мягкого юмора до жесткой сатиры, от забавных и безобидных бытовых зарисовок до острых политических памфлетов.

Во второй том собрания сочинений входят: третья книга сборника «Рассказы (юмористические)» (1911), «Новая история» (из «Всесобщей истории, обработанной «Сатириконом») (1910), «Экспедиция в Западную Европу сатириконцев» (1911) и «Круги по воде» (1912).

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус) 6

ISBN 5-275-01391-4 (т. 2)
ISBN 5-275-01389-2

© Ст. Никоненко, составление,
подготовка текста
и комментарии, 2006
© ТЕРРА—Книжный клуб, 2006

РАССКАЗЫ (ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ) (1910—1911)

Книга третья

ДЕБЮТАНТ

ШАРЖ

*Некоторые болезни требуют
героических средств.*

I

Все несчастье в том, что я очень мягок и добросердечен. У меня никогда не хватает духу прямо сказать дураку, что он глуп, или осадить нахала, когда он этого заслуживает...

В качестве театрального режиссера, я бы хотел для себя более твердости и прямизны в обращении с людьми. Но раз у меня этого нет — я избираю другие пути. . .

Вчера, после репетиции, в мой кабинет ввалился какой-то грузный бородатый человек и, ни слова не говоря, плюхнулся в кресло около моего стола.

— Вы, что ли, режиссер? — кивнул он на меня лохматой головой.

Я поспешил удовлетворить его любопытство.

— Вам, вероятно, нужны способные, талантливые артисты.

Дружеское подмигивание глазом, последовавшее за этим вопросом, пробило брешь в сухой официальности нашей беседы, и я, хлопнувши его по коленке, игриво ответил:

— Голубушка!! Кому и когда они не нужны?!

Он встал, заложил одну руку за борт сюртука, а другой элегантно взъерошил себе волосы.

— В таком случае, как я вам нравлюсь?

Бросив на него беглый взгляд, я без всякого колебания поспешил сказать, что лично против него — ничего не имею.

— Вот видите!.. Я, может быть, рожден этим... как его!.. Тамберликом, а мне приходится служить бухгалтером кирпичного завода.

Выраженное мною горькое сожаление и опасение, что подобные ужасные случаи, вероятно, — не единичны, — заставили его ободриться.

— Знаете, вы, кажется мне, человек понимающий... Сколько бы вы могли дать мне жалованья, а?..

Головокружительная быстрота, с которой посетитель перескочил к материальной стороне предполагаемой сделки, немного испугала меня, и я вкрадчиво заметил:

— Но я, простите... не знаю ваших способностей!.. Если бы дать вам дебют.

— Натурально! Но я в себе не сомневаюсь. А скажите... 400—500 рублей в месяц не показались бы вам высоким жалованьем?

Я незаметно улыбнулся и сказал:

— Это? Да это гроши! Если дело сладится, я вам, может быть, ухитрюсь дать и больше... Вы где же играли раньше?

— Вы Помидоровых знаете? Нет? Удивительно! Я у них два раза играл на любительских спектаклях!! Успех колоссальный!!! Один раз я играл "На пороге великих событий", а другой — "Простодушная и ветреная".

— Это, кажется, хорошие пьесы, — осторожно заметил я, делая над собой гигантские усилия, чтобы сохранить серьезный деловой вид. — Итак, чтобы не откладывать в долгий ящик, приходите завтра в театр. По слухам воскресного дня у нас идет дневной спектакль, и если вы придетете около часу, то, может быть, я дам вам роль. Я думаю, что, с вашими способностями, вы сумеете сыграть без репетиций, под супфера.

— О-о, помилуйте! Для человека способного репетиция только и является теми кандалами, которые сковывают полет его свободного творчества! Не правда ли?..

— Вы рассуждаете, как Гаррик!

Потолковавши о подробностях, мы расстались, очень довольные друг другом.

Весь вечер я был в великолепном настроении, и за ужином, среди своих мыслей, неожиданно расхохотался.

II

Воскресенье. Час пополудни. Вследствие страшной духоты июльского дня, все мы ходим, как разваренные. Полусонные, задыхающиеся от жары артисты, лениво перебраниваются в своих уборных. Железная крыша

и стены театра накалены так, что в некоторых местах больно притронуться.

Бухгалтер кирпичного завода был аккуратен, как всякий бухгалтер, и появился смущенный, но счастливый, ровно в час. Я едва узнал его, потому что усы и борода были сбриты и даже волосы на голове коротко острижены.

— Для удобства, в смысле парика, — пояснил он мне после.

В руках у него был узел с костюмами, парик и ящик гримировальных красок.

Лень и истома моментально покинули меня. Я встретил его преувеличенно восторженно и тотчас же потащил в свою уборную, провожаемый вопросительными взглядами актеров.

— Раздевайтесь! У нас сегодня идет "Ревизор", и вам, кажется, есть ролька. Выпомните пьесу?

Его радостный взор омрачился.

— Д-да... Ревизора! Помню... но очень смутно!

— Это пустяки! Ведь вам сказать только несколько слов и то под супфера... Вы будете играть отца Хлестакова.

— Ага! Отца... Кажется, что мое... это, как его... амплуа — именно отцы.

— Ну, вот видите. На первый раз я одену и загримирую вас. Раздевайтесь! Вот так... Нет, уж будьте добры и сорочку снять!

— За...зачем же сорочку?..

— А как же! Вы, вероятно, знаете, что самый некрасивый жест на сцене — когда артист нелепо взденет руки кверху. Это жест, от которого не могут отвыкнуть самые лучшие актеры... И вот есть средство, которое помешает вам сделать это.

Я взял два больших куска тресы¹ из бухгалтерского запаса и, намочив их обильно лаком, положил обнаженному дебютанту под мышки.

Он был изумлен чрезвычайно.

— Представьте, что я этого не знал!!.

— Как же! Теперь одевайтесь... Так как вы должны дать тип очень полного человека, то вам нужно надеть, по крайней мере, трое брюк... Вот так! Теперь четыре или пять сорочек дадут вам необходимую полноту верхней части тела.

¹ Волосы для наклеивания усов и бород. (Примеч. авт.)

Пыхтя и отдуваясь, он натянул все предложенное мною и, с мужественным видом, стал ждать дальнего.

— Что-то мне кажется, что вы все еще худоваты... Правда, сверху будет зимнее пальто, но этого мало. Вот что... У нас есть зипуны из бытовых пьес... Я могу подобрать парочку на ваш рост... А сверху пальто! Правда, будет душновато, но для типа... И потом, это жертва святому искусству! Как? Вы говорите — сапоги очень жмут? Ага! Это потому, что они тесные. Ну, потерпите! Это тоже жертва... не так ли?..

Его оживление стало пропадать, и он уныло согласился со мною.

Через пять минут передо мною стояло ужасное чудовище необъятной толщины. От тяжести одежд оно качалось на ногах, как тростинка, и пот стекал с пылающего лица обильными ручьями.

— Теперь я вас загrimирую... Садитесь.

Он беспомощно заморгал глазами.

— Дело в том... Что я не могу сесть!..

— Ага! Вам мешает пальто, — догадался я. — Ну, это можно сделать стоя.

Натянувшись на него громадный рыжий парик, я вынул карандаши и стал без толку, первыми попавшимися цветами, разрисовывать его лицо. Он любовался на себя в зеркало и вдруг в ужасе воскликнул:

— Послушайте, зачем же вы мне нос намазали зеленым?..

Я снисходительно улыбнулся.

— Вы, вероятно, не знаете, дорогой мой, что со сцены зеленый кажется розовым. Это вина проклятого электрического освещения... Но мы уже приспособились к этому! По той же причине я вам щеки сделаю светло-голубыми. Это придаст вам вид хорошо пожившего человека.

Он благоговейно посмотрел на меня и, смущенный, замолчал.

Его шарообразная фигура в рыжем парике, с размалеванным по-индейски лицом, производила убийственное впечатление. Я заклеил ему ухо тресом и облегченно вздохнул:

— Готово! Теперь запомните: роль отца Хлестакова заключается в том, что он выходит, неся в одной руке персидский ковер, а в другой — кулек с винами и сахаром... Выйдя на сцену, он обращается к городничему со

словами: "Получите обратно ваш ковер и эти купеческие подарки! Знайте, что Хлестаковы вообще, а мой сын в частности не берут взяток!"... Каратыгин говорил эти слова так, что театр дрожал от рукоплесканий. Вероятно, и вы не ударите лицом в грязь?..

Он страдальчески улыбнулся и прохрипел, что не ударит.

Я навьючил его тяжелым ковром, кульками и повел за рукав к кулисам, выбравши то место, где стена наиболее накалена беспощадным солнцем.

— Вот, стойте здесь! Боже вас сохрани поставить эти вещи на пол, потому что я могу каждую минуту попросить вас на сцену, а нагибаться вам будет трудно!

Он покорно стал на место, а я обратился к другим, менее важным, делам.

III

Первый и второй акт я был занят по горло, но перед третьим, заглянувши в угол, был удовлетворен видом ужасающей горы платья... Наверху этой горы, подобно заходящему солнцу, пыпало багровое лицо, с которого ручьи пота смыли весь грим...

После четвертого акта я подумал, что он умер, так как застал его прислонившимся к раскаленной стене, но слабое моргание потускневших глаз успокоило меня.

После пятого акта раздался взрыв аплодисментов. Я распорядился не поднимать пока занавеса на вызовы, а побежал к дебютанту и крикнул:

— Выходите!!

Он посмотрел на меня бессмысленным взглядом и что-то промычал.

— Выходите, черт возьми, или вы провалите мне пьеся!!

Шатаясь, при моей помощи, он выбрался на сцену, сопровождаемый словами: помните же: "Получите обратно ваш ковер" и т. д.

Всю эту галиматью бухгалтер добросовестно повторил заплетающимся языком, под аплодисменты публики и перед опущенной занавесью, — чего он даже не заметил.

Я втащил его обратно в уборную и сказал:

— А молодцом вы сыграли!.. Слыщите, какие аплодисменты вам? Раздевайтесь!

Он упал на диван и глухо простонал:

— Вся штука в том... что я... не могу поднять рук.

Я весело улыбнулся.

— А... это трес действует! Вы можете убедиться в радикальности средства!

— Я убедился.

Для того, чтобы раздеть его, потребовалось пригласить двух плотников. Пять нижних сорочек были мокрые, и даже один армяк пропитался потом.

Я вытер бухгалтеру лицо вазелином и, умывши его, дружески сказал:

— Ну-с, а как же условьице?.. Подпишем? Вы мне нравитесь.

— Я... — прохрипел он страдальчески, — я... устрою свои некоторые дела, а потом... по... подумаю.

Избегая моего взгляда, он распрощался и ушел.

Больше я его не видел.

КОРЕНЬ ЗЛА

(Вагон конки, переполненный публикой. Кондуктор тянет за рукав плохо одетого, угрюмого господина в опорках и кричит ему на ухо):

— Эй, ты! Покажь билет!..

Желчный господин, сидящий около (возмущенно). — Что ты, скотина, с ним брудершафт пил, что ли? Будь повежливее!

Бритый господин (сочувственно). — Эти свиньи, если видят, что человек плохо одет, то и...

Желчн. госп. (язвительно). — Ах, он, по-вашему, плохо одет?.. Если вы нацепили дурацкий красный галстук, то и думаете, что важный барин?!

Брит. госп. (кричит, баగровея). — Что-о?! Вы пьяны, вероятно! Нахал!! (обращаясь к соседке слева, с подвязанной щекой). Как вам это нравится??!

Соседка слева. — Слушайте, не кричите мне над ухом! Вы совсем меня оглушили...

Брит. госп. — Ах, отстаньте от меня с вашим ухом!..

Гимназист справа (задорно). — Будьте вежливее с дамами, милостивый государь!..

Мастеровой (сзади, иронически). — Вы бы, барчук, молоко мамашино на губках обтерли...

Соседка слева (не расслышавши). — Какой мамаши? Что вы меня навязываете в мамаши каждому мальчишке!

Гимназист. — Я не мальчишка и, вообще, прошу вас...

Соседка слева. — Кондуктор, кондуктор, меня здесь оскорбляют!..

Брит. госп. (указывая на желчного). — Кондуктор! Убери этого человека, он грубит пассажирам...

Желч. госп. — А зачем он привязался ко мне! Виши ты, костюм у моего соседа плох! Тоже, птица важная!..

Гимназист (нос у него покраснел и на глазах видны слезы). — Кондуктор, будьте свидетелем, эта дама назвала меня мальчишкой!

Брит. госп. — А вот этот сказал, что у меня галстук дурацкий...

Кондукт. — Не кричите все зараз, господа. Вас много, а я один! (к брит. госп.). Он вас оскорбил?

Желч. госп. — Нет, не я его, а он меня! Па-аз-вольте!! Он говорит...

Кондукт. — Пожалуйте с конки. Здесь нельзя безобразить...

Брит. госп. — С какой стати! Вот еще...

Дама слева. — И вот этого мастерового, кстати, уберите! Он грубит. Пьян, кажется...

Мастеровой. — Не на твои деньги напился...

(Страшный шум. Конка посередине пути останавливается. Больше всех кричат: бритый господин, желчный, дама слева, гимназист и мастеровой. Плохо одетый господин прижался в угол и молча пугливо озирается. Слышны возгласы остальных, желающих двинуться дальше: — Городовой! Городовой!.. Медленно подходит городовой. Он лениво обводит глазами пассажиров и с апатией на деревянном лице спрашивает):

— Ну чего тут еще не поладили? Ты, рыхий, чего руками размахался?! Не птица — не полетишь!

Дама. — Вот его возьмите!

Мастеровой. — Меня-а? Ловка больно!

Городовой. — Ты чего же это? Вот я те шею как наглажу!..

Мастеровой. — Да что же я, господин городовой! А как эти, будем говорить, гимназисты...

Гимназист. — А я-то при чем!

Городовой. — Так как же это вы, молодой человек, а?..

Гимназист (городо). — Прежде всего, представителю отживающего полицейско-бюрократического режима я никаких показаний давать не намерен. Но для истины должен сказать, что эта дама оскорбила меня неуместным прозвищем мальчишки...

Дама. — А зачем же вы...

Гимназ. — Я за вас заступился! Этот господин кричал вам на ухо...

Брит. госп. — Да как же не кричать, если вот этот говорит мне, что у меня галстук дурацкий...

Желчн. госп. — Потому и сказал, что вы позволили себе отозваться невежливо о костюме этого вон человека (указывает на плохо одет. господина).

Плохо од. госп. (конфузливо, робко). — Я что же... Я ничего не имею...

Городовой (до сих пор тупо выслушивающий претензии, оживляется и устремляет строгий взгляд на пл. одет. госп.). — Это ты что же! А? Безобразить? Да я тебя!!.. Пощел вон с конки!

Пл. одет. госп. — Господа! Милостивые государи! За что же я-то...

Городовой. — Но-но-но! Поговори еще! Проваливай!

Кондуктор. — Так его, так! Смуты только из-за него! (выпроваживает, вместе с городовым).

Желчн. госп. (глядя в след удаляющемуся пл. одет. госп.) — А у него, знаете ли, в самом деле, что-то подозрительное в лице...

Брит. госп. (дружелюбно). — Ну, не я ли это первый заметил!..

Дама слева. — Такому и в карман залезть — плевое дело!

Мастеровой. — Обломать бы ему бока, знал бы тогда (к гимназисту). Дозвольте папироску!..

Гимназист. — Сделайте одолжение! Вы эс-эр или эс-дек?..

КОСА НА КАМЕНЬ

I

Репортер Шмурыгин вышел из редакции в крайне угнетенном состоянии духа. Удручила его проборка, заданная редактором за доставление несвежего материала.

Последнюю остроту редактора он находил даже пошлой:

— Если вы думаете, что всякая дичь должна быть несвежей, то жестоко ошибаетесь. Тем более что ваши утки большей частью доморошенные.

— Это ты кому говоришь! — шептал, идя по улице, пасмурный репортер. — Ты говоришь, волосатый черт, представителю прессы! За это теперь и ответить можно...

Потом он стал мечтать:

— Хорошо бы, если бы этот дом вдруг моментально провалился! Эффектная вещь. Строк на сто. Или какой-нибудь автомобиль, чтобы с размаху въехал в зеркальное стекло кондитерской. Воображаю, как позеленел бы Абзацов! А то он всюду со своим длинным носом первый поспеет.

С житейских событий он перешел на политические.

— Хорошо бы депутатов стравить на драку... Потом — впечатлений, интервью, показаний очевидцев — рублей на сорок. Пойти разве и сказать одному правому депутату, что другой правый депутат называл его идиотом. Тот ему задаст за идиота! Разве можно так оскорблять парламентского деятеля?! Да что толку... Потасовки-то ведь я не увижу. Ну, времена! Хотя бы на самоубийство какое, самое паршивое, насочкить.

И вслед за этой мыслью репортер вздрогнул, будто пронизанный электрической искрой...

Он увидел себя на пустынном мосту через Фонтанку, куда завели его сладостные грезы о несбыточном, и увидел не только себя, но и другого человека, свесившегося через перила моста и якобы любовавшегося гаснущим закатом.

— Э! — сказал самому себе Шмурыгин, — зачем бы этому фрукту торчать здесь без дела и любоваться черт знает на что. Ясно, что парень ждет удобной минуты, чтобы, — он не был бы репортером, если бы не сказал этой фразы, — чтобы покончить все расчеты с жизнью.

У него ни на минуту не явилось мысли удержать предполагаемого утопленника от самоубийства. Человек в нем спал беспробудно. Проснулся репортер, настойчивый, любопытный и хладнокровный.

— Может быть, черти унесут меня отсюда. Но сам я ни за что не отойду от этого моста. Покажу я им, какая

у меня дичь бывает. Сам, напишу, видел. Восторг, что такое!!

И он, как ворон у падали, стал кружиться около моста.

II

Молодой человек не замечал ничего, что делалось вокруг него.

Репортер ясно видел, как он, стоя все в той же позе, судорожно цеплялся пальцами за верхушку перил, что-то бормотал про себя и, нахмутив брови, упорно, сосредоточенно смотрел на плескавшуюся под ним влагу.

— Тоже не легко бедняге решиться, — проснулся на секунду в Шмурыгине человек, но репортер внутренне показал человеку кулак, и тот спрятался.

— И чего тянуть волынку. Не понимаю! — сказал репортер.

Так, в томительном ожидании, с одной стороны, и бормотанием с нахмуренным страдальческим взглядом, обращенным на воду, — с другой, прошло полчаса.

Шмурыгину так надоело нудное ожидание, что он решил помочь событиям.

Подойдя к перилам и тоже облокотясь на них, Шмурыгин стал беззаботно смотреть вдаль.

Потом покосился на соседа и непринужденно сказал:

— Каков закатец-то, а?

— Чтобы черт побрал этот закатец. Меня бы это вовсе не огорчило! — ответил угрюмо молодой человек.

— Ага! Меланхолия! — торжествующе подумал репортер. — Тем лучше!

— В сущности говоря, вы правы. Что такое закат? И что такое наша жизнь вообще? Так, одни страдания.

Собеседник промолчал, и это ободрило репортера.

— Так вот, вдумаешься в жизнь и приходишь к заключению: ну, что в ней хорошего? И я преклоняюсь перед теми, которые по своей воле рвут эту серую, скучную нить жизни...

— Идиотская жизнь, — поддержал молодой человек.

— Я вот целый час стою здесь, и ничего мне не приходит в голову.

— То есть вы не решаетесь?

— На что?

Репортер смущился.

— Ну, как вам сказать... Людей с характером очень мало. Это ведь не то, что взять, да и выпить бутылку этой зловонной воды.

— Поверьте, что мне легче выпить бутылку этой зловонной воды.

— Еще бы, — сочувственно поддакнул репортер, — ни в пример легче. А все-таки если вдуматься, то какой это пустяк: шаг за перила, один миг — и тебя уже нет. Прелестно.

III

Молодой человек отодвинулся.

— Вы это о чем же?

— Спугнул! — подумал Шмурыгин.

И смущенно продолжал:

— Я говорю насчет эпидемии самоубийств. В наше проклятое время они имеют большой резон д'этр, как выражается наш передовик.

Молодой человек сочувственно закивал головой.

— Ей-Богу, вы правы! Да вот взять хоть бы меня сейчас: в самую пору вниз головой с моста прыгнуть.

— И вы думаете, что я буду вас отговаривать? Нет! Я очень понимаю, что значит, когда нет выхода. Впрочем, простите, я вам мешаю. Может, мой разговор в такие минуты неприятен.

— О, нет, не беспокойтесь. Я все равно сейчас ухожу. Пойду в другое место, может быть, там что-нибудь выйдет.

Репортер похолодел, как труп, только что вытащенный из воды.

— Ради Бога! Куда же вы? Разве здесь так плохо?

— А разве хорошо? Я вот уже сколько времени час за часом бесцельно трачу здесь время. Прощайте!

Репортер задрожал от ужаса.

— Но будто вам не все равно! Поверьте, жизнь так дурна... Каждый лишний час, проведенный на этой бессердечной земной коре, такое мучение... Тем более что нигде поблизости нет ни людей, ни лодок... Колossalное удобство.

Неизвестный нахмурился.

— Я вас не совсем понимаю! Что вы говорите? Затем, это волнение так подозрительно...

Шмурыгин покраснел и потупился.

— Послушайте. Я буду с вами откровенен... Ведь вы меня не обманете! Я прекрасно понял, что вы собираетесь топиться. Ну, хотите топиться — Христос с вами — топитесь. Идея не глупая. Но какого черта вам искать другого места. Чем здесь, спрашивается, плохо? Место пустынное, вода глубокая — превосходно! Фить! Как камень. А тащиться куда-то, где вас всегда могут вытащить, это, — простите, — даже глупо.

IV

Молодой человек выслушал горячую речь репортера, сосредоточенно думая о чем-то другом.

— Вы знаете, я, кажется, буду вам очень благодарен... Но, скажите откровенно, для чего вам понадобилось, чтобы я утонул именно здесь?

— Я хотел лично видеть все это.

Неизвестный покачал головой.

— Жестокое, бессмысленное любопытство!

Репортер ударил себя ладонью в грудь.

— Жестокое? Бессмысленное? Ошибаетесь! Я думал, что имею дело с умным человеком. Ведь, поймите, вам решительно все равно, а я, в качестве репортера, зарабатываю на этом деле. Вы не можете представить, в какой цене очевидцы.

Веселое выражение появилось на лице незнакомца.

— Позвольте пожать вашу руку. Не зная того сами, вы оказали мне большую услугу!

— Боже мой! Какую?

— Вы мне дали тему для рассказа.

— Черт возьми! А... топиться? — разочарованно воскликнул Шмурыгин.

— Да с чего вы взяли, дубовая голова, что я хочу прыгнуть в воду? Просто я стоял на месте, где мне никто не мешал, и хотел выжать тему для нового фельетона. Иногда мысль совершенно не работает. А вы мне дали прекрасный сюжет. Хе-хе. Всего хорошего — побегу писать.

Как пришибленный, пошелся репортер за фельетонистом.

И в мозгу зашевелились мысли:

— Хорошо, если бы ветром занесло сюда на Фонтанку какой-нибудь воздушный шар... Чтоб в лепешку шмякну-

лись, голубчики! Или чтобы тот, идущий рабочий, поскользнулся и в кармане у него разорвалась бомба. Жаль только прохожих мало — жертв почти не будет...

Человек в нем спал.

СПЛЕТНЯ

Контролер чайно-рассыпочного отделения Федор Иванович Аквинский шел в купальню, находящуюся в двух верстах от нанимаемой им собачьей будки, которую только разгоряченная фантазия владельца могла считать "дачей"...

Войдя в купальню, Аквинский быстро разделся и, вздрагивая от мягкого утреннего холода, осторожно спустился по ветхой шаткой лесенке к воде. Солнце светлое, только что омытое предрассветной росой, бросало слабые, теплые блики на тихую, как зеркало, воду.

Какая-то не совсем проснувшаяся мошка, очертя голову, взлетела над самой водой и, едва коснувшись ее крылом, вызвала медленные, ленивые круги, тихо расплывшиеся по поверхности.

Аквинский попробовал голой ногой температуру воды и отдернул, будто обжегшись. Купался он каждый день и каждый же день по полчаса собираясь с духом, не решаясь броситься в холодную, прозрачную влагу...

И только что он затаил дыхание и вытянул руки, чтобы нелепо, по-лягушачьи прыгнуть, как в стороне женской купальни послышались всплески воды и чья-то возня.

Аквинский остановился и посмотрел налево.

Из-за серой позеленевшей внизу от воды перегородки показалась сначала женская рука, потом голова и, наконец, выплыла полная рослая блондинка в голубом купальном костюме. Ее красивое белое лицо от холода порозовело, и когда она сильно, по-мужски, взмахивала рукой, то из воды четко показывалась высокая пышная грудь, чуть прикрытая голубой матерью.

Аквинский, смотря на нее, почему-то вздохнул, потрясал голой рукой съеденную молью бородку и сказал сам себе:

"Это жена нашего члена таможни купается. Ишь ты, какой костюм! Читал я, что за границей, в какой-то там Ривьере, и женщины, и мужчины купаются вместе... Ну, и штука!"

Когда он, выкупавшись, натягивал на тощие ноги панталоны, то подумал:

“Ну, хорошо... скажем, купаются вместе... а раздеваться как же? Значит, все-таки, как ни вертись, нужно два помещения. Выдумают тоже!”

Придя на службу в таможню, он после обычной возни в пакгаузе сел на ящик из-под чаю и, спросив у коллеги Ниткина папиросу, с наслаждением затянулся скверным дешевым дымом...

— Купался я сегодня, Ниткин, утром и смотрю — из женской купальни наша членша Тарасиха выплывает... Ну, думаю, увидит меня да мужу скажет... Смех! Уж очень близко было. А вот за границей, в Ривьере, говорят, мужчины и бабы вместе купаются... Гы!.. Вот бы поехать!

Когда, через полчаса после этого разговора, Ниткин пил в архиве с канцеляристами водку, то, накладывая на ломоть хлеба кусок ветчины, сказал, ни к кому не обращаясь:

— Вот-то штука! Аквинский сегодня с женой нашего члена Тарасова в реке купался... Говорят, что в какой-то там Ривьере все вместе — и мужчины и женщины купаются. Говорят — поеду в Ривьеру. Поедешь, как же... На это деньги надо, голубчик!

— Отчего же! — вмешался пакгаузный Нibelungов. — У него тетка, говорят, богатая; может у тетки взять...

Послышались шаги секретаря, и вся закусывающая компания, как мыши, разбежалась в разные стороны.

А за обедом экспедитор Портупеев, наливая борщ в тарелку, говорил жене, маленькой, сухонькой женщине с колючими глазками и синими жилистыми руками:

— Вот дела-то какие, Петровна, у нас в таможне! Аквинский, чтоб ему пусто было, собрался к черту на кулички в Ривьеру ехать и Тарасова жену с собой смынул... Деньги у тетки берет! А Тарасиха с ним вместе сегодня купалась и рассказывала ему, что за границей так принято... Хе-хе!

— Ах, бесстыдники! — целомудренно потупилась Петровна. — Ну, и езжали бы себе подальше, а то — на-ко здесь разврат заводят! Только куда ему с ней... Она баба здоровая, а он так — тьфу!

На другой день, когда горничная Тарасовых, живших недалеко от Портупеевых, пришла к Петровне просить по-соседски утюги для барыниных юбок, душа госпожи Портупеевой не выдержала:

— Это что же, для Ривьера глашеные юбки понадобились?

— Ах, что вы! Слова такие! — усмехнулась, стрельнув глазами, горничная, истолковавшая фразу Петровны совершенно неведомым образом.

— Ну да! Небось тебе-то, да не знать...

Она скорбно помолчала.

— Эх-ма, дурость бабья наша... И чего нашла она в нем?

Горничная, все-таки не понимавшая, в чем дело, вытаращила глаза...

— Да, ваша Марья Григорьевна — хороша, нечего сказать! С пакгаузной крысой Аквинским снохалась! Хорош любовничек! Да-с. Сговорились в какую-то дурацкую Ривьеру, на купанье бежать, и деньги у тетки он достать посулился... Достанет, как же! Скрадет у тетки деньги, вот и все!

Горничная всплеснула руками.

— Да правда ли это, Анисья Петровна?

— Врать тебе буду. Весь город шуршит об этом.

— Ах, ужасти!

Горничная опрометью, позабывши об утюгах, бросилась домой и на пороге кухни столкнулась с самим членом таможни, который без сюртука и жилета нес в стаканчике воду для канарейки.

— Что с вами, Милитриса Кирбитьевна? — прищурив глаза и взяв горничную за пухлый локоть, пропел Тарасов. — Вы так летите, будто спасаетесь от привидений ваших погубленных поклонников.

— Оставьте! — огрызнулась горничная, не особенно церемонившаяся во время этих случайных tête-à-tête¹. — Вечно вы проходу не дадите!.. Лучше бы за барыней смотрели покрепче, чем руками...

Пухлое, невозмутимое лицо члена таможни приобрело сразу совсем другое выражение.

Господин Тарасов принадлежал к тому общеизвестному типу мужей, которые не пропустят ни одной хорошенъкой, чтобы не ущипнуть ее, зевая в то же время в обществе жены до вывиха челюстей и стараясь при всяком удобном случае заменить домашний очаг неизбежным винтом или chemin de fer'ом.

Но, учуя какой-нибудь намек на супружескую неверность жены, эти кроткие, безобидные люди превращаются в Отелло с теми особенностями и отклонениями от

¹Здесь: свиданий наедине (фр.).

этого типа, которые налагаются пыльными канцеляриями и присутственными местами.

Тарасов выронил стаканчик с водой и опять схватил горничную за локоть, но уже другим образом.

— Что? Что ты говоришь, п-подляя? Повтори-ка!!!

Испуганная этим неожиданным превращением члена таможни, горничная слезливо заморгала глазами и потупилась:

— Барин, Павел Ефимович, вот вам крест, я тут ни при чем! Мое дело сторона! А как весь город уже говорит, то, чтоб после на меня чего не было... Скажут — ты помогала! А я как перед Господом!..

Тарасов выпил воды из кувшина, стоявшего на столе, и, потупив голову, сказал:

— Рассказывай: с кем, как и когда?..

Горничная почуяла под собой почву.

— Да все с этим же... трухлявым! Федором Ивановичем... что в прошлом году раков вам в подарок принес... Вот тебе и раки! И как они это ловко... Уже все и уговорено: он у тетки деньги из комода скрадет — тетка евонная богатая, — и вместе купаться поедут в Ривьеру, куда-то... Срам-то, срам какой! Надо думать, завтра с вечерним поездом и двинут, голубчики!..

* * *

Сидя за покосившимся столиком в нескольких шагах от своей собачьей будки, контролер чайно-рассыпочного отделения Аквинский что-то писал, склонив набок голову и любовно выводя каждое слово.

Дерево, под которым стоял столик, иронически помахивало пыльными ветвями, и пятна света скользили по столику, бумаге и серой голове Аквинского... Бородка его, как будто приклеенная, шевелилась от ветра, и общий вид казался измученным и вялым.

Похоже было, что кто-то, по небрежности, забыл пересыпать никому не нужную вещь — Аквинского — нафталином и сложить на лето в сундук... Моль и поела Аквинского.

Он писал:

“Милая тетенька! Осмелюсь вас уведомить, что я нахожусь в полнейшем недоумении... За что же? Я вас спрашиваю. Впрочем, вот передаю, как было дело... Вче-

ра досмотрщик Сычевой сказал, подойдя к моему столику, что меня требует член таможни господин Тарасов, тот самый, которому я в прошлом году от усердия поднес сотню раков. Я пошел, ничего не думая, и, вообразите, он наговорил мне столько странных и ужасных вещей, что я ничего не понял... Сначала говорит: “Вы, говорит, Аквинский, кажется, в Ривьеру собираетесь?” — “Никак нет”, отвечаю... А он как закричит: “Так вот как!!! Не лгите! Вы, говорит, попростили самые священные законы естества и супружества! Вы устои колеблете!! Вы ворвались в нормальный очаг и произвели водоворот, в котором — предупреждаю — вы же и захлебнетесь!!” Ужасно эти ученые люди туманно говорят... Потом и про вас, тетенька... “Вы, говорит, вашу тетку порешили ограбить... вашу старую тетку, а этостыдно! безнравственно!!” Откуда он мог узнать, что я уже второй месяц не посыпаю вам обычных десяти рублей на содержание! Как я уже вам объяснял — это произошло потому, что я заплатил за дачу вперед на все лето. Завтра я постараюсь выслать вам сразу за два месяца. Но все-таки — не понимаю. Обидно! Вот я теперь уволен со службы... А за что? Какие-то устои, водоворот... Насчет же семейной жизни, что он говорил, так это совсем непостижимо! Как вам известно, тетенька, я не женат”...

ДУРАК

Раку приходится сталкиваться с человеческим характером тогда, когда его бросают в кипяток. И он краснеет... краснеет за людей.

Теперь, когда я смотрю на его худую нескладную фигуру, бледно-желтые усы и жалкую улыбку человека, ожидающего неизвестно откуда пинка, мне хочется и смеяться, и плакать, прижавши к своей груди эту пустую взлохмаченную голову, такую смешную.

Когда я впервые вводил его в нашу компанию, все были уже предупреждены.

- Познакомьтесь.
- Граф Калиостро, — гордо представился один.
- Барон Мюнхгаузен!
- Виконт Подходцев.

Дурак смотрел на всех восторженно недоумевающими глазами, будучи, очевидно, сильно польщен пребыванием в такой титулованной компании.

— Поверьте, господа... — начал он, не зная куда деть завернутую в бумагу сотню живых раков и ноты, которые он держал в руках.

Я освободил его от свертков и пригласил сесть.

Определенного плана мы не имели, но "виконт" Подходцев нашелся:

— Что это у вас в бумаге?

— Раки. Иду это я и думаю — дай куплю раков! Так и купил.

— Можно посмотреть?

Подходцев сделал в свертке отверстие и вынул одного рака.

— Здорово сделан! — похвалил он, держа рака двумя пальцами перед лампой.

Дурак растерялся.

— Как... сделан? Да он, представьте, живой!

Подходцев обидчиво усмехнулся.

— Шутить изволите-с?! Не ребенок же я, чтобы не отличить живого рака от механического. По-моему, это нюренбергская работа...

Дурак нагнулся и снизу заглянул в глаза говорившему, желая отыскать в них тень улыбки.

Однако тот был невозмутим, сохраняя в лице выражение оскорбленного человека.

— Неужели, вы... серьезно? — сконфуженно пробормотал Дурак.

— Я серьезен, но серьезны ли вы, сударь!! — вскричал Подходцев, багровея. — Окончивши два с половиной факультета, я дурачить себя не позволю! Ведь всем известно, что настоящие раки бывают красные!

Тяжелая, неповоротливая мысль Дурака усмотрела где-то вдали проблеск выхода из этого странного, нелепого положения.

— Нет, насколько я знаю, раки бывают черные!

— Вы слышите, господа! — с обидчивым удивлением обратился к нам Подходцев. — Сей муж имеет смелость уверять, что раки бывают черные! Зачем же тогда говорят: покраснел как рак?..

— Вареный! — тоскливо перебил гость.

— Нет-с, извините! Ежели какой-либо предмет хотят сравнить с другим, общизвестным, то берут для этого его вид или, в данном случае, цвет не случайный и редко

встречающийся, а тот, в котором предмет чаще всего можно наблюдать в природе. Например, если говорят: "он прыгнул, как тигр", — то это не значит, что он прыгнул, как *жареный* тигр!

И, проговорив эти странные слова, Подходцев гордо оглядел компанию.

Мы давились от хохота, избегая отчаянного взгляда Дурака, который озирался, ища хотя в ком-нибудь поддержки.

Наконец он взял злополучного рака двумя пальцами и сказал боязливо-торжествующе:

— Глядите, он движется! Ей-Богу, это живой рак!

— А вы зачем же пальцами на брюшко надавливаете?! Ясно, что внутри пружина! Знаем мы эти штуки.

Мы громко поддержали Подходцева, выражая негодование на то, что нас хотят одурачить каким-то механическим раком, как малых ребят.

— Так сломаем его и я вам докажу! — в приливе вдохновения решил Дурак.

— Зачем же вещь портить? — нашелся Подходцев. — Ведь она рубля полтора стоит.

В порыве безысходного отчаяния Дурак отвел меня в сторону и тихо спросил:

— Послушайте... Неужели они это серьезно?

— Без сомнения! Объясните мне, — участливо прошептал я, — где вы их раздобыли? Не подшутил ли кто над вами?

Он посмотрел на меня долгим взглядом.

Никогда после этого мне не случалось встречать человека, который был бы более уверен в своей правоте и менее всего мог бы доказать ее. Что за тяжелый, кошмарный мозг лежал под этой толстой мозговой коробкой...

Дурак молча взял из рук Подходцева рака и, положив обратно в бумагу, отошел к окну.

Лица его, обращенного к темным заплаканным от дождя стеклам, я не видел, но согнутая спина и руки, которыми он усиленно тер виски, давали такое впечатление напряженного раздумья и тоски, что я, желая развеселить его, превратился в любезного хозяина и повлек всю компанию к столу.

За ужином разговор принял мрачный, зловещий оттенок. Присутствие Дурака вдохновляло самых неразговорчивых.

— Скажите, граф, — неожиданно обратился Подходцев к одному юноше, — в каком положении ваше дело о краже пальто из передней клуба?

Граф ухмыльнулся.

— Придется сидеть, черт их дери. Из-за какого-то пальто, а? И ведь, представьте, почти совсем удрал — около Биржи нагнали.

Толстый Клинков обратился к удивленному Дураку и благодушно сказал:

— Ненавижу я эту мелкую работу... Ну, что такое пальто? Каждое дело должно быть цементировано кровью. Помнишь, виконт, как мы тогда эту старуху ловко ухлопали. Одними бумажками девять тысяч, не считая золота!

Дурак, с расширенными до последних пределов глазами, сидел без единого звука, и кусок ветчины, который он держал на вилке, так и застыл в воздухе.

— Конечно, — пожал плечами Подходцев, — но в каждом таком деле нужна логика. Что может быть глупее, например, случая с бароном, когда он, чтобы сократить в приемной доктора очередь, отправил воду, которую пили больные, пришедшие раньше его? Или когда он поджег детский приют, чтобы ему, пьяному, при освещении было легче найти номер своего дома. Все это забавно и бесполезно.

Дурак сидел, побледневши как мертвец, и тщетно пробовал разжевать пробку от горчицы, которую кто-то потихоньку вздел ему на вилку, вместо колбасы. Крупные капли пота блестели на его лбу, и весь он напоминал большую кошку, которую шутники окунули в воду.

Опомнился Дурак только тогда, когда все, вставая, задвигали стульями. С трудом ворочая своим суконным языком, он поблагодарил меня за гостеприимство, но выразил твердое желание отправиться домой.

— И не думайте! — радушно воскликнул я. — Мы еще выпьем кофе, поболтаем... Не правда ли, многим есть что рассказать? Жаль, нет сейчас самого интересного — сидит в централке за маленькое убийство...

Но Дурак был уже в пальто, обнявши руками своих раков и громадный сверток нот.

Когда он прощался со всеми, угрюмо смотря куда-то в сторону, Подходцев не утерпел и рассыпался перед ним в извинениях.

— Вы знаете, я относительно рака-то ошибся... я, вообразите, полагал, что он нюренбергской работы, а уж

после разглядел на клешне фабричную марку: "И. Павлов. Тула". Кустарная работа, оказывается.

Дурак молча вышел, и мы, от нечего делать, стали следить за ним в окно.

Смешная, нелепая фигура перешла пустынную улицу и торопливо приблизилась к фонарю.

Дурак раскрыл зонтик, сложил под него ноты, порылся в свертке раков и, вынув одного из них, близко поднес его к фонарю.

Лицо нашего гостя выражало напряженное любопытство и нетерпение. Фонарь подмигивал и, качая пламенем, подсмеивался над Дураком, который внимательно осмотрел рака и, оторвавши хвост, стал, по одной, отламывать клешни и лапы.

И лицо его все более прояснялось.

Когда от всего рака осталась только спинка, он отбросил ее от себя, бодро выпрямился, покачал кому-то укоризненно головой, забрал свои свертки и — сплошная сетка дождя быстро затушевала его фигуру.

Дождь ли был тому причиной, но скука охватила всю компанию. Мы быстро пожали друг другу руки и разошлись, каждый в свою сторону. Один я, выйдя из дома, пошел без всякой цели.

На спине ощущалось холодное прикосновение дождевых капель, как чьих-то равнодушных слез.

Дождь ли был тому причиной, — но мне была противна и слякоть, рыдавшая под досками старого деревянного тротуара, и мрак, и противнее всего был мне я сам.

ИЗМЕНА

Меняла Вилкин запер свою лавочонку, которая среди его знакомых носила громкое название банкирской конторы, и, подергав замок, сказал сам себе:

— Сегодня я в "Черный лебедь" не пойду. Ну его! Каждый день — надоело. Не все же дома оставлять молодую жену без мужа. Хе-хе!

Подходя к дому, он обратил внимание на то, что в окне спальни жены света не было.

— Неужели спит? Странно!

Все происшедшее дальше было так обычно, что противно рассказывать.

Конечно, он прошел через незапертую дверь черного хода в столовую, оттуда в спальню и, конечно, увидел жену

не одну, а с каким-то молодым господином, который, по ближайшем рассмотрении, оказался знакомым Вилкина — Грохотовым. Конечно, для менялы все это было очень неожиданно, но читающую публику такие вещи должны утомлять. Об этом так часто писали и еще чаще это делали.

Профессия менялы — очень редкая профессия, и только, может быть, именно поэтому развязка навязшей всем в зубах истории о явившемся неожиданно домой муже, который застает жену с другом дома, получила несколько оригинальную, чуждую шаблона, окраску.

Заметив, что костюм Грохотова изменил свое обычное местопребывание и, вместо того, чтобы покоиться на плечах и ногах владельца, беспомощно висел на стуле, Вилкин всплеснул руками и вскричал злобно-торжествующе:

— Ага, голубчики! Попались... Нет! не пытайтесь отпираться...

Грохотов сел на кровати и, зевая, хладнокровно сказал:

— Вот дурак старый! Никто и не думает отпираться. Подумаешь, тоже.

Вилкин сделал грозное лицо, но втайне почувствовал, что теряет под собой почву.

Все вышло как-то не по-настоящему: жена не упала перед ним на колени, с мольбой о пощаде, и любовник, вместо того чтобы спасаться бегством, сидел, зевая, на его супружеском ложе и равнодушно болтал босыми ногами.

— Да как вы смеете?!

— Что такое?

— С чужой женой, в квартире, за которую платит ее муж...

— У вас со своими дровами квартирка? — с явной насмешкой спросил Грохотов.

Вилкин метался по комнате, скрежеща зубами от злобы, и мучительно старался вспомнить, как вообще поступают мужья в таких случаях...

Нечаянно он нашупал в кармане пальто револьвер, который всегда носил от жуликов, и, выхватив его, осененный непоколебимым решением, вскричал:

— На колени, несчастный! Молись, пока не поздно! Даю тебе минуту сроку!!

— Не строй дурака! — уже сердито рявкнул Грохотов и, вскочив с кровати, бросился к несчастному мужу.

Он ловко поймал его за руку, державшую револьвер, и между ними завязалась недолгая борьба, на которую хорошенькая Вилкина смотрела, приподнявшись с подушек, с плохо скрытым любопытством и удовольствием...

Через минуту атлетически сложенный Грохотов подмял под себя тщедушного Вилкина, отнял у него револьвер и, вставая, неизвестно для чего пребольно ударили его три раза сзади в спину, затылок и в оба уха.

— А, так ты... драться!! Вот я сейчас кликну дворников — они тебе покажут!

Поправляя дрожащей рукой оторванный галстук, Вилкин в бессильном бешенстве двинулся к дверям, но Грохотов предупредил его.

— Э, нет, милый. Ты еще, в самом деле, сдуру накличешь дворников — ведь я твою подлую натуришку знаю! Никуда я тебя не выпущу.

Повернувшись к дверям, Грохотов выдернул его и крепко зажал в кулаке.

Вилкин постоял у запертых дверей, потом обернулся и сдавленно прошипел:

— Убирайтесь отсюда!

— Да, надо будет. Ничего не поделаешь. Кстати, мне и пора... Вилкин, который час?

Вилкин хотел сказать что-то очень обидное для Грохотова, но, покосившись на дверной ключ, зажатый в могучий кулак его бывшего приятеля, только заскрипел зубами и, нервно выдернувши часы, поднес к глазам.

— Пять минут десятого.

— Ого! Время-то как летит... Надо собираться.

Грохотов собрал разбросанные части своего туалета и стал неторопливо одеваться.

Вилкин, не говоря ни слова, ходил из угла в угол, сопровождаемый молчаливым взглядом жены, ходил, пока Грохотов не сказал досадливо:

— Не мотайся ты, ради Бога, перед глазами. Мешаешь только. Сядь вон там в углу на диван и сиди...

После возбужденного состояния духа у менялы наступила полная реакция... Чувствуя в спине и затылке сильную ноющую боль, он вздохнул и, потоптавшись на месте, с наружно независимым видом исполнил желание своего мучителя.

Сел на диван, закурил папиросу и стал уныло следить за туалетом Грохотова.

— Ну, вот... Ах ты, Господи! Проклятые воротнички! Прачка их крахмалит совсем, как дерево... Ого! А где же это запонка? Выскочила, анафемская... Вилкин, ты не видал моей запонки?

— Отстаньте вы от меня с вашей запонкой, — угрюмо проворчал Вилкин.

— Чудак-человек! Как же я оденусь без запонки?!

— На полу обронили, наверно! Тоже кавалеры, подумашь...

Вилкин горько усмехнулся.

— Однако ты, Вилкин, не очень-то... У меня характер, сам знаешь, скверный... Ты, может, поискать бы ее, мой бледнолицый брат, а?

— Можете сами.

— Н-но!!

Вилкин в отчаянии схватился руками за голову и застонал.

— Навязались вы на мою голову!!

Впрочем, тут же опустился на колени и стал шарить руками по полу.

Жена, свесившись с постели, указала ему рукой:

— Посмотри под комодом... Не там... дальше, левее... Ох, какой ты бесполковый.

— Вот!

Вилкин, торжествующий, поднял запонку и, отирая с лица пот, протянул Грохотову.

— Скажите мне спасибо! Если бы не я — ни за что не нашли бы.

— Молодец, Вилкин. Старайся.

По мере того как Вилкин морально слабел и опускался, Грохотов все наглел, командуя Вилкиным, без зазрения совести...

Он оделся, поцеловал галантно у madame Вилкиной руку, а мужу сказал фамильярно:

— Возьми, Ножиков, свечу и выпусти меня в парандную дверь.

Меняла зажег свечу, сумрачно ворча:

— Ножиков! Будто не знает, что моя фамилия — Вилкин.

— Хорошо, хорошо! Назову тебя хоть целым Сервизом — только проводи меня.

В передней Грохотов потребовал, чтобы меняла подал ему пальто, а когда он выпускал Грохотова в дверь, тот дружеским жестом протянул ему руку. Вилкин, растерявшийся, хотел пожать ее, но, вместо этого, ощутил в своей руке какой-то предмет.

Затворивши дверь, он разжал кулак и увидел на ладони потерпый двугривенный...

От обиды даже слюна во рту у него сделалась горькой. Он погрозил в пространство кулаком, опустил монету в карман и, пройдя в спальню, где жена уже спала, посмотрел на нее искоса и стал потихоньку раздеваться.

ЖАЛКОЕ СУЩЕСТВО

Мы столкнулись с ней на повороте улицы, и первые слова ее были:

— Удивительно! Вы в Петербурге?

— Я в этом уверен, и доказательством служит то, что, будь я в Киеве или Одессе, вам сейчас было бы трудно задать этот вопрос.

— Какой вы смешной! Проводите меня.

Мы пошли рядом, разговаривая. Пройдя сотню шагов, я заметил, что моя спутница все время тревожно оглядывалась на мостовую.

— Что с вами, Верочка?

— Прежде всего не Верочка, а Вера Валентиновна...

— Да что вы! Я давно это подозревал...

— То есть что — "это"?

— Так, вообще... Жизнь наша — цепь случайностей! А скажите, что вас так притягивает к этой мостовой?

— Он везет ее за мной.

— Кто он?

— Он, извозчик.

— Чего же вы идете, а она едет?

— Вы что-то путаете... Она — это лампа.

— Черт возьми! А я думал — приятельница.

— У вас вечно на уме приятельницы... Просто я устраиваю себе столовую и вот купила лампу. Зайду в два-три магазина и домой...

— Но почему же вы не можете оторвать глаз от извозчика? Он кажется мне парнем не в вашем духе...

— Я боюсь, что он ударит!

— Так вы бы заметили номер.

— В самом деле! Надо будет это сделать. Зайдем сейчас только в этот магазин.

Мы вошли в оружейный магазин.

Я сел вдали и стал наблюдать это милое, нелепое существо, такое беспомощное в обыденной жизни...

Диалог между Верочкой и приказчиком был, приблизительно, следующий:

— Здравствуйте. Есть у вас этот, гм... порох?
— Порох? Есть, сударыня. Вам какой прикажете?
— Такой... обыкновенный. Пять фунтов.

Приказчик стал заворачивать пакет и, смотря в окно, сказал:

— Охота в этом году неудачная... Дожди.
— Неужели? Терпеть не могу охоты. Ненавижу дожди.
Приказчик вежливо ухмыльнулся и заметил:

— Но ваш супруг, вероятно, страстный охотник...
Потому что такой запас пороха...

Верочка расхохоталась.

— Какой вы смешной! Откуда вы взяли, что у меня есть муж? Просто я покупаю порох для столовой.

Приказчик очень удивился.

— Для... столовой?

— Ну, да. Я купила столовую лампу, и там наверху есть такой шар, в который насыпается порох для веса. Скажите, пять фунтов достаточно?

— Сударыня!! Вам, вероятно, нужно дроби?!

— Ну, дайте дроби.

Приказчик, в изумлении, искал моего взгляда, но я отвернулся.

Мы вышли из магазина, я — навьюченный дробью, она — веселая, жизнерадостная, с какой-то картонкой в руке.

— Вы знаете, что было бы, если бы приказчик дал вам для лампы порох?

Мой зловещий тон испугал ее.

— А что? Оно бы загорелось?

— "Оно" взорвало бы весь дом на воздух.

— Что вы говорите! Какой ужас! А дробь опасна?

Я пожал плечами.

— В ваших руках — пожалуй.

Когда мы подошли к дому, она пригласила меня зайти отдохнуть. Мы втащили в столовую лампу, дробь, и Верочка сейчас же захлопотала.

Энергия у нее была изумительная.

— Марья! Дай гвоздь, принеси керосину, спичек и скамеечку. А вы сядьте пока там в углу и не мешайте мне. Я это сделаю в две минуты.

Так как стол был уже накрыт, то она отодвинула приборы, поставила скамеечку и с гвоздем потянулась к потолку.

— Чем же я его забью? Молотка у нас, кажется, нет...

Она попробовала спичечной коробкой. Спички рассыпались, и коробка сломалась. Она подумала, бросила коробку и взяла со стола чайный стакан. При столкновении с гвоздем он разлетелся вдребезги, и Верочка, улыбаясь сквозь слезы, стала сосать обрезанную руку. Пущенные последовательно в дело нож, вилка и разливательная ложка встретили со стороны коренастого гвоздя самое тупое, решительное сопротивление.

Наконец, в дело вмешалось тяжелое, солидное пресс-папье. Оно исполнило возложенную на него миссию удовлетворительно, хотя с большим ущербом для себя, потолка, гвоздя и пальцев хозяйки. После этого лампа, без суда и следствия, была торжественно повешена.

— Как вы думаете, крепко держится?

Я высказал предположение, что ходьба по полу верхнего этажа может довести лампу до самого легкомысленного падения.

— Неужели? Марья! Пойди скажи, чтобы наверху поменьше ходили.

— Вы лучше попросите их съехать с квартиры, — посоветовал я.

Она подумала.

— Нет, знаете... это неудобно.

— Отчего неудобно? Если вы предложите им выбор между тем, чтобы сгореть заживо или расстаться с квартирой, — я уверен, они выберут второе.

— Нет, пустяки. Ничего не случится... висит же она уже пять минут, и ничего. Теперь только налить керосину, зажечь, и мы можем обедать.

Она взяла со стола бутылку, вылила керосин в резервуар и зажгла фитиль.

Фитиль потух.

Она поболтала лампой и опять зажгла.

Фитиль опять потух.

Были мобилизованы все наличные силы: я и Марья.

Лампа заявила, что гореть она не будет ни под каким видом.

Мы дули в нее, выкручивали фитиль, разбирали горелку, снова зажигали, а она, подмигнув иронически, сейчас же гасла.

— Очевидно, вас с лампой надули. Пошли Марью переменить.

Так как Верочка изнемогала от усталости, то согласилась немедленно.

— Керосин только вылью. Марья, дай бутылку!
Потом до меня донесся удивленный голос Верочки:
— Чудеса! Недавно из этой бутылки вылила керосин,
а она опять полна. Ничего не понимаю.
Занинтересованный, я подошел.
— Позвольте, Верочка! Вы не в ту бутылку льете.
— Много вы понимаете! Та с уксусом. Глупая Марья
забыла ее на столе.
— Она не с уксусом, а пустая.
Верочка опустила лампу и растерянно посмотрела на
меня.
— Вы знаете, почему лампа не горела?
Я подошел к ней ближе и сказал:
— Теперь я это знаю. Несчастное существо! Куда вы
годитесь?!

— Пустите меня! Как вы смеете целоваться? Это
наглость... Вы непорядочный человек!

— Кто, я? Негодяй первой степени. Разве вы не знали?

— Вы пользуетесь тем, что я одна!

— Чего же от меня ожидать хорошего... Конечно,
условия воспитания, полная заброшенность в детстве,
фребелевский метод обучения...

Она старалась вырваться, но, очевидно, возня с лам-
пой так утомила ее, что голова ее опустилась на мою
грудь.

Она посмотрела на меня и сказала:

— Какой вы смешной!

Потом она решила, что лучший выход из положения

— ответить мне таким же сочным поцелуем.

Бедное, беспомощное создание!

Это было единственное, что она умела делать как
следует.

ДРУГ

I

Душилов вскочил с своего места и, схватив руку Кро-
шкина, попытался выдернуть ее из предплечья.

Он был бы очень удивлен, если бы кто-нибудь
сказал ему, что эта хирургическая операция имела
очень мало сходства с обычновенным дружеским пожа-
тием.

— Крошкун, дружище! Кой черт тебя дернул на это?

Душилов помолчал и взял руку Крошкина на этот раз
с осторожностью, как будто дивясь прочности Крошки-
ных связок после давшего рукопожатия.

— Видишь, ты уже раскаиваешься... Ведь я эти глупые
романы знаю — вот как! Я как будто сейчас вижу завязку
этой гадости: когда однажды никого из близких не было,
ты ни с того ни с сего взял и поцеловал ее в физиономию.
У них иногда действительно бывают такие физиономии...
забавные. Она, конечно, как полагается в хороших домах,
повисла у тебя на шее, а ты вместо того, чтобы стряхнуть
ее на пол, сделал предложение... было так?

Крошкун пожал плечами.

— Уж очень ты оригинально излагаешь! Впрочем,
что-то подобное было. Но что поделаешь... Глупость
совершена — предложение сделано.

— Ах ты Господи! Можно все еще исправить. Ты еще
можешь разойтись.

— Черт возьми! Как?!

Душилов впал в унылое раздумье.

— Не мог ли ты... поколотить ее отца, что ли?
Тогда, я полагаю, все бы расстроилось, а?

— То есть как поколотить? За что?

— Ну... причину можно найти. Явиться не в своем
виде — прямо к старику. Ты что, мол, делаешь? Газету
читаешь? Так вот тебе газета! Да по голове его!

— Послушай... Как ты думаешь: может дурак хотя
и иногда чувствовать себя дураком?

— Иногда, пожалуй, — согласился Душилов серьезно.

— Но сейчас я не чувствую в себе припадка особенной
глупости: обычное хроническое состояние. Хотя старика,
пожалуй, бить жалко...

— Ну, вот видишь! Ах, если бы она меня разлюбила!
Не нашел бы ты человека счастливее меня!

Душилов сделал новую попытку вывихнуть руку
Крошкина, но тот привычным движением спрятал ее
в карман.

— Друг Крошкун! Хочешь, я это сделаю? Хочешь, она
тебя разлюбит?

— Может, ты ее собираешься поколотить?

— Фи, что ты! Я только буду иметь с ней разговор...
в котором немного преувеличу твои недостатки, а?

Крошкун подумал.

— Знаешь, удав, — это мысль! Только ты можешь все
испортить?!

— Кто, я? Будет сделано гениально.

— Сумасшедший, постой! Куда ты?
Боясь, чтобы друг не раздумал, Душилов схватил шапку, опрокинул столик, оторвал драпировку и исчез.

II

Душилов сидел в саду с прехорошенькой блондинкой и вел с ней крайне странный разговор.

— Итак, вы, Душилов, чувствуете себя превосходно... я рада за вас. А что поделяет Крошкин?

— Какой Крошкин?

— Ну, ваш друг!

— Он мне теперь не друг!

— Что вы говорите! Почему?

— Потому что он не Крошкин!

— А кто же он?

Душилов сокрушенно вздохнул.

— Человек, который живет по фальшивому паспорту, не может быть моим другом.

Побледневшая блондинка открыла широко испуганные глаза.

— Что вы говорите? Зачем ему это понадобилось?

— Вы читали в прошлом году об убийстве в Москве старого ростовщика? Убийца его, студент Зверев, до сих пор не найден... Теперь вы понимаете??

— Душилов... Вы меня... с ума сведете.

— Еще бы! Я и сам хожу теперь как потерянный!

— Боже мой... Такой симпатичный, скромный, непьющий...

Душилов развел руками.

— Это он-то непьющий?! Потомственный почетный алкоголик... Вчера он у вас не был?

— Не был.

— Вчера он ночевал в участке. Доктор говорит, что скоро будет белая горячка. Погибший парень!

— Я с ума сойду! Ведь он был такой добрый... Когда умерла его тетка, он пришел к нам и навзрыд плакал...

— Комедия! Если бы открыть тетку и произвести экспертизу внутренностей...

— Господи! Вы думаете...

— Я уверен.

— Но каково это его сестре!

Душилов грубо расхохотался.

— Полноте! Вы имеете наивность думать, что это его сестра! У них в Могилеве была фабрика фальшивых

монет, а познакомились они в Киеве, где оба обобрали одного сонного сахарозаводчика. Хорошая сестра!

На глазах девушки стояли слезы.

— Вы знаете, что он хотел на мне жениться?

— Знаю! Он вам говорил о своем намерении совершить свадебную поездку по Черному морю?

— Да... Мы так мечтали.

— Знайте же, слепая безумица, что вы должны были попасть в продажу на константинопольский рынок невольниц. У них с сестрой уже это все было устроено!..

Добрые, сочувственные глаза Душилова с искренним состраданием смотрели на девушку.

— Душилов... один вопрос: значит, он меня не любил?

— Видите ли... У него есть любовница — француженка Берта, отбывшая в прошлом году в парижском Сен-Лазаре наказание за кражи и разврат.

Девушка глухо, беззвучно плакала.

— Этого... я ему никогда не прощу.

— И не прощайте! Я вас вполне понимаю... Кстати, у вас столовое серебро в целости?

— Ка-ак? Неужели он дошел до этого?

— Ничего не скажу... Вы знаете, я не люблю сплетничать, но вчера мне удалось видеть у него две столовые ложки с инициалами вашей доброй мамы. Ну, мне пора. Прикажете передать Крошкину, alias¹ Звереву, от вас привет?

Девушка вскочила с растрепанной прической и гневным лицом:

— Скажите ему... что он самый низкий мерзавец! Что ему и имени нет!

— Так и скажу. Хотя имя у него есть, и даже целых четыре. Я еще скажу, что он, кроме мерзавца, поджигатель и детоубийца — я нисколько не ошибусь. Ну-с, всего доброго. Поклон уважаемому папаше!

Душилов ушел из сада в самом благодушном настроении.

III

На другой день он решил зайти к другу Крошкину поделиться удачными результатами.

Вбежавши, как всегда, без доклада, он заглянул в кабинет друга и увидел его в странной компании.

¹Здесь: иначе (говоря) (лат.).

За столом сидел судебный следователь и сухо, официально спрашивал бледного, перепуганного Крошкина:

— Итак, убийство ростовщика вы решительно отрицаете? Лучше всего вам сознаться. Хорошо-с! А не скажете ли вы нам, чем вы занимались в прошлом году в Могилеве с вашей сообщницей, которую вы выдаете за сестру и которая так ловко оперировала в деле с сахарозаводчиком... Не согласитесь ли вы сознаться, что смерть вашей несчастной тетки ускорена не природой, а человеком, и этот человек были вы, — при соучастии любовницы, француженки Берты, которую полиция сегодня тщетно разыскивает. Не запирайтесь, вы видите, что правосудию все известно!..

ЛЮДИ ЧЕТЫРЕХ ИЗМЕРЕНИЙ

I

— Удивительно они забавные! — сказала она, улыбаясь мечтательно и рассеянно.

Не зная, хвалит ли женщина в подобных случаях или порицает, я ответил, стараясь быть неопределенным:

— Совершенно верно. Это частенько можно утверждать, не рискуя впасть в ошибку.

— Иногда они смешат меня.

— Это мило с их стороны, — осторожно заметил я, усиливаясь ее понять.

— Вы знаете, он — настоящий Отелло.

Так как до сих пор мы говорили о старике докторе, их домашнем враче, то я, удивленный этим странным его свойством, возразил:

— Никогда этого нельзя было подумать!

Она вздохнула:

— Да. И ужасно сознавать, что ты в полной власти такого человека. Иногда я жалею, что вышла за него замуж. Я уверена, что у него голова расшиблена до сих пор.

— Ах, вы говорите о муже! Но ведь он...

Она удивленно посмотрела на меня.

— Голова расшиблена не у мужа. Он ее сам расшиб.

— Упал, что ли?

— Да нет. Он ее расшиб этому молодому человеку.

Так как последний раз разговор о молодых людях был у нас недели три тому назад, то "этот молодой человек", если она не называла так доктора, был, очевидно, для меня личностью совершенно неизвестной.

Я беспомощно взглянул на нее и сказал:

— До тех пор, пока вы не разъясните причины несчастья с "молодым человеком", судьба этого незнакомца будет чужда моему сердцу.

— Ах, я и забыла, что вы не знаете этого случая! Недели три тому назад мы шли с ним из гостей, знаете, через сквер. А он сидел на скамейке, пока мы не попали на полосу электрического света. Бледный такой, черноволосый. Эти мужчины иногда бывают удивительно безрассудны. На мне тогда была большая черная шляпа, которая мне так к лицу, и от ходьбы я очень разрумянилась. Этот сумасброд внимательно посмотрел на меня и вдруг, вставши со скамьи, подходит к нам. Вы понимаете — я с мужем. Это сумасшествие. Молоденький такой. А муж, как я вам уже говорила, — настоящий Отелло. Подходит, берет мужа за рукав. "Позвольте, — говорит, — закурить". Александр выдергивает у него руку, быстрее молнии наклоняется к земле и каким-то кирпичом его по голове — трах! И молодой человек, как этот самый... сноп, — падает. Ужас!

— Неужели он его приревновал ни с того ни с сего?!

Она пожала плечами.

— Я же вам говорю: они удивительно забавные!

II

Простившись с ней, я вышел из дома и на углу улицы столкнулся с мужем.

— Ба! Вот неожиданная встреча! Что это вы и глаз не кажете!

— И не покажусь, — пошутил я. — Говорят, вы кирпичами ломаете головы, как каленые орехи.

Он захохотал:

— Жена рассказала? Хорошо, что мне под руку кирпич подвернулся. А то, — подумайте, — у меня было тысячи полторы денег при себе, на жене бриллиантовые серьги...

Я отшатнулся от него.

— Но... при чем здесь серьги?

— Ведь он их с мясом мог. Сквер пустой и глуши отчаянная.

— Вы думаете, что это грабитель?

— Нет, атташе французского посольства! Подходит в глухом месте человек, просит закурить и хватает за руку — ясно, кажется.

Он обиженно замолчал.

— Так вы его... кирпичом?

— По голове. Не пискнул даже... Мы тоже эти дела понимаем.

Недоумевая, я простился и пошел дальше.

III

— За вами не поспеешь! — раздался сзади меня голос.

Я оглянулся и увидел своего приятеля, которого не видел недели три.

Вглядевшись в него, я всплеснул руками и не удержался от крика.

— Боже! Что с вами сделалось?!

— Сегодня только из больницы вышел; слаб еще.

— Но... ради Бога! Чем вы были больны?

Он слабо улыбнулся и спросил в свою очередь:

— Скажите, вы не слышали: в последние три недели в нашем городе не было побегов из дома умалишенных?

— Не знаю. А что?

— Ну... не было случаев нападения бежавшего сумасшедшего на мирных прохожих?

— Охота вам таким вздором интересоваться!.. Расскажите лучше о себе.

— Да что! Был я три недели между жизнью и смертью. До сих пор шрам.

Я схватил его за руку и с неожиданным интересом воскликнул:

— Вы говорите — шрам? Три недели назад? Не сидели ли вы тогда в сквере?

— Ну да. Вы, вероятно, прочли в газете? Это самый нелепый случай моей жизни... Сижу я как-то теплым, тихим вечером в сквере. Лень, истома. Хочу закурить папиросу, — черт возьми! Нет спичек... Ну, думаю, будет проходить добрая душа, — попрошу. Как раз минут через десять проходит господин с дамой. Ее я не рассмотрел: — рожа, кажется. Но он курил. Подхожу, трогаю его самым вежливым образом за рукав: "Позвольте заку-

рить". И — что же вы думаете! Этот бесноватый наклоняется к земле, поднимает что-то — и я, с разбитой головой, без памяти, лечу на землю. Подумать только, что эта несчастная беззащитная женщина шла с ним, даже не подозревая, вероятно, что это за птица.

Я посмотрел ему в глаза и строго спросил:

— Вы... действительно думаете, что имели дело с сумасшедшим?

— Я в этом уверен.

IV

Через полтора часа я лихорадочно рылся в старых номерах местной газеты и наконец нашел, что мне требовалось.

Это была небольшая заметка в хронике происшествий:

“Под пароми алкоголя. — Вчера утром сторожами, убиравшими сквер, был замечен неизвестный молодой человек, оказавшийся по паспорту дворянином, который, будучи в сильном опьянении, упал на дорожке сквера так неудачно, что разбил себе о лежавший неподалеку кирпич голову. Горе несчастных родителей этого заблудшего молодого человека не поддается описанию...”

* * *

Я сейчас стою на соборной колокольне, смотрю на движущиеся по улице кучки серых людей, напоминающих муравьев, которые сходятся, расходятся, сталкиваются и опять без всякой цели и плана расползаются во все стороны...

И смеюсь, смеюсь..

НОВОСЕЛЬЕ

Он был такой чистенький, новенький, будто бы его сейчас только отлакировали и выпустили в продажу... Новенькая студенческая фуражка, убийственные синие брюки, сверкающие воротнички. Когда он вошел в нашу комнату, получилось впечатление вынутой из мешка Жар-Птицы.

Он вежливо щелкнул одним каблуком о другой, переложил фуражку под мышку и, откашлявшись, сказал:

— Не мог ли бы я надеяться на согласие ваше откушать нынче вечером у меня на новоселье.

Так он и сказал, негодяй: откушать.

Коллега Финкель лежал в это время на географической карте Европы, разостланной на полу, и ел арбуз, сплевывая косточки непосредственно в Средиземное море.

Коллега Васькин, обладатель пары ног, поразительно разнообразных по внешности в том отношении, что одна была в красном чулке, а другая в старинном ботинке, — занимался тем, что, держа другой ботинок в руке, широкими рецинскими мазками замазывал чернилами все рыжие места.

Финкель положил недоеденную корку арбуза на Апеннинский полуостров, встал, закурил папиросу и, стряхнувши пепел на прекрасные брюки гостя, солидно сказал:

— Надеяться вы можете. Самое ужасное, когда человек, лишенный всяких надежд, сидит в тупике безнадежности. Но надейтесь только в том случае, если будет что ни только от-кушать, но и от-выпить.

— Я люблю преимущественно коньяк и преимущественно пиво, — разоблачил себя Васькин, смотря на гостя ясными глазами.

— Прейскурант напитков издания 1908 года суть мое любимое произведение беллетристики, — падая со смехом опыта пловца на Немецкое море, сообщил Финкель.

— И я назвал бы мелким негодяем всякого цензора, который осмелится сделать там цензурные урезки.

— Будет исполнено, ваше превосходительство, — сказал растерявшийся юноша, неудачно стараясь попасть в тон хладнокровному Финкелю.

— Браво, старик! Я всегда, несмотря на происки твоих высокопоставленных врагов, был о тебе хорошего мнения. Иди и твори. Только если у тебя на новоселье будет тамбовский генерал-губернатор, мы демонстративно уйдем.

Финкель прекрасно знал, что никакого губернатора не будет, и предупредил юношу только для придания себе веса.

С юноши взяли торжественное обещание не приглашать особ первых четырех классов и наконец отпустили, занявши предварительно три рубля.

— Для начала новой жизни, — как объяснил бесцельный вообще в своих поступках Финкель.

Собралось народу немало.

Юноша, по имени Жердь, два студента без имен, замечательных только тем, что один был юристом, а другой медиком, два студента с именами, но затруднявшихся указать свои факультеты, один студент, заявивший с самого начала, что его фамилия Сидоров и ни на какие другие сделки он не пойдет, Васькин, упорно старавшийся выдвигать из тени запятнанный чернилами ботинок, и, наконец, Финкель, явившийся позже всех и выразивший неудовольствие по поводу того, что толпа не встретила его кликами восторга и неподдельным народным ликованием.

— А, впрочем, черт с вами! Покажи, старик, свою трущобу.

Вместо трущобы Финкелю и другим были показаны две прехорошенькие, чистенькие комнаты, с чистенькими занавесками и чистенькими олеографическими картинками.

Финкель потрогал руками занавески, покачал головой и тоном опытной хозяйки определил:

— Занавески.

Осмотрел, сопровождаемый толпой, картины и не колеблясь заявил:

— Картины.

Толпа, пораженная его знаниями, обратила внимание эксперта на стоявшего в углу этажерки фарфорового амура. Финкель осмотрел его, поцарапал ногтем и сказал:

— Это вещь не дешевая. Заграничная. С ней нужно осторожно.

Впрочем, тут же он ее и разбил, уронивши на пол.

В комнате, исполнявшей роль гостиной, был сервирован стол, уставленный разнообразными бутылками и кувшинами.

Финкель сел рядом с хозяином и сказал, что только из уважения к памяти его родителей он будет пить кроме других напитков виски.

— Виски пьется обычно с водой, — тоном опытного неисправимого пьяницы заявил конфузившийся до сего хозяин.

— Хорошо, старик, — согласился Финкель. — Я буду пить виски, а ты воду. Потом мы можем слиться в одном дружеском объятии.

А Васькин почтительно спросил хозяина:

— Вы, вероятно, много путешествовали, дяденька, что так хорошо все знаете?

Когда кушанья были съедены дотла, студент, до сих пор упорствовавший в своем желании сохранить за собою фамилию Сидорова, встал и заявил хозяину:

— Коллега, я хочу танцевать.

Хозяин выразил неопределенное опасение насчет стариухи-хозяйки, женщины крайне нервной и раздражительной, но Финкель его успокоил:

— Ты думаешь, что она испугается шуму? Видишь ли, если мы постепенно будем начинать шуметь, это ее раздражит, но если мы сразу произведем какой-нибудь адский звук — все остальное покажется ей тихой музыкой. Мы сейчас тебя застрахуем.

Не будучи человеком, у которого слово расходится с делом, Финкель немедленно ударил палкой в медный таз и обрушил с высоты своего роста пару тяжелых кресел.

За стеной послышались стоны, крик, и в комнате спустя минуту появилась делегация в виде толстой кухарки.

Финкель с изысканной любезностью предложил ей стакан рому, затем сделал на ухо заманчивое предложение, а затем, получив отказ, строго заявил, что в случае протеста хозяйки она будет выслана в 24 часа по петербургскому времени.

Кухарка ушла, и молодежь стала развиться по-прежнему. Сидоров с огоньком протанцевал на неубранном столе джигу, а потом все хоронили коллегу Васькина.

Покойник лежал поперек кровати, обнявши руками подушку, и в такой необычной для мертвеца позе он находил еще силы неясно и глупо хихикать.

Финкель выступил вперед и, пошатываясь от горя, предложил сказать надгробную речь. Количество времени, которое он употребил на то, чтобы сделать это предложение, заставило хозяина опасаться за хладнокровие слушателей во время восприятия самой речи, но — напрасно, потому что Финкель после слов:

— Миледи! В наше время, когда воздух во всех направлениях исчерчен аэропланами, прозванными за свою прыткость дирижаблями... — заплакал навзрыд и, махнув рукой, сел на фуражку хозяина.

Студент без факультета попытался пощупать покойнику пульс, но так как он шарил эту часть организма на

ноге, то выяснилось полное его незнакомство с медицинским факультетом.

Юноша, по имени Жердь, читавший до сего времени по усопшему, вместо псалтыри, "Генриха IV" Шекспира, святотатственно схватил покойника за нос и воскликнул:

— Смотрите! Он все более и более приближается к типу настоящего покойника...

Раздался крик ужаса.

Сидоров, мирно пивший до сих пор в уголку из бутылки пиво, вскочил и со стоном заявил:

— Господа! Мне все кажется вверх ногами.

Им заинтересовалась медики, со стороны скорее научной.

— Все, решительно?

— Все. Ей-Богу! Вот смотрю так — и все вверх ногами — и стол, и картины, и комод, и умывальник.

Сидоровым заинтересовалась все.

Кто-то сообразил, что если поставить Сидорова на голову, то он увидит все в нормальном виде. Поставили. Ассистенты держали его за ноги, а предложивший опыт сутился подле, спрашивая:

— Ну, что? Легче?

Оказалось легче, но Сидоров стал жаловаться на тяжесть в голове.

Тогда выступил опытный во всех передрягах Финкель.

— О чем тут толковать? Если бедному малому картины, стол, комод и умывальник кажутся вверх ногами, то наше дело, как товарищей его, выручить беднягу: нужно просто все эти предметы перевернуть и переставить вверх ногами, — тогда все станет для него простым и понятным.

За идею ухватились с жаром.

Работа закипела. Некоторые переворачивали вещи, другие срывали картины, вешая их вниз головой, и для крепости вбивали гвозди прямо в центр полотна. Отходили к противоположной стенке и любовались любопытным и странным зрелищем, которое представляла комната.

Финкеля огорчило только то, что умывальник, даже не имея пробоины, дал течь.

Тот, для кого делалась эта титаническая работа, к сожалению, мирно спал...

На другой день к нам в комнату опять вошел хозяин вчерашней пирушки. Платье его потускнело, фуражка была смята, и глаза намечались так слабо, что, не будь на лице бровей, так бы и невозможно было определить их местоположение.

Он, по-давешнему, переложил фуражку под мышку и, стукнув каблуком о каблук, сказал:

— Не мог ли бы я надеяться на согласие ваше откупить нынче вечером у меня на новоселье.

От изумления Финкель чуть не проглотил папиросу, которую курил.

— Старик! Да ведь мы вчера уже, тово...

Гость подмигнул с выражением закоренелой наглости, которая появилась на его кротком лице со вчерашнего дня.

— Хватились! Старая дура еще сегодня утром мне отказалась. Сегодня вечером я буду праздновать новоселье на другой квартире...

ОСКОРБЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЕМ

Монументов чувствовал себя таким веселым, жизнерадостным, что еле удерживался от желания пуститься в пляс без всякой музыки, как козленок.

Сейчас только он сказал барышне в голубом платье, что любит ее, и она ему сказала, что любит его, а оба вместе они решили, что им нет никакого основания не быть счастливыми и поэтому, где-то за портьерой, в двух шагах от танцующих, даже поцеловались.

Потом решили дать исход волне нахлынувшего на них счастья и веселья — купили по мешочку конфетти и, задорно хохоча, стали бросать пригоршнями в лицо друг другу разноцветные кружочки.

Монументов, запорошивши глаза барышне в голубом платье, сжался над ней и принял ссыпать горстями конфетти танцующих и публику, которая скучающе слонялась из угла в угол.

Около дверей сидел старый геморроидальный чиновник Катушкин и, презрительно вытягивши нижнюю плохо бритую губу, пренебрежительно наблюдал танцы.

Он чувствовал себя нехорошо.

Ему было жаль рубля, который он истратил, заплативши за вход, было обидно, что он старый и не может

танцевать, а главное, раздражала его полуоторванная пуговица фрака, которая висела на ниточке и могла каждую минуту оторваться.

Когда он потихоньку дергал ее, она как будто бы держалась, но старый Катушкин не верил ей и злобно думал, что стоит ему только забыть о пуговице, — она сейчас же оторвется и потеряется.

— Танцуют... дьяволы! — с нечеловеческой злобой размышил Катушкин. — Чем делом каким-нибудь полезным заниматься — они скачут, как учёные собачонки. Чтоб вы там себе ноги ваши переломали.

Он стал мечтать о том, что хорошо бы незаметно перерезать проволоку для электрического освещения или чтобы музыканты вдруг почему-либо отказались играть.

— Не желаем, мол, играть для разных дураков!

Жизнерадостный Монументов проходил мимо угрюмого Катушкина под руку с голубенькой барышней и говорил ей:

— Как это красиво все: и этот благотворительный бал, и прекрасная музыка, и веселые, изящные танцующие.

Потом он увидел желтое сердитое лицо Катушкина, и ему захотелось чем-нибудь развлечь этого мрачного, неподвижного старика. Ласково улыбнувшись ему, он вынул из мешочка остаток конфетти и игривым жестом избалованного шалуна осыпал целым дождем голову Катушкина.

Монументов и голубенькая барышня последовали дальше, но через три шага их догнал страдальчески-злобный голос:

— Милостивый государь! Этто... этто... неслыханно!! Этто...

Влюблённые обернулись, и Монументов в упор столкнулся с исковерканным злобой и бешенством, потемневшим лицом Катушкина.

— Что вам угодно? — изумленно спросил он.

— Как вы смели оскорбить меня действием? — пропшипел Катушкин.

— Я, вас? Боже ты мой! Чем?

— Зачем вы швырнули мне в физиономию какую-то бумажную дрянь? Что я вам сделал?

Голос его стал визгливым и плачущим. Нижняя губа прыгала, угрожая каждую минуту отвалиться совсем.

— Помилуйте! Какая же это дрянь... — сконфузился Монументов. — Это конфетти. На балах существует такой шутливый обычай: осыпают этими кружочками друг друга.

— Не желаю я ваших дурацких обычаев! — шипел Катушкин, трогая потихоньку висящую на нитке пуговицу. — Вот есть бальный обычай: скакать козлом на потеху добрым людям или развратно целоваться за портьерой? (голубенькая барышня краснела) — так вы и мне прикажете скакать подобно млекопитающему козлу или лизаться за портьерой? Не желаю-с! Не желаю-с!

Вокруг них стала собираться любопытствующая публика.

— Чего же вам от меня надо? — спрашивал красный как рак Монументов. — Если желаете, я могу извиниться!

— Ага! Теперь извиниться! Обидят человека, наплюют, оскорбят действием человека, а потом — ах, извините, пожалуйста! Не нужно мне ваших извинений! Я этого дела так не оставлю.

— Чего же вы от меня хотите?

Катушкин обвел покрасневшими от злости глазами собравшуюся публику и поманил пальцем распорядителя вечера, беспокойно прислушивающегося к спору.

— Г. распорядитель! Надо мной учинено насилие... Будьте добры пригласить г. околоточного для составления протокола.

Распорядитель смущенно потер затылок и сказал, боясь Катушкина за пуговицу:

— Ради Бога, успокойтесь! Пожалуйте в контору, там полиция сделает все по закону.

— Что вы делаете?! — завизжал Катушкин. — Смотрите! Вы мне чуть не оторвали пуговицу! Смотрите — на ниточке держится! Что же это? Уже и показаться нельзя на люди! Один бросает в физиономию какими-то... предметами, другой отрывает пуговицы! Не желаю в контору! Меня здесь оскорбили — пусть здесь и составляют протокол.

Шум разрастался.

Музыка замолкла на полуноте.

Танцующие приостановились и потом сбились в кучу около голубенькой барышни, которая билась в истерике.

Быстрыми шагами в зал вошел околоточный, сопровождаемый двумя городовыми.

— Господа! Прошу разойтись. В чем здесь дело? Вы говорите: он оскорбил вас действием? Ваша фамилия, господин?

— И этого запишите! — визжал Катушкин. — Они здесь все одна шайка. Тот мне чуть не оторвал пуговицу, необходимую для соблюдения приличия внешности костюма, а этот бросал в лицо какими-то твердыми предметами. У меня есть свидетели, г. околоточный! Что же это такое? Сегодня он в меня бросил твердым предметом, а завтра бросит бомбу или какое другое взрывчатое вещество. А эта девица в голубом платье, которая притворяется плачущей, — его сообщница, г. околоточный. Не-ет! я этого дела так не оставлю!

Катушкин визжал, хватался за лицо, которое, как он уверял, было ушиблено, и тер щеку носовым платком до тех пор, пока она действительно не стала производить впечатления ушибленной...

Домой чиновник Катушкин ехал удовлетворенный, без прежнего желчного чувства к танцующим и жалости за истраченный на вход рубль. И даже оторвавшаяся-таки в конце концов пуговица — не оставила в его душе тяжелого, неприятного осадка.

ИСТОРИЯ ОДНОГО РАССКАЗА

18-го декабря 1903 года Василий Покойников принес в редакцию газеты "Вычегодская Простыня" свой первый рассказ "Рождественская ночь".

Рассказ был, как рассказ.

В нем сообщалось об одном бежавшем с каторги преступнике, который в рождественскую ночь задумал совершить преступление. Он прокрался к одному домику на окраине города и заглянул в окно, с целью узнать, кого ему придется сегодня укокошить. Преступник увидел бедную худую мать, у которой не было даже дров, чтобы растопить печь, и понятно, что она своим телом согревала бедную худую малютку дочь, которая дрожала у нее на коленях. На столе лежала маленькая корка хлеба — и это было все, что осталось от прежней богатой меблировки. В лирическом отступлении автор рассказывал, что у женщины, видите ли, был муж, но его однажды перерезало поездом, так что бедной жене он уже был ни к чему... Преступник не читал этого

разъяснения автора, но, поглядевши в окно, так расстрагался, что, еле сдерживая слезы, ворвался в домик, сорвал с себя пальто, накрыл им озябшую малютку, потом вынул из кармана последние 3 рубля (добытые, заметьте, как это ни удивительно, честным путем), сунул их матери в руку, прошептав:

— Сделайте на них малютке елочку.

И потом, раскаиваясь во всех своих грабежах и преступлениях, выбежал полуодетый в поле, где свистела и выла снежная выюга.

Автор, по неопытности, не знал, что ему делать с раскаявшимся преступником, попавшим без пальто в снежную выюгу, и поэтому предательски заморозил его, скрывши это преступление тем, что засыпал несчастного снегом.

Конец рассказа был такой:

“А выюга все свистела и выла, будто торжествуя над несчастным... Засыпая в смертельном сне, он улыбнулся и — так и заснул на веки, с радостной улыбкой...”

“Митька Вампир искупил свои грехи...”

“Мятель выла”...

Этот рассказ появился в рождественском номере “Вычегодской Простыни” и многим понравился.

Василий Покойников был все праздники в чаду славы и отходить стал только в Великом посту. На масленице еще — кое-кто спрашивал его:

— Это вы написали рассказ “Рождественская ночь”? Очень, очень мило.

А потом прекратились эти вопросы.

Подходила Пасха.

За неделю до Пасхи Василий Покойников стал ходить унылый и задумчивый, а в страстной вторник сел писать пасхальный рассказ.

Он долго тер свою талантливую голову, стараясь придумать что-нибудь особенно трогательное, но не мог. Потом ему сделалось жаль, что он так необдуманно воспользовался раскаявшимся преступником для рождественского рассказа, в то время когда такой преступник великолепно мог раскаяться на Пасху.

А потом писателя осенило.

Он взял газету, в которой был напечатан его рождественский рассказ, и горячим лучом своего таланта рас-

топил снег, согнавши также мороз, который сковывал собой весь рассказ...

Сметя мощным движением остатки снега, Покойников развесил по разным местам колокола, и там, где раньше выла и бушевала выюга, — теперь раздавался лиующий, мощный пасхальный благовест.

Голодная бедная мать по-прежнему сидела с худой малюткой дочерью на коленях, но теперь им уже не хватало для благополучия — кулича и яичек, чтобы разговеться.

Митька Вампир, который даже в великую пасхальную заутреню не могбросить своих позорных привычек, опять подкрался к домику, чтобы уокошить несчастных, но, увидя, что у них нет пасхального стола, снова раскалялся и, войдя в дом уже как старый знакомый, разрыдался и дал на этот раз пять рублей (остальные два рубля были прибавлены Покойниковым как компенсация за пальто, в котором несчастные теперь не нуждались).

Жестокий закон стройности и законченности произведения неумолимо требовал смерти Митьки Вампира; такой смерти, которой он мог бы искупить свою позорную и предосудительную жизнь... Но было одно затруднение: теперь не было мороза! Покойников хотел сначала сжечь его жгучими лучами солнца, но выходило неправдоподобно. Перебросить же всю компанию куда-нибудь на экватор — казалось Покойникову задачей слишком сложной и громоздкой.

Покойников схитрил.

Поломал на реке лед, устроил ледоход и, посадив на льдину котенка, стал подстрекать Вампира ползть в воду и спасти его.

Безалаберный Вампир доверчиво полез за котенком, а Покойников потихоньку придавил ему спину льдиной и потопил Вампира.

Рассказ “Пасхальная ночь”, напечатанный в газете “Вычегодская заря”, тоже очень понравился. Автор стал входить в известность. Он стал ухаживать за богатой барышней, и она, прельстившись славой жены литератора, сделалась Покойниковой...

Переехали в Петербург, и Покойников завел связи со столичными газетами и журналами.

Едва наступал какой-нибудь большой праздник, как в доме Покойниковых начиналась двойная чистка и убор-

ка. Одна — в сфере домашней обстановки и утвари, другая — за письменным столом литератора Покойникова. Он вынимал своего Вампира, чинил его, засыпал все снегом, или развесивал колокола, или заливал своих героев водой, потом, проморивши некоторое время мать и дочь голодом, нес свою "Ночь подо что-нибудь" в редакцию.

Печатали.

Жена очень гордилась Василием, и талант его вызывал в ней сладкий, благоговейный ужас. Любила она мужа главным образом за ум и талант, читая его произведения всегда со слезами на глазах.

Русская революция не застала Василия Покойникова врасплох. Он, не растерявшись, превратил домик вдовы в покинутую конспиративную квартиру, облачил постаревшего и разочарованного жизнью Митьку Вампира в гороховое пальто, и бывший преступник с той же присущей ему экзальтацией выручал вдову из разных бед, как и раньше...

Жена молилась на своего мужа.

Однажды, в осенний вечер, Покойников стоял около отрывного календаря и, отворачивая листки, искал праздника, хотя бы и не такого большого, как Рождество или Троица...

Жена тут же перелистывала старый-прestarый иллюстрированный журнал, который она, роясь от скуки в книгах мужа, обнаружила на чердаке.

Переворачивая рассеянно пожелтевшие страницы, она остановила взгляд на каком-то рассказе и стала пробегать его. Рассказ назывался "Рождественское преступление каторжника"...

И вчитываясь в него, жена литератора неожиданно побледнела... и к концу — бледнела все более и более...

Она постепенно узнавала и домик на краю города, и мерзнувшую голодную вдову с малюткой дочерью, и каторжника, которого хотя и звали Петькой Коршуном, но он, по своим поступкам, с утомительной последовательностью напоминал Митьку Вампира...

Дочитав до последней фразы:

"Мятель свистела"...

Жена опустила на руки голову и тихо беззвучно заплакала.

Она плакала о своей загубленной жизни, тосковала по рухнувшем мираже, по разбитом идеале, который теперь, не видя происходящего, стоял с нахмуренными бровями около календаря и подбирался незаметно к Рождеству.

ПЕРВЫЙ ДЕБЮТ

(РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ)

Настроение на этом собрании было какое-то особенное, приподнятое.

Старый, пыльный чердак, заваленный массой разного хлама и украшенный красивыми гирляндами тяжелой от пыли паутины, давно не видел такого оживления и подъема духа.

Первым говорил самый почтенный из всех призраков, — призрак старого повесившегося нотариуса.

— Милостивые господа! — начал он. — Сегодня мы имеем юридическое и моральное право исполнить наше главное назначение, — явиться людям, живущим в этом доме, и хорошенько напугать их. В качестве юриста я, не останавливаясь на моральной стороне дела, укажу на наше юридическое право: сегодня наступит знаменитая, популярная среди призраков ночь, ночь под Рождество, и мы будем большими дураками, если не воспользуемся хорошенько этим прекрасным случаем. Моральное освещение нашего предполагаемого предприятия я предоставляю моему уважаемому соседу, отцу дьякону.

Призрак дьякона крякнул и сказал:

— Одобряю! Прихожане погрязли в грехах и забыли о будущей жизни... Да... это самое... надо им сделать тонкий намек на это толстое обстоятельство.

Дьякон прислушался к вою ветра в трубе, потрогал свою печень и со щемящей тоской в голосе добавил:

— Сколько они этой водки вылакают за праздник — уму непостижимо!

Призраки притихли, грустно поникнув головой.

Желая нарушить печальное молчание, призрак коммивояжера поднял голову и сказал:

— А за границей мы уже являлись...

— Что?

— За границей, говорю, наш брат уже отпраздновал эту ночь.

— Почему?

— Как же! У них на тринадцать дней раньше. По новому стилю. Я был в Берлине, там являлся, теперь здесь буду.

Все с завистью посмотрели на расгоропного коммивояжера, а нотариус сказал:

— В сущности, вы, как русский подданный, не имеете права являться в Берлине. Вас могли за это притянуть... Бррр... как воет ветер!

Приютский мальчишка, хлебнувший, в свое время, под горячую руку уксусной эссенции, посмотрел в темный, не освещенный луной угол и прошептал:

— А мне, дяденьки, страшно чивой-то!

Нотариус обернулся к нему и сухо спросил:

— Ты — первый год?

— Первый.

— Сам?

— Сам. Хозяин шпандырем уж очень дубасил.

— Причина, положим, глупая. Но являться тебе все-таки нужно... Господа, разрешите поставить на очередь вопрос: кто к кому в этом доме желал бы явиться?

— Я желаю явиться в жилище третьего этажа, моей бывшей соседке, — сказал сухощавый призрак старой девы. — Однажды я просила у нее на один час красный зонтик, а она, дрянь эта, не дала... Напугаю я ее за это до смерти!

— Вздорная бабенка, — шепнул старый нотариус своему соседу, бакалейному лавочнику. — Я, господа, беру на себя смелость явиться в пансион для благородных девиц во втором этаже. Я имею на это юридическое право.

Хотя нотариус соврал (никакого юридического права он не имел), но ему уступили, причем бакалейщик взял на себя квартиру мануфактурщика, с которым он был знаком домами, а дьякон пожелал до смерти перепугать содержателя ресторана со спиртными напитками.

Более опытные призраки расхватали себе всех хороших жильцов, а бедный, приютский мальчишка молчал и поэтому когда вспомнили о нем, то ему достался старый меняла четвертого этажа, сухой, черствый старик.

Втайне призрак приютского мальчишки мечтал о графе первого этажа, в квартире которого он как-то разглядел через окна красивый потолок и шкуру медведя на диване, но теперь графа забрал себе коммивояжер, и мальчишка робко согласился на скучного, неприятного менялу...

— Ну, мы будем собираться, — распорядился нотариус, — а вы, отец дьякон, пошаркайте пока по полу ногами и порычите немножко.

— За... зачем это? — умирая от страха, спросил приютский мальчишка.

Нотариус подмигнул.

— Это им там внизу до ужаса взвинтит нервы... И когда мы явимся, они уже будут хорошенько *приготовлены*.

Приютский мальчишка, оставшись на чердаке последним, задрапировался в дырявую простыню, которую ни один из призраков не хотел брать, и, вздохнув, поплелся к своему менялю.

По пути он дрожал от страха, а в голову ему приходила мысль: бросить свою простыню и удрать во все лопатки.

Но, боясь насмешек своих товарищей и чувствуя жадное любопытство к тому, как испугается его старый меняла, призрачный мальчишка отогнал трусливые мысли и бодро вошел в спальню менялы.

Хозяин раздевался, чтобы лечь спать. Он повязал уже голову платком и, почесав худую волосатую ногу, хотел улечься, как сонный взгляд его упал на стоящего в углу приютского мальчишку.

— Это что такое? — скрипучим голосом спросил он и стал вглядываться старыми тусклыми глазами... — Это что такое? Неужто, привидение? Гм... странно!

Видя, что меняла не испугался, призрак мальчишки помялся немного, потом нерешительно поднял руки и засыпал:

— Гуууу!!.

Меняла неторопливо встал, взял свечу и, подойдя к призраку, окинул его строгим взглядом.

— Привиденье? — отрывисто спросил он.

— Буууу!

— Не строй дурака! Привиденье?

— Да, дяденька.

— Зачем?

Мальчишка подумал и решил сказать самое страшное, что он знал:

— Пришел взять твою душу, а потом наставить синяков на руках, на голове и исполосовать всю спину.

— Гм, — угрюмо усмехнулся меняла, — широко задумано! Для чего же это тебе нужно?..

Этот вопрос застал приютского мальчишку врасплох. Он и сам не знал, для чего ему все это нужно.

Растерявшийся, мальчишка выпучил свои призрачные глаза и снова загудел:

— Уууу..

— Удивительно остроумно! — сердито проворчал меняла. — Чем глупости выкидывать, лучше бы делом каким занялся... Да, право! Ходят, ходят тут всякие, а зачем — и сами не знают. — "Я призрак! Я привидение! Я пришелец из загробного мира!!" — Да мне-то какое до этого дело? Подумаешь! Я понимаю, если бы это кому-нибудь приносило пользу, а то ведь так — дурака валяете!

Приютский мальчишка стоял сконфуженный и еле удерживался, чтобы не расплакаться.

— А тебе, паренек, стыдно! Ты призрак молодой совсем, перед тобой вся... (старик замялся) вся... смерть впереди, а ты, вместо того чтобы делами хорошиими заниматься, по ночам шатаешься, людей пугаешь. Ведь вот испугайся я, ты бы обнаглел и готов был бы мне на голову сесть, а теперь, увидев, что твое дело не выгорело, стоишь как пень и не знаешь, что делать дальше... Уу... Безнравственный мальчишка!

Меняла с презрением отвернулся от уничтоженного призрака и, кряхтя, лег под одеяло.

Приютский мальчишка, притаив дыхание, выждал несколько минут и потом, подкравшись к задремавшему меняле, потихоньку ушипнул его за ногу.

— Вот я тебе ушипну, негодяй! Ты мне будешь щипаться... Проваливай!

Призрак потоптался еще несколько минут около кровати менялы. Он попытался сдернуть с него одеяло, но неудачно, потом дернул старика за ухо.

Меняла делал вид, что спит и не замечает стараний приютского мальчишки.

Прибегнув в последний раз к своему излюбленному приему, густому гудению, и видя его безрезульятность, призрак мальчишки горько вздохнул и, обескураженный, нехотя зашагал на чердак.

Вокруг нотариуса сидела почти вся компания вернувшихся призраков, и все обменивались впечатлениями минувшей ночи.

Общий результат был таков, что все обитатели дома перепугались до смерти.

Когда же очередь дошла до приютского мальчишки, он нагло улыбнулся и, приняв суровый вид, стал рассказывать:

— Когда он меня увидел, то чуть не умер от страха. А я на него как напал! А-а, говорю ему, такой-сякой!

Делом не занимаешься, глупости все на уме! Вот я тебя сейчас! А он плакал, просил прощения и, залезши под кровать, трясясь, как осиновый лист. Я его поколотил хорошенько и ушел!

ПОЕЗДКА В ТЕАТР

Ловким, грациозным движением Коля Кинжалов подсадил Лизочку Миловидову на площадку трамвая, а потом, вслед за ней, так же грациозно вскочил и сам.

Коля Кинжалов в этот вечер чувствовал себя в особенном ударе. Был он в новом смокинге, лаковых ботинках, купленных по чрезвычайно удачному случаю, и теперь ехал с Лизочкой в театр, что сулило ему много впечатлений, прекрасных и захватывающие интересных.

— Пардон-с, пардон-с, — вежливо, но твердо говорил он стоявшей в проходе публике, — позвольте dame пройти вперед!

У него в уме уже назревала остроумная шутка, которую он скажет, получая от кондуктора билет. Это должно было рассмешить Лизочку, а развеселившись, она будет еще плотнее прижиматься к его плечу и еще более мягким взглядом будет смотреть на него, сильного и умного Колю Кинжалова...

— Господа, пардон! Позвольте dame пройти вперед и, ради Бога, не толкайтесь.

Вагон неожиданно остановился.

Сделав испуганное лицо, Коля Кинжалов пошатнулся, растопырил руки, подпрыгнул и сел на колени какому-то дремавшему человеку в меховой куртке, пребольно наступив ему на ногу.

Господин встрепенулся, столкнул с себя Колю и суро-во сказал:

— А чтобы тебя черти взяли! Медведь!!

Сердце Коли Кинжалова колыхнулось и провалилось куда-то далеко, далеко...

Он сразу, с ужасающей ясностью, почувствовал, что сейчас, после этого оскорбления, должно произойти что-то такое ужасное, такое неотвратимое и такое ничем уже непоправимое, после чего сотрется и исчезнет их поездка, театр, новый смокинг, купленные по чрезвычайно удачному случаю лаковые ботинки и даже сама Лизочка Миловидова — его первая благоуханная любовь.

Он оставил руку Лизочки, обернул свое пылавшее жаром лицо к господину в меховой куртке и тонким, срывающимся голосом, чувствуя за спиной Лизочку, вскричал:

— То есть... Это кто же медведь?!

— Вы — медведь, черти бы вас разорвали! Своей лапой вы совсем в лепешку расплющили мою ногу!

"Сейчас надо ударить, — лихорадочно быстро пронеслось в голове Коли Кинжалова. — Кулаком или ладошкой? Ладошкой лучше, потому что это считается пощечиной... Благороднее и оскорбительнее..."

Коля вынул правую руку из кармана и дрожащим голосом сказал:

— Если вы смеете оскорбляться, то я... смею драться!! Я вам покажу сейчас.

Немедленно же Коля пожалел, что не ударил своего противника сразу: в таких случаях обыкновенно не разговаривают.

— Вы у меня узнаете, как оскорбляться!!

— Чего-с?!

Господин вскочил, двинулся на Колю, и Коля сразу увидел, что господин выше его на целую голову...

— За такие оскорблении бьют... — болезненным шепотом вырвалось у Коли.

— Неужели? — иронически протянул вскочивший, расстегивая меховую куртку. — Неужели? А что, если я выдеру сейчас твои красные ушонки и засуну тебя под скамейку, как паршивого зайчонка! А?!

Кто-то из публики, с наслаждением дожидавшейся начала драки, засмеялся.

Мастеровой в издерганной шапочонке восторженно хлопнул себя по животу и взвизгнул:

— Бейтесь, братцы!

Истинный художник — он интересовался не результатом дела, а его процессом...

Двумя звонкими пощечинами прозвенели в ушах Коли Кинжалова незабываемые на всю жизнь слова:

"Красные ушонки... паршивый зайчонок..."

Падая в бездну, Коля, сам не зная для чего, схватил господина за руку и жалобно пролепетал:

— Нет... этого я так не оставлю...

Но тот уже странно, устало сгорбился, с оскорбительным равнодушием зевнул в самое лицо Коли и небрежно обратился к кондуктору:

— Конюшенная скоро?

— Сейчас остановка.

Господин стряхнул с себя Колину руку и, насвистывая, направился к выходу.

Цепляясь за меховую куртку, Коля шел за уходящим и плачущим голосом кричал, теряя по дороге остатки рыцарства:

— Нет, вы так не уйдете... Вы меня оскорбили...

— Ну!! — угрожающе обернулся тот. — Что нужно?!

— Вы ругались, вы оскорбляли меня, хорошо же...

Одной рукой Коля держал господина за рукав, а другой — неуклюже шарил в смокинге одревесневшими пальцами бумажник.

— Ага... Вот! Если вы порядочный человек!

Коля вынул карточку и подал ее господину в меховой куртке. Ощущение чего-то невыносимо позорного и скверного стало исчезать, уступив место сознанию, что сейчас Коля думает и поступает, как решительный человек и джентльмен с твердыми правилами.

— Это что еще за комедия?

— Это не комедия... это моя карточка, с помощью которой я вызываю вас на дуэль!

— На дуэль-эль?!

Господин, не читая, потрепал карточкой по пальцам своей левой руки, скомкал карточку, бросил карточку на пол, сказал громко и раздельно:

— Ду-рак!

И вышел на площадку, ловко соскочил потом со ступеньки, еще до остановки вагона.

Коля двинулся вслед за ним и, перевесившись через перила, закричал:

— А, что, испугался, негодяй?! То-то! А то бы я переломал твои кривые ножонки! Трус, трус, подлец!!

Странно: Коля Кинжалов сделал, кажется, все, что полагалось порядочному человеку, но возвращался он к Лизочке со странным и неприятным ощущением высеченного человека...

И она его встретила странно: отдернула руку и нервно сказала:

— Садитесь уж.. Вон свободное место.

Ехали молча.

Коля пожевал губами, проглотил обильную слюну и непринужденно начал:

— Его счастье, что удрали!.. А то бы...

Потом небрежно улыбнулся:

— Был у меня в Ялте тоже подобный случай, только с более печальным для того человека исходом... Сажусь я тоже таким же родом в трамвай и, представьте...

Коля говорил нарочно громко, чтобы его слышала и посторонняя публика.

— Сажусь я в трамвай и, представьте...

Сосед Лизы, отставной военный, улыбнулся и сказал, обращаясь более к Лизе:

— Жаль только, что в Ялте нет трамвая!

Восторженный мастеровой захохотал. Усмехнулись и другие.

Коля наклонил голову и стал застегивать уже застегнутую пуговицу пальто.

— То есть не трамвай... а этот самый... как его...

— Дирижабль? — подсказал кто-то из угла.

Лизочка звонко расхохоталась. Коля насищенно улыбнулся и пошутил:

— Ну вот... вы еще скажите: воздушный шар! Да... сажусь в дилижанс, а он меня как-ак толкнет! — Извинитесь! — Не желаю. — Извинитесь! — Не желаю. — Ага... не желаете? — Схватил его, да в запертое окно — трах! — и выбросил. Двенадцать рублей потом взыскали с меня за разбитое стекло! Хе-хе-хе...

Все сконфуженно молчали.

Толстый купец, сосед Коли, закашлялся и, наклонившись, сплюнул. Плевок описал полукруг, попал на лакированный ботинок Коли и застыл на нем.

Лизочка это видела и заметила, что это видел и Коля. Коля, в свою очередь, чувствовал, что Лизочке известно позорное состояние его ботинка, но, вместо того чтобы потребовать от купца извинения, он потихоньку пододвинул ногу под скамейку и угрюмо, злобно проговорил:

— А то еще был со мной такой забавный слу...

— Ладно, пойдем, — нервно вскочила Лизочка.
— Нам здесь сходить.

* * *

Коля Кинжалов и Лизочка, съежившись под мелким дождем, молчашли к театру.

Коля ненавидел театр, и ботинок, и Лизочку, и себя — главным образом себя.

Сзади их кто-то догонял.

Мокрый мастеровой внезапно выпрыгнул из тьмы около электрического фонаря и, подойдя боком к Коле, негодующе и презрительно ткнул пальцем в его щеку.

— Эх ты! Курица... Туда же... Отчего ты не свистнул ему по уху? Интеллигенты!

Обиженный мастеровой вздохнул и скрылся во тьме.

А Коля оперся плечом об электрический столб и, не стесняясь уже присутствия Лизочки, беззвучно пласал.

ПЬЯНЫЙ

По тротуару Невского проспекта шел тихими шагами господин.

Проходя мимо освещенной витрины парикмахерской, он задорно подмигнул парикмахерской кукле, споткнулся о темную тень от фонаря и потом с неопределенной улыбкой на лице остановился посреди тротуара с целью завести часы.

Вынув из кармана дверной ключ, он с трудом продел его в часовое кольцо и, повернув несколько раз, успокоенный, побрал дальше.

В голове у него бродила смутная мысль, что хорошо бы сказать сейчас гревшимся у костра извозчикам какую-нибудь утешительную речь, или поцеловать морду унылой лошади на углу... или спеть что-нибудь такое, от чего все бы плакали.

Господин остановился около чугунного льва перед дверьми какого-то магазина и ласково погладил холодную спину зверя.

— Заяб, цуцик? Ну, пойдем со мной, дурачок... Ну?

Видя, что лев не обратил внимания на ласковое приглашение, господин вздохнул, схватился за голову и, пошатываясь, побрал дальше.

Господин медленно приближался к ярко освещенному подъезду кафе, и по мере приближения благодушная улыбка на лице его все тускнела и тускнела, давая место недоумению и испугу.

Остановившись недалеко от подъезда, он открыл рот и, смотря в завесу ночи остекленевшими от ужаса глазами, стал прислушиваться к гудению большого дугового фонаря...

— Господи! — прошептал он. — Что же это такое? Гудит!..

К его удивлению, гуляющая публика совсем не обращала внимания на это гудение, проходя мимо с самыми равнодушными лицами.

На душе у господина сделалось тяжело.

Он неожиданно схватил какого-то маленького худого прохожего за руку и таинственно отвел его в сторону.

— Что вам угодно? — спросил тот изумленно.

— Вы... ничего не слышите?

— Ничего. А что?

— Гудит!

— Что гудит?

— Вы слышите?! Гу-у... Это ужасно!

— Что ж такое? Это обычновенный дуговой фонарь.

— Но ведь он гудит!!

— Это ничего не значит. Послушайте... шли бы вы спать!

Господин заплакал и, цепляясь за руку прохожего, вскричал:

— Неужели вы это дело так оставите?

— Да какое же дело?

— Гудит! Ах ты, Господи! Гудит, а они идут мимо...

Звери... дикари...

Господин подошел к пожилой dame и, взявши ее за голову, наклонил к своему уху.

— Гудит? Слышите? — таинственно шепнул он.

Дама закричала.

— Чего ты кричишь? Легком... мысленная женщина.

— Я позову городового!

— Верно! Может, начальство обратит внимание...

Я сам пойду позову городового.

Оставив легкомысленную damu, господин подошел к городовому и стал делать ему рукой таинственные знаки... Он кивал пальцем, моргал глазами, причмокивал и, выпучив щеки, шептал:

— Г. городовой! Г. городовой!!

— Что прикажете?

— Обратите ваше внимание...

— На что, господин?

— Гудит!

— Где? Что?

— Пойдем, покажу.

Подтащив городового к фонарю, господин со страхом поднял палец вверх и шепнул:

— Гудит!

— Да-с. Фонарь.

— Городовой?! Зачем он гудит!

— Да вам-то что, господин? Пусть себе гудит.

— Городовой?! Зачем он так?

— Идите спать!

— Не могу я этого так, милый, оставить!

— Что же вы сделаете?

— Поеду... к... градоначальнику! к преосвященному...
Пусть они обратят внимание. Гудит... Несчастный я человек.

Городовой ушел, а господин стоял, подняв измученное, утомленное лицо к фонарю, и грозил ему пальцем:

— Гудишь! Я ттебе погу...жу!

Он задумался и потом поправился:

— Погудю!

Проходила какая-то девица:

— Пойдем со мной, дуся.

— Миллай! Не могу я пойти.

— Почему?

— Как же я его так оставил!

Он долго и подробно стал объяснять девице о причинах, удерживающих его здесь.

— Ну, какое тебе дело, что гудит? Что тебе такое? Фонарей не видал?

— Господи! Никто меня не понимает... Ведь гудит он! Понимаешь, так: гуу...

— Да тебе обидно, что ли?

— Не могу я так этого оставить... Пойми меня: иду я по улице тихо, благородно, никого не трогаю, а он вдруг гу... гудит! Как я могу это оставить? Ведь это — столица.

— Ну и стой здесь, как дурак.

С хитрой улыбкой господин погрозил ей пальцем, сел на ступеньки подъезда и, расстегнув бобровую шубу, сказал:

— Не могу я этого так оставить! Гудишь? Гуди, чтоб ты лопнул! Я около тебя посижу.

Господин задремал. Тротуары пустели, огни постепенно гасли, и, когда запоздалые посетители кафе наконец вышли, выругав рассевшегося на ступеньках человека, фонарь неожиданно перестал гудеть. Он странно замигал, блеснул ярко еще раз и — погас...

— Ага! — сказал господин, удовлетворенно вздыхая.

— А то — гудеть. То-то.

Улыбнулся, прищелкнул пальцами и, запахнув шубу, пошел неверными шагами по тротуару, постепенно удаляясь, пока не слился с серой тьмой дремавшей улицы.

СЛУЖИТЕЛЬ МУЗ

— К вам можно?

Не дожидаясь ответа, ко мне в кабинет боком притиснулся высокий парень с тупым взглядом исподлобья и порывистыми, без всякой логики, движениями.

— Это вы самый и есть редактор?

— Не скрою... Я, действительно, немного замешан в этом деле.

— Так. Странно только, что лицо у вас не редакторское. Такое, какое-то... недалекое.

— Послушайте...

— Да вы не обижайтесь... Ведь я не ставлю вам этого в вину.

— Что вам нужно?

— Принес стихи!

— Хорошо... Оставьте! Ответ через две недели...

— Э, нет! Мы эти штуки знаем... Я хочу, чтобы вы их сейчас прочли.

Будучи втайне зол на посетителя за его отзыв о моем лице, я решил затянуть ответ еще больше, чем на две недели.

— Зайдите как-нибудь зимою. Тогда я... Впрочем, можно прочесть их и сейчас!

Последняя фраза была произнесена мной невольно, после того как я поднял глаза на посетителя и увидел направленное на меня дуло револьвера.

Съежившись, я небрежно спросил:

— Вы хотите показать мне систему вашего револьвера?

— Нет, я хочу показать свою систему беседы с людьми вашего пошиба. Скажите, хотели бы вы получить кусок свинца в лоб?

Я категорически отказался от этого.

— Во-первых, мне сейчас некогда! Затем, ваше предложение так неожиданно... Я подумаю. Зайдите на днях.

— Да ты стихи прочтешь или нет?! — заревел посетитель, потрясая револьвером.

— Конечно, конечно... Я уверен, что стихи ваши пре- восходного сорта.

— Еще бы! Эй! Убери от звонка лапу, а то я ее перешуплю!!

— Вы думаете, я хотел позвонить? Глубоко ошибаетесь... Какой у вас красивый почерк!

— Нужно быть упадочником и дегенератом, чтобы, держа такое произведение в руках, восхищаться только почерком. Читай, — только с чувством!

Я исполнил его приказание лишь наполовину, потому, что стал читать рукопись с чувством глубокого отвращения. Она начиналась так:

Что вы жирные? Что серые?
Дьявол вас на свет призвал...
Думы — мыши... вас без меры я
Ненавидел. Целовал.
Ваш овал.
Как шаман, я дик, я страшен —
Не хочу в подвал,
Одинок, я в зубьях башен
Черепа овал
Целовал!..

Закрывши глаза и приложив в рассеянности револьвер к животу, поэт наслаждался музыкой своих стихов. Я хотел потихоньку дернуть его за руку, палец которой был на курке, но поэт открыл один глаз и вопросительно посмотрел на меня.

— Читали вы что-нибудь подобное?

Совершенно искренно я ответил:

— Ничего подобного я не читал.

— То-то же... Вы третью строку поняли?

— Ах, это где мыши?.. Очень, очень мило.

— Вы поняли, что такое мыши?

— Как же! Это такие серые животные из породы грызунов, которые...

— Боже! И такой человек — редактор! Ну, где у вас мозги? Я спрашиваю, где ваши мозги?

Боясь, чтобы он в поисках моих мозгов не вспомнил о револьвере, я поспешил замять этот щекотливый вопрос.

— А эта строка у вас — чудо, что такое!

Как шаман, я дик, я страшен...
Не хочу в подвал!

— Ты догадался, почему он не хочет в подвал?

— Гм... Конечно! Надеюсь, у него были основательные причины для этого.

— У тебя в разговоре ужасно пошлая проза... Я уверен, что тебе не понятна даже такая элементарная строка:

Одинок я в зубьях башен...

— Испытал ли ты такое одиночество?

— Откровенно говоря, такое одиночество мне не перепадало. Так, вообще, кое-что... было.

— Тебе, вероятно, незнакомо и это переживание:

Черепа овал
Целовал...

— Переживал ты это?

— Погодите... Дайте вспомнить! Вы говорите: овал черепа? Нет!.. Насколько память мне не изменяет — не приходилось.

Я скорбно вздохнул:

— Да и где мне! Так, живешь себе без всякого удовольствия...

— Потому что ты не поэт, а червь.

— Совершенно верно. Это вы тонко подметили.

— Ну так вот... Оставляю тебе это стихотворение... Не благодари! Терпеть не могу, когда мне руки лижут. Заплатить можешь сейчас. Постой — сколько тут строк? Десять? Ну, будем считать для ровного счета — пятнадцать... я беру по три рубля строка (это ты заруби себе на носу), значит, сорок пять... ну, для ровного счета — пятьдесят рублей!

Искоса взглянув на револьвер, я вынул из бумажника деньги и робко положил на стол.

Взявши их, он сказал:

— Только слово "серые" напечатайте серой краской...

— Виноват, но типографские условия...

Стучал револьвером по столу, он отчетливо отчеканил:

— Знайте, что для меня типографских условий не существует! Я хочу, чтобы мои стихотворения производили на публику впечатление...

— Бреда сумасшедшего, — хотел докончить я вслух, но промолчал.

Когда он встал и спрятал опасное оружие, собираясь прощаться, я предложил ему, втайне дрожа от радости, что он уходит:

— Можно там, где вы говорите о жирных мышах...

— Ну...

— Напечатать слово "жирные" жирным шрифтом. Это произведет впечатление...

— Идиот!

Он презрительно пожал плечами и вышел, пропуская ко мне в кабинет нашего сотрудника.

— Скажите, — угрюмо спросил я, — что это за сумасшедший?

Сотрудник удивленно посмотрел на меня.

— Сумасшедший?.. Это известный поэт-модернист. Его везде охотно печатают.

Я уткнулся в бумаги и проворчал:

— Охотно вам верю.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРТИНЫ

Из выставочных встреч

До сих пор при случайных встречах с модернистами я смотрел на них с некоторым страхом: мне казалось, что такой художник-модернист среди разговора или неожиданно укусит меня за плечо, или попросит взаймы.

Но это странное чувство улетучилось после первого же ближайшего знакомства с таким художником.

Он оказался человеком крайне миролюбивого характера и джентльменом, хотя и с примесью бесстыдного лгания.

Я тогда был на одной из картинных выставок, сезон которых теперь в полном разгаре, — и тратил вторые полчаса на созерцание висевшей передо мной странной картины. Картина эта не возбуждала во мне веселого настроения... Через все полотно шла желтая полоса, по одну сторону которой были наставлены маленькие закорючки черного цвета. Такие же закорючки, но лилового цвета, приятно разнообразили тон внизу картины. Сбоку висело солнце, которое было бы очень недурным астрономическим светилом, если бы не было односторонним и притом — голубого цвета.

Первое предположение, которое мелькнуло во мне при взгляде на эту картину, — что предо мной морской вид. Но черные закорючки сверху разрушали это предположение самым безжалостным образом.

— Э! — сказал я сам себе. — Ловкач художник просто изобразил внутренность нормандской хижины...

Но одностороннее солнце всем своим видом и положением отрицало эту несложную версию.

Я попробовал взглянуть на картину в кулак: впечатление сконцентрировалось, и удивительная картина стала еще непонятнее...

Я пустился на хитрость — крепко зажмурил глаза и потом, поболтав головой, сразу широко открыл их...

Одностороннее солнце по-прежнему пузырилось выпуклой стороной, и закорючки с утомительной стойкостью висели — каждая на своем месте.

Около меня вертелся уже минут десять незнакомый молодой господин с зеленоватым лицом и таким широким галстуком, что я должен был все время вежливо от него сторониться. Молодой господин заглядывал мне в лицо, подергивал плечом и вообще выражал живейшее удовольствие по поводу всего его окружающего.

— Черт возьми! — проворчал я, наконец потеряв терпение. — Хотелось бы мне знать автора этой картины... Я б ему...

Молодой господин радостно закивал головой.

— Правда? Вам картина нравится?! Я очень рад, что вы оторвались от нее не можете. Другие ругались, а вы... Позвольте мне пожать вам руку.

— Кто вы такой? — отрывисто спросил я.

— Я? Автор этой картины! Какова штучка?!

— Да-а... Скажите, — сурово обратился я к нему.

— Что это такое?

— Это? Господи Боже мой... "Четырнадцатая скрипичная соната Бетховена, опус восемнадцатый". Самая простейшая соната.

Я еще раз внимательно осмотрел картину.

— Соната?

— Соната.

— Вы говорите, восемнадцатый? — мрачно переспросил я.

— Да-с, восемнадцатый.

— Не перепутали ли вы? Не есть ли это пятая соната Бетховена; опус двадцать четвертый?

Он побледнел.

— Н-нет... Насколько я помню, это именно четырнадцатая соната.

Я недоверчиво посмотрел на его зеленое лицо.

— Объясните мне... Какие бы изменения сделали вы, если бы вам пришлось переделать эту вещь опуса на два выше?.. Или дернуть даже шестую сонату... А? Чего нам с вами, молодой человек, стесняться? Как вы думаете?

Он заволновался.

— Так нельзя... Вы вводите в настроение математическое начало... Это продукт моего личного переживания! Подходите к этому, как к четырнадцатой сонате.

Я грустно улыбнулся.

— К сожалению, мне трудно исполнить ваше предложение... О-очень трудно! Четырнадцатой сонаты я не увижу.

— Почему??!

— Потому что их всего десять. Скрипичных сонат Бетховена, к сожалению, всего десять. Старишка был преленивым субъектом.

— Что вы ко мне пристаете?! Значит, эта вещь игралась не на скрипке, а на виолончели!.. Вот и все! На высоких нотах... Я и переживал.

— Стариk как будто задался целью строить вам козни... Виолончельных-то сонат всего шесть им и состряпано.

Мой собеседник, удрученный, стоял, опустив голову, и отколупывал от статуи кусочки гипса.

— Не надо портить статуи, — попросил я.

Он вздохнул.

У него был такой вид, что я сжался над заблудившимся импрессионистом.

— Вы знаете... Пусть это останется между нами. Но при условии, если вы дадите мне слово исправиться и начать вести новую честную жизнь. Вы не будете выставлять таких картин, а я буду помалкивать о вашем этом переживании. Ладно?

Он сморщил зеленое лицо в гримасу, но обещал.

* * *

Через неделю я увидел на другой выставке новую его картину: "Седьмая фуга Чайковского, Op. 9, изд. Ю. Г. Циммермана".

Он не сдержал обещания. Я — тоже.

НАСТОЯЩИЕ ПАРНИ

Глава I. ЗНАКОМСТВО

— Чуть-чуть не упал!

— Чуть-чуть — не считается.

Этими знакомыми каждому биллиардному игроку тривиальными возгласами обменялись двое играющих: маркер и приятный господин, с быстрыми черными глазами и уверенными манерами.

Я выждал, пока они кончили партию, и, поклонившись приятному господину, сказал:

— Не желаете ли со мной одну?

— Пожалуйста. В пирамидку, по 5 рублей.

— Сделайте одолжение.

Чувствуя к нему непобедимую симпатию, я ласково улыбнулся и стал выбирать кий.

Первую партию я проиграл. С добродушной приветливостью он согласился на вторую, которую проиграл я же. Потом ему, очевидно, неловко было отказывать мне в продолжении игры, и я проиграл девять партий, заплатив все, что было у меня в бумажнике.

Господин смотрел на меня очень сочувственно, и, когда я снял с пальца бриллиантовое кольцо, он долго уговаривал меня не делать этого.

Но во мне заговорил игрок. Это воображаемое беспокойное существо заговорило во мне так сильно, что после кольца пришлось заткнуть ему глотку золотыми часами и двумя брелоками.

После этого игрок во мне уже не говорил, а вопил благим матом.

Я обшарил карманы и, не найдя в них ничего, кроме мелочи, решительно подошел к вешалке.

— Пальто! — предложил я.

Он ответил лаконически:

— Нет. Холодно. Замерзнете.

Дрожа от нетерпения, я сжал лихорадочными руками голову.

— Вот что... У вас есть слуга?

— Нет! — сказал он, смотря на меня.

— Ставлю месяц своих услуг у вас, в качестве камердинера или чего другого — против двадцати пяти рублей.

Наморщив брови, господин решительно подошел ко мне.

— Покажите руки! Ого... Мускулы есть. Работать все умеете? Неприхотливы? Сигар воровать не будете? Ладно. Месяц службы у меня идет в двадцати пяти рублях. Пища моя.

Я старался играть как можно осторожнее и лучше, но он играл с диким вдохновением и выиграл у меня эту партию так же, как предыдущие, очень быстро.

Я хотел предложить еще месяц службы, но он бросил кий и строго сказал:

— Баста! В качестве хозяина запрещаю вам предлагать мне продолжение игры. Как вас зовут?

— Григорием, — почтительно ответил я.

— Ладно. Я тебя буду называть Гарри. Гарри! Возьми платяную щетку и счисти с меня мел.

Я почистил его платье, подал пальто, и мы вышли, незнакомые еще друг с другом, чужие...

Я был молчалив и шагал сзади, усталый, перемазанный мелом, а он, легкой молодцеватой походкой, шел впереди, настынивая прекрасный мелодичный мотив.

Мы пришли в лучшую гостиницу города. Непосредственно за этим очутились в прекрасном номере из двух комнат, служившем, очевидно, моему хозяину временной квартирой.

Я снял с него пальто и остановился у дверей.

Он развалился на диване, забросил ноги на его спинку и сказал:

— Гарри!

— Что угодно?

— Ты мне нравишься, Гарри. Сегодня я хочу поужинать с тобой, причем разрешаю держать себя со мной, как с равным. Слуга на сегодня — к черту!

Я подошел к другому дивану, лег на него, задравши ноги, и весело сказал:

— А каким ужином ты бы меня, милый человек, накормил? Э?

— Позвони, пожалуйста, мы сейчас обсудим это с мертвотелем. Кнопка у дверей.

— Позвони, пожалуйста, лучше ты. Я дьявольски устал. Кнопка у дверей...

Через десять минут мы сидели за прекрасным, обильным ужином.

Мой хозяин, которого на сегодня мне было разрешено называть Мишней, был мил, добродушен и джентльменски вежлив.

— Гарри! — повторял он, наливая мне вина. — Ты настоящий парень.

В знак благодарности я небрежно кивал головой.

— Может, ты, Гарри, интересуешься знать, кто я такой? Я, брат, уфимский помещик Михаил Петрович Дыбин. Да... Помещик я. Две тысячи десятин земли, имение, мельница, образцовый питомник.

Я равнодушно зевнул.

— Две тысячи? Удобной много?

— Много.

Он помолчал, подлил мне вина и потом, положив свою руку на мою, весело воскликнул:

— Нравишься ты мне, Гарри! Ты — настоящий парень. Знаешь, Гарри, соврал я тебе. Никакой я не помещик, и земли у меня удобной нет. В этом смысле вся земля нашей планеты для меня неудобная, потому что не моя. Меня смешит: откуда это я про питомник взял? Скажешь и сам не знаешь, как это оно вышло.

— Ничего, Миша, — улыбнулся я. — Ты меня не обидел этим.

Мы чокнулись.

— Да, брат. Где там быть мне помещиком... Живу я с того, что имею в Тифлисе дом. Купец я. Домина доходный, на Арнаутской улице... Только управляющий жулик.

— А ты его прогони, — посоветовал я, разрезая рыбчика.

— Прогоню, — пообещал Миша.

Потом, выпив заплом стакан хереса, он хлопнул меня по плечу и залился хохотом.

— Гарри! А ведь это я тебе соврал. Врешь вот и сам не знаешь — зачем? Никакой я не купец и не помещик, и дома у меня нет, и насчет управляющего я не имею права сказать дурного слова, потому что управляющего-то нет... Гарри! Ты, я вижу, стоящий парень и без предрассудков... Знаешь, кто я?

— Генерал от инfanterии? — добродушно спросил я.

— Вор, Гарри, самый настоящий профессиональный вор! Но я этим, Гарри, не горжусь. Гордость — скверное мелкое чувство ничтожных натур!

Он закатился хохотом.

— Тогда, — сказал я, вставая, — я должен перед тобой извиниться... Я принимал тебя, признаться, за человека другого склада. Если так, то получай.

Я вынул из своего кармана золотые часы с его монограммой и жемчужную булавку, которая во время игры украшала его галстук.

Он удивленно посмотрел на меня, схватился за карман, за галстук и потом крепко пожал мою руку.

— Спасибо. В таком случае, я, по справедливости, должен вернуть тебе твое кольцо и часы. Потому что, хотя они твой и проиграны, но, главным образом, потому, что я тихонько переложил пару твоих шаров к себе.

— Каких? — спросил я деловым тоном.

— 14 и 10.

— Гм... Тогда я отбираю, конечно, часы. Потому что, хотя я тоже переложил к себе, когда ты зазевался, два твоих шара, но это были 9 и 7. Разница в мою пользу!

Мы помолчали.

— Ты, однако, хорошо устроился!

— Опыт, Гарри, опыт! Когда я приезжаю в какой-нибудь город — мне нужен только тяжелый чемодан и три рубля. Я еду в лучшую гостиницу и первым долгом ни с того ни с сего бросаю швейцару на чай последние три рубля. Затем требую самый дорогой номер. По гостинице разносится дураком-швейцаром слух, что приехал дьявольский богач. Непосредственно за тем я спускаюсь в ресторан при гостинице, требую ужин, вина, фруктов, сигар — так рублей на двадцать. Это для того, чтобы сразу задолжать хозяину, и ему будет жаль потом со мной расстаться. Эти дураки всегда льстят себя надеждой получить долг. Ну, а потом... когда мне больше невмоготу — я бросаю свой чемодан на произвол судьбы и еду в другую гостиницу.

Он добродушно улыбнулся.

— Из всех кирпичей, которые после моего отъезда обнаруживались в чемоданах, можно было бы к моему юбилею построить небольшой, но доходный домик хотя бы на Арнаутской улице.

Мы проболтали до поздней ночи.

Ложась спать, хозяин сказал мне:

— Гарри! Ты любишь женщин?

— Женщины — зло! Но я никогда не желал себе добра.

— Гарри! Недавно я вступил с одной рыбой кухаркой в преступную связь. Меня, нужно тебе сказать, привлекает не приятная шероховатость ее лица при поцелуях, а ее господа, и, главным образом, те маленькие штучки, которые лежат в столике спальной комнаты госпожи.

— Я тебе нужен буду? — серьезно спросил я.

— Да. Завтра господа уезжают в театр или еще куда-то. Пока я буду предаваться с кухаркой изнеженности нравов, ты можешь совершить поступок, недостойный джентльмена, — войти в спальню честной женщины.

— Сделано, — пообещал я, засыпая.

Я спал спокойно. Мне и не грезились те странные, непостижимые, неожиданные вещи, которые случились со мной сутки спустя...

Притворяясь лихим, веселым парнем без предрассудков, я должен сознаться, что втайне страшно побаиваюсь: а что, если читатель отнесется ко мне не с благосклонной улыбкой, а с отвращением и гадливостью?..

Мне это было бы ужасно больно.

Поймите ли вы меня, когда я скажу, что у меня не поднялась бы рука убить муху... Но если бы у той же мухи звенел в кармане кошелек и по желтому брюшку змеилась часовая цепь — я, не задумываясь, лишил бы собственницу этих сокровищ времени и денег.

Будь это американская муха, она была бы ужасно огорчена пропажей, потому что уж это известно: для американцев дороже всего время и деньги.

Если вдуматься в мое поведение серьезно, то ничего особенно предосудительного в нем и не было... Дебютировал я бумажником одного солидного на вид господина. Но наружность обманчива! Целый вечер я потерял на чтение глупейших любовных писем, среди которых довольно сомнительную ценность представляла просроченная ломбардная квитанция... И золотые часы, вытащенные вскоре после этого у другого господина, оказались самой наглой возмутительной подделкой. Рассмотрев их хорошенько, я немедленно вручил эту машину незнакомому мальчишке, уронившему на улице бутыль с молоком и оравшему так, будто он расколол себе череп.

Исполнив свой долг и оправдавшись перед читателями, перехожу к вечеру следующего за нашим знакомством с Дыбином дня.

— Гарри! — сказал мне Дыбин, когда мы шагали к предмету пылкой его привязанности — кухарке, носившей на лице пустяковые остатки черной осцы. — Ты не осуждаешь меня за связь с женщиной не нашего круга?

Я протянул ему руку.

— Нет, Миша! Ты должен только возвысить ее до себя.

— Ладно. Только, если я не ухитрюсь проделать это сегодня — я вообще не сделаю этого, потому что сегодня мне хочется провести то, что банковские деятели называют: ликвидация предприятия.

Когда мы вошли в кухню, то были встречены с тем энтузиазмом и пылкостью, которые приобретаются лишь долголетним дежурством у плиты.

У кухарки была гостья — прачка из ресторана, но это наших планов не портило.

Дыбин взял меня под руку и, расшаркавшись перед дамами, сказал:

— Хотя в свете не принято приводить к очаровательным хозяйствам друзей, которые могут отбить этих хозяек (мелодичный визг кухарки и хихиканье прачки), но я взял на себя такую смелость, потому что это — мой лучший друг. Он пять раз спасал меня от смерти, не говоря о том, что вынянчил меня! Что? Вы говорите, он моложе меня? Сударыни! Где кричит привязанность, там годы безмолвствуют, как говорил старик Смит и Вессон! Занимая скромную должность полоттера в монахском посольстве, друг мой сохранил ясность мысли и здравость суждений, в чем легко можно убедиться, даже не дотрагиваясь до него руками.

Речь Дыбина лилась, как рокочущий весенний ручей, и дамы не сводили с оратора затуманенных восторгом и преклонением глаз.

Я поклонился с той скромностью, которая выгодно отличала меня в отношениях с людьми, и, подойдя к прачке, благожелательно ушипнул ее за локоть.

Такой галантный прием вызвал из уст прачки легкое восклицание восторга. Она кокетливо хлопнула меня по плечу подносом, который до этого застенчиво вертела в руках, и мы сразу почувствовали себя легко и свободно.

Сели, и разговор с житейских и общественных перешел на литературные темы.

— Вы читали "Ника Картера"? — спросила меня прачка, поправляя в волосах элегантный цветок из красной папиросной бумаги.

— Не удосужился еще. Теперь я занят штудированием многотомного труда "Путешествие Пипина Короткого к истокам африканской реки Какао-Шуа". Штучка, достойная удивления.

— Не скажу, — поморщился Дыбин. — Лучшие труды по этому вопросу принадлежат не Бетховену, а Святополку Окаянному.

Потом мы пили чай. А когда кухаркины господа уехали и наверху воцарилась тишина — мы стали танцевать.

Вальс танцевали томно и страстно, под заунывный, исполненный прачкой, мотив:

— Тралла-ла-ла-ла...

А потом с огоньком и завидным оживлением протанцевали кадриль.

Дыбин на мотив "По дорожке зимней, скучной" пел "Прибежали в избу дети".

Особенное веселье и бешеная пляска шла под слова:

Безобразный, труп ужасный
Посинел и весь распух...

А после слов:

И в распухнувшее тело
Раки черные впились, —

я так развеселился, что сделал, к восторгу дам, замысловатое сальто-мортале.

Усталые, мокрые, сели ужинать и за ужином пили наливку. А потом я встал и печально, но твердо сказал:

— Мне пора!

— Нет уж, посидите еще, — умоляюще попросила кухарка.

Прачка придавила под столом мою ногу и со вздохом сказала:

— Конечно. Мы понимаем. Их ждут дамы в шляпках. Где нам!

— Сударыня! — вскричал я. — Поверьте: ваш образ навсегда зафиксируется в моем сердце. Кроме вас, у меня нет ни одной дамы. Были, но... "Одних уж нет, а те далече", как некогда остроумно выразился Сади Карно... Сударыня... Пожалуйте мне эту розу с ваших волос... Я засушу ее в книжечке для записи расходов.

У кухарки я вежливо поцеловал руку, чем привел ее в восторженное замешательство, а с прачкой дружески и тепло расцеловался... Две чистых, прозрачных слезинки дрожали на ее синих глазах.

Кухарка встала, чтобы выпустить меня в парадную дверь, но Дыбин элегантно обнял ее и решительно сказал:

— Нет, моя жизнь... Ты устала и тебе нужно отдохнуть. Я сам его выпущу. Кроме того, мне нужно сказать ему на прощанье несколько слов, о которых вам, женщинам, нельзя знать.

Он беззаботно потрепал кухарку, тронутую его заботливостью, по спине и вышел со мной в переднюю.

— Ну, Гарри, действуй! Шагами можешь не стесняться, так как я сейчас начну орать песни; только обламывай дельце скорее, потому что те могут вернуться каждую минуту. Дай, я тебя поцелую!

Я тихонько снял ботинки и пиджак и пошел по лестнице наверх, в комнаты хозяев, а Дыбин открыл парадную дверь, сказал громко: "До свидания!" и, захлопнув ее, вернулся в кухню.

Я бесшумно крался по комнатам и, пройдя столовую и кабинет, без труда нашел спальню хозяев. Другая дверь из нее вела в уборную, в которой горел слабый ночник. Я оставил ботинки и пиджак в уборной, вернулся в спальню и решительно приступил к запертой шифоньерке, где, по словам Дыбина, лежало многое из того, что могло потом скрасить нашу неприхотливую жизнь.

Дыбин не ошибался.

Когда карманы мои оттопырились, я аккуратно задвинул ящик и уже сделал шаг к уборной за ботинками, как внизу послышался звонок, потом шаги кухарки и голоса.

Не скажу, чтобы я испугался. Мне было как-то неловко... Сейчас хозяйка дома застанет в спальне меня смущенного, сконфуженного и незнакомого ей человека... Чем я могу оправдаться? Э, черт возьми! Да там и мужской голос?! Неужели это муж?!

Не рассуждая, я прислушался к приближавшимся шагам и юркнул под монументальную кровать, стоявшую в углу.

До меня донесся шорох шелковых юбок, тихие мужские шаги и голоса:

Женский. — Знаешь, Сережа, мой уважаемый супруг, вероятно, удивлен, что я за последнее время не устраиваю ему сцен за позднюю карточную игру!

Мужской. — Ха-ха! Как ты ухитрилась сплавить его из театра?

Женский. — Сказала, что мне нужно отдать кухарке распоряжение и, кроме того, написать письма двум институтским подругам. Он и уехал с этим идиотом Крышкиным!

Я высунул голову из-под кровати и взглянул на разговаривающих. Он был без сюртука, а она с голыми руками и грудью, что заставляло жестоко страдать мое врожденное целомудрие...

Глава III. РАЗВЯЗКА

В делах любовного характера я никогда до сих пор не играл позорной, пассивной роли, которая выпала теперь на мою долю... У дамы были круглые, гибкие руки, смутной белизной мелькнувшие передо мной, когда она стягивала со стройной ноги черный чулок... Но эти руки должны были обвиться не вокруг моей, а вокруг посторонней мне шеи... Когда дама отошла к туалетному столику, на котором горела свеча, то свет свечи упал сзади на прозрачную сорочку, и контуры голого тела красавицы рельефной тенью обрисовались передо мной... Но эта тонкая талия должна была сжаться не моими руками... Стойкие, прекрасные бедра, молодая расцветшая грудь, черные глубокие глаза — все это было не мое, и у меня поэтому в душе стало подыматься глухое чувство недовольства против ее наглого обожателя.

Я считал его виновным во всем:

Своим несвоевременным появлением он подвел меня самым бессовестным образом...

Он явился с чужой женой, и я, несмотря на всю свою неиспорченность, догадывался, что он поставил себе твердой целью сделать энергичное покушение на права несчастного мужа...

Наконец, он своим идиотским смехом и тихими поцелуями будил во мне нехорошие чувства, которые, может быть, без этого дремали бы себе да дремали...

Когда он подошел к кровати и его нога очутилась около моего носа, я даже хотел ущипнуть его за эту противную, тошную конечность, но благородное отдернуло мою руку тем более что снизу донесся какой-то шум и голоса.

Дама прислушалась... Потом, в ужасе, неожиданно вскрикнула:

— Боже ты мой! Муж... Мы погибли.

В таких случаях все жены и их обожатели почему-то уверены, что "они погибли", хотя все дело обыкновенно кончается несколькими подзатыльниками по адресу любовника и парой-другой упреков, несмело брошенных жене. Жена доказывает, что виноват, в сущности, муж, и это так удручет законного владыку, что он забывает пустить обожателю вслед каминные часы или прибор для снимания ботинок. Так что украшение щекотливого положения любовников эффектной фразой "мы погибли"

лишний раз доказывает пустоту и вздорность всех влюбленных.

Лежа под кроватью, я услышал шаги обожателя, юркнувшего в уборную, где лежал мой пиджак, шаги мужа, приближившегося к спальне, и легкий прыжок в кровать жены, у которой зубы стучали от совершенно бессмысленного страха.

— Ты не спиши, Маруся? — спросил муж, входя и приближаясь к кровати.

— Не сплю, мое сокровище.

— Отчего ты так бледна, моя жизнь?

— Ничего. Здесь холодно.

— Что ты! Здесь африканская температура!

— Неужели? Значит, мне жарко.

— Но ты дрожишь... Эге-ге!! Что это за мужская шляпа здесь на стуле??!

— Жан! Это недоразумение! Клянусь тебе...

Я решил, что мне время начать действовать.

Стараясь сохранить независимый вид, я выполз из-под кровати, сложил на груди руки и печально, но твердо сказал:

— Нет, Жан. Это не недоразумение!..

Муж отшатнулся от меня. Жена вскрикнула и спрятала в ужасе голову под одеялом.

— Да... Я ее любил и люблю. Но, умоляю вас, не обрушивайте свой гнев на эту кроткую страдалицу! Я виноват один. Если хотите, я дам вам всяческое удовлетворение.

— Негодяй! Вы осмеливаетесь...

— Сударь! — твердо сказал я. — Вы можете убить меня, но не оскорблять. (Втайне я предпочел бы обратное.) Я ее любил... Но разве это вина? Где корень любви?.. Спросите цветок, оживающий под лучами росистого утра, спросите птичку...

— К черту птичку! — заревел обиженный супруг.

— Правда, если вы желаете, то это пернатое может быть удалено из ряда метафор без ущерба для доказываемой мной аксиомы...

Моя солидная, внушительная речь стала, очевидно, действовать на мужа. Этот безумец начал успокаиваться.

Но жена высунула из-под одеяла голову и вскричала, закрывая лицо руками:

— Жан! Поверишь ли ты мне, когда я тебе поклянусь, что не знаю этого господина?!

— Маруся! — сурово сказал я. — Надо быть мужественной. Мы обманывали твоего уважаемого мужа, но мы же должны найти в себе смелость и сознаться в этом.

— Но я вас не знаю! Это что-то удивительное... Как вы сюда попали?

— Я? Маруся! Неужели ты и сейчас будешь обманывать этого достойного человека?.. У меня и раньше было тяжело на душе, когда ты уверила его, что едешь отдать распоряжение кухарке и написать ненаписанные письма мифическим подругам... кроме того, ты непочтительно отозвалась о симпатичном приятеле твоего мужа Крышкине, назвавши его идиотом.

— Сударыня! — угрюмо сказал муж. — И вы еще осмелились назвать Крышкина идиотом?!

— Да... Вы осмелились?! — с ноткой возмущения в голосе поддержал я.

— Жан! Я схожу с ума! Он мне совершенно незнаком...

— Мужчина без сюртука в вашей спальне под кроватью — и вы в стороне? — вскричал муж.

— Да... И вы в стороне?! Имейте мужество...

Лучшим выходом из положения сбитой с толку дамы было — залиться слезами, каковой жидкостью она и не замедлила залиться.

Я сказал:

— Итак, я к вашим услугам. Вот моя карточка. Разрешите мне надеть в уборной мой сюртук...

Он сел на кровать и сделал усталый жест.

Я сунул ему в руку карточку моего портного, посмотрел укоризненно на плачущую жену и вошел в уборную.

В полуутягие мне бросилась в глаза жалкая, скорченная фигура, прятавшаяся за рукомойником.

Снятый ранее в спальне сюртук валялся тут же на столике.

Испуганный обожатель приподнялся и сделал мне умоляющий жест.

— Что вы наделали! Я погиб! — прошептал он.

Я ответил наставительно, тоже шепотом:

— Надо быть нравственнее. Разврат к добру не ведет, молодой человек.

— Вы... уходите?

— А что же мне здесь... В кошки-мышки играть, что ли?

— А... я?

— А вы, как знаете... Прощайте.

— Послушайте... Вы надели мой сюртук... отдайте!

— Убирайтесь к черту, — энергичным шепотом посоветовал я.

— Там деньги... Бумажник!! Я закричу...

— Закричи, идиот, — согласился я. — А я скажу, что ты — вор и спрятался, чтобы обокрасть этих добрых людей. Муж теперь за меня горой будет стоять. А ей никто все равно не поверит.

— Тогда спасите меня.

Он цеплялся за меня дрожащими от ужаса руками. Я оттолкнул его ногой и вышел в спальню.

— Сударыня! — сказал я, подойдя к кровати. — Надеюсь, после вашего бессмысленного запирательства и двойного обмана этого доброго человека — между нами все кончено...

Она продолжала плакать.

— Не расспрашивайте ее пока, — попросил я угрюмо смотревшего на нее мужа. — Бедняжка сильно любила меня и никак не может успокоиться.

Я опасливо посмотрел на тяжелый зонтик, который он держал в руках, и тихонько выскоцил из комнаты.

Стараясь не шуметь, я спустился с лестницы (сам!.. честное слово — сам), еле дыша, открыл английский замок парадной двери и через секунду очутился на свежем, холодном воздухе.

Из-под темных ворот отделилась тень и прыгнула мне навстречу.

— Гарри! Цел?

— Все благополучно, хозяин. Ну, как твой роман с кухаркой? — насмешливо спросил я.

— Гарри! Душа моя разбита. Все с ней покончено.

Я грустно посмотрел на луну.

— Что делать! Я также окончательно разорвал с ее госпожой.

И когда я рассказывал ему историю своего краткого романа, бешеное ликование прорывалось в нем.

И не потому он радовался, что у меня было на три тысячи бриллиантов, новый сюртук и шестьсот рублей в кожаном бумажнике... А потому, что не ошибся во мне...

По его словам, я был действительно настоящим парнем.

КАТЬКА

У Катьки черные, немного сонные глаза, губы маленькие, ярко-красные, вечно искривленные гримасой недовольства, и щеки, покрытые пушком, как у персика... Росту она высокого, фигура стройная и восемнадцатилетняя грудь всеми силами старается выбраться из тесной бумажной кофточки на свет Божий, имея нескромное желание смутить и раздразнить своей белизной и пружинистостью всех окружающих противоположного Катькиному пола.

Ранним утром крохотный Алексей, которого все в доме называют Лобзиком, просыпается и с кроватки кричит:

— Катька! Поцеюй меня.

Катька подходит, наклоняется к Лобзику и равнодушно, без тени нежности, исполняет эту обязанность, лежащую в числе других, более сложных, на Катьке.

Поцеловав Лобзику, Катька спешит приготовить ему какую-то дрянь из манной крупы, но в столовой натыкается на гимназиста Вольдемара, брата Лобзица.

— Чудная Катька! Единственная Катька!.. — шепчет он, глядя на Катьку помутневшими глазами. Потом доträгивается до ее груди.

— Катька... Почем материю покупала?

Гимназист вовсе не обуреваем стремлением получить точный ответ... Этот меркантильный вопрос задается им с той единственной целью, что после него Вольдемар может потрогать материю, обнять Катьку и проделать вообще целый ряд других привлекательных вещей.

Несколько раз подряд он крепко, затяжными лихорадочными поцелуями старается разбудить Катьку. Но Катька лениво отстраняется и без тени какого-либо чувства шепчет:

— Оставьте, барчук. Идите учиться... Целоваться грех.

Вольдемар вздыхает, передвигает плечом на спине ранец и выходит, давая дорогу своему отцу, хозяину квартиры и принципалу горничной Катьки.

Отец оглядывается, подкрадывается к Катьке и тихо говорит:

— А дай-ка я тебя, Катька, поцелую.

Катька слабо вырывается, смотря в стену мертвыми глазами, и думает о чем-то другом. С таким же успехом

хозяин может целовать и предмет теперешнего внимания Катьки — голую стену.

— Дерево... — печально и сердито шепчет он и перестает целовать Катьку. — Катька! Сбегай за папиросами.

Под воротами Катьку встречает молодой младший дворник. Он обрушивается на Катьку со всем пылом туземца Гвадалквири, хотя сам уроженец Тульской губернии. Катька неторопливо вырывается и холодно шепчет:

— Пусти. Нехорошо... Грех.

Хозяин мелочной лавочки долго не дает ей папирос, обнимая дрожащими руками талию Катьки и шепча ей, тускло равнодушной, несложный арсенал комплиментов своей специальности:

— Рафинад! Душистый горошек-с! Дюбек лимонный-с!

Катька зевает. Ей даже лень вырваться.

После обеда к Катьке приходит в гости ее старуха мать.

Она долго сидит в Катькиной каморке, смотрит ей в лицо, целует ее волосы, глаза, в то время, когда Катька блуждает по потолку безучастным, холодным взглядом.

— Мертвенная ты какая-то. Пойду я.

— Идите, мама, — вздыхая, говорит Катька.

Поздним вечером в комнате Катьки сидит приказчик галантерейного магазина Сомова — Вася Снурыцын.

Это — единственный человек, который не целует ее. Изредка приглашивая завитые волосы и поправляя галстук, он читает газету, чистит ногти, а потом ужинает, с аппетитом уничтожая холодные котлеты и пирог.

Катька ходит около него, дрожа, наклоняется к завитым волосам и вливается в них долгим, тихим поцелуем. Приближается к приказчице щеке, трется подбородком об его галстук и потом, долго, быстрыми прикосновениями, целует ладонь его большой белой, пахучей туалетным мылом руки.

Приказчик Вася читает газету и после ужина.

СОЛИДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ЗАПИСКИ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Я — человек аккуратный.

Ложась спать, я каждый вечер аккуратно отрывал листок календаря и, аккуратно прочтя его обратную сторону, ложился в кровать, аккуратно каждую ночь засыпая.

Но однажды я нарушил этот прекрасный порядок и — все пошло к черту.

В тот несчастный вечер, с которого все началось, я, по обыкновению, прочел календарный листок, но почему-то не лег спать, а заглянул в следующий, честное слово, с той только целью, чтобы угадать, что мне придется читать завтра.

Назавтра я должен был пополнить свои знания способом американцев делать из бумаги дома — и это мне не понравилось.

Я заглянул в "послезавтра". Послезавтра календарь осведомлял публику о последних предсмертных словах разных великих людей, и эти афоризмы я читал уже в газетной "смеси" раз восемьдесят.

Огорченный, потерявший терпение, я углубился дальше.

Дни летели передо мной, как секунды, и, несмотря на то что на дворе был снежный январь, я уже перелистал март, апрель и уже купался в горячих волнах жгучего летнего солнца.

В меню все время мелькала земляника со сливками, компот из свежих персиков и салат из помидор. Я чувствовал, что эта роскошь, при осуществлении ее, нанесет моему скромному бюджету тяжелый удар, и поэтому, миновавши "виноград и американскую дыню", я расстался с золотистой меланхолической осенью.

Теперь передо мной проносилась холодная снежная зима с заносами и выгурами. Я благополучно подходил уже к веселому, жизнерадостному Рождеству, как вдруг на 18-м декабря споткнулся.

Я никогда не забуду этого дня.

Это было идиотское 18-е декабря...

Наверху было скромное благонамеренное изречение: "Старайся прожить свою жизнь хорошо и тебе будет

прекрасно житься", внизу было вкусное сытное меню, зато посередине...

Я прочел вот что:

"Американские миллиардеры. Все миллиардеры начинали ни с чего! Ярким примером этого может служить популярный в Америке Джонатан Джонс, который в начале своей карьеры миллиардера слонялся оборванный, буквально без гроша. Найдя однажды на улице апельсинные корки, он отправился на главную улицу и аккуратно разложил их на мостовой, спрятавшись потом за углом. Многие прохожие, наступив на корку, скользили, он их, высакивая, поддерживал и ничего на это, кроме слов благодарности, не выручал. Но один солидный господин, поддержанный им, вынул из кармана четверть доллара и дал их галантному оборванцу. Джонс на эти деньги накупил немного дешевого товару и, разжившись, сделался миллиардером"...

Дальше 18-го декабря я уже не пошел.

Ошеломленный, придавленный, я едва добрался до кровати и, улегшись на нее, провел ночь не смыкая глаз.

Несколько апельсинных корок и... миллиардер! Вот они — сказки жизни...

Всю ночь мне грезилась яхта в Средиземном море, дворец в Пятом Авеню и конюшня, битком набитая арабскими лошадьми.

И над всем этим ярким солнечным пятном сияла одна жалкая апельсинная корка — тот ключ, который должен открыть волшебную дверь к яхте, дворцам и лошадям.

Всю ночь я не спал, а к утру у меня созрело непоколебимое решение.

Я решил сделаться миллиардером.

Утром я отправился в банк и взял для начала дела те три тысячи рублей, которые составляли весь мой капитал.

Этот день так же, как и следующие, я провел в самых отчаянных хлопотах.

Мне нужно было найти приличное помещение для конторы в тихом деловом квартале; заказать торговые книги и нанять несколько человек расторопных, смышленых служащих, которые бы знали бухгалтерское и вообще торговое дело и были бы мне преданными, усердными помощниками.

Контору я нашел с большим трудом, потому что мне необходим был под помещением конторы обширный, сухой подвальный склад. Это стоило дорого, но мне знаком принцип, что солидность — половина успеха предприятия.

Легче всего было заказать бухгалтерские книги, которые мне изготовили под солидным и громким заглавием на корешках:

"Первый дом для эксплуатации апельсиновых корок".

Я едва выбрал время, чтобы заехать в оптовый фруктовый склад и потолковать с хозяином его о доставке мне апельсинов по оптовым ценам. Мы условились, что я буду получать, по минимальной цене, от двадцати до двадцати пяти ящиков в месяц, причем первая партия должна быть доставлена в мой погреб сегодня же.

Работа закипела.

Через неделю аппарат дела был уже настолько хорошо наложен, что мы могли приступить к практической работе.

Так как четверо моих служащих (бухгалтер, его помощник, кассир, которого я, для экономии, нанял также в качестве делопроизводителя, и телефонист) были до начала операции свободны, то я всех их занял чисткой апельсинов, на что ушел целый день.

В этот же день мне впервые пришла в голову мысль: как поступить с очищенными апельсинами? Выбрасывать было жаль, и мы решили съедать их, чтобы эти вкусные плоды не пропадали даром.

К вечеру мы имели изрядный запас корок, но на другой день я не мог выйти на работу, потому что с нашими желудками случилось что-то странное.

Это странное прекратилось только через три дня, и никаких дурных последствий оно не имело. Кассир (он же делопроизводитель) уверял, что к апельсинам легко привыкнуть, для чего их нужно чаще и больше есть.

Наконец, я отправился на работу. (Не желая первое время ставить дело слишком en grand, я обхожусь пока без помощников. В будущем же я решил завести целый штат разбрасывателей корок, организовав их на манер артели.)

В одной руке я нес корзинку с корками, в другой ящик, в котором лежали корпия, бинты и пластыри.

Выбрав людную улицу, я разбросал на большом пространстве корки и стал выжидать счастливых случаев.

Тут же я убедился, что без помощников предприятие это очень трудное, потому что на окраинах отмежеванного мною участка прохожие падали без моей поддержки и, вставая, ругались на чем свет стоит.

Центром я заведовал довольно успешно, поддерживая поскользнувшихся и поднимая упавших, за что к вечеру в моем кармане уже звенело несколько монет.

Результатом я был доволен, но меня огорчало одно: сегодня около сорока человек выразили свое мнение, что я — дурак и идиот.

Скользя и падая, каждый считал своим долгом сказать вслух:

— Какой это идиот набросал здесь апельсиновых корок!

А так как корки-то набросал именно я, то самолюбие мое было очень уязвлено.

Кроме вышеприведенного, сердце мое сжалось от того, что к концу трудового дня моя профессия приобрела мрачную, трагическую окраску...

Один старик, поскользнувшись, сломал ногу, а маленькая гимназистка вдребезги разбила свою русую головку о тротуарную тумбу!

Тут же я решил, когда дело разовьется, завести собственные каретки скорой помощи и набрать штат распоряпных докторов.

На другой день, утром, я внес кассиру всю вырученную мной наличность, а бухгалтер расписал ее по книгам в графу: "валовой доход от предприятия".

Предприятие развертывалось медленным, но верным и нормальным ходом.

Вчера мой трудовой день чуть не окончился трагически... Спеша к упавшему прохожему, я поскользнулся сам о собственную корку и разбил коленную чашечку. Теперь хромаю.

Нужно будет завести сапоги с шипами.

Какой ужас: сломал руку старый генерал, и вышиб глаз, наткнувшись при падении на палку, молодой господин.

Сегодня скандал.

Полиция, заметив, что я разбрасываю корки, поймала меня и представила в участок. Господи — за что?! Я дал свой адрес. Что-то будет!

Крах! Самый ужасный, неожиданный крах всего предприятия...

Все увечные, узнавшие из газет о "разбрасывателе корок", предъявляют ко мне гражданские иски, и, кроме того, прокурор возбуждает против меня уголовное преследование! Что-то будет?

Сегодня, отправляясь на суд, я увидел три подводы, привезшие ящики с апельсинами.

Увы! Их некому даже принять, потому что кассир (он же делопроизводитель) убежал с оставшейся в кассе тысячей рублей, а бухгалтер умер в больнице от острого желудочного расстройства.

Помощник его и телеграфист сидят теперь одни в пустой конторе и грустно ждут, пока я выдам им жалованье.

В тюрьме мне пришлось прочесть очень забавную книжку — сочинение Грибоедова. Оно называется "Горе от ума", и мне особенно понравилась в нем одна фраза: "Все врут календари"...

ЖЕРТВА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Неизвестный господин вошел в наш небольшой магазинчик, занял собою все свободное пространство и, отфыркиваясь, обратился ко мне:

— Хочу у вас кое-что приобрести.

— Мы счастливы, что ваш выбор упал именно на наш торговый дом. Но и вам повезло, что вы попали сюда: лучше и дешевле товара — нет ни в каком другом магазине.

— Ладно там.

Он не был толст. Он не был даже дороден, но вся его фигура, как причудливая елка, была обвшана разными свертками, коробками и узелками. Ни одна пуговица или крючок не оставались праздными. Карманы же каждую секунду угрожали лопнуть. Общий вид господина был уездный. Черноземом несло от него.

— Что прикажете показать?

— Дайте мне сначала, гм... перчатки!

— Для вас, monsieur?

— Для моего покойного дедушки! Я думаю, для меня.

— Какой номер?

— Провались они, эти проклятые номера! Дайте мне номер... ну... двадцать первый!

Я отшатнулся от стойки.

— Это... неслыханный размер!! Будьте добры показать ваши руки...

Он покорно выпутал руки из целой массы веревок и ленточек и протянул мне.

Руки были самые обыкновенные.

Измеривши их, я пожал плечами.

— Ваш размер, самое большое — семь с четвертью.

— Ну?

— Уверяю вас.

— Я их всегда путаю, эти номера. Тот, что я вам сказал, это для корсета моей жены.

— Двадцать первый?

— Да. Чего вы так глаза таращите?

— Ха-ха!.. Вам не улыбается быть на каторге?

— Что-о тта-акое??!

— Я только хочу вам посоветовать: если у вашей жены такая талия — никогда не рискуйте заключать ее в пылькие объятия... Она переломится, как соломинка! И вас будут судить за убийство жены, с участием сословных представителей.

Он захохотал.

— Шутник вы, и больше ничего! Дайте-ка мне еще воротничков стоячих.

— Номер?

— Дьявольщина! И здесь номер? Ну, дайте семнадцатый.

Я перестал с ним церемониться.

— Когда вас, monsieur, будут, не дай Бог этому случиться, вешать... то и тогда номер петли будет в два раза больше.

— Что это значит?

— Что вам нужен 42 — 43-й.

— Неужели?

— Клянусь вам.

Он разразился проклятиями.

— Совершенно я сбит с толку! Покупал калоши

— один номер, ботинки — другой... Очки — третий! Шляпу — четвертый... и все разные! Профессор какой-нибудь и тот не запомнит!

Я осмотрел издали его покупки и остановился на одном подозрительном свертке.

— У вас в семье несчастье?

Покупатель испугался.

— А что такое?

— Я вижу завернутое в бумагу нечто, похожее на детский гробик!

— Что вы! Это калоши.

— Номер?

Он заскрежетал зубами.

— Отстаньте от меня! Кажется — 42-й!

— Вы их, вероятно, покупали в морском министерстве?

— Нет, в магазине. Да! Дайте мне еще мыла. Вот только номер я забыл.

— Номера не надо. Ведь не на нос же вы его наденете. Радости его не было предела.

— Что вы говорите! Восхитительно! Дайте мне тогда... десять кусков.

Когда я заворачивал, он взял один из кусков, осмотрел и, швырнув его, удариł кулаком по стойке.

— Извольте видеть! Мыло перенумеровали!.. 4711-й!

Не хочу я 4711-й! Дайте мне 953-й... или 2149-й! Почему именно 4711?

Насилу я успокоил его.

Расплатившись, он нагрузился теми же свертками.

— А эти новые положите на моего извозчика.

Мальчик вынес покупки и сейчас же вернулся назад.

— Там нет извозчика!

— Как нет?! Ты врешь, негодный мальчишка!

Я выглянул за двери и сказал:

— Действительно, вблизи нет ни одного экипажа.

Покупатель схватился за голову и застонал.

— Что я наделал! Ведь на нем был детский велосипед, два пуда муки и деревенские подарки!!

— А вы номера извозчика не запомнили?

— Подите вы... подальше! Боже! Эти номера доведут меня до сумасшедшего дома!

— Заметьте, что и там вы будете под номером, — со-чувственно предупредил я.

Размахивая покупками, он выбежал из магазина, но скоро вернулся, еще более растерянный и убитый.

— Что прикажете?

— Скажите... Я не говорил вам случайно, где я в Петербурге остановился?

— Нет. В гостинице?

— У знакомых. Улицу помню — Садовая... А номер забыл. Ей-Богу.

— Вы прописаны в участке?

— Кажется.

— Тогда можете узнать, где вы живете, в адресном столе!

— А где стоит этот стол?

— Не стоит, а находится... Вы не забудете? Беспанельная улица, дом № 49, квартира № 37.

Он смотрел на меня. Лицо его все краснело и краснело. Потом на губах выступила розовая пена, потом он закачался и, наконец, увлекая свои нумерованные покупки, во весь рост грохнулся на пол.

Хоронили его без особенной пышности. В мертвецкой, до похорон, он лежал под номером четырнадцатым.

БОЙКИЙ РАЗГОВОР

Посвящаю С. М-р.

Я кончал чтение рукописи своего рассказа.

Ярко блестевшие глаза хозяйки, ее искренний интерес и напряженное внимание показывали, что рассказ имеет успех.

Но — раздался звонок. Звонок...

Влетели две дамы, составленные из двух громадных шляп, двух нелепых саков и двух длиннейших боа, обвивавших две шеи.

Втайне я искренно пожалел, что эти боа не были живыми, но явно выразил бурную радость по поводу того, что заключаю такое приятное, интересное знакомство.

— Что это вы читаете? Рассказ? Вы писатель? О, писатели опасные люди... Смотрите, вы меня не опишите.

Дамы это часто говорят, и я всегда в ответ глупо ухмыляюсь. Ухмыляться на такие слова умно — не имеет никакого расчета.

Сели. И серая тоска немедленно вползла в комнату...

— Сейчас спросят о театре, — шепнул я хозяйке.

— Ну, как вы живете? Бываете в опере?

Хозяйка вздохнула.

— Давно уже не бываю. Не приходится.

— Да? Скажите! А вы, молодой человек, бываете в театре?

— Бываю, — угрюмо отвечал я.

— В каком же?

— В анатомическом.

Дамы пугливо переглянулись.

Скука вписала в нашу жизнь длиннейшую паузу.

— Чую не желаете ли?

— Ах, нет, что вы! Ни за какие миллионы. Впрочем, от чашечки не откажусь.

Чай выручил минут на пять.

Но когда на лице хозяйки появилось выражение холодного смертельного ужаса от сознания, что нить разговора бесследно утеряна, я пришел на выручку:

— А вы, сударыня, бываете в театре?

— Да. Недавно была в Фарсе.

Какая пытка... О чем с ней говорить?

— Что же там, этого... как его!

— Что такое?

— Я хотел спросить — весело ли?

— В Фарсе? Да, весело.

Я скрыл мучительную гримасу бешенства и обратился к другой:

— Ну, а вы бываете в театре?

— Да, но я люблю оперу.

— Неужели? Как это странно?! Какую же вы любите оперу больше всего?

— Мне нравится "Пиковая дама".

— Гм... да. Бойко написанная штучка.

Я иссяк.

Очевидно, очередь была за другой, односложной, дамой. Она покрутила головой и спросила хозяйку:

— В парке гуляете?

— Нет. Не могу выбраться.

— А вы, молодой человек?

— Я? Очень часто. Больше всего — в воздухоплавательном или в артиллерийском.

Хотя я не был понят, но разговор, кажется, начинал налаживаться.

Разошлась односложная дама:

— Вообще, природа мне ужасно нравится. Деревья всякие... птицы. Хорошо бы жить где-нибудь на лугу и ночевать в палатке. А вы любите это, молодой человек?

— Как же! Удобнее всего в таких случаях спать в пробирной палатке... Полная гарантия от ревматизма.

Вторая обрадовалась:

— Кстати о ревматизме! Вы можете представить, милочка, что у Василь Сергеича доктора нашли чахотку.

По лицу хозяйки было видно, что она, к своему огорчению, не подозревала не только присутствия чахотки, внедрившейся в Василь Сергеича, но даже не слыхивала о существовании его самого.

Однако умелым расположением лицевых мускулов — необходимый интерес к событию был выражен.

— Да что вы! Ах, какой ужас. Это такой маленький, с желтой бородкой!

— Нет, высокий, бритый.

Молчание, последовавшее за этим, могло быть объяснено, как дань скорби, по поводу злосчастной судьбы бритого малого.

Я кощунственно нарушил паузу:

— А, знаете, моему знакомому вчера отрезало поездом голову.

Эта нелепая выдумка оживила разговор.

— Что вы говорите! Я не читала об этом в газетах.

— Это понятно, почему. Когда его нашли, он заклинал не придавать гласности случившегося, так как огласка могла повредить ему по службе.

— Ах, так! Вообще, эти поезда! Мой муж, например, опоздал вчера на три часа.

Очередь вытягивать разговор была за любительницей оперы, но она, очевидно, сбилась, потому что выжидательно посматривала на меня.

Я махнул рукой на всякий здравый смысл:

— Итак, вы решительно утверждаете, что, кроме Фарса, ни в каких театрах не были?

— Представьте, не была.

— И вы могли бы это показание подтвердить даже присягой?

— Боже мой! Почему?

— Это очень важно. А вы, сударыня... Вот вы говорите, что любите оперу. Хорошо-с. А любит ли ее также ваша тетка?

— У меня нет тетки!

— Печальное упущение. Но муж ваш не враг театра?

— Нет, он ходит в оперетку, иногда на концерты.

Решительно, я овладел нитью разговора. Некоторое однообразие его искупалось той бесконечностью плоскости, на которой мы стояли. Я выныгал у дам театральные вкусы всех их родственников, друзей и знакомых. Закончил Василь Сергеичем. Оказалось, что этот юноша был большим поклонником кинематографов и паноптикумов.

Судьба его была почтена опять долгим, длительным молчанием, будто бы присутствующие умственно обнажили перед чахоточным молодым человеком голову.

Я проклинал себя за неосторожность. Очень нужно было мне сводить разговор на эту трагическую личность! Нить разговора от соприкосновения с ним моментально лопнула.

Все с нескрываемым интересом стали следить за минутной стрелкой на каминных часах. Она проползла вершка полтора.

На втором вершке хозяйку повело судорогой, и она страдальчески выдавила из себя фразу:

— А у нас... Горничная уходит.

Я вскочил. Кресло со стуком грохнулось на пол. Все вскрикнули от ужаса.

Подскочивши к дамам, с пеной у рта, я кричал:

— Зачем вы явились сюда?! Что вам нужно?! У вас было важное, неогложное дело? Ваша жизнь была бы разбита и дела пришли бы в упадок, не явись вы сюда?! Да?

Общее оживление сменило нудную тишину.

— Господи Иисусе! Он с ума сошел!

Хозяйка смотрела на меня с тайным сочувствием.

— Да? Вы так думаете? А на борьбе вы были? "Веселую вдову" видели? А черта в ступе вам не удалось

видеть? Как здоровье Дьявола Семеныча? Он кашляет, да? Ах как жаль! А если вы увидите Василь Сергеича, — скажите, что я его при встрече поколочу! Мне этот болезненный молодец надоел! Кстати, "Голгофу" вы не видели? Ха-ха-ха!!!

И, не прощаясь, я выбежал на улицу.

В РЕСТОРАНЕ

— Фокусы! Это колдовство! — услышал я фразу за соседним столиком.

Произнес ее мрачный человек с черными обмокшими усами и стеклянным недоумевающим взглядом.

Черные мокрые усы, волосы, сползшие чуть не на брови, и стеклянный взгляд непоколебимо доказывали, что обладатель перечисленных сокровищ был дурак.

Был дурак в прямом и ясном смысле этого слова.

Один из его собеседников налил себе пива, потер руки и сказал:

— Не более как ловкость и проворство рук.

— Это колдовство! — упрямо стоял на своем черный, обсасывая свой ус.

Человек, стоявший за проворство рук, сатирически посмотрел на третьего из компании и воскликнул:

— Хорошо! Что здесь нет колдовства, хотите, я докажу?

Черный мрачно улыбнулся.

— Да разве вы, как его... пре-сти-ди-жи-да-тор?

— Вероятно, если я это говорю! Ну, хотите, я предлагаю пари на сто рублей, что отрежу в пять минут все ваши пуговицы и пришью их?

Черный подергал для чего-то жилетную пуговицу и сказал:

— За пять минут? Отрезать и пришить? Это непостижимо!

— Вполне постижимо! Ну, идет — сто рублей?

— Нет, это много! У меня есть только пять.

— Да ведь мне все равно... Можно меньше — хотите три бутылки пива?

Черный ядовито подмигнул.

— Да ведь проиграете?

— Кто, я? Увидим!..

Он протянул руку, пожал худые пальцы черного человека, а третий из компании развел руки.

— Ну, смотрите на часы и следите, чтобы не было больше пяти минут!

Все мы были заинтригованы, и даже сонный лакей, которого послали за тарелкой и острым ножом, рассстался со своим оцепенелым видом.

— Раз, два, три! Начинаю!

Человек, объявивший себя фокусником, взял нож: поставил тарелку, срезал в нее все жилетные пуговицы.

— На пиджаке тоже есть?

— Как же.. Сзади, на рукавах, около карманов.

Пуговицы со стуком сыпались в тарелку.

— У меня и на брюках есть! — корчясь от смеха, говорил черный. — И на ботинках!

— Ладно, ладно! Что же, я хочу у вас зажилить какую-нибудь пуговицу?.. Не беспокойтесь, все будет отрезано!

Так как верхнее платье лишилось сдерживающего элемента, то явилась возможность перейти на нижнее.

Когдасыпались последние пуговицы на брюках, черный злорадно положил ноги на стол.

— На ботинках по восьми пуговиц. Посмотрим, как это вы успеете пришить их обратно?

Фокусник, уже не отвечая, лихорадочно работал своим ножом.

Скоро он вытер мокрый лоб и, поставивши на стол тарелку, на которой, подобно неведомым ягодам, лежали разноцветные пуговицы и запонки, проворчал:

— Готово, все!

Лакей восхищенно всплеснул руками:

— 82 штуки. Ловко!

— Теперь пойди принеси мне иголку и ниток! — скомандовал фокусник. — Живо, ну!

Событильник их помахал в воздухе часами и неожиданно захлопнул крышку.

— Поздно! Есть! Пять минут прошло. Вы проиграли!

Тот, к кому это относилось, с досадой бросил нож.

— Черт меня возьми! Проиграл!.. Ну, нечего делать!.. Человек! Принеси за мой счет этим господам три бутылки пива и, кстати, скажи, сколько с меня следует?

Черный человек побледнел.

— Ку-куда же вы?

Фокусник зевнул.

— На боковую... Спать хочется, как собаке. Намаешься за день...

— А пуговицы... пришить?

— Что? Чего же я их буду пришивать, если проиграл... Не успел, моя вина. Проигрыш поставлен... Всех благ, господа!

Черный человек умоляюще потянулся руками за уходящим, и при этом движении все его одежды упали, как скорлупа с вылупившегося цыпленка. Он стыдливо подтянул обратно брюки и с ужасом заморгал глазами.

— Гос-по-ди! Что же теперь будет?

Что с ним было, я не знаю.

Я вышел вместе с третьим из компании, который, вероятно, покинул человека без пуговиц.

Не будучи знакомы, мы стали на углу улицы друг против друга и долго без слов ходили.

КАМЕНЬ НА ШЕЕ

I

Однажды, тихим вечером, на берегу морского залива очутились два человека.

Один был художник Рюмин, другой — неизвестно кто.

Рюмин, сидя на прибрежном камне, давно уже с беспокойством следил за поведением неизвестного человека, который то ходил нерешительными, заплетающимися ногами вдоль берега, то останавливался на одном месте и, шумно вздыхая, пристально смотрел в воду.

Было заметно, что в душе неизвестного человека происходила тяжелая борьба...

Наконец он махнул рукой, украдкой оглянулся на Рюмина и, сняв потертый, неуклюжий пиджак, — очевидно, с чужого плеча, — полез в воду, ежась и испуская отчаянные вздохи.

— Эй! — закричал испуганно Рюмин, вскакивая на ноги. — Что вы там делаете?

Незнакомец оглянулся, сделал рукой прощальный жест и сказал:

— Не мешайте мне! Уж я так решил...

— Что вы решили? Что вы делаете?!

— Ослепли вы, что ли? Не видите — хочу утопиться...

— Это безумие! Я не допущу вас до этого!

Неизвестный человек, балансируя руками, сделал нерешительный шаг вперед и воскликнул:

— Все равно — нет мне в жизни счастья. Прощайте, незнакомец! Не поминайте лихом.

Рюмин ахнул, выругался и бросился в воду. Вытащить самоубийцу не представляло труда, так как в том месте, где он стоял, было неглубоко — немного выше колен.

— Безумец! — говорил Рюмин, таща неизвестного человека за шиворот. — Что вы задумали?! Это и грешно и глупо.

Извлеченный на берег самоубийца сопротивлялся Рюмину лениво, без всякого одушевления. Брошенный сильной рукой художника на песок, он встал, отряхнулся и, потупившись, сунул художнику в руку свою мокрую ладонь.

— Пампасов! — сказал он вежливо.

— Каких пампасов? — изумленно спросил Рюмин.

— Это я — Пампасов. Нужно же нам познакомиться.

— Очень приятно, — все еще дрожа от напряжения, отвечал Рюмин. — Моя фамилия — Рюмин. Надеюсь, вы больше не повторите своей безрассудной попытки?

Пампасов неожиданно схватился за голову и завопил:

— Зачем вы меня спасли? Кто вас просил?! Пустите меня туда, в эти прозрачные зеленоватые волны... Я обрету там покой!..

Рюмин дружески обхватил его за талию и сказал:

— Ну, успокойтесь... Чего, в самом деле... Я уверен, все обойдется. Самое сильное горе, самое ужасное потрясение забываются...

— Да у меня никакого потрясения и не было, — проворчал, уронив голову на руки, Пампасов.

— Тогда чего же вы...

— С голоду... С нужды... Со стыда перед людьми за это рубище, которое я принужден носить на плечах...

— Только-то? — оживился Рюмин. — Да ведь это сущие пустяки! Этому горю можно помочь в десять минут! Вы будете одеты, накормлены и все такое.

— Я милостыни не принимаю, — угрюмо проворчал Пампасов.

— Какая же это милостыня? Заработаете — отадите. Пойдем ко мне. Я здесь живу недалеко.

Пампасов встал, отряхнул со своей мокрой, грязной одежды песок, вздохнул и, спрятав голову в плечи, зашагал за своим спасителем.

II

Рюмин дал Пампасову новое платье, предоставил в его распоряжение диван в мастерской и вообще старался выказать ему самое деликатное внимание, будто чувствуя себя виноватым перед этим несчастным, затравленным судьбой неудачником, смотревшим с нескрываемым восхищением на сигары, куриные котлеты, вино, тонкого сукна пиджак и прочее, чем заботливо окружил его Рюмин.

Пампасов жил у Рюмина уже несколько дней, и художник, принявший в бедняге самое искреннее, деятельное участие, рыскал по городу, отыскивая работу своему протеже. Так как Пампасов однажды в разговоре сказал: "Мы, братья-писатели", то Рюмин искал главным образом литературной работы...

Через две недели такая работа нашлась в редакции небольшой ежедневной газеты.

— Пампасов! — закричал с порога оживленный Рюмин, влетая в комнату. — Ликуйте! Нашел вам работу в газете!

Пампасов медленно спустил ноги с дивана, на котором лежал, и, подняв на Рюмина глаза, пожал плечами.

— Газета... Литературная работа... Ха-ха! Сегодня один редактор — работаешь. Завтра другой редактор — пошел вон! Сейчас газета существует — хорошо, а сейчас же ее закрыли... Я вижу, Рюмин, что вы хотите от меня избавиться...

— Господи!.. — сконфуженно закричал Рюмин. — Что вы этакое говорите... Да живите себе пожалуйста. Я думал, вам скучно — и хотел что-нибудь...

— Спасибо, — сказал Пампасов, тронутый. — Должен вам сказать, Рюмин, что труд — мое призвание, и я без какой-нибудь оживленной, лихорадочной работы как без воздуха. Эх! — Он размял свои широкие, мускулистые плечи и, одушевившись, воскликнул: — Эх! Такую силищу в себе чувствую, что, кажется, весь мир бы перевернул... Труд! Какая в этом односложном слове мощь...

Он опустил голову и задумался.

— Так бы хотел пойти по своему любимому пути... Работать по призванию...

— А какой ваш любимый путь? — несмело спросил Рюмин.

— Мой? Педагогика. Сеять среди детей семена знания, пробуждать в них интерес к науке — какое это прекрасное, высокое призвание...

III

Однажды Рюмин писал картину, а Пампасов по обыкновению лежал на диване и читал книгу.

— Дьявольски приходится работать, — сказал Рюмин, выпуская на палитру свежую краску. — Картины покупаются плохо, платят за них дешево, а писать как-нибудь, наспех, не хочется.

— Да, вообще живопись... В сущности, это даже не труд, а так что-то. Самое святое, по-моему, труд!

Рюмин ударил себя кулаком по лбу.

— Совсем забыл! Нашел для вас целых два урока! И условия довольно невредные... Хотите?

Пампасов саркастически засмеялся.

— Невредные? Рублей по двадцати в месяц? Ха-ха! Возиться с маленькими идиотами, которым только с помощью хорошего удара кулаком и можно вдолбить, что дважды два — четыре. Шлепать во всякую погоду ногами, как говорится, за семь верст киселя хлебать... Прекрасная идея, что и говорить.

Изумленный Рюмин опустил палитру.

— Да вы ведь сами говорили...

— Рюмин! — страдальчески наморщив брови, сказал Пампасов. — Я вижу, я вам надоел, я вам в тягость. Конечно, вы вырвали меня из объятий смерти и моя жизнь всецело в ваших руках... Ну, скажите.... Может быть, пойти мне и положить свою голову под поезд или выброситься из этого окна на мостовую... Что же мне делать? В сущности, я ювелир и безумно люблю это благородное занятие... Но что делать? Где выход? Что, спрошу я, — есть у меня помещение, инструменты, золото и драгоценные камни, с которыми можно было бы открыть небольшое дело? Нет! Будь тысяч пятнадцать — двадцать...

Пампасов шумно вздохнул, повалился навзничь и, подняв с полу книгу, погрузился в чтение...

IV

Рюмину опротивела своя собственная квартира и ее постоянный обитатель, переходивший от дивана к обеденному столу и обратно, чем вполне удовлетворялась его неугомонная жажда лихорадочного труда. Рюмин почти перестал курить сигары и пить вино, так как то и другое уничтожалось бывшим самоубийцей, а платье и ботинки изнашивались вдвое быстрее, потому что облекали два тела и четыре ноги — попеременно...

Рюмин давно уже ухаживал за какой-то интересной вдовой, с которой познакомился на прогулке... Он был несколько раз у нее и приглашал ее к себе, рассчитывая на время ее визита услать куда-нибудь назойливого самоубийцу.

Однажды, возвращаясь из магазина красок домой и войдя в переднюю, Рюмин услышал в мастерской голоса:

— Но ведь я не к вам пришла, а к Николаю Петровичу! Отстаньте от меня.

— Ну, один раз поцелуйте, что вам стоит!..

— Вы говорите глупости! Я вас не знаю... И потом, если об этом узнает Николай Петрович...

— Он? Он придет, уткнет нос в берлинскую лазурь, возьмет в зубы палитру и ухом не поведет. Это простак чрезвычайный! Миледи! Если вы дадите поцелуй — я его сейчас же отдам вам обратно. А?

— Сумасшедший! Что вы... делаете?..

Послыпался тихий смех и звук сочного поцелуя.

— Негодяй! — заскрежетал зубами Рюмин. — Ему мало моего платья, квартиры, еды и моих нервов... Он еще пользуется и моими женщинами!"

Рюмин повернулся и ушел. Вернулся поздно вечером. Разбудил спавшего Пампасова и сурово сказал, смотря куда-то в сторону:

— Эй! Вы видите, нос мой не уткнут в берлинскую лазурь и в зубах нет палитры. Завтра утром можете уходить от меня.

— Зачем же вы меня спасли? — удивился Пампасов.

— Сначала спасал, потом прогоняет. Очень мило, нечего сказать.

Голова его упала на подушки, и через минуту послышалось ровное дыхание спящего человека.

С ненавистью посмотрел Рюмин в лицо Пампасову, заскрипел зубами и злобно прошипел:

— У, проклятый! Так бы и дал тебе по голове...

Утром Пампасов проснулся веселый, радостный, совершенно забыв о вчерашнем разговоре.

— Встали? — приветствовал его стоявший перед картиной Рюмин. — Помните, что я вам вчера сказал? Можете убираться.

Пампасов побледнел.

— Вы... серьезно? Значит... вы опять толкаете меня в воду?

— Пожалуйста! Пальцем не пошевелю, чтобы вытащить вас. Да вы и не будете топиться!..

— Не буду? Посмотрим!

Пампасов взглянул на мрачное, решительное лицо Рюмина, опустил голову и стал одеваться.

— Прощайте, Рюмин! — торжественно сказал он.

— Пусть кровь моя падет на вашу голову.

— С удовольствием! Пойду еще смотреть, как это вы топитесь будете.

Вышли они вместе.

На берегу залива виднелись редкие фигуры гуляющих. У самого берега Пампасов обернулся к Рюмину решительное лицо и угрюмо спросил:

— Так, по-вашему, в воду?

— В воду.

Рюмин хладнокровно отошел и сел, поодаль, на камень, делая вид, что не смотрит... А Пампасов принял ся ходить нерешительными, заплетающимися ногами вдоль берега, изредка останавливаясь, смотря уныло в воду и шумно вздыхая. Наконец он махнул рукой, украдкой оглянулся на приближившихся к нему двух гуляющих, снял пиджак и, нерешительно ежась, полез в воду.

— Что он делает? — в ужасе воскликнул один из гуляющих... — Это безумие! Нельзя допустить его до этого.

Со своего места Рюмин видел, как к Пампасову подбежал один из гуляющих, вошел по колено в воду и стал тащить самоубийцу на берег. Потом приблизился другой, все трое о чем-то заспорили... Кончилось тем, что двое неизвестных взяли под руки Пампасова и, дружески в чем-то его увещевая, увели с собой.

До Рюмина донеслись четыре слова:

— Я милостыни не принимаю!..

ЛЕГЕНДА СТАРОГО ОЗЕРА

I

Это случилось очень давно... в 1645 году.

В эти старинные годы на берегу старого озера стояла финская деревушка, а в ней — избушка, а в избушке жили супруги Куртуляйнен — старый Матвей и Марта.

Общее мнение было таково, что Матвей вел себя препустейшим бездельником, а Марта была самой вздорной, злобной финкой во всей деревушке.

Однажды вечером, когда Матвею Куртуляйнену надоел оживленный диспут с супругой, он мимоходом запустил в нее табуреткой, захватил бутылку водки, удочку и пошел на свое всегдашнее место — Чертову скалу Старого озера. Как всегда — опустил удочку в воду, отхлебнул из бутылки и предался своему главному занятию — глазеть на женщин, купавшихся в нескольких десятках саженей от него...

Злой дух толкнул на этот раз Марту последить за мужем. Когда она, подкравшись, увидела ухмылявшееся лицо Матвея, следившего с любопытством за коренастыми краснотелыми, коротконогими купальщицами, то взмахнула скалкой и завизжала:

— Ах ты негодяй! Так-то ты рыбу удишь?! Вот же тебе! Хозяйство пропиваешь, бездельничашь?! Вот тебе за все!

Флегматичный Матвей поднялся, сказал:

— Ничего. Мы это кончим.

Схватил жену поперек тела и бросил в воду. Потом сел на Чертову скалу, закурил трубку и стал с интересом смотреть на борьбу жены со смертью.

Но радость его была непродолжительна.

Марта вынырнула, сделала несколько энергичных взмахов и, уцепившись за прибрежный камень, стала выползать на сушу — мокрая, страшная, молчаливая.

Сердце Матвея упало. Он вскочил с искаженным от ужаса перед грядущей расправой лицом, вылил в себя остаток водки и, предпочтя лучше смерть, взмахнув руками, решительно бросился в пучину.

Тело его рыбаки нашли через три дня...

II

Однажды летом 1909 года на берегу Старого озера сидели два купальщика: художник Воздухов и поэт Клюнин.

— Скажи, пожалуйста, — спросил Воздухов. — У этого озера есть какая-нибудь легенда?

— Почему ты это спросил? — удивился поэт.

— По-моему, каждая такая штука должна иметь свою легенду. Я не встречал ни одного замка, ни одного порядочного озера, которое не имело бы своей собственной легенды...

— Да... — тихо вздохнув, сказал Клюнин. — У этого озера есть своя старая поэтическая легенда. Мне ее рассказали суровые прибрежные рыбаки в один тихий весенний вечер, когда природа как будто притягивалась в истоме и облачко...

— Ладно, рассказываю!

Клюнин устремил взор на далекий загадочный лес и начал:

— Давным-давно, в незапамятные времена на берегу этого озера стояла деревушка... В этой деревушке жила красавица, по которой вздыхал не один окрестный парень, — такая красавица, что, где бы она ни появлялась, все озарялось прекрасным умиротворяющим светом ее лица. Но на самых богатых, самых интересных парней Марта смотрела равнодушно: она любила только своего мужа, своего Матвея Куртуляйнена, имя которого она носила и милее которого не было у нее никого... Первые годы счастье их было безоблачно, но... с некоторого времени красавица Марта начала замечать, что Матвей стал задумчивым, рассеянным и к ней как будто охладел. Он забросил работу, дела и все дни и вечера проводил один, удаляясь на Чертову скалу — безлюдное, страшное место, куда редко кто рисковал показываться... Любящее сердце Марты наконец не выдержало. Однажды вечером она тихонько последовала за мужем. И увидела она, что он сел на выступ скалы, подпер голову руками и стал пристально смотреть в воду... И по направлению его взгляда вода как будто закипела, запенилась, и показались головы женщин с рыбьями хвостами и лицами, прекрасными как луна... И они запели что-то тихое, нежное, отчего у Марты скжалось сердце, а муж ее смотрел, не отводя глаз, с лицом, пылающим любовью и счастьем... И любящее сердце

Марты не выдержало. С коротким криком: "Если они тебе дороже, чем я, так я хочу сделаться такой же, как они, чтобы опять завоевать твоё сердце!" — она разбежалась и бросилась с обрыва в воду. Вскочив, Матвей сразу опомнился и, издав дикий вопль, бросился за красавицей, но вода опять вскипела, расступилась, и прекрасные водяные обитательницы с криком: "Он наш" — увлекли его в пучину... На другой день утром на берегу нашли бесчувственную Марту, вынесенную на берег неведомыми руками, а Матвей — так и исчез в пучине. Но память о нем живет до сих пор!..

Клюнин замолчал.

Молчал и Воздухов, подавленный суровым величием легенды.

Молчало и озеро, поглотившее в себе мятежное сердце мужа красавицы и крепко таившее в своих пучинах эту тайну.

Молчали и деревья. Молчали и птицы.

Ужасная участь Матвея вызвала наконец вздох из груди Воздухова, и он сказал:

— Да...

Где-то тихо всходила луна. Всходила...

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ В КОРКИНЕ

I

Граждане города Коркина основали воздухоплавательный клуб.

Недавно председатель клуба, акцизный чиновник Собаков, устроил чрезвычайное собрание, на котором сказал звучную, красивую речь:

— Наша цель, господа, завоевание воздуха! А что мы вместо этого делаем? Пьянствуем, ссоримся, сплетничаем... Разве это достойно порядочных авиаторов? Мы должны летать, и всякий, в ком бьется сердце настоящего пилота, должен приветствовать этот шаг!

— На чем же ты полетишь, Собаков? — спросил, недоверчиво качая головой, учитель Кикин. — У нас нет ничего, кроме аппарата, сделанного коллегой Абрамсо-

ном, — такого тяжелого, что его шесть человек едва поднимают.

— Не шесть, а четыре, — сказал угрюмо изобретатель Абрамсон. — Он бы и полетел, да мотор слишком слаб.

— А вы сделайте мотор побольше, — возразил Кикин, пожимая плечами.

— Тогда крылья окажутся слабыми.

— А вы сделайте крылья больше!

— Нельзя. Тогда мотор будет слаб!

— Господа! — возвысил голос Собаков. — Из опыта нашего товарища Абрамсона мы видим, что аппараты тяжелее воздуха нам пока нужно оставить. Займемся сферическими шарами... я предлагаю приобрести вскладчину один шар и попробовать на нем осуществление гигантской идеи завоевания воздуха.

— Я могу даже купить на свой счет оболочку, — заявил домовладелец Бурачков.

— А я, в интересах науки, готов наполнить шар на свой счет газом, — поддержал аптекарь Луцкин.

— А я закажу корзину, — решил купец Поддувалов.

— Прелестно! — всплеснул руками Собаков. — И мы, как в Реймсе, устроим воздухоплавательную неделю.

II

На окраине города Коркина собралась праздная публика и, заняв собой все обширное поле, любовалась дико и изумленно на небольшой серый шар, гордо колыхавшийся в тихом воздухе.

— Господа! Не напирайте, — умолял Собаков, суетясь около шара. — Полет будет виден всем — зачем же вы напираете?

— Страшно лететь небось? — спросила какая-то женщина в платке и шумно вздохнула.

— Господа! — скомандовал Собаков, обращаясь к небольшой кучке членов клуба. — Занимайте ваши места.

Лететь собралось шестеро: домовладелец Бурачков со свояченицей, купец Поддувалов, аптекарь Луцкин с зубным врачом Шайкиной и Собаков...

— Прошу занять места в корзине, — повторил Собаков. — Не волнуйтесь, господа! будьте покойны, мадему-

азель Шайкина, и не визжите — здесь нет ничего страшного. Первый момент покажется неожиданным, а потом — полное удовольствие! Садитесь, мадемуазель Бурчумова! Луцкин, вы взяли приборы для измерения высоты. Прекрасно.

— А я закусить взял кой-чего, — сказал Поддувалов, подмигивая. — Любопытно, знаете, в надзвездных сферах рюмку выпить.

Когда все сели, Собаков в последний раз опытным глазом оглядел шар и вскочил в корзину.

— А балласт взяли? — крикнул из кучки остальных воздухоплавателей учитель Кикин.

— Взял. 4 мешка.

Собаков сделал публике приветственный жест и крикнул рабочим:

— Отпускай веревки!

— Ну? — спросил Абрамсон, подходя к корзине шара.

— Отчего же вы не летите?

— Не могу понять, — растерянно сказал Собаков.

— Канаты отпустили?

— Отпустили. Попробуйте балласт выбросить!

Собаков выбросил мешки с песком и сел на свое место.

— Не летит?

— Ни с места.

Собаков почесал затылок и обвел глазами сидевших в корзине.

— Извините, господа... но кто-нибудь должен слезть... Много народа насело. Луцкин... вам придется слезть.

— С какой стати я, — сказал Луцкин. — Вот еще! Я дал газ, да я же и лететь не могу? Вот еще!

— Тогда вам придется слезть, — развел руками Собаков, обращаясь к Поддувалову.

— Со своей-то корзины? — обиделся Поддувалов.

— Ни в жисть я не слезу!

Пилот Собаков вздохнул.

— Тогда, может быть, барышни уступят? — нерешительно сказал он.

Своячница Бурачкова и зубной врач Шайкина, сконфуженные, слезли и отошли в сторону.

— Отпустите веревки! — скомандовал Собаков.

— Да они уже отпущены.

— Черт знает что! Господин Бурачков... может быть, вы слезете?

— Я? Вы с ума сошли! Вы, кажется, забыли, что оболочка моя. Сами слезайте!

— Мне нельзя, — сказал Собаков. — Я пилот.

— В сущности, — пожал плечами аптекарь Луцкин, — что такое пилот? Будто это какая-нибудь должность или занятие? Вот вы говорите — пилот. А что вы умеете сделать на этом шаре такого, чего бы мы не могли? При чем здесь — пилот? И если нужно выбирать между людьми, которые принесли материальные жертвы нуждам воздухоплавания, и теми, которые не принесли материальных жертв нуждам воздухоплавания...

— Пожалуйста! — сказал Собаков, криво усмехаясь.

— Я слезу! Не видал я вашего шара... Подумаешь тоже — воздухоплаватели! Пропеллера от планера отличить не могут, а туда же — лететь! Шлепнетесь без меня об землю — так вам и надо!

Зловещее предсказание Собакова не могло сбыться, потому что хотя он и слез, но шар остался на месте.

— Чего же вы не летите? — ядовито сказал Собаков.
— Летите!

— Кому-нибудь еще слезть нужно, — растерялся Луцкин. — Слезайте, Поддувалов! Мы полетим с господином Бурачковым.

— Попробуйте! — сказал угрюмо Поддувалов.
А я сниму свою корзину.

— Но ведь нас троих шар не подымет!

— А мне наплевать.

— Что же вы — так и будете сидеть?

— Так и буду.

Все трое посмотрели друг на друга злыми глазами, отвернулись и застыли в напряженном ожидании.

III

Публика, зевая, расходилась с поля. Некоторые ругались, а некоторые рассудительно возражали им:

— Так нешто можно — чтоб полететь? Выдумки одни. Никак человеку полететь в небо невозможно.

Сквозь публику, толкаясь, прошла жена Поддувалова и негодующе сказала:

— Вот он где! Ищу я его дома, старого дурака, а он — вот где! Извольте видеть — в корзину забрался и сидит. Старый человек, второй гильдии купец!

В публике захочотали.

— Вылезай из корзины, старый бесстыдник! Хучь бы людей постеснился.

Поддувалов сконфузился и обернулся к Луцкину.

— Черт с вами! Летите — пусть пропадет моя корзина. Не хочу лететь!

Когда он слез — шар шевельнулся и — остался по-прежнему на месте.

Луцкин выругался и сказал, смотря на Бурачкова:

— Очевидно, этот шар для одного человека!

— Ну так и слезайте.

— Ни за что в жизни, — сказал твердо Луцкин.

— Я хочу лететь в интересах науки, а вы для удовольствия.

— Не слезешь? — грозно спросил Бурачков.

— Очень просто — не слезу.

— Хорошо, — сказал Бурачков, вставая. — Тогда отдавай мою оболочку!

— Как... оболочку? — растерялся Луцкин. — А куда же я свой газ дену?

— Забирай его куда хочешь! а я возьму свою оболочку...

— Он же мне деньги стоит! — закричал бледный, встревоженный Луцкин. — Я с утра его напускал, старался...

— Мне нет дела! Отдай мою оболочку!

— Вы не имеете права!.. Я буду жаловаться...

— А-а! Так? Ладно! Оболочка моя — что хочу, то и делаю...

Бурачков вынул нож и, приподнявшись, злобно пырнул им в надутую оболочку шара.

Шар стал худеть, ежиться и свисать на бок...

— Полетели, — засмеялись в публике.

IV

С тех пор граждане города Коркина окончательно махнули рукой на воздух и решили держаться земли. Некоторые, наиболее к ней привязанные, возвращаясь ночью из аэроклуба, держались за нее руками и ногами...

ВИНЬЕТКИ

I. ТЩЕСЛАВИЕ

Электричество заливает праздничным, веселым светом нарядную толпу, обезумевшую от теплого летнего вечера, от запаха заснувшего моря и красивой головокружительной музыки...

То и дело мне в лицо летит целая туча разноцветных конфетти, а ноги все время путаются в длинных, назойливых лентах серпантина...

Я не менее щедр: мешочек с конфетти быстро пустеет в моих руках, и красивые женщины в больших шляпах шаловливо визжат, уклоняясь от целого водопада, который низвергается на их бледные от электрического света лица с потемневшими глубокими глазами.

Впереди меня медленно шла женская фигура, как будто чего-то выжидала и нерешительно оглядывая встречную бурную волну человеческих тел. Сзади я не мог разглядеть — красива она или нет, но, в припадке шумной веселости, попытался опередить ее, держа наготове горсть конфетти...

Свет дугового фонаря упал на нее, когда мы поравнялись: сухое, желтое лицо старой девы, тонкие белые губы, собранные мелкими складками, длинный нос и впалая грудь, сожженная долголетним неудовлетворенным желанием, — все это сразу бросилось мне в глаза.

Я не разжал занесенную над ней руку, наполненную конфетти, а, брезгливо поморщившись, догнал идущую впереди женщину с круглыми плечами, стройным бюстом, тонким красивым лицом, и — неожиданный вихрь конфетти заставил ее сладко и пугливо засмеяться.

Когда сутолока и шум утомили меня, я свернулся на тихую боковую аллею и тихонько пошел по ней, разнеженный ночью, красивой музыкой и женскими улыбками.

И тут под тенью акций я увидел стоящую женщину: сухое, желтое лицо, тонкие бледные губы, собранные в складки, длинный нос и впалая грудь, сожженная долголетним неудовлетворенным желанием...

Женщина стояла ко мне боком, озиралась, чтобы ее не увидели, и, держа в одной руке мешочек, другой —сыпала разноцветными кружочками свою голову, плечи и грудь.

II. БЫЛА ПОРА, КОГДА...

— Хочу писать роман, — сказал мне приятель.

— Дело хорошее. Пиши.

— Большой роман! Есть много вопросов, накопилось много проблем, которые хотелось бы разрешить хоть отчасти.

— Тем более — нужно писать.

— Да... Большой роман! Этим вечером и думаю засесть за работу.

— План у тебя уже готов?

— Зачем план? Предрассудок из теории словесности!

Прямо — начну.

— Да благословит тебя Бог!

Мы зашли в писчебумажный магазин, и приятель мой, тщательно выбрав перья, бумагу и чернила, приказал немедленно отослать это к себе.

Прошла неделя.

Прогуливаясь утром в саду, я вспомнил о приятеле, о его романе и вздумал проводить романиста.

Истомленный, похудевший, спал он у письменного стола, окруженный целой горой изорванной, помятой бумаги. Перед спящим лежал большой лист, на котором было написано:

СРЕДИ ОБЛОМКОВ ДВУХ ЭПОХ

Роман-хроника

В шести частях, с прологом и эпилогом

Часть I

Глава I. За завесой прошлого

Была пора, когда...

Я разбудил спящего и, смотря на него в упор, спросил:

— Когда — что?

— Что, когда что?

— Вот ты написал "была пора, когда"... Так, когда — что? Он опустил голову и признался:

— Я не знаю.

С тех пор прошло два года. Приятель мой до сих пор не уяснил себе: когда — что?

III. ИЗМЕНА

Поднимаясь по лестнице меблированных комнат, служивших моим местопребыванием, я наткнулся на площадке на странную группу лиц: полицейского пристава, дворника, швейцара и неизвестного мне господина, кричавшего взволнованным голосом. Крики его сопровождались энергичной жестикуляцией, ударами кулака по перилам и размахиванием какой-то запиской перед самым носом полицейского.

— Уверены ли вы, что аноним сообщает правду?
— вежливо спрашивал полицейский.

— Уверен ли? Убежден!! Я давно замечал, что с ней дело неладно, а эта записка окончательно открыла мне глаза! Здесь — извольте видеть — точно указан час и место их свидания... Мы накроем голубчиков на месте преступления! Но нам нужен еще один свидетель! Не хватает одного свидетеля!

Обернувшись на мои шаги, полицейский приложил два пальца к фуражке и сказал:

— Не согласитесь ли... В качестве свидетеля... Прелюбодеяние!

Предложение было так неожиданно, что я не успел отказаться.

— Гм... пожалуй.

Разгоряченный господин пожал мою руку, после чего мы всей бестолковой компанией ввалились в переднюю.

— № 13?.. — спросил господин, заглянув в записку.

— Здесь. Направо.

— Отворите! — закричал господин диким голосом, обрушиваясь на запертую дверь. — Отворите, несчастные! Всякое запирательство бесполезно.

За дверью послышался испуганный женский крик и потом тихий шепот.

— Открывайте!! — бесновался разъяренный господин.

— Открывай, жалкая обманщица, и вы, наглый милостивый государь!

Из-за двери донесся подавленный крик ужаса и шаркающие босых ног по полу.

— Именем закона! — сказал полицейский, отстраняя бешеного господина.

Дверь распахнулась, и мы увидели то, что, в сущности, ожидали и раньше: перед нами стоял смущенный, растерянный господин в брюках, но без жилета и воротничка... У изголовья смятой кровати безуспешно куталась в одеяло женщина, хорошенькая, молодая, но с печатью страшного испуга на бледном лице.

Сердитый господин, окинув господина без жилета взглядом, полным уничтожающего презрения, прошипел: негодяй! — и, пройдя мимо него, схватил женщину за белую круглую руку, выше локтя.

— Будете ли вы и теперь отпираться, мерзкая женщина, что между вами нет близости?!

Она заплакала.

— Виноват, — твердо сказал полицейский, — теперь прошу вас не вмешиваться и сдержать на время свое негодование. Разрешите мне сделать некоторые формальности...

Он вынул из портфеля бумагу и сел за стол.

— Ваше имя и фамилия, сударыня?

Дама прикрыла розовые обнаженные колени сорочкой и сказала сквозь слезы:

— Надежда Скаржинская.

— Хорошо-с. Ваше имя и фамилия, молодой человек?

Господин без жилета взял в руки свой воротничок и, потупясь, ответил:

— Павел Скаржинский...

— Вы что же... Родственники?

— Да.

— А как — родственники?

— Она — моя жена...

Изумленный полицейский обернул лицо к сердитому господину, пришедшему с нами, и воскликнул:

— Тогда — кто же вы такой?

— Я — Смирнов! Я, господин пристав, давно уже замечал, что между нею и мужем что-то неладно, но, не имея поводов к ревности, не придавал этому значения. Теперь же, когда даже посторонние стали замечать их отношения и писать мне анонимные письма, — я решил изловить их на месте преступления! И вот — как видите!!

— Черт знает что такое?! — пожал плечами пристав.

— Не правда ли? — подхватил господин Смирнов.

— Возмутительно! Я ей этого не забуду...

IV. ЭКОНОМИЯ

Отец.

Сын.

Отец. — О, мое дорогое дитя! Сердце разрывается на куски, когда я вспомню, что ты едешь на край света.

Сын. — Не плачь, отец! Будем мужественны. Владивосток — это все-таки не край света.

Отец. — Подумай! Ты будешь ехать через чужую страну, наполненную беглыми каторжниками, хунхузами, по ужасной, опасной для всякого, дороге. Доберешься ли ты в целости?!

Сын. — Постараюсь добраться.

Отец. — Ты ведь, сокровище мое, известиши меня о благополучном прибытии на место?

Сын. — О, да! Телеграммой.

Отец. — Телеграммой? Гм... гм... Ты не знаешь, кажется, оттуда в Европейскую Россию телеграф берет за каждое слово 15 копеек?

Сын. — Конечно. И подешевшие дороже.

Отец. — Подумать только, что это будет стоить уйму денег... В сущности говоря, что изменится от того, что я узнаю о твоем здоровье на неделю позже?

Сын. — Хорошо. Я пришлю заказное письмо.

Отец. — Заказное? Это четырнадцать копеек. Недорого, но теперь почта так аккуратна, что и простое письмо дойдет с тем же успехом. Все-таки, в половину дешевле!

Сын. — Отец! Ведь у нас с тобой секретов никаких нет и писать придется всего несколько слов. Пришлю я тебе тогда лучше открытку...

Отец (со слезами). — И такого умного ребенка я должен скоро лишиться... Ведь это будет стоить всего три копейки! И я узнаю тогда о судьбе кости от костей моих. (Пауза.) А, знаешь, что?.. Я тебе предложу комбинацию, еще более дешевую... Приехавши во Владивосток, ты зайди в мелочную лавочку и купи на копейку два конверта. Один можешь спрятать до какого-нибудь другого экстренного случая, а на другом напиши мой адрес. Письма никакого не надо — почтовая бумага теперь кусается, — а ты возьми тот обрывок бумаги, в который тебе завернут в лавочке покупку, и, положивши его в конверт, заклей. Потом опусти в почтовый ящик без марки, и я получу здесь доплатное письмо. А когда почтальон доставит его мне по адресу, я не буду совсем доплачивать

и вообще откажусь принять его, так как уже буду знать, что мой сын, мое дорогое, обожаемое сокровище, живым и невредимым доехал, куда ему надо!

ДУЭЛЬ

Мы лежали на кроватях и, повернув изумленные лица, смотрели на Костю; а он шагал по комнате и, криво улыбаясь, говорил:

— Да-с. Дуэль. Раз он считает себя оскорблением, вы понимаете, я, как честный человек, не мог отказать. Хорошо, говорю я ему, хорошо... Только если ты, говорю, убьешь меня, то позабочусь о моих стариках, живущих в Лебедине.

— Ну, а он?

— Говорит: хорошо. Позабочусь, говорит.

— И все это из-за того, что ты разругал его картину?

— Да как я ее там ругал? Просто сказал: глупая мазня. Бессмысленное нагромождение грязных красок! Только и всего.

— Может, помирились бы?

— Да... так он и согласится! Эх! Убьет, братцы, этот зверь вашего Костю. А?

— Коломянкин? Конечно, убьет, — подтвердил Громов, безмятежно лежа на постели и значительно поглядывая на меня. — Или попадет пуля в живот тебе. Дня три будешь мучиться... кишкы вынут, перемоют их, а там, смотришь, заражение крови и — капут. Да ты не бойся: мы изредка будем на твою могилку заглядывать.

— Спасибо, братцы. А секундантами не откажетесь быть?

— Можно и секундантами, — серьезно согласился Громов. — Тебе теперь отказывать ни в чем нельзя: ты уже человек, можно сказать, конченый.

— Да ты, может быть, смеешься?

— Ну, вот... Там, где пахнет кровью, улыбка делается бессмысленной гримасой, как сказал один известный мыслитель.

— Какой? — спросил я.

— Я.

Дверь приотворилась, и в комнату просунулась смущенная голова художника Коломянкина.

— А-а! Виновник торжества! — приветствовал его Громов. — Входи, сделай милость, скорее, а то здесь сквозит.

Коломянкин бросил угрюмый взгляд на Костя, пожал нам с Громовым руки и строго сказал:

— Я знаю, что не принято являться к противнику перед дуэлью, но не виноват же я, черт возьми, что он живет вместе с вами... Вы же мне, братцы, понадобитесь... В качестве свидетелей, а? Согласны? А то у меня здесь ни одного человека нет подходящего.

— Стреляться хотите? — вежливо спросил Громов.

— Стреляться.

— Так-с. Дело хорошее! Только мы уже дали Косте слово, что идем в секунданты к нему. Правда, Костя?

— Правда... — уныло подтвердил Костя.

— Может, ты бы, Костя, — спросил я, — уступил одного из нас Коломянкину? На кой черт тебе такая роскошь — два секунданта?

— Да, пожалуй, пусть берет, — согласился Костя.

— Господа! — серьезно сказал Коломянкин. — Я вас очень прошу не делать из этого фарса. Может быть, это вам кажется смешным, но я иначе поступить не могу. Во мне оскорблено самое дорогое, что не может быть урегулировано иным способом... На мне лежит ответственность перед моими предками, которые, будучи дворянами, решали споры только таким образом.

— Царство им небесное! — вздохнул я.

— Пожалуйста, не смотрите на это, как на шутку!

— Какая уж там шутка! — вскричал Громов. — Дельце завязалось серьезное. Правда, Саша?

— Конечно, — подтвердил я. — Вещь кровавого характера. Стреляться решили до результата?

— Да. Я не признаю этих комедий с пустыми выстрелами.

— И ты совершенно прав, — подтвердил Громов.

— В кои-то веки соберешься ухлопать человека — и терять такой случай... Правда, Саша?

— Изумительная правда.

Дверь скрипнула. Все обернулись и увидели квартирную хозяйку, с двусмысленной улыбкой кивавшую нам головой.

— Ах, черт возьми! — прошептал Костя, бледнея.

Хозяйка подошла к нему и сделала веселое лицо.

— Ну-с? Обещали сегодня, Константин Петрович.

— В чем дело? — спросил, хмурясь, Громов.

— Да видишь ли... В этом месяце за квартиру плачу я.

Моя очередь.

— Ну?

— Ну, вот и больше ничего.

— То есть как же ничего? Вы на сегодня обещали!

— Неужели, сегодня? Непростительный легкомысленный поступок... Гм... Что это у вас, новая кофточка? Прехорошенькая.

— Новая. Позвольте получить, Константин Петрович.

— Что получить?

— Да деньги же! Пожалуйста, не задерживайте, мне на кухню нужно.

— Хозяйничаете все? Хлопочете? — ласково спросил Костя. — Хе-хе.

— Может, вам разменять нужно? Я пошлю.

— Сколько там с меня?

— 20 рублей.

— Деньги, деньги... — задумчиво прошептал Громов.

— Шесть букв... а какая громадная сила в этом коротеньком словце! Вы читали, Анна Марковна, роман Золя "Деньги"?

— А вы читали когда-нибудь повестку о выселении? — полюбопытствовала хозяйка.

— К сожалению, я до сих пор не мог расширить своего кругозора чтением этих любопытных произведений. Но на досуге, даю вам слово, прочту.

— Хорошо-с! Если вы еще позволяете себе смеяться, я сяду здесь и не сдвинусь с места, пока не получу денег.

— Просто признайтесь, хитрая женщина, что вы скучились по изысканному обществу. Костя! Стул Анне Марковне.

С мрачным лицом хозяйка уселась у дверей... Тягостная пауза нависла над обществом.

Коломянкин побарабанил пальцами по столу и смущенно обвел взглядом нашу комнату. Потом, в качестве воспитанного человека, начал разговор:

— Сами белили?

— Что такое?

Коломянкин смущился.

— Комнату, говорю, сами белили?

— Да-с! я все сама... День-деньской на ногах, а за это, вместо благодарности, изволите видеть!

Помолчали опять.

— Погодка сегодня разгулялась, — сказал Коломянкин, смотря в окно.

— Это ее дело. А когда человек разгуливается и тратит деньги на пьянство, это, извините-с! Извините-с!

Костя нервно вскочил и подошел ко мне.

— У тебя нет денег?

— У меня? Нет. Громов!

— Ну?
— У тебя нет денег? — спросил я.
— У меня? Нет. Коломянкин!
— Что?
— У тебя нет денег?

— Есть. Сколько нужно? 20? Вот, пожалуйста.
— Господа! — возмутился Костя. — Это черт знает что! Я с Коломянкиным в... таких... отношениях, а он мне деньги занимает!! Вы не имели права делать этого!

Молча Громов взял у Коломянкина деньги и передал их мне. Я молча взял их и сунул в руку Кости.

Костя простонал, положил деньги на ладонь хозяйки и сказал, указывая ей на дверь:

— Прямо, потом налево.

Громов, растянувшись на кровати, принялся что-то насвистывать.

Противники, избегая встречаться взглядами, смущенно смотрели в окна, а потом Коломянкин неуверенно сказал:

— Александр! Ты позаботишься о том, что нужно? Вот тебе записка к моему знакомому офицеру, у которого есть отличные пистолеты.

— Браво! — сказал я, одеваясь. — Дело начинает налаживаться! По дороге я забегу также в погребальную контору... Костя, ты какие больше предпочитаешь, глазетовые?

— Все равно.
— С кистями?
— Все равно.
Я вышел.

"Знакомый офицер" оказался очень симпатичным человеком. Узнав, что мне нужны пистолеты, он засуетился, достал ящик и, подавая его мне, сказал:

— Для Коломянкина я это сделаю с удовольствием! Вот пистолеты. Прекрасные — за пару плачено полтораста рублей!

— А ведь их после дуэли могут конфисковать, — возразил я с искусственным сожалением.

Он омрачился.

— Неужели?
— А что вы думаете! "А, скажут, стреляетесь! Убивайте друг друга!" И отнимут.

Офицер, вздохнув, посмотрел на ящик.

— Знаете, что? — сказал я. — Положитесь на меня. Пистолеты не пропадут. Я эти самые дуэли умею преотлично устраивать. Есть у вас десять рублей?

— Как... десять рублей?

— Очень просто, взаймы. Первого числа возвращу. Он, вынув кошелек, засуетился снова.

— Вот... У меня все трехрублевки. Ничего, здесь 12 рублей?

— Что уж с вами делать, — снисходительно сказал я.

— Давайте! Вы водку пьете?

— Пью. Иногда.

— Вот видите! Командный состав нашей армии всегда приводил меня в восхищение. Одевайтесь, поедем к нам.

— А... пистолеты?

— Мы их забудем здесь. На меня иногда находят припадки непонятной рассеянности. Едем!

Он рассмеялся.

— А вы, видно, рубаха-парень?!

— Совершенно верно. Многие до вас тоже находили у меня поразительное сходство с этой частью туалета.

Мы заехали по дороге в гастрономический магазин и купили вина, водки и закуски.

У Кости был трагический характер. Каждый час, каждую минуту он был кому-нибудь должен, и каждый час, каждую минуту ему приходилось выпутываться из самых тяжелых, критических обстоятельств.

Но занимал он деньги без нашей помощи, а ликвидировал свои запутанные дела, прибегая к живейшему участию: моему и Громова.

Отношений наших это не портило, тем более что Громов признавал Костю:

— Лучшим специалистом по съестному.

Это значило вот что:

Когда мы сидели без копейки денег, не имея ни напитков, ни пропитания, ленивый Костя долго крепился, а потом, махнув рукой, вставал с кровати, ворчал загадочное:

— Обождите!

Натягивал пальто и выходил из комнаты.

Последующие Костины операции усложнялись тем, что водка в бакалейных лавках не продавалась, а в казенных ее отпускали за наличный расчет.

Костя по дороге заходил к соседу по номерам, кому-нибудь обдергенному студенту, и говорил ему крайне обязательно:

— Петров! Я, кстати, иду в лавку. Не купить ли вам четверку табаку?

— Да у меня есть еще немного.

— Тем лучше! Новый табак немного подсохнет. А? Право, куплю.

Студент долго задумчиво глядел в окно, ворочая отяжелевшими от римского права мозгами, и отвечал:

— Пожалуй! Буду вам очень благодарен.

Костя получал 45 копеек и, выйдя на улицу, непосредственно затем смело входил в дверь бакалейной лавочки на углу.

— Здравствуйте, хозяйка! Позвольте-ка мне фунт колбасы и нарежьте ветчины!

Потом беззаботно опускался на какой-нибудь ящик и, оглядев лавку, сочувственно говорил:

— Магазинчик-то сырой, кажется!

— Какое там сырой! — подхватывала хозяйка. — Прямо со стен вода течет!

Костя омрачался.

— Экие мерзавцы! Им бы только деньги за помещение драты! Небось три шкуры с вас дерет?

— И не говорите! 600 рублей в год.

— 600 рублей? Да ведь он разбойник. Ах, негодяй... 600 рублей... Каково?! Коробочку сардин, сударыня, и десерта яиц.

Рассеянный взгляд Кости падал на ребенка, хныкавшего на руках хозяйки, и с Костей внезапно приключился истеричный припадок любви к измызганному пишавшему малышу.

— Прехорошенький мальчишка! Ваш?

Хозяйка расплывалась в улыбку.

— Девочка. Моя.

— Учится?

— Помилуйте. Ей три года.

— Что вы говорите! Три года — а как... двенадцать. Она, кажется, на вас похожа?

— Носик мой. А глазки папины.

— Совершенно верно. Ах ты, маленький поросеночек! Ну, иди ко мне на руки, а мама пока отрежет три фунта хлеба и даст четверку табаку. Она уже говорит?

— Да, уже почти все.

— Неслыханно! Это гениальный ребенок. Вырастешь, я тебя за генерала замуж отдам. Хочешь?

Тронутая хозяйка брала счеты и высчитывала, что с Кости приходится 2 рубля 30 копеек.

— Только-то? Детская сумма! Вот что, уважаемая... Вы отметьте сумму в книжечке, — я знаю, у вас есть такая, — а первого числа я уж, как следует, чистоганом! Мы тут же живем, у Щемилина.

Взор хозяйки омрачался, так как Костя был ей лицом совершенно чуждым, но он строил такие забавные гримасы ее дочке и с таким простодушием просил, забирая покупки, "непременно передать поклон мужу", что она молча вздыхала и разворачивала книгу на конторке.

Купив затем на студентовы деньги водки, Костя, торжествующий, возвращался в наши номера, вручал студенту табак и, получив от него теплую благодарность, насыщал принесенным наши вечно пустые желудки.

Когда мы с офицером вошли в нашу квартиру, то нашли четырех человек: Громова, Костю, Коломянкина и Костиного портного, всех — в очень удрученных, скорбных позах.

— Меня интересует, — говорил опечаленный Костя, — почему я обещал вам именно сегодня и почему именно 8 рублей?

Громов заявил, что его это тоже интересует, портной сказал, что это его не интересует, а Коломянкин молча глядел на Костя с тайным сочувствием.

Мы стояли в дверях, когда Костя машинально спросил:

— Громов! У тебя нет 8 рублей?

— Нет, — ответил Громов, — Коломянкин! У тебя нет 8 рублей?

— Да я все отдал, что были... А! Полководец! У тебя нет 8 рублей?

Офицер, по-давешнему, засуетился и, вынимая кошелек, сказал, будто бы в этом было неразрешимое затруднение:

— Да у меня все трехрублевки. Ничего?

— Очень печально! — строго сказал Коломянкин.

— Нужно быть осмотрительнее в выборе средств к существованию. Впрочем, давай три штуки!

— Коломянкин! Не смей этого... то есть... не делайте этого, господин Коломянкин! — закричал смущенный Костя.

— Идите, портной, — величественно сказал Коломянкин. — На лишний рубль я обязую вас сшить одному из нас шелковую перевязку на руку или на голову.

— А как же с дуэлью? — лениво спросил Громов.

— Я уже по телефону успел знакомого доктора пригласить.

— Да и у меня все сделано, — хвастливо сказал я, похлопывая рукой по сверткам.

— Пистолеты?

— Они самые.

— Странно, что они имеют бутылочную форму.

— Новая система. Казенного образца!

В дверь постучали, и перед нами предстал доктор — сияющий дебютант на трудном медицинском поприще, — приятель Громова.

— Здравствуйте, господа. Ты меня серьезно приглашал, Громов?

— Совершенно серьезно.

— А где же больная?

Мы были в изумлении.

— Какая больная?

— Да ведь я специалист по женским болезням.

Взрыв хохота поколебал драпировки окон и вырвался на тихую улицу.

— Здесь есть двое больных. И оба они больны хронической женской болезнью — глупостью, — сказал Громов. — Бросьте, ребята, дурака валять. Надоело!

— Смотреть тошно! — поддержал я.

— Нелепо! — подхватил офицер.

Мы схватили Коломянкина и Костю, повалили на кровать, накрыли одеялом, подушками и держали до тех пор, пока они не взывали от ужаса.

— Миритесь?

— Черт с ним! Только пусть он возьмет назад свои слова о моей живописи.

— Беру! При условии, если ты напишешь мой портрет и он будет гениален.

— Иным он и не может быть!

Офицер раскладывал закуски и откупоривал бутылки.

— Жаль, все-таки... Ушла, Петя, поэзия из жизни... Нет больше красивых жестов, беззаветно-смелых поступков, героизма... Ушла из нашего прозаического мира храбрость, поединки по поводу неудачно сказанного слова, рыцарское обожание женщины, щедрость, кошельки золота, разбрасываемые на проезжей дороге льстивому трактирщику... Удар ножом какого-нибудь зловещего бродяги на опушке леса...

— Это верно. Обидно, дурачок ты этакий, — поддакивал улыбающийся доктор, гладя художника по лысеющей голове.

ПИНХУС РОЗЕНБЕРГ

Перед хозяином маленькой мануфактурной лавочки Пинхусом Розенбергом стоял чиновник Самсонов и говорил:

— Покажите мне темно-синий бархат. Есть у вас?

Пинхус обидчиво усмехнулся.

— Как же у нас не может быть темно-синего бархата? Чтобы торговое предприятие под фирмой Пинхуса Розенberга не имело какого-то бархата — это было бы не так смешно, как грустно!

— Так вот вы мне и покажите.

— Что показать?

— Да бархат же! Бархат.

— Ах, бархат... Я вам сейчас покажу такой прекрасный бархат, что вы закричите от удовольствия. Вот-с. Позвольте вам посмотреть!

Хозяин ловким движением развернул на прилавке синюю материю и одобрительно потрепал по ней ладонью.

— Извольте видеть! Помещица Гундикова тридцать аршин взяла...

— Виноват... Вы меня не слышали! Вы показываете темно-синий шелк, а я просил бархат.

— Прекрасный шелк.

— Да ведь мне нужен бархат.

— Ах, бархат! Чего же вы раньше не сказали... Темно-синий?

— Темно-синий.

— Вы можете спросить всякого уличного мальчика: уличный мальчик! Чем известна фирма Пинхуса Ро-

Коломянкин сидел на коленях доктора, пил с ним из одного стакана вино и, опустив бессильно голову на его грудь, говорил:

зенберга? И уличный мальчик ответит вам: синим бархатом!

Хозяин полёз на какую-то полку и вернулся с тяжелым свертком.

— Как вы найдете этот гениальный бархат?

— Постойте, да он черный!

Хозяин удивленно посмотрел на чиновника.

— А вы... какой же хотели?

— Черт возьми! Я же у вас прошу темно-синий.

— Возьмите этот. Он почти темно-синий. Уже такой почти, что дальше просто некуда.

— Нет, мне черный не подойдет.

Хозяин почесал железным аршином бровь и много-значительно сказал:

— Теперь самый модный бархатный цвет — так это черный. Всякий человек носит этот цвет...

— Может быть. Но я прошу дать мне темно-синий.

— Бархат?

— Ну, конечно.

— Возьмите — хороший манчестер есть. Такой синий, что даже тяжело видеть.

— Послушайте, — сказал чиновник Самсонов, нетерпеливо махая рукой, — если у вас есть *темно-синий бархат* — дайте его мне, нет — я пойду в другой магазин.

— Они пойдут в другой магазин! Видели вы, люди добрые? Они, вероятно, пойдут до Исаака Менделевича, который на прошлой неделе отравил свою маменьку, или до Якуба Зусмана, где вам подсунут такое, что вы потом слизойдете горькими слезами. Хорошо! Я вам покажу сейчас материю, что вы скажете: Розенберг! Отрежьте мне сто аршин!

Лицо хозяина было уныло-оскорбленное. Он укоризненно покачал головой, нагнулся к нижней полке и вынул оттуда что-то светло-голубое.

— Что бы вы сказали относительно этого кретончика?

— Провались он, ваш кретончик! Я спешу, а вы отнимаете время тем, что мне не нужно...

— Кретон вам не нужен? Хорошо. Мы вам дадим то, что вам нужно. Бархат нужен? Хорошо. Вот теперь вы мне сказали, и я знаю: господину чиновнику нужен бархат. И я был бы убийцей, если бы отнимал у вас время. Уж время такая вещь, что прошла одна минутка, одна маленькая минуточка, и ее уж нет. Она исчезла, и сам Господь Бог не даст ее обратно, не повторить ни лавочнику Розенбергу, ни господину чиновнику...

Хозяин подпер голову рукой и печально задумался... Тяжело вздохнул и меланхолично сказал:

— А из минуточек делаются часочки, из часоч...

— Вы мне покажете темно-синий бархат, или у вас его нет? — вскричал чиновник. — Я прошу у вас: дайте мне бархат, понимаете — бархат! И чтобы он был темно-синий... Понимаете? Темно- и синий! Не черный, не зеленый, не желтый... И не кретон, не батист, а бархат! Понимаете — бархат!!

Пинхус Розенберг сделал над собой усилие, чтобы сгладить тяжелые мысли, и ласково сказал:

— Хорошо. Вы сейчас получите ваш бархат. Сколько вам нужно аршин?

— Четыре с половиной.

— А почему не семь?

— Потому что мне нужно четыре с половиной.

— Так, так. В этом городе изволите служить?

— В этом. Пожалуйста, поскорее!

— Я вам покажу бархат так скоро, что хуже всякого курьерского поезда!

Розенберг достал еще какой-то сверток и устало развернул его.

— Вот бархат. Впрочем, он темно-красный. Вы видите — я вам его не предлагаю, но он тоже бархат. Я знаю, что если вам нужен другой, так...

— Черт возьми! — сердито сказал чиновник Самсонов. — Можете вы дать мне темно-синий бархат? Отвечайте — да или нет?!

— Вам нужен темно-синий?

— Темно-синий.

— Именно бархат?

— Именно бархат.

— Очень жаль, но именно темно-синего бархата сейчас нет. У нас есть бархат, но не темно-синий, и есть темно-синий, но не бархат! Может, вам из легонького что нужно? Сатин, ситцы есть, сарпинка — большой выбор, а?

— Прощайте! Сказали бы раньше сразу, что у вас нет бархата.

— Что значит — нет? Синий бархат мы ждем — через две недели заходите. Могу предложить также головные шапки, одеяла пике, галстуки...

Чиновник Самсонов круто повернулся, злобно хлопнул дверью и выскочил из магазина.

Розенберг пожал плечами, вышел неторопливо и, смотря вслед удаляющемуся чиновнику, возмущенно покачал головой:

— Шарлатан! Весь магазин даром перерыл... Хоть бы для смеху на пятнадцать копеек купил!

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Будучи умным и хитрым человеком, я всегда относился недоверчиво к людям, ухаживавшим за моей женой.

Мне всегда казалось, что у них на уме было что-то странное и что они приходят к нам в гости с задней мыслью.

Я ввел систему — не отпускать жену без себя ни на шаг и поэтому долгое время был спокоен.

Но мой приятель Корниухин — прехитрое существо, часто старался нарушить мою систему и этим только действовал мне на нервы.

В позапрошлом году он приехал на каком-то длинном велосипеде и сказал нам:

— Завел себе tandem. Мы можем, Вера Павловна, совершил на нем небольшую прогулку.

— Ну, что ж — можно, — согласился я. — Поедем. Я тоже не прочь проветриться.

— Втроем нельзя, — сказал он встревоженно, — это tandem для двух.

— Ну, поедем вдвоем... — начал я и запнулся.

Этот человек, — подумал я, — может быть, лукавит... Мы с ним поедем, он отвлечет меня от жены, а в это время в дом к нам придет какой-нибудь проходимец...

— Нет, — сказал я, вздохнув. — Поеzdайте одни, без нас.

— Почему же мне не прокатиться? — несмело заикнулась жена.

— Тандем, — сурово проворчал я. — Я вообще против этой системы. Не могу!

Одурченный Корниухин уехал на своей длинной, несуразной машине ни с чем.

Однажды, сидя за обедом, мы услышали на улице какое-то странное гуденье и шипение...

Выглянув в окно, я увидел Корниухина на маленькой машине, которая хрюпала и кашляла, будто с детства страдала катаром горла.

— А я, — сказал он, с деланной беззаботностью входя в комнату, — за вами, Вера Павловна. Не совершим ли мы маленькой увеселительной прогулочки? Место на автомобиле как раз для двух!

— Ваша машина, — возразил я, — хрюпит как удавленник и имеет вид разъяренной керосиновой кухни. Я не могу позволить жене ехать на такой ненадежной штуке.

Корниухин заморгал глазами и, вздохнувши, ушел.

Некоторое время он не показывался.

Но однажды мы, сидя на веранде, услышали стук какой-то машины и легкий свист.

Я удивленно посмотрел на землю — она была пуста. В это время большая тень упала около веранды, и я увидел на небе Корниухина, который, сидя на странном аппарате, похожем на стрекозу, радостно горланил во всю мочь легких:

— Здравствуйте!! Я сейчас спущусь! Не желаете ли, Вера Павловна, сделать небольшую увеселительную прогулочку?

Его машина меня заинтриговала.

Когда он слез с нее, я, поколебавшись немного, сказал:

— Пожалуй, в самом деле было бы превесело сделать втроем маленькую прогулку!

— Трем нельзя, — возразил Корниухин угрюмо.

— Аппарат поднимает только двух.

Жена посмотрела мне прямо в глаза и твердо сказала:

— Если ты и на этой штуке побоишься меня отпустить, то завтра же я сбегу от тебя совсем...

Так как жена не всегда лгала мне, то я испугался и стал раздумывать:

— Отпустить ее или нет?

С одной стороны, машина казалась мне очень подозрительной, потому что представляла странное сочетание предыдущих неудачных попыток Корниухина: внизу был приделан какой-то велосипед, а мотор пыхтел точно так же, как ранее виденный мной у Корниухина автомобиль. С другой стороны — особенной опасности не было, потому что они могли полететь недалеко, не спускаясь на землю, а сам по себе аппарат был очень шаток и неустойчив...

— Лети! — согласился я. — Хватит ли только у вас пороха на двух? — спросил я потом, указывая на машину.

— То есть бензину? — спросил повеселевший Корниухин. — Здесь еще есть ровно на сорок минут. За глаза хватит!

Они уселись на какие-то скамеечки и, послав мне воздушный поцелуй, плавно с разбега поднялись в воздух.

— Только недолго, — крикнул я. — Я подожду.

Они скоро скрылись с глаз, а я сел на стул и стал ждать. Ждал долго.

Нужно ли говорить, что эти негодяи вернулись через два часа!

Когда они подлетели, раскрасневшиеся, веселые, я сердито крикнул:

— Что за свинство! Где вы были так долго?

— В воздухе, — отвечала жена, сходя на землю. — Ах! Если б ты знал, как это очаровательно!

Я угрюмо посмотрел на ее красное лицо и сказал:

— А... отчего у тебя волосы растрепаны?

— Господи, Боже ты мой! Очень просто — ветер!

Я перевел глаза на Корнюхина и подозрительно спросил:

— Кажется, перед полетом у вас галстук был завязан совсем иначе?!

— Совершенно верно, — хладнокровно улыбнулся Корнюхин. — Я его развязывал, чтобы, держа в руке, узнать направление ветра. Это обычный прием астронавта.

— Вы... на землю не спускались?

— Конечно нет!

Я задумался.

— Как же, если вы ни разу не спускались на землю — как у вас могло хватить бензину, когда у вас его было только на сорок минут, а вы были, по вашим же словам, в воздухе все сто двадцать минут?!

— Вы не знаете авиатики, — отвечал Корнюхин.

— Это делается очень просто: когда мы взлетели, я переставил часы на восемьдесят минут назад. Таким образом, по моим часам бензин расходовался сорок минут.

— Ну, то-то, — сказал я, успокоенный. — Пойдемте чай пить.

Несколько месяцев спустя у меня родился ребенок.

Недавно мы мирно сидели с женой и любовались на мальчика, который уже начал ходить.

Забавно переступая ножонками, он подошел к углу, где стоял мокрый после дождя, раскрытый для просушки, зонтик, взял его за ручку, вскарабкался на стул, оттуда на

стол и, подняв над головой, плавно спустился на нем, как на парашюте, на пол.

Я медленно встал и, нахмурив брови, посмотрел на растерявшуюся жену.

— Это... что... значит?

Жена упала передо мной на колени...

Склонила голову и молча заплакала.

ДИТЯ

I

Есть люди, к которым с первого взгляда начинаешь питать непобедимую симпатию и самое широкое доверие. В них все — голос, манеры, ясный взгляд — располагает к откровенности, дружеской общительности, и, познакомившись с таким человеком, через час уже начинаешь испытывать чувство, будто знаком с ним десять лет.

Однажды я столкнулся с таким именно человеком, и у меня надолго останется о нем воспоминание...

Дело происходило в купе второго класса вечернего поезда. Я ехал в город Пичугин, где мне предстояло на другой день прочесть лекцию о воздухоплавании, по вызову какого-то "Пичугинского авиационного общества завоевания воздуха".

В купе, кроме меня, находился еще один юный господин, и не успел я сесть, как мы оба почувствовали друг к другу самое искреннее расположение.

Он приветливо улыбнулся мне, кивнул головой и добродушно сказал:

— Кажется, нас здесь только двое! Это самое удобное, не правда ли?

— Да, — весело сказал я. — Терпеть не могу тесноты. А где же ваши вещи?

Он засмеялся и юмористически развел руками.

— Все мое при мне. Далеко едете?

— В Пичугин. Вызвали меня какие-то чудаки прочесть лекцию о воздухоплавании. Моя фамилия Воробьев.

— Я очень рад, — приветливо сказал мой спутник.

— Я тоже еду в Пичугин по делу и с удовольствием побываю на вашей лекции. Где она будет?

— Понятия не имею. Я еду туда в первый раз, по приглашению какого-то "Пичугинского авиационного общества"...

Он улыбнулся.

— Воображаю Пичугинскую авиацию!..

— Да уж, действительно. Хотя обещают за лекцию двести рублей.

— Ого! Эта сумма, — сострил мой спутник, — может все их общество поднять на воздух.

Мы расхохотались.

Я взглянул на часы, зевнул и сказал:

— Пора бы и на боковую. Чего это кондуктор не идет?

— А зачем он?

— Да билеты-то — должен же он отобрать. Смерть не люблю, когда меня, сонного, будят!

— Да вы и ложитесь, — сказал мой сосед, вынимая из кармана газеты. — А я почитаю. Хотите, я кондуктору за вас билет покажу, чтобы не беспокоить вас...

— Мне, право, совестно, — тронутый его заботливостью, возразил я.

— Пустяки! Все равно я не буду спать.

Я расположился на верхней койке, вручил своему соседу билет, снял чемодан и, раскрыв его, вынул погружку.

Молодой человек с простодушным любопытством взглянул на чемодан и, восхищенный, воскликнул:

— Какая любопытная вещь!

— Да... чемоданчик хороший... Я его в Дрездене покупал. Вот это отделение для белья, это нессесер, здесь верхнее платье, здесь дорожный погребец, а это отделение для денег и паспорта.

Он улыбнулся.

— Что же это — самое главное отделение — и пусто?

— Я без паспорта. Ведь в вашем Пичугине на этот счет не строго?

— Ну, знаете... при нашем режиме... всего можно ожидать. Я не расстаюсь с паспортом. Вот оно, мое имущество!

Он вынул из кармана паспорт и, со смехом, подбросил его кверху.

В нем было что-то наивно-детское, привлекательное своей жизнерадостностью и непосредственностью.

— Смотрите, — потеряете, — пошутил я. — Вы сущий ребенок. Нужно бы отобрать его да спрятать.

Лицо его сразу стало озабоченным.

— Потерять-то я его не потеряю, а украдь ночью могут. Что я тогда буду делать?..

— Давайте, я спрячу в свой чемодан. В отделение для денег, а? Хотите? Деньги-то у вас есть?

— Денег-то у меня и нет, — рассмеялся он. — А паспорт спрячьте.

Он снова с детским любопытством осмотрел внутренность чемодана и заявил, что, когда будет богатым — поедет в Дрезден и купит такой чемодан.

— Славный вы парень! Веселый, — сказал я, укладываясь.

Он застенчиво улыбнулся.

— Это потому, что вы мне понравились. С другими я диковат. А вам вон даже паспорт доверил.

Это у него вышло совсем по-детски.

— Да и я вам билет доверил, — расхохотался я!

— Отцу бы родному не доверил! Ох-хо!

Я зевнул, повернулся на другой бок, пожелал моему спутнику спокойной ночи и моментально заснул.

II

Очень скоро я почувствовал, что меня кто-то тихо, но упорно будит, дергая за ногу и приговаривая:

— Послушайте, послушайте!..

Я еле раскрыл сонные глаза, поднял голову и увидел кондуктора.

— Что вам? — сердито сказал я.

— Билет пожалуйте!

— Да ведь...

Я встал, спустил ноги и увидел своего спутника, мирно сидевшего напротив и углубленного в чтение газеты.

— Послушайте! — сказал я. — Вы ему показывали мой билет?

Он поднял свое милое, детски удивленное лицо и взглянул на меня с недоумением.

— Какой билет?

— Да который я вам дал!

— Вы мне дали? Когда?

— Ну, как же! Давеча вы сами вызвались показать кондуктору мой билет, чтобы меня не беспокоить.

Удивлению его не было границ.

— Я? Взял? Ничего не понимаю! У меня был свой билет — я его и предъявил кондуктору. Единственный у меня билет и есть... Может, вы кому-нибудь другому его передали?

Лицо моего спутника перестало мне нравиться.

— Послушайте! — сказал я. — Но ведь это же гадость!

— Да вы поищите в карманах, — участливо посоветовал он, принимаясь снова за газету. — Может быть, в кармане где-нибудь.

По лицу кондуктора я видел, что он не верит мне ни на грош, считая мои слова неудачной уловкой безбилетного пассажира. Не желая затевать неприятной истории, я вынул деньги и сказал:

— Вероятно, я потерял билет. Возьмите с меня доплату и оставьте меня в покое.

Кондуктор укоризненно покачал головой, взял деньги и ушел, оставив нас вдвоем.

— Что все это значит? — сурово сказал я, пронизывая своего соседа взглядом.

Он снял с вешалки пальто, разостлал его на нижней койке и стал молча укладываться.

— Что это все значит?!

Он мелодично засвистал, снял пиджак, положил под голову и, сладко потянувшись, лег.

— Вы наглец! — закричал я.

Он дружески улыбнулся, сделал прощальный жест и закрыл глаза.

— Я думал, что вы порядочный человек, а вы оказались жуликом. Как не стыдно! Чего ж вы молчите? Негодяй вы, и больше ничего! Обыкновенный поездной вор. В тюрьме вас сгноить бы надо! Чтоб вас черти побрали!

До меня донеслось его ровное дыхание.

— Спишь, румяный идиот? Чтоб тебе завтра в кандалах проснуться! Так бы и плонул в твою лживую рожу. "Да-айте билетик, я за вас покажу"... У, чтоб ты пропал!

Во мне клокотала злобы, и я еще с полчаса ругался и ворчал, пока не почувствовал смертельной усталости.

Откинувшись на подушку и засыпая, я подумал:

— Ну обожди же, негодяй, не получишь ты своего паспорта! Попляшешь ты завтра!..

III

Проснулся я поздно. Мой спутник сидел уже одетый, умытый и с аппетитом ел вареную колбасу, запивая ее водой из чайника.

— Хотите колбасы? — спросил он, глядя на меня ясными лучистыми глазами ребенка.

— Убирайся к черту.

— Скоро большая станция. Я думаю, там вы сможете напиться чаю и позавтракать.

— Желаю, чтоб тебя переехало поездом на этой станции!

Он посмотрел в окно и приветливо улыбнулся.

— Погодка-то исправляется. Пожалуй, в Пичугине санный путь застанем.

Его честное, простое лицо было мне ненавистно. Я сидел в углу и с наслаждением мечтал о том, как он попросит возвратить паспорт, а я сделаю вид, что не слышу, и как он будет бежать за мной и клянчить.

Но он не вспоминал о паспорте. Доел колбасу, вытер руки и снова взялся за свои газеты.

Я нарочно не вышел на той станции, на которой он советовал мне позавтракать, и до обеда ничего не ел. Обедал на другой станции. Потом занялся разборкой материалов для лекции, которую мне предстояло прочесть в тот же день вечером.

— Любопытная это вещь, воздухоплавание? — спросил меня покончивший с газетами сосед. — В газетах много теперь об этом пишут.

— Прошу со мной не разговаривать! — закричал я.

— Все-таки еще как следует не летают. Все эти авиаторы, аэропланы — детская игра. Так себе, наука простая.

— Эта наука не для мелких поездных жуликов, — с горечью сказал я, чувствуя себя совершенно бессильным перед его спокойным благодушным нахальством.

— Вот сейчас и Пичугин! — сообщил он, смотря в окно. Нам здесь сходит.

— Сейчас попросит паспорт, — подумал я. — Попроси, голубчик, попроси!.

Но он надел пальто, собрал свои газеты и, дружески кивнув мне головой, вышел в коридор.

Поезд остановился.

Посмеиваясь в душе над своим спутником, я оделся, взял чемодан и вышел. Носильщиков не было, вещи пришлось тащить самому.

Неожиданно сзади послышался быстрый топот нескольких ног, кто-то подбежал ко мне и схватил за руки.

— Этот?

— Он самый, — сказал хорошо знакомый мне, добродушный голос. — Схватил мой чемодан, да — бежать... Как вам это понравится?!

Я в бешенстве вырвался из рук старого усатого жандарма и вскричал:

— Что вам нужно?! Этот чемодан мой!

— Старая история! Мне вас очень жаль, — соболезнующе сказал мой вагонный сосед, — но я принужден просить о вашем аресте.

— Как вы смеете?! Это мой чемодан! Я расскажу даже, что в нем!

— Слушайте... не будьте смешным... Я, г. жандарм, раскрывал несколько раз этот купленный мною в Дрездене чемодан — а он, конечно, рассмотрел вещи. Нельзя же так... Ну, хорошо... Если это ваш чемодан, то скажите, что это за паспорт лежит в отделении для денег? Чей? На чье имя? Ведь вы же должны знать все, что есть в чемодане. Вы молчите? Не хорошо-с, не хорошо, молодой человек.

Его симпатичное лицо было печально. Он вздохнул, взял мой чемодан и сказал жандарму:

— Вы его пока возьмите в часть, что ли. Только, пожалуйста, не бейте при допросе. Он, вероятно, и сам жалеет о том, что сделал. Бог вас простит, молодой человек!

И ушел, добрый, благодушный, вместе с моим чемоданом.

IV

На другой день утром меня допрашивали в участке. Когда я, томясь в ожидании допроса, взял лежащую на столе газету "Пичугинские Ведомости" — мне бросилась в глаза заметка:

"Неудавшаяся лекция. — Прочитанная вчера вечером приехавшим из Петербурга г. Воробьевым лекция о воздухоплавании окончилась скандалом, так как выяснилось, что лектор не имеет никакого представления о воздухоплавании. Многочисленная публика, не стесняясь, хохотала, когда молодая столичная известность (вот они, столичные знаменитости!) путала аэростат с аэропланом и сообщала ценные сведения, вроде того, что воздушный шар надувают кислородом. Да... Надувают. Только публику, а не шар! Очень

жалъ, что деньги за лекцию были заплачены петербургскому шарлатану вперед и все дело окончилось только бранью публики да извинениями устроителей лекции".

ТИХОЕ ПОМЕШАТЕЛЬСТВО

I

Мы сидели на скамье тихого бульвара.

— Жестокость — прирожденное свойство восточных народов, — сказал я.

— Вы правы, — кивнул головой Банкин. — Взять хотя бы бывшего персидского шаха. Это был ужасный человек!

И мы оба лениво замолчали.

Банкин сорвал травинку, закусил ее зубами, поморщился (травинка, очевидно, оказалась горькой), но сейчас же лицо его засветилось тихой радостью.

— Он сейчас уже, наверно, спит! — прошептал Банкин.

— Почему вы так думаете? — удивился я.

— Конечно! Он всегда спит в это время.

Последнее время Банкин казался человеком очень странным. Я внимательно посмотрел на него и осторожно спросил:

— Откуда же вам это известно?

— Мне? Господи!

И опять мы замолчали.

— Ему, очевидно, несладко живется... — зевая, промямлил я.

— Почему? С ним нянчатся все окружающие. Его так все любят!

— Не думаю, — возразил я. — После того, что он натворил...

Банкин неожиданно выпрямился и в паническом ужасе схватил меня за плечи:

— Натво...рил?! Владычица небесная!.. Что же он... натворил? Когда?

— Будто вы не знаете?.. Сажал кого попало на кол, мучил, обманывал народ...

— Кто??!

— Да шах же, Господи!

— Какой шах?

— Бывший. Персидский. О котором мы говорили!

— Разве мы говорили о шахе?

— Нет, мы говорили о ребятишках, — иронически усмехнулся я.

— Ну конечно, о ребятишках! Я о своем Петьке и говорил.

Банкин вынул часы, и опять лицо его засияло счастьем.

— Молочко пьет, — радостно засмеялся он. — Пронесулся, вероятно, и говорит: мамочка, дай маячка!

— Ну это, кажется, вы хватили... Сыну-то вашему всего-навсего два месяца... Неужели он уже говорит?

Я сам был виноват, что коснулся этого предмета. Разговор о Петьке начался у нас в восемь часов и кончился в половине двенадцатого.

— Видите ли, — начал просветленный Банкин, — он, правда, буквально этого не говорит, но он кричит: мм-ма! И мы уже знаем, что это значит: дорогая мамочка, я хочу еще молочка! А вчера... Нет, вы не поверите!..

— Чему?

— Тому, что я вам расскажу. Да нет — вы не поверите...

Я дал слово, что поверю.

— Представьте себе: прихожу я... Позвольте... Когда это было? Ага! Вчера. Прихожу вчера я домой, а он у Зины на руках. Услышал шум шагов и — ха-ха! оборачивается — ха-ха!.. ха-ха-ха!.. оборачивается и говорит: лю!

— Ну?

— Говорит: лю! Каков каналья?

— Ну?

— Ха-ха! Лю! — говорит.

— Что же это значит — лю? — спросил я, недоумевая.

— Неужели вы не поняли? Это значит: папочка, возьми меня на руки.

Я возразил:

— Мне кажется, что толкование это немного произвольно... Не значило ли "лю" просто: старый осел! Притворяй покрепче двери...

— Ни-ни. Он бы это сказал совсем по-другому. А вы знаете, как он пьет молоко?

Я поежился и попробовал сказать, что знаю.

Банкин обиделся.

— Откуда же вы можете знать, если вы еще не видели Петьки?

— Я вообще знаю, как дети пьют молоко. Это очень любопытно. Я видел это от семнадцати до двадцати раз.

— Петька не так пьет молоко, — уверенно сказал Банкин.

На половине описания Петькиного способа пить молоко сторож попросил нас удалиться, так как бульвар закрывался. Желая сделать сторожу приятное, Банкин пообещал, что, когда его Петька научится ходить, он будет играть с песочком только на этом бульваре.

По свойственной всем бульварным сторожам замкнутости этот сторож не показал наружно, что он польщен, а, загнав восторг внутрь, с деланным равнодушием сказал:

— Пора, пора! Нечего там.

В маленьком ресторанчике, куда мы зашли выпить по стакану вина, мне удалось дослушать конец Петькиного способа пить молоко. Кроме того, мне посчастливилось узнать много ценных и любопытных сторон увлекательной Петькиной жизни, вплоть до самых интимных...

Из последних я вынес странное убеждение, что Банкин был удовлетворен и чувствовал себя счастливым только тогда, когда пиджак его или брюки были окончательно испорчены легкомысленным поведением его удивительного отприска.

Истошившись, Банкин долго сидел, полный тихой грусти.

— За что вы меня не любите?

— Я вас не люблю? — удивленно вскинул я плечом.

— С чего это вы взяли?

— Вы меня не любите... — уверенно сказал Банкин.

— Вы не могли за это время собраться — зайти ко мне и взглянуть на Петьку.

— Господи помилуй! Да просто не приходилось. На днях зайду. Непременно зайду.

— Правда?! Спасибо. Я вижу, вы полюбили моего Петьку, даже не видя его. Что же вы запоете, когда увидите!

Спину мне разломило, и глаза слипались.

Я попросил счет и, зная, что с Банкиным мне по дороге, попробовал завязать разговор о самой безобидной вещи:

— Ночи теперь стали короче.

Банкин расхохотался.

— Да, да! Светает в четыре часа. Просыпаюсь я вчера, смотрю — светло. А он ручонку из кроватки высунул и пальцем... этак вот...

— Пойдемте! — сказал я. — А то мы не достанем извозчика.

— Успеем. У него теперь самый сладкий сон. Поверите ли вы, что, если его поцеловать, он не просыпается.

— Это неслыханно, — пробормотал я. — Человек! Пальто.

II

Однажды Банкин зашел ко мне. Я познакомил его с сидевшим у меня редактором еженедельного журнала и приветливо спросил:

— Как поживаете?

— Он уже ходит, — подмигнул Банкин. — А вчера какой случай был...

— Так вы говорите, что теперь еженедельники не в фаворе у публики? — обратился я к редактору. — Скажите...

— А вы бросьте издавать еженедельник, — перебил Банкин. — Начните что-нибудь для детей. Это будет иметь успех. Да вот я вам расскажу такой пример: есть у меня сын — Петька. Удивительно умный ребенок. И он...

— Вы, господа, поговорите здесь, — сказал я, вставая, — а мне нужно будет на часок съездить. Вы уж извините...

Дня через три я встретил Банкина около итальянца — продавца разной дряни из кораллов и лавы.

— Это для взрослых... Понимаю! Эй, как вас... синьор! Понимаете — для взрослых. Иль грано! А мне нужно что-нибудь для мальчика... Компрендо? Анфана! Понимаете, этакий анфан террибл! Славный мальчишка... Да не брелок! На черта ему брелок, уважаемый синьор? Фу, какой вы бесполковый.

Я тихонько прошел мимо, но, возвращаясь обратно на трамвае, опять встретил Банкина. Он промелькнул мимо меня на противоположном трамвае, увидел мое лицо, и до меня донесся его радостный, но совершенно непонятный мне крик:

— А Петь... В кашу рук...

III

Вчера я вышел на улицу, и первое лицо, которое мне попалось, был Банкин.

— А я за вами.

— Что случилось?

— Пойдемте. Посмотрите теперь на моего Петьку — ахнете! Вы помните, я вам рассказал в трамвае о его ха-ха! поступке с кашей — ха-ха!

— Помню, — сказал я. — Очень было смешно.

— Это что! Вы посмотрите, какие штуки он теперь выделяет.

Впереди нас шла нянька с мальчиком лет трех.

— Постойте!! — вскричал Банкин, хватая меня за руки. — Постойте!!

Я посмотрел на его побледневшее лицо, дрожащие губы, слезы на глазах и — испугался.

— Что с вами?!

— Ха-ха! Такой Петька будет. Через два года. Ха-ха! Так же будет ножками: туп-туп! Постойте!

Он подошел к няньке и дал ей двугривенный. Потом расспросил: сколько мальчику лет, чей сын, что ест и не капризничает ли по ночам?

Потом присел перед мальчиком на корточки и спросил:

— Как тебя зовут?

— Ва-я.

— Ваня, — пояснила нянька.

— Ваня? Милый мальчик! Нянька... Может, он чего-нибудь хочет?

Оказалось, что Ваня чего-нибудь хотел только полчаса тому назад.

Это настолько успокоило Банкина, что он нашел в себе мужество расстаться с Ваней, и мы пошли дальше.

— Проклятый город, — сказал я. — Сколько пыли.

— Что?

— Город, я говорю, пыльный.

— Да, да... — рассеянно подтвердил Банкин.

И задумчиво добавил:

— Воды он не боится.

— Чего же ему бояться, — возразил я. — Только бы поливали!

— Да и поливают. Если тепленькая вода — так он не кричит... и, если поливают спинку, только морщит нос и ежится.

IV

Когда мы подошли к квартире Банкина, он открыл ключом дверь, схватил меня за шиворот, втолкнул в переднюю и, проворно вскочив вслед за мною, захлопнул дверь.

Я упал на ступеньки лестницы. Ушиб ногу. Сел на нижней ступеньке и, потирая колено, со страхом спросил:

— Что я сделал вам дурного?

— Петька простудиться может, — объяснил Банкин.
— Дует.

Я встал, и мы вошли в первую комнату — столовую.

— Вот здесь, на этом месте, — указал Банкин.
— Петьке нянька дает молочко. Вот видите — стул.

Я осмотрел стул.

— Хороший стул. Венский.

— Приготовьтесь, — хохоча счастливым, лучезарным смехом, воскликнул Банкин. — Сейчас увидите его.

Я пригладил волосы, одернул сюртук, и мы на цыпочках вошли в детскую.

— Вот он, — шепотом сказал Банкин, указывая на кроватку.

— Какой хорошенъкий!

— Да это не то. Это угол подушки! А вон он лежит за подушкой.

— Прелестный ребенок.

— Правда? Я знал, что вы сейчас же влюбитесь в него... Помните, я вам рассказывал, что если я его целую во время сна — он никогда не просыпается... Вот вы увидите.

Банкин подошел к кроватке, нагнулся, и вслед за этим раздался бешеный рев ребенка.

Вбежала госпожа Банкина.

— Опять ты его разбудил?! Вечно лезет с поцелуями! Молчи, молчи, мое сокровище... Здравствуйте! Как поживаете?

— Благодарю вас. Я совершен...

— Вы его хорошо рассмотрели? Не правда ли, очаровательный ребенок? Садитесь. Ну, как поживаете?

— Очень вам благодарен. Живу ниче...

— Видели ли вы когда-нибудь такого большого мальчишку?

За мою бурную, богатую приключениями жизнь я видел десятки ребят гораздо больше Банкиного ребенка, но мне неволко было заявить об этом.

— Нет! В жизни своей я не видел такого колоссального ребенка!

— Правда? Ну, как вы поживаете?

— Я сов...

— Не плачь, милый мальчик! Вот дядя... Он тебя возьмет блям-блям. Правда, Аркадий Тимофеевич? Вы его возьмете блям-блям?

— Без сомнения, — робко подтвердил я. — Если вы будете добры посвятить меня в цель и значение этого... этой забавы, то я с удовольствием...

— Блям-блям? Неужели вы не знаете? Это значит: покачать его в колясочке.

V

Петька захныкал и, вытянувшись на руках няньки, капризно поднял ручонки кверху.

— Смотри, смотри! — воскликнул пораженный и умиленный Банкин, — на потолок показывает!!

Госпожа Банкина наклонилась к Петьке и спросила:

— Ну что, Петенька... Потолочек? Что Петенька хочет на потолочке? Спросите его, Аркадий Тимофеевич: что он хочет на потолочке?

Я несмело приблизился к Петьке и, дернув его за ногу, спросил:

— Чего тебе там надо, на потолке?

Ребенок засился закатистым плачем.

— Он боится вас, — объяснил Банкин. — Еще не привык. Петенька!.. Ну, покажи дяде, как птички летают?! Ну, покажи! Представьте, он ручонками так делает... Ну, покажи же, Петенька, покажи!

Петьку окружили: мать, отец, нянька, кухарка, приведшая из кухни, и сзади всех — я.

Они дергали его, поднимали ему руки, хлопали ладонями, подмигивали и настойчиво повторяли:

— Ну, покажи же, Петенька... Дядя хочет посмотреть, как птички летают!

Полет птиц, и даже в гораздо лучшем исполнении, был мне известен и раньше, но я считал долгом тоже монотонно тянуть вслед за кухаркой:

— Покажи, Петенька!.. Покажи...

Наконец ребенку так надоели, что он поднял ручонки и оттолкнул от себя голову няньки.

Снисходительные родители признали этот жест за весьма удачную имитацию птичьего полета, и так как

я не оспаривал их мнения, то мы приступили к новым экспериментам над задерганным горемычным Банкиным отпрыском.

— Хотите, — спросил Банкин, — он скажет вам по-немецки?

— Я по-немецки плохо понимаю, — попробовал сказать я, но госпожа Банкина возразила:

— Это ничего. Он все-таки скажет. Дайте ему только в руки какую-нибудь вещь... Ну, пенсне, что ли... Он вас поблагодарит по-немецки.

Со вздохом я вручил Петьке свое пенсне, а он сейчас же засунул его в рот и стал сосать, словно надеясь высосать тот ответ, который от него требовали...

— Ну, Петенька... Ну, что нужно дяде по-немецки сказать?

— Ну, Петенька... — сказал Банкин.

— Что нужно... — продолжила нянька.

— По-немецки сказать? — подхватила кухарка.

— Ну же, Петенька, — поощрил его Банкин, дергая из рта пенсне.

— Ззз... — капризно пропищал Петька.

— Видите? Видите? Данке! Он вам сказал: данке! А как нужно головкой сделать?

Так как госпожа Банкина (о, материнское сердце), зайдя сзади, потихоньку ткнула в Петькин затылок, вследствие чего его голова беспомощно мотнулась, то все признали, что Петька этим странным способом совершенно удовлетворительно поблагодарил меня за пенсне.

— Вежливый будет, каналья, — одобрительно сказал Банкин.

— Кррра... — сказал Петька, поднимая левую руку под углом сорока пяти градусов.

Все всколыхнулись.

— Что это он? Что ты, Петенька?

Проследили по направлению его руки и увидели, что эта воображаемая линия проходила через три предмета: спинку кресла, фарфоровую вазочку на этажерке и лампу.

— Лампу, — засуетился Банкин. — Дать ему лампу!

— Нет, он хочет вазочку, — возразила кухарка.

— Зу-зу-у... — пропищал Петька.

— Вазочка, — безапелляционно сказала нянька. — Зу-зу — значит, вазочка!

Петьке дали вазочку. Он засунул в нее палец и, скосив на меня глаза, бросил вазочку на пол.

— На вас смотрят! — восторженно вззвизгнул Банкин.

— Начинает к вам привыкать!..

VI

Перед обедом Банкин приказал вынести Петьку в столовую и, посадив к себе на колени, дал ему играть с рюмками.

Водку мы пили из стаканов, а когда Петьку заинтересовали стаканы — вино пришлось пить из молочников и сахарницы.

Подметая осколки, нянька просила Петьку:

— Ну, скажи — лю! Скажи дяде — лю!

— Как вы думаете... На кого он похож? — неожиданно спросил Банкин.

Нос и губы Петьки напоминали таковые же принадлежности лица у кухарки, а волосы и форма головы смахивали на нянькины.

Но сообщить об этом Банкину я не находил в себе мужества.

— Глаза — ваши, — уверенно сказал я. — А губы — мамини!

— Что вы, голубчик! — всплеснул руками Банкин.

— Губы мои!

— Совершенно верно. Верхняя ваша, а нижняя — матери.

— А лобик?

— Лобик? Ваш!

— Ну, что вы!! Всмогитесь!

Чтобы сделать Банкину удовольствие, я долго и пристально рассматривался.

— Вижу! Лобик — мамин!

— Что вы, дорогой! Лобик дедушки Павла Егорыча!

— Совершенно верно. Теменная часть — дедушкина, надбровные дуги ваши, а височные кости — мамини.

После этой френологической беседы Петьку трижды заставляли говорить: данке.

Я чувствовал себя плохо, но утешался тем, что и Петьке не сладко.

Сейчас Банкин, радостный, сияющий изнутри и снаружи сидит против меня.

— Знаете... Петька-то!.. Ха-ха!

— Что такое?

— Я отнимаю сегодня у него свои золотые часы, а он вдруг — ха-ха — говорит: "Папа дурак!!!"

— Вы знаете, что это значит? — серьезно спросил я.

— Нет. А что?

— Это значит, что в ребенке начинает просыпаться сознательное отношение к окружающему.

Он схватил мою руку.

— Правда? Спасибо. Вы меня очень обрадовали.

НОВАЯ ИСТОРИЯ

(Из "Всеобщей истории,
обработанной "Сатириконом")

(1910)

ВВЕДЕНИЕ

История средних веков постепенно и незаметно переходила в новую историю. Различие между этими двумя периодами заключается в том, что человечество, покончив со средними веками, сразу как-то поумнело и, устыдившись своей средневековой дикости, поспешило сделать ряд шагов, которым нельзя отказать в сообразительности и здравом смысле.

В средние века поступательное развитие культуры измерялось лишь количеством сожженных на площадях колдунов да опытами над превращением живых людей в кошек, волков и собак (опытами — принесшими ученым того времени полное разочарование). Новая история пошла по другому, более просвещенному пути. Правда, колдунов на кострах все еще продолжали сжигать, но делали это уже безо всякого одушевления и подъема, с единственной целью заполнить хоть каким-нибудь развлечением зияющую пустоту пробуждающегося ума и души.

Таким образом, великие люди, положившие своим гением начало новой истории, имели уже благодарную почву в жаждущих чего-то нового душах простых людей... Изобретатели и открыватели могли уже начать свое дело без жгучего риска быть сожженными на приветливых огнях костров *ad majorem Dei Gloriam*¹.

Человечество сделалось сразу таким культурным, что ни Гуттенберг, ни Колумб не были зажарены на костре: первый скончался просто от голода и бедности, второй — от тяжести тюремных оков, в которые заключил его удивленный его открытиями король Фердинанд.

¹К вящей Славе Божией (лат.) — девиз ордена иезуитов.

В религиозных верованиях тоже пошла коренная ломка: как из мешка посыпались разные реформаторы, протестанты, Эразмы Роттердамские и Мартини Лютеры.

Монахи были в большой моде, а один из них — Бертольд Шварц — ухитрился даже выдумать порох, что не удавалось до него даже самым интеллигентным людям того времени.

Таким образом, при веселом грохоте пушек, скрипение печатных станков и воплях новооткрытых краснокожих — человечество вступило в период "Новой Истории!"

ЭПОХА ИЗОБРЕТЕНИЙ, ОТКРЫТИЙ И ЗАВОЕВАНИЙ

1. Книгопечатание и бумага

Раньше, до изобретения книгопечатания, люди писали черт знает на чем: на коже животных, листьях, кирпичах — одним словом, на первом, что подвергалось под руку.

Сношения между людьми были очень затруднительны... Для того чтобы возлюбленный мог изложить как следует предмету своей любви волнующие его чувства — ему приходилось отправлять ей целую подводу кирпичей. Прочесть написанное представляло такую тяжелую неблагодарную работу, что терпение девицы лопалось, и она на десятом кирпиче выходила замуж за другого.

Кожа животных (пергамент) тоже была неудобна, главным образом своей дороговизною. Если один приятель просил у другого письменно на пергаменте взаймы до послезавтра сумму в два-три золотых, то он тратил на эту просьбу всю полученную заимообразно сумму, т. к. стоимость пергамента поглощала заем. Отношения портились, и происходили частые драки и войны, что ожесточало нравы.

Таким образом, можно с полным основанием сказать, что появление на рынке тряпичной бумаги смягчило нравы.

Первыми, кто научил европейцев делать бумагу, были — как это ни удивительно, арабы — народ, прославив-

шийся до того лишь черным цветом лица и необузданым, лишенным логики поведением.

Кстати, у арабов же европейцы позаимствовались и другой, очень остроумной штукой: арабскими цифрами. До этого позаимствования в ходу были лишь римские цифры, очень неудобные и громоздкие... Способ начертания их был насколько прост, настолько же и неуклюж. Если нужно было написать цифру один, писали: I, два — II, три — III и т. д. — по величине цифры — количество палочек. Оперирование с однозначными цифрами еще не представляло затруднений... Но двузначные и трехзначные — занимали целую страницу единиц, и чтобы сосчитать их, приходилось тратить непривычно уйму времени. А цифру миллион и совсем нельзя было написать: она занимала место, равное расстоянию от Парижа до Марселя.

Таким образом, ясно, какое громадное значение для культуры и торговли имели арабские цифры, и можно вообразить, как гордились своей выдумкой арабы, задирая кверху свои черные, сожженные солнцем носы...

Книгопечатание на первых порах стояло на самой жалкой низкой ступени. Если бы Йоганна Гуттенберга, изобретателя книгопечатания, привести теперь в самую ординарную типографию, печатающую свадебные приглашения и меню, и показать ему обыкновенную типографскую машину — он ничего бы в ней не понял и, пожалуй, выразил бы желание "покататься" на маховом колесе.

Во времена Гуттенberга печатали книги так: на деревянной доске вырезывали выпуклые буквы, намазывали черной краской и, положив на бумагу доску, садились на нее в роли подвижного энергичного пресса. От тяжести типографа и зависела чистота и четкость печати.

Вся заслуга Гуттенберга заключалась в том, что он напал на мысль вырезывать каждую букву отдельно и уже из этих подвижных букв складывать слова для печати. Кажется, — мысль пустяковая, а не приди она Гуттенбергу в голову, книгопечатание застряло бы на деревянных досках, и человечество до сих пор сидело бы в каком-нибудь семнадцатом веке, не догадываясь о причине своей отсталости. Ужас!

Будучи сообразительным человеком по части книгопечатания, Гуттенберг в жизни был сущим ребенком, и его не обманывал и не обсчитывал только ленивый... История говорит, что он вошел в компанию с каким-то золо-

тых дел мастером Фаустом. Тот типографию забрал себе, а Гуттенберга прогнал. Гуттенберг опять нашел какого-то, как гласит история, "очень богатого, отзывчивого человека". Отзывчивый человек тоже присвоил себе типографию, а Гуттенберга прогнал. В это время нашелся еще более отзывчивый человек — архиепископ Майнцский Адольф. Он принял Гуттенберга к себе, но не платил ему ни копейки жалованья, так что Гуттенберг избавился от голодной смерти только поспешным бегством. Так до конца жизни Гуттенберг бродил от одного мошенника к другому, пока не умер в бедности.

2. Магнитная стрелка

Что касается другого важного изобретения в истории человеческой культуры — магнитной стрелки, — то пишущий эти строки так и не добился толку: кем же, в сущности, магнитная стрелка выдумана?

По одним источникам, ее изобрел какой-то Флавио Джайо из Амальфи, по другим — она была известна еще во времена крестовых походов.

Вот и разберись тут.

На всякий случай Джайо соотечественники поставили памятник и так как патент на эту остроумную выдумку (не на памятник, а на магнит) никем не заявлен, то магнитные стрелки теперь может изготавливать всякий, кому придет охота.

По мнению пишущего эти строки, все-таки для историков остался один путь, с помощью которого можно легко проверить, изобрел ли магнитную стрелку, действительно, Флавио Джайо?

Стоит только выяснить — умер ли он в нищете? Если это так, — значит, он и изобрел компас.

Примеры Гуттенberга, Колумба и других в достаточной мере подтверждают это правило.

3. Порох

Не менее загадочна история с изобретением пороха. Молва приписывает эту заслугу монаху Бертольду Шварцу, но так как нет данных, свидетельствующих о том, что он умер в нищете, то и причастность Шварца к делу "об изобретении пороха" довольно сомнительна.

Предлагаем читателю на выбор: Бертольда Шварца или еще одного монаха Роджера Бэкона, которому приписывалось изобретение пороха еще в XIII веке.

О последнем в истории сказано:

"...Он умел составлять порох, заподозрен в ереси, подвергся преследованию и умер в тюрьме".

Это показывает, что уже в те времена всеми сознавалась разрушительная сила пороха и против нее принимались радикальные меры.

Изобретение пороха произвело коренной переворот в военном искусстве.

Раньше опытные, закаленные в боях воины поступали так: заковывали себя с ног до головы в железо, вскарабкивались с помощью слуг на лошадь и бросались в битву. Враги наскакивали на такого воина, рубили его саблями, кололи ножами, а он сидел, как ни в чем не бывало, и иронически поглядывал на врагов. Если его стаскивали за ногу с лошади, он и тут же не терялся: лежал себе на земле и иронически поглядывал на врагов. Те долго и тщетно хлопотали вокруг этой гигантской замкнутой устрицы, не зная, как открыть ее, как достать из-под железа хоть кусочек живого человеческого мяса... Провозившись бесплодно несколько часов над рыцарем, враги почесывали затылок и, выругавшись, бросались на других врагов, а к победителю приближались верные слуги и снова втаскивали его на коня.

Так и возили это бронированное чучело с места на место, пока враги не обламывали об него свое холодное оружие и не сдавались в плен.

С изобретением пороха дела храбрых замкнутых рыцарей совсем пришли в упадок. Стоило стащить такого рыцаря с лошади и подложить под него фунта два пороха, как он сейчас же размыкался, разлетался на части и приходил в совершенную негодность.

Таким образом, изобретение пороха повело к упразднению личной храбрости и силы... Военное дело было реорганизовано, появились ружья, пушки, укрепленные города затрещали, а дикари, незнакомые с употреблением огнестрельного оружия, впали в совершенное уныние. Европейцы их били, колотили и презирали на том основании, что они:

— Пороху не выдумали!

4. Открытие Америки

Очевидцы утверждают, что Америка была открыта Христофором Колумбом, прославившимся, кроме того, своей силой и сообразительностью; во время диспута с учеными Колумб, в доказательство шарообразной формы Земли, раздавил на глазах присутствующих — без всяких приспособлений — куриное яйцо. Все ахнули и поверили Колумбу.

Разрешение на открытие Америки Колумб получил условно, т.е. в договоре правительства с Колумбом было сказано буквально так:

"Мы, Фердинанд Арагонский, с одной стороны, и Христофор Колумб — с другой, заключили настоящий договор о том, что я, Фердинанд, обязуюсь дать ему, Колумбу, денежные средства и корабли, а он, Колумб, обязуется сесть на эти корабли и плыть, куда придется. Кроме того, упомянутый Колумб обязуется наткнуться на первую подвернувшуюся ему землю и открыть ее, за что он получает наместничество и десятую часть доходов с открытых земель".

Относясь чрезвычайно почтительно к памяти талантливого Колумба, мы тем не менее считаем себя обязанными осветить эту личность с совершенно новой стороны, неподобную той, которая была создана исторической рутиной.

Вот что мы утверждаем:

1) Выезжая впервые из гавани Палоса (в Испании), Колумб думал только об отыскании морского пути в Индию, не помышляя даже об открытии какой-то там Америки. Так что тут никакой заслуги с его стороны и не было.

2) Во-вторых, никакой Америки даже нельзя было и "открыть", потому что она уже была открыта в X веке скандинавскими мореходами.

3) И, в-третьих, если бы даже скандинавские мореходы не забежали вперед — Колумб все равно никакой Америки не открывал. Пусть проследят читатели все его поведение в деле "открытия Америки...". Он плыл, плыл по океану, пока один матрос не закричал во все горло: "Земля!" Вот кто и должен был по-настоящему считаться открывателем Америки — этот честный, незаметный труженик, этот серый герой... А Колумб оттер его, выдвинулся вперед, адмиральский напялил мундир, вылез на берег, утер лоб носовым фулярным платком и облегченно вздохнул:

— Ф-фу! Наконец-то я открыл Америку!

Многие будут спорить с нами в этом пункте, многие отвергнут нашего матроса... Хорошо-с. Но у нас есть и другое возражение: в первый свой приезд Колумб никакой Америки не открывал. Вот что он сделал: наткнулся на остров Сан-Сальвадор (Гванагани), вызвал в туземцах удивление и уехал. Едучи, наткнулся на другой остров — Кубу, высадился, вызвал в туземцах удивление и уехал. Сейчас же наткнулся на третий остров Гаити — по своей, уже укоренившейся привычке высадился, вызвал в туземцах удивление и уехал домой в Испанию. Спрашивается, где же здесь открытие нового материка, если тщеславный моряк повертелся среди трех островов, вызвал в туземцах удивление и уехал?

Наш скептицизм разделялся многими даже в то время. По крайней мере, когда Колумб вернулся в Испанию и сообщил о своем открытии, — некоторые просвещенные люди, знавшие о посещении скандинавами новой страны еще в X веке, — пожимали плечами и, смеясь, называли Колумба:

— Тоже! Открыл Америку.

С тех пор эта фраза и приобрела определенный смысл иронии и насмешки над людьми, сообщавшими с торжественным видом об общеизвестных фактах.

Что можно поставить Колумбу в заслугу — это его умение производить на туземцев впечатление и вызывать в них искреннее удивление. Правда, нужно признаться, что удивлялись обе стороны: красные индейцы при первой встрече с диким видом рассматривали белых европейцев, а белые европейцы с ошеломленными лицами глядели на красных безбородых людей, у которых вся одежда состояла из собственного скальпа, лихо сдвинутого набекрень.

Налюбовавшись в достаточной мере друг на друга, белые и красные приступили к торгу. Обе расы искренне считали друг друга круглыми дураками.

Белые удивлялись втихомолоку:

— И что за идиоты эти дикари! Золотые серьги, кольца и целые слитки они отдают в обмен на грошовое зеркальце или десяток разноцветных стеклянных бус.

А дикари тоже тихонько подталкивали друг друга локтями, хихикали и качали головами с самым безнадежным видом:

— Эти белые смешат нас до упаду своей глупостью: за простой желтый кусочек, величиной не более кулака, они отдают целое не разбитое зеркало или целый аршин красного великолепного кумача!

С последующими посещениями Колумбом Америки — меновая торговля росла и развивалась.

Испанцы привезли индейцам кожи, ружья, порох, рабство и склонность к грабежам и пьянству.

Благодарные индейцы отдалили их картофелем, табаком и сифилисом.

Обе стороны поквитались, и никто не мог упрекнуть друг друга в отсутствии щедрости: ни Европа, ни Америка.

После третьего плавания в Америку Колумб стал уже подумывать о тихой спокойной жизни без тревог и приключений... В этом ему пришел на помощь сам испанский король Фердинанд: он заковал Колумба в цепи и посадил в тюрьму. Так как в то время всех выдающихся членов-людей, обыкновенно, сжигали, то эта королевская милость Колумбу вызвала у последнего много завистников.

Из них в истории известен Кортес, завоевавший Испанию Мексику и снискавший у добродушного короля такое же расположение, как Колумб...

5. Завоевание Мексики и Перу

Завоевание Мексики и Перу считалось в то время очень значительным событием, но совершилось оно очень просто...

Один храбрый офицер по имени Фердинанд Кортес несколько раз приставал к испанскому королю Карлу с просьбой послать его в какую-нибудь экспедицию. Кортес так надоел королю своим беспокойным характером, что тот однажды послал его к черту.

Придравшись к этому случаю, храбрый Кортес назвал себя послаником короля, взял отряд из 500 человек и явился в Мексику.

Дальнейшее пошло как по маслу: сначала испанцы поубивали многих туземцев, потом туземцы порядочно пощипали испанцев, убив мимоходом в увлечении дракой даже собственного короля Монтесуму.

Убедившись, что Монтесума не оживет, племянник его Гватемосин перескочил через мертвого дядю и уселился на престол с видом завзятого короля... Испанцы осадили столицу Мексики, взяли ее приступом, туземцев снова поубивали, а Гватемосина изжарили на угольях, чего он не мог простить победителям до самой смерти.

В то же время завоевательная лихорадка распространилась повсюду: завоевывал туземцев и новые страны всякий, кому было не лень.

Обыкновенно, если несколько друзей собирались за выпивкой, кто-нибудь сейчас же предлагал:

— А что, господа, не завоевать ли нам какую-нибудь страну?

— Ну что ж... можно, — соглашались гуляки, и все немедленно гурьбой ехали к робким запуганным индейцам.

Десяток нахальных, развязных завоевателей без труда убеждал многотысячное индейское войско, что для них самое лучшее — покориться.

Почему — в это никто не входил. И, конечно, индейцам ничего не оставалось, как покоряться. И они покорялись.

Таким образом, Писарро завоевал Перу, а его компаньон по выпивке какой-то Альмагро отбылся на пути от компании, заблудился и, наткнувшись на страну Чили, покорил ее один-единешенек. И страшно-то ему было, и странно, и скучно, да ничего не поделаешь — пришлось покорять.

6. Торговля неграми

Открыв Америку, испанцы стали заставлять индейцев работать в рудниках и плантациях. Нежные, не привыкшие к работе индейцы (до сих пор вся их работа сводилась к взаимному сдиранию скальпов, в чем некоторые отличались замечательным проворством и трудоспособностью) — умирали как мухи.

Сердце одного доброго человека, по имени Лас Касас, разрывалось от жалости к несчастным индейцам.

Добрый Лас Касас стал усиленно хлопотать об освобождении индейцев.

— Какой вы чудак! — возразили ему плантаторы.
— Кем же мы их заменим?

— Да африканскими неграми. Очень просто!
Совет был принят к сведению. Его исполняли так рьяно, что вся Африка скоро затрещала и почти опустела.

Освобожденные индейцы все равно вымирали, но теперь к ним присоединились и негры: они тоже вымирали.

Добрый, находчивый Лас Касас особенной популярностью среди негров не пользовался, хотя история всегда сохранила за ним титул "защитника угнетенных".

Теперь он уже умер.

РАЗДОРЫ И ДРАКИ ИЗ-ЗА ИТАЛИИ И ПРОЧ.

Французские короли, начиная с Карла VIII, давно уже точили зубы на Неаполитанское королевство. Дело в том, что с незапамятных времен в этой стране почему-то королевствовали французы. Гораздо проще было, конечно, если бы на итальянском престоле сидел итальянец, но народы того времени были так простодушины, что не входили в подобные тонкости.

— Сидит себе на престоле какой-то человек, ну и пусть сидит. Лишь бы не драл семь шкур с жителей, а довольствовался двумя-тремя...

Таким образом, однажды на престол сел француз Карл Анжуйский и немедленно сделал вид, что иначе и быть не может. Так тянулось много лет, но однажды какой-то его наследник отлучился на минутку, и этого было достаточно, чтобы на престол сейчас же села Арагонская фамилия. Французскому королю Карлу VIII это показалось обидным. Он набрал войско и пошел на Италию; Арагонская фамилия, видя, что дело нешуточное, убежала в Испанию, а неаполитанцы ограничились тем, что лениво осмотрели нового короля и пожали плечами.

— Ну, садись ты. Тот король, правду сказать, был не особенный.

Но французский король оказался еще хуже: он грабил и притеснял неаполитанцев вовсю, как будто бы его готовили к этой профессии с детства.

Пришло изгонять нового короля, возвращать старого.

Эта канитель тянулась довольно долго. Следующий король Людовик XII тоже косился на неаполитанский престол и даже заключил с Фердинандом Католиком договор с целью сообща стянуть у Арагонской фамилии этот престол.

Но Фердинанд Католик оказался таким пройдохой, которого свет не производил. При разделе завоеванного Неаполитанского королевства он обсчитал Людовика и вступил с ним в драку. Испанцы со стороны подошли, посмотрели на эту драку и потихоньку уселись сами на злосчастный неаполитанский престол.

Неаполитанцы согласились и с этим:

— Испанцы так испанцы.

Во время этих взаимных затрецин и потасовок выдвинулся один французский рыцарь — Баярд. Выдвинулся он своей храбростью и главным образом честностью.

Впрочем, выдвинуться последним качеством в то время было легко, так как мошенничество считалось самым обыкновенным делом и сидело даже в королевской крови (см. Иловайского "Новая История").

Например, Людовик XII упрекал Фердинанда Католика в том, что тот обманул его два раза!

Самолюбивый Фердинанд обиделся, королевская его кровь закипела, и он воскликнул:

— Лжет он, пьяница! Я обманул его не три, а десять раз!

Конечно, Баярду легко было выдвинуться и прославиться при этих условиях... А в наше время был бы он обыкновенным, ординарным порядочным человеком, как мы с вами...

Людовику XII наследовал Франциск I. Жестоко ошибется тот, кто подумает, что Франциск не завоевывал Италии. История даже говорит так:

— Первым делом его был поход на Италию.

До сих пор непонятно, что, собственно, нужно было французским королям от Италии?

Конечно, Франциск взял Милан, конечно, новоиспеченный император германский Карл V сейчас же выгнал его оттуда с целью самому завладеть итальянским престолом. А Франциск снова вернулся в Милан и выгнал Карла. А Карл опять выгнал Франциска, разбил его наголову и захватил в плен.

Ну, хорошо ли все это? Спрашивается, при чем здесь были все время несчастные посторонние итальянцы?

В истории эта неразбериха называется очень громко: "Борьба за Италию"!

Подводя итоги "Борьбы за Италию", мы удивляемся только одному: как присяжные историки разбираются во всех этих однообразных неинтересных именах. У народов того времени фантазии не было никакой: всякого короля они называли Карлом или Людовиком и разбирали их только по ничего не говорящим римским цифрам позади имени. Изредка давали им прозвища, но и то — самые нехарактерные:

— Фердинанд Католик, Филипп Красивый, Карл Испанский.

Что типичного в том, что Фердинанд был католик? А другие короли разве не были католиками?.. Филипп

назывался Красивым. А остальные как же... Были, значит, некрасивыми. Тем более что одного Людовика тоже называли Красивым.

Можно было бы еще разобраться по национальностям, которые указывались около имен, но это было совсем рискованно и очень нескладно... Например, Карл Испанский на самом деле был не испанским, а германским императором. Почему он, в таком случае, Испанский? Почему Анна Австрийская была на самом деле французской королевой?

И много, много еще странного есть во всеобщей истории...

РЕЛИГИОЗНАЯ ПУТАНИЦА В ГЕРМАНИИ

Начало коренной ломки католичества положили так называемые гуманисты, прямой противоположностью которых являлись так называемые обскуранты.

Для ясности попробуем в двух-трех обычных, понятных словах охарактеризовать тех и других, руководствуясь при этом тем впечатлением, которое осталось у нас после тщательного штудирования эпохи Реформации.

Так называемые гуманисты: порядочные, умные, интеллигентные люди, без косности и предрассудков.

Так называемые обскуранты: невежественные глупцы, темные и злые дураки.

Из этих душевных свойств вытекали и поступки тех и других...

Одни писали умные книги, другие сжигали их; одни говорили здравые человеческие слова, другие, возражая им, несли невозможную чушь, так что, по словам одного летописца того времени:

— Уши вянут, когда слушаешь обскуранта.

Правда, гуманисты тоже иногда впадали в ненужную крайность. Каждый гуманист думал, что умнее его никого и нет, и сейчас же выдумывал новое религиозное усовершенствование, проповедовал новую, свою собственную (остерегаться подделок!) веру...

Повторилась та же история, что с изобретениями и открытиями: появилась мода на изобретения — все бросились изобретать что попало: книгопечатание, по-

рох, магнитную стрелку... Эту моду сменила другая: открывать. Все лихорадочно ринулись открывать — что подвернется под руку, без всякого толку и смысла...

Понаоткрывали разных земель — мода устарела... Уже считалось признаком дурного тона, старомодным провинциализмом — открыть какую-нибудь новую землю. Проезжая мимо не открытых еще земель, мореплаватели делали вид, что не замечают их.

Образовалась в душах пустота — и пустота эта стала заполняться разными вероучениями.

Кажется, достаточно было того, что один умный религиозный человек, так наз. Мартин Лютер, исправил католическую религию, довел ее до простоты, очистил от многих ошибок и заблуждений. Нет! Появился еще какой-то Цвингли, который перевернул вверх дном всю Швейцарию, доказал, что Лютер — постепеновец, обвинил его чуть ли не в октябристе¹ и стал устраивать религию по-своему: запретил церковное пение, свечи и даже велел вынести из церквей все изображения святых.

Отсюда и пошла известная швейцарская поговорка: "Хоть святых вон выноси" (1531 г.).

Проповеднику по имени Кальвин не понравился ни Лютер, ни Цвингли. Он потер себе лоб и выдумал новое вероучение, сущность которого заключалась в предопределении. Кальвин уверял, что люди заранее назначены — одни к вечному спасению, другие — к вечной гибели. Конечно, проповедуя это, Кальвин, по своей теории, ничем уже и не рисковал в будущей жизни. Раз ему заранее было назначено то или другое — Кальвин делал в текущей жизни, что ему вздумается.

По имени Кальвина — его последователи стали называться гугенотами, но даже и этот псевдоним не спас их от истребления (см. оперу "Гугеноты").

Некоторое время гугеноты под именем пуритан еще держались в Англии (Шотландия), но и там они постепенно вывелись. Теперь среди англичан и днем с огнем не найдешь пуританина — все едят кровавые ростбифы, ходят в кинематограф и даже изредка женятся друг на друге.

Так, по свидетельству беспощадной истории, все религии постепенно вырождаются, мельчают и меркнут.

¹ Октябрист — здесь автор намекает на политическое течение в дореволюционной России, представленное партией "Союз 17 октября", названный от царского манифеста 17 октября 1905 года. Октябристы в Государственной думе блокировались с кадетами и монархистами.

Личность Мартина Лютера. Как и большинство людей его сорта, Мартин Лютер имел "ввалившиеся горящие глаза, вдохновенный вид и говорил убедительно, смело, открыто и горячо".

Так, например, когда профессор Эк вызвал его на религиозный спор, Лютер стойко выдержал Эковы нападки и защищался, как лев. Выслушав мнение Лютера об Иоганне Гуссе, Эк сказал:

— С этих пор, достопочтенный отец, будьте вы мне, как язычник и мытарь.

— Сам-то ты хорош! — ответил ему Лютер (Шлезинг. II ч. Стр. 143), — чем этот исторический диспут и закончился.

Спрашивается: какая же причина побудила Лютера принять лютеранство? История отвечает на это:

— Папские индульгенции!

Индульгенциями назывались свидетельства, вроде тех, которые выдаются теперь "о прививке оспы".

На первый взгляд это были простые продолговатые бумажки, но в них заключалась удивительная сила: стоило только купить такую бумажку, и покупателю отпускались грехи, не только прошедшие, но и будущие.

Перед тем как зарезать и ограбить семью, разбойникшел к монаху и, поторговавшись до седьмого поту, покупал индульгенцию...

Иногда, не имея денег, брал ее в кредит.

— Ничего, — говорил, обыкновенно, добродушный монах. — Отдашь после, когда зарежешь. Вы наши постоянные покупатели, как же-с!..

Если бы пишущий эти строки имел в кармане индульгенцию, которая отпустила бы ему нижеуказанный грех, он сказал бы:

— Все католические монахи того времени были канальи и мошенники, а все разбойники круглые дураки.

Как это ни удивительно, учение Лютера пришлось по вкусу именно влиятельным князьям и курфюрстам. В особенности нравилась им та часть учения, которая доказывала, что монастыри не нужны, что можно спасаться и без монастырей. В припадке религиозного фанатизма курфюрсты позакрывали все монастыри, а имущество монастырское и земли секуляризовали.

— Послушайте, — возражали монахи, — зачем же вы отнимаете у нас наше добро?

— Мы не отнимаем, — оправдывались курфюрсты, — а секуляризуем.

— А, тогда другое дело, — говорили успокоенные монахи и, убегая в горы, предавали курфюрстов и самого Лютера навеки нерушимому проклятию... (Комминг. "Начало реформации". Стр. 301).

Таким образом, совершенно незаметно Лютер сделался официальным революционером при дворах курфюрстов и князей...

В этот период его жизни "ввалившиеся горящие глаза" перестали вваливаться и гореть, щеки округлились, и хотя он по-прежнему говорил "смело, открыто и горячо", но вот уже каковы были его смелые горячие речи (после восстания крестьян, притесняемых дворянами):

— Этых мятежников нужно убивать, как бешеных собак.

Курфюрсты не могли нарадоваться на своего протеже...

Несмотря на все это, популярность лютеранства так возросла, что появились даже подделки.

Происходило то же, что теперь происходит с аэропланами.

Аэроплан придуман и усовершенствован был одним человеком... Но другие хватались за это изобретение, приделывали сбоку какой-нибудь пустяковый винтик или клапан — и выдавали весь аппарат за продукт своего творчества.

Так — появились ана뱁тисты... Это были те же лютеране, но имели свой собственный клапан: многоженство и вторичное крещение детей.

Мало этого — какой-то священник Менно¹. Заинтересовался ана뱁тизмом, ввел в него какой-то пустяк и основал секту меннонитов.

У Меннона уже никто не хотел заимствовать его изобретения — аппарат принадлежал к категории тех, которые не летают...

ИЕЗУИТСКИЙ ОРДЕН

Иезуитский орден — есть такой орден, который все человечество, помимо всякого желания, уже несколько веков носит на своей шее.

К сожалению, люди до сих пор не научились вешать этот орден как следует.

¹Правильно: Менно Симонс. Меннониты проповедуют смиление, отказ от насилия, верят во "второе пришествие Христа".

ФРАНЦИЯ И ГУГЕНОТЫ

В наше время при спорах с противником приходится тратить много времени, ума и красноречия, чтобы убедить его или, по крайней мере, разбить его доводы. В прежние времена народ был проще, прямолинейнее, и когда, например, А вступал с Б в спор, то, если А был сильнее и могущественнее — он сжигал Б на костре, а если более сильным оказывался Б — А немедленно попадал на костер и корчился там, и вопил, и жаловался на свою сюровую судьбу, пока вкусный запах жареного мяса, донесшийся до Б, не показывал ему, что А убежден совершенно в правоте своего противника.

Например, во время послеобеденной прогулки А ведет с Б дружеский разговор:

А. Удивительно, как это просто: оказывается, что Земля имеет форму шара. Я сегодня только об этом узнал и, признаюсь, поражен гениальностью открытия...

Б. (иронически прищурившись). Да? Ты уверен в том, что Земля имеет форму шара?

А. Ну, конечно! Это ясно даже младенцу.

Б. (иронически). Да? Ясно? Младенцу? А я тебе скажу, милый мой, что Земля совершенно плоская.

А. (еще более иронически). Не-у-же-ли? Где же она, в таком случае, кончается?

Б. (разгорячившись). Где? Да нигде!

А. Друг! Но ведь это же чушь. Ну, тянется она на тысячу верст, ну, еще на десять тысяч, но ведь конец-то где-нибудь должен быть?

Б. Черт его знает. Нету конца, да и все.

А. Слушай же! Земля имеет форму шара — и больше никаких! Если какой-нибудь старый осел возразит: "почему же мы, в таком случае, не скатываемся?" — то я, во-первых, спрошу этого кретина: "куда?", а во-вторых, сообщу этому чурбану: "потому что существует земное притяжение!"

Б. (горько). Да? Земное притяжение? А что ты скажешь, когда я тебя немножко погрею?

А. Я... тебя не понимаю.

Б. Где же тебе понять старого осла... Эй, люди! Тащи вязанку дров, веревок и огонь.

А. Ты этого не сделаешь!!!

Б. Бери его. Вяжи! Огонь принесли? Так. Внизу лучинок положите, чтобы разгорелось. Ну, вот. Раздувай! (Опускается около костра на корточки и обиженно спрашивает.) Ты и теперь утверждаешь, что Земля круглая?..

А. (корчась). Ну... не совсем круглая, а такая... овальная!..

Б. (с горьким смехом). Овальная? А ну, ребятки, поддай.

А. (лязгая зубами). В сущности, "овальная" я употребил как метафору...

Через пять минут А начинает предполагать, что он ошибся: пожалуй, Земля и в самом деле плоская.

Б. (добродушно). Ну, вот видишь! Я знаю, меня не переспоришь.

В те времена подобные диспуты назывались "попасть с огонек".

В настоящее время эта фраза имеет значение более идилическое и употребляется преимущественно мелкими чиновниками, которые изредка заходят к приятелю убить мирно вечерок.

Король французский Франциск I считал себя человеком неглупым, понимающим, где раки зимуют, и поэтому жег на костре всякого, кто смотрел на религию другими глазами, чем он. Сын его Генрих II наследовал светлый ум отца, присоединив к нему изумительное трудолюбие (жег еретиков десятками там, где родитель ограничивался единицами). Кончил же Генрих II тем, что вызвал однажды на турнир капитана своей гвардии Монтгомери, — полагая, что король должен быть не только самым умным, но и самым сильным человеком. Но Монтгомери попал ему копьем не в бровь, а в глаз, и глубоко, до самого мозга, разочаровал своего повелителя в его способностях...

После Генриха II пошел народ мелкий, ничтожный, почти ничем не прославившийся... Например, Франциск II был известен только тем, что состоял мужем знаменитой Марии Стюарт. Таких "мужей знаменитости" и в наше время можно встретить сколько угодно в уборной певицы или драматической актрисы. Они обыкновенно смирененько сидят в уголку и ждут, когда жена окончит спектакль — чтобы, закутав ее в шубу, везти домой.

Брат Франциска II Карл IX был знаменит тем, что за него управляла мать, Екатерина Медичи.

Нужно сказать правду: это был такой период королевского владычества во Франции, который очень хорошо характеризовался меткой фразой летописца:

— Француз ума не имеет, и иметь таковой почтает величайшим для себя несчастьем.

В самом деле — даже теперь все удивляются: что нужно было французам? Одни были католиками — ну

и пусть. Другие гугенотами — пожалуйста! Сидите смири-
но и занимайтесь своими делами. Так католик, изволите
видеть, не мог заснуть спокойно, пока не зарежет на сон
грядущий гугенота. А гугеноты (из тех, которые еще не
были зарезаны) спали и видели, как бы подстроить га-
дость католику. Противно читать даже эту позорную
страницу французской истории. Ведь все равно эти рели-
гиозные дураки, с ног до головы залитые чужой и своей
кровью, столько же имели шансов на царствие небесное,
как любой уличный негодяй и разбойник. И ни одного
в то время откровенного слова об этом, ни одного ум-
ного человека! Пишуший эти строки иногда даже кусает
себе губы от досады: отчего его там не было?..

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ

Грубые, глупые, коварные католики истребляли глупых простодушных гугенотов, как ретивые горничные
клопов в барской постели.

Например, если нужно было католикам поубивать
гугенотов, они делали это просто:

— Гугеноты, — говорила Екатерина Медичи (женщи-
на, которую теперь не уважает даже мальчишка из тре-
тьего класса гимназии). — Гугеноты! Хотите, я выдам
замуж сестру короля за вашего Генриха Наваррского?..
Не бойтесь! Приезжайте в Париж. Мы вас не тронем.
Наоборот, проведем с вами очень веселую Варфоломеев-
скую ночь (1572).

Гугеноты, конечно, еще не знали, что такое "Варфоло-
мееевская ночь", обрадовались, приехали в Париж, и им
там устроили такую ночь, что гугеноты до сих пор не
могут вспомнить о ней без отвращения.

Это произошло при короле Карле IX — слабой, безволь-
ной душонке. Летописец того времени характеризует его так:

— Это второй зять Мижуев из "Мертвых душ".

После него царствовал Генрих III, о котором даже
говорить не стоит — такой это был никчемный человек!

ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ

А следующим королем был Генрих IV Наваррский.
Его считают самым порядочным из людей того времени.
Отношение к религии у него было благодушное, с оттен-

ком настоящей веротерпимости... Начал он с того,
что был гугенотом. Но после Варфоломеевской ночи,
пойманый королем, он имел с ним разговор (см.
беседу А и Б о земном шаре), после которого
перешел в католичество. Однако стоило только гу-
генотам начать новую войну с католиками, как Генрих
немедленно сделался гугенотом. Но тут вышла ма-
ленькая загвоздка: протестанты провозгласили его
королем, а католики-парижане не хотели его при-
знавать.

— Чего же вы хотите? — спросил их веселый Генрих.

— Если бы ты был католиком... — нерешительно
вразили парижане.

— Только-то? Да Господи! Где тут у вас церковь?

И, принятый в лоно католической церкви, сказал ис-
торическую фразу:

— Господа! Вот вам историческая фраза: "Париж
стоит хорошей обедни".

Это был весельчик, не дурак выпить, любитель жен-
щин и храбрый рубака. Нам он вообще очень симпатичен.
Народ свой он очень любил. Ему принадлежит еще
одна историческая фраза:

— Господа! Вот вам еще одна историческая фраза: "Я
желал бы, чтобы каждый французский крестьянин мог по
праздникам иметь в супе курицу..."

Узнав, что это историческая фраза, окружающие за-
помнили ее, и до сих пор французы, гордясь добрым
королем, показывают в Луврском музее хорошо сохра-
нившееся чучело той самой курицы, которую Генрих IV
хотел видеть в супе своих крестьян.

К сожалению, этот прекрасный король был убит по
наущению иезуитов (читатель! остерегайся иезуитов). Во-
обще, короли того времени умирали или от руки убийц
(Генрих III, Генрих IV), или от угрозений совести
(Карл IX, Людовик XIII и др.).

КАРДИНАЛЫ

После Генриха IV на престол вступил кардинал Рише-
лье и, как свежий человек, быстро привел дела Франции
в порядок. Ему наследовал престол кардинал Мазарини,
человек не менее свежий (настолько, что Анна Австрий-
ская, женщина уже не первой молодости, тайком вышла
за него замуж).

Около этих двух королей кормились еще два Людовика: XIII и XIV, но они не мешались ни во что, и благодарная история пожимает им за это руки.

Мы бы рассказали подробнее о вышеизказанном любопытнейшем периоде французской истории, но не хотим отбивать хлеб у нашего коллеги, который употребил на это всю свою жизнь (Александр Дюма. "Три мушкетера", "Двадцать лет спустя" и "Виконт Бражелон").

Дюма рассказывает об этом периоде гораздо подробнее — болтливый, как всякий француз... То, что можно сказать на двух страницах — он растянул на три с половиной тысячи страниц.

Впрочем — Бог с ним.

Всякому есть хочется.

ТЮДОРЫ, СТЮАРТЫ И К°

Первым королем из фамилии Тюдоров в Англии был Генрих VII, а вторым — Генрих VIII.

Последний отличался семейными наклонностями. Женатый на принцессе Екатерине Арагонской, он через 20 лет супружеской жизни вспомнил, что жена его раньше была замужем за покойным братом, и развелся с ней. Женился на Анне Болейн. После нее — еще на одной девушке Иоанне Сеймур; и еще на одной; он даже не помнил ее имени... и еще на одной; и еще на одной. Таким образом, у него было шесть жен, — не хватало еще седьмой, чтобы борода его посинела.

История Тюдоров и Стюартов напоминает Ветхий Завет наизнанку... Там — Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова, Иаков — и т.д.

А вот подлинная история Тюдоров и Стюартов:

Генрих VIII казнил жену свою Анну Болейн.

Мария Стюарт казнила своего мужа Дарнлея.

Королева Елизавета казнила королеву Марию Стюарт.

Кромвель казнил короля Карла I.

Иаков II казнил сына Карла II, герцога Монмута.

И только на Иакове II прекратилась эта странная династия: Иакова II никто не казнил, а просто он, как гласит история: "забросил в Темзу государственную печать, а сам убежал".

В это же время в Англии несколько раз менялись религии: один король был ревностным католиком и на-саждал католичество, убивая еретиков; другой король вспоминал, что Англия не хуже других стран, и вводил какую-нибудь новую веру, вроде англиканской, убивая еретиков. Опять приходилось прежних католиков переделывать на пуритан; но садился на престол следующий король... пуритане ему решительно не нравились. То ли дело католики!

И опять начиналась длинная процедура перекрецивания уже несколько раз перекрещенных англичан. Священники наживались на этих старых крестинах, а народ скучал в такой однообразной жизни, разорялся и бедствовал, — пока не пришел Кромвель. Это был хитрый мужичок, который хотя и обладал "голосом хриплым и монотонным, речью растянутую и грубою, а одевался небрежно", но когда он сказал своим хриплым монотонным голосом:

— Довольно!

Все поняли, что действительно, довольно. Кромвель ввел парламент, поднял английскую торговлю и мореплавание; за это благодарные англичане поднесли талантливому самородку титул "Оливера", который до сих пор красуется в истории рядом с его именем. Так отблагодарила Англия своего великого человека.

При Карле II возникла война ториев и вигов. Кто же это, спрашивается, такие?

Понятнее всего для читателя будет, если мы прибегнем к приему, уже однажды нами использованному:

Тори — плохие, глупые, тупые, косные люди.

Виги — симпатичные, прогрессивные, очень хорошие люди.

Благодаря усилиям последних, в Англии был издан закон под названием *habeas corpus*¹. У русского читателя потекли бы слюнки, если бы он узнал, что это такое... Но по цензурным условиям мы объяснить этого не можем.

¹ *Habeas corpus* (лат.) — название Закона о свободе личности, принятого английским парламентом в 1679 году. По этому закону никто без решения суда не мог подвергнуть кого-либо задержанию или аресту. Каждый гражданин в случае ареста имел право требовать, чтобы в течение суток ему было предъявлено судебное обвинение, а при отсутствии такового требовать освобождения из-под ареста.

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ

Во время всех вышеприведенных передряг и смут появился в Англии Шекспир. Это был хотя и знаменитый писатель, но рост имел очень маленький, почему о нем впоследствии и говорили:

— Сапоги выше Шекспира!

Другой знаменитый человек того времени был Бэкон, отец "опытной" философии. Он доказал, как дважды два, что единственный путь к достижению истины — есть наблюдение над правдой, исследование действительности (Иловайский. "Нов. История"). Это учение имело такой успех, что Бэкона сделали государственным канцлером. Но однажды наехала в суды ревизионная комиссия, рассмотрела состояние судопроизводства в Англии и выяснила, что Бэкон брал взятки и вообще совершал всякие злоупотребления. Его посадили в тюрьму.

Таким образом, его же теория (наблюдение и исследование действительности) послужила ему только во вред.

Был еще в Англии в те времена Мильтон, но он был совершенно слепой.

ДАНИЯ, ШВЕЦИЯ И НОРВЕГИЯ

Об этих странах лучше всего ничего не писать... В самом деле: кто их знает? Кто ими интересуется? Решительно никто.

Появились там три великих человека: Ибсен, Бёйрн-стерьне-Бернсон и Гамсун, да и то в самое последнее время.

А раньше был только один Ваза¹.

И все у них было как-то несерьезно, по-детски — будто игра в куклы. Страны были маленькие, ничтожные, а тянулись за большими, подражали взрослым: так же устраивали политические восстания, казнили противников и, конечно, вводили реформацию. Но все было у них на детский рост: вместо войн — стычки, вместо казней — пустяки.

Да и реформация была какая-то такая...

Что же это за история?

¹ Ваза (Vasa) — шведская королевская династия в 1523—1654. Основатель Густав I.

ПОЛЬША

И Польша то же самое: никакого толку в ней не было. Кажется, и люди были умные, и воины храбрые — а все-таки ничего у них не клеилось...

Была, по моде того времени, замене католической, своя собственная вера, но какая-то странная: антирелигиозная¹. Что это такое — и до сих пор никто не знает.

С королями тоже не ладилось.

Стоило только прекратиться роду королей Сигизмундов, как стали приглашать на престол кого попало: французского принца Генриха Анжуйского, давшего потом потихоньку тягу во Францию; какого-то седмиградского воеводу Батория; шведского принца Сигизмунда и многих других.

В газетах того времени нетрудно было встретить объявление такого рода:

РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ
ищет трезвого, хорошего поведения короля.
Без аттестата от последнего места не являться.

Человеку ограниченному может показаться странным:

— Как так не найти короля?

Дело объяснялось очень просто: "король" — было только такое слово — и больше ничего. Никакой власти королю не давалось. Всякий делал, что хотел, и это называлось *liberum veto*². И частенько по ночам плакали короли в подушку от этого *liberum veto*...

Удивительнее всего, что и парламент существовал у поляков (сейм), но никогда пишущему эти строки (да простит мне старая Польша!) не приходилось встречать более нелепого учреждения.

¹ Антирелигиозные — приверженцы течения, секта в христианстве, не принимающие один из основных доктринах христианства — доктрина Троицы.

² *Liberum veto* (лат.) — свободное вето. Право наложения единоличного запрета на постановление законодательного собрания.

Например, собираются триста человек и решают вопрос о том, что нужно поднять благосостояние страны. Кажется — дело хорошее? 299 человек в восторге от проекта, а трехсотый, какой-нибудь скорбный главой шляхтич, неожиданно заявляет: "А я не хочу". — "Да почему?" — "Вот не хочу, да и не хочу!" — "Но ведь должны же быть какие-нибудь основания?" — "Никаких! Не желаю!" И, благодаря этому трехсотому, решение проваливалось!! (Иловайский. Стр. 96.)

Можно ли писать историю такой страны? Конечно, нет. Это только Иловайский способен.

ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА (1618—1648)

Как это ни скучно, но нам приходится опять возвращаться к борьбе католиков с протестантами.

Человеку нашего времени решительно непонятно: как можно воевать из-за религиозных убеждений?

Ведь в таком случае человечество могло пойти дальше: брюнеты резали бы блондинов, высокие — маленьких, умные — глупых...

А в те времена — религиозные войны были обычным и привычным делом. Целые полки под командой глупых, с тупыми физиономиями полководцев носились из страны в страну, орали, молились, поджигали, разоряли, славили Бога (своего собственного), грабили, горланили гнусавыми голосами псалмы и вешали пойманных иноверцев с таким хладнокровием, как теперь вешают собственное пальто на гвоздик.

История говорит, что после Тридцатилетней войны Германия пришла в такой упадок, возник такой голод, что жители некоторых мест принуждены были питаться человеческим мясом... Жаль, что этим кончили; с этого нужно было начать: переловить до войны всех этих тупоголовых полководцев, курфюрстов, ландграфов — и, сделав над собой усилие, поесть их. И страна бы не разорилась, и ни в чем не повинные люди остались бы несъеденными.

До чего раньше одна часть человечества была проста и доверчива, видно из следующего: в сущности, ни немецкие католики ничего не имели против протестантов, ни немецкие протестанты против католиков.

Но появились за спиной герцога Фердинанда иезуиты и шепнули сладким голосом:

— Ка-ак? Чехи протестанты? Какое безобразие! Чего же вы смотрите? Бейте их!

А кардинал Ришелье с другой стороны обрушился на протестантов:

— Чего вы смотрите, дурачье! Бейте католиков по чем попало! Всыпьте им хорошенъко.

Теперь таким образом можно стравить только две пьяные компании в трактире, причем драка может продолжаться максимум — полчаса. А в те времена столь примитивный прием был действителен на тридцать лет, и уменьшил он народонаселение Германии на пятьдесят процентов.

И господь жестоко покарал протестантов и католиков за эту тридцатилетнюю глупость: предводитель католиков Валленштейн был убит в своей спальне, предводитель протестантов Густав Адольф убит на поле битвы, а разные Фридрихи, Фердинанды и курфюрсты тоже поумирали от разных причин — и ни одного не осталось до наших дней, чтобы поведать нам об этой бестактной войне.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Изголодавшиеся страны, в конце концов, съехались и заключили мир в Вестфалии — родине знаменитых окороков.

Летописец того времени утверждает, что воюющие стороны набросились прежде всего не друг на друга, а на окорока, и впервые за тридцать лет поели как следует...

А потом, когда стали делиться землями — глупые немецкие католики и протестанты, конечно, остались с носом: самые лакомые куски забрали французы и шведы.

Рассказывают, что, разобрав, в чем дело, один курфюрст почесал затылок и воскликнул:

— Да! Теперь, когда я кончил войну, я вижу, что я старый дурак.

— А когда вы ее начинали, — засмеялся француз, — вы были молодым дураком.

И все присутствующие иностранцы долго и раскатисто хохотали...

ЛЮДОВИК XIV И XV ВО ФРАНЦИИ

У французских королей того времени был один и тот же обычай, переходивший от отца к сыну: вступая на престол, король брал первого министра и первую любовницу (или любимицу, как мягко выражается Иловайский). Министр всегда оставался первым, а любимицы были и вторые и третьи.

Например:

Короли	Перв. министры	Любимицы
Людовик XIII	кард. Ришелье	Несколько
Анна Австрийская	кардинал Мазарини	Ментенон и др.
Людовик XIV	Кольбер	де ла Вальер,
Людовик XV	кардинал Флери	Помпадур

Но все-таки это был красивый изящный век, век менуэтов, пудреных париков, Версальских праздников и любовных приключений.

Короли умели жить в свое удовольствие...

Всякий из них был настолько умен, что оставлял после себя историческую фразу, и народ поэтому его не забывал.

Людовик XIV, например, сказал:

— L'état c'est moi! (Государство — это я.)

Народ прозвал его "Король-солнце". И верно. Никогда над Францией не всходило более жаркого солнца. Оно так жарило, что все финансы у Кольбера испарились, и первый министр даже получил, в конце концов, настоящий солнечный удар...

Вторая знаменитая фраза Людовика XIV, сказанная по поводу отправления внука в Испанию:

— Нет более Пиренеев!

Гораздо хуже первой. Мы считаем ее пустой бессмысленной фразой. Эдак всякий вдруг вскочит с места да крикнет:

— Нет более Монблана! Нет более западных отрогов Кордильер!

Сказать хорошо... А ты попробуй сделать.

Что касается Людовика XV, то он прославился тоже одной фразой:

— Apres nous le déluge!

Что в переводе на русский язык значит:

— Начхать мне на моих потомков. Лишь бы мне хорошо жилось.

Великая французская революция показала, что у короля были свои основания повторять эту фразу.

ПЕРВЫЕ БАНКИРЫ

Кроме этой фразы и своей "любимицы" Помпадур, король прославился также и тем, что в его царствование один шотландец, Джон Ло, изобрел остроумный способ выпускать ассигнации, продавая их за настоящее золото.

К сожалению, Джон Ло, открыв по поручению регента для этих операций целый банк, смотрел на кредитные билеты глазами десятилетнего гимназиста, который думает, что, если нужны деньги, — их можно печатать на обыкновенной бумаге, сколько влезет...

Вы понимаете, что получилось? Джон Ло в компании с королевским регентом, герцогом Орлеанским, напечатали бумажек на несколько миллиардов и очень радовались:

— Вот, дескать, ловко придумали.

Но когда держатели ассигнаций испугались количества появившихся на рынке бумаг и потребовали свое золото обратно — банк лопнул, а Джон Ло заплакал и заявил, что "он вовсе не знал, что так будет".

СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ШТАТЫ

Американские колонисты были мирными трудолюбивыми людьми.

Англичане, считая американских колонистов своими подданными, понемногу стали стеснять их свободу в смысле торговли и мореплавания.

Колонисты молчали.

Англичане ввели гербовую бумагу и некоторые сборы.

Колонисты промолчали. Была гробовая тишина.

Англичане стали взыскивать пошлины за привозные товары.

Колонисты поежились, переступили с ноги на ногу и неожиданно сказали:

— А, пойдите вы к черту!

Самолюбивые англичане спросили:

— То есть, как?

— Да так. Проваливайте с вашими пошлинами.

Сказав это, схватили изумленных англичан за шиворот, повернули лицом к Англии и вытолкали.

Началась война. Вот это была хорошая, честная, умная, вызванная необходимостью войны, и мы ее очень одобляем. Это не протестанты с католиками, а умные люди схватились не на живот, а на смерть из-за своих прав.

Когда колонисты победили и выгнали англичан, те пожали плечами и обиженно сказали:

— И не надо. И без вас проживем (1783).

— Ступайте, ступайте, — поощрили их колонисты, — пока вам еще не попало... Ишь! (Брадлей. "Нов. История". Стр. 201.)

ГЕРМАНСКИЕ ПРАВИТЕЛИ XVIII ВЕКА

Истинным бичом для несчастных учеников являются германские правители XVIII века. Мы не видели ни одного ученика, который не получил бы самым жалким образом единицы за "германских правителей в XVIII веке".

Даже пишущий эти строки, который считает себя человеком способным и сообразительным, историком опытным и знающим, — и он, отойдя от своих манускриптов и покрытых пылью пергаментов, сейчас же начнет путать "германских правителей в XVIII веке".

Пусть кто-нибудь попробует запомнить эту тарабарщину, годную только для сухих тевтонских мозгов: великому курфюрсту бранденбургскому Фридриху-Вильгельму наследовал сын его просто Фридрих. Этому Фридриху наследовал опять Фридрих-Вильгельм. Кажется, на этом можно бы и остановиться. Но нет! Фридриху-Вильгельму наследует опять Фридрих!!

У прилежного ученика усталый вид... Пот катится с него градом... Ффу! Ему чудится скучная проселочная дорога, мелкий осенний дождик и однообразные верстовые столбы, без конца мелькающие в двух надоедливых комбинациях:

— Фридрих-Вильгельм, просто Фридрих. Опять Фридрих-Вильгельм, просто Фридрих...

Когда же ученик узнает, что "Опять Фридриху" наследовал его шлемянник Фридрих-Вильгельм, он долго и прилежно рыдает над стареньkim, закапанным чернилами Иловайским...

— Боже ж мой, — думает он. — На что я убиваю свою юность, свою свежесть?

Историк, пишущий эти строки, может еще раз повторить имена династии Фридрихов. Вот, пожалуйста... Пусть кто-нибудь запомнит...

У великого курфюрста Фридриха-Вильгельма был сын Фридрих. Последнему наследовал Фридрих-Вильгельм, которому в свою очередь наследовал Фридрих; Фридриху же наследовал Фридрих-Вильгельм... Этот список желающие могут продолжать.

Даже история, беспристрастная история, запуталась во Фридрихах; до сих пор неизвестно, при каком именно Фридрихе случилась Семилетняя война. Доподлинно известно только, что он не был Вильгельмом.

СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА (1756—1763)

По сравнению с Тридцатилетней войной Семилетняя война была совсем девчонка. Та — годилась бы ей в матери.

Воевали так: с одной стороны Фридрих (какой — неизвестно), с другой — Франция, Россия, Австрия и Швеция.

Швеция, собственно, была союзникам ни к чему, но она тоже вслед за большими ввязалась в драку, семеня слабыми ножонками где-то позади взрослых...

Большие усатые союзники, ухмыляясь в усы, спрашивали ее:

— Тебе еще чего нужно?

— А я, дяденьки, — шмыгая носом, пролепетала Швеция, — тоже хочу повоевать (Броун. "Семилетняя война". Стр. 21).

Воевали плохо. Побеждал Фридрих — способом очень легким: он ссорил союзников и разбивал их. Нападают, например, на него русские и австрийцы. Он немедленно садится за стол и пишет австрийскому полководцу письмо:

"Дорогой коллега! Охота вам связываться с этими русскими свиньями... Вы и один прекрасно меня победите. Ей-Богу! И как вы можете допускать, чтобы в вашей армии командовал еще кто-то. Вы человек умный, красивый, симпатичный, а ваш товарищ просто необразованный дурак. Прогоните его скорее, а сами начните командовать".

Не было ни одного полководца, который не попался бы на эту удочку: получив письмо, прогонял союзного

генерала, нападал на Фридриха и потом, разбитый, стремительно убегал от него с остатками армии и обидой в душе.

Семилетняя война была закончена вовремя: как раз прошло семь лет со времени ее начала.

Чисто немецкая аккуратность в исполнении принятых на себя обязательств.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ

Когда же войну закончили, то увидели, что и воевать не следовало: союзники хотели оттягивать у Фридриха Силезию, но когда заключили мир (в Губертсбурге), "Силезия осталась у Фридриха (как говорит Иловайский), и каждая держава осталась при своем".

И жалко их всех и смешно.

ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Король Людовик XVI

Выше мы указывали на стройную систему, которой держались французские короли: у каждого из них был первый министр и фаворитка.

Людовик XVI первый нарушил эту традицию. Фаворитки у него не было, а с первыми министрами он поступал так: попался ему один очень симпатичный человек, Тюрго. Только что этот Тюрго взялся за полезные, насущные реформы, как Людовик XVI под давлением аристократов спохватился и прогнал Тюрго. После Тюрго он, под давлением общественного мнения, пригласил управляющим финансами банкира Неккера, тоже взявшегося за реформы, но в скором времени спохватился и под давлением аристократии прогнал его. Впрочем, через некоторое время он, под давлением народа, снова пригласил Неккера.

Из вышеизложенного видно, что это был король, на которого не давил только ленивый.

Под давлением же народа было создано королем национальное собрание. Но тут вмешалось давление аристократии и придворных. Король послал национальному собранию приказ разойтись. Оратор собрания Мирабо вскочил и заявил:

— Мы здесь по воле народа, и только сила штыков разгонит нас.

В эту минуту случилось так, что никто не давил на короля. Он кивнул головой и добродушно сказал:

— Ну, ладно. Сидите уж.

Впрочем, через несколько дней, под давлением придворной партии, король решил стянуть к Парижу войска из иностранных наемников.

Тогда-то Франция и возмутилась против своего короля.

Говорят, что муж последний узнает об измене жены.

То же происходит и с королями, причем роль жены играет страна.

До чего Людовик XVI был слеп, показывает следующий исторический факт.

Когда ему доложили, что национальное собрание отказалось разойтись, он всплеснул руками и сказал:

— Да ведь это каприз!

— Нет, государь, — возразили ему, — это скандал.

Через несколько дней ему донесли, что парижские граждане организовывают милицию.

Опять всплеснул руками король:

— Да ведь это скандал!

— Нет, государь, — возразили ему, — это уже бунт.

А через два дня, когда парижане взяли и разрушили Бастилию, король, узнав об этом, снова патетически всплеснул руками и воскликнул:

— Да ведь это бунт!

— Нет, государь... Это уже — революция!

Тогда король успокоился и даже переехал из Версаля в Париж.

У Людовика XVI оставался еще прекрасный выход, которым он мог спасти свое положение: стоило ему только выбросить за двери всех придворных, которые оказывали на него давление, — всех тунеядцев, ленивых и глупых негодяев.

Вместо этого он:

1) Под давлением приближенных задумал бежать за границу. Был пойман и привезен в Париж.

2) Под давлением придворных вступил в переговоры с иностранными государствами, прося у них помощи против Франции.

За это Франция приговорила короля к смерти.

Он умер 21 января 1793 года под ножом гильотины и перед смертью впервые держал себя твердо и спокой-

но... Вероятно, потому, что почти никто уже не оказывал на несчастного короля давления...

Умер король, искупив кровью все безумства своих пышных предшественников, искупив разорение и упадок страны, искупив страшную гнусно-пророческую фразу своего деда:

— После меня хоть потоп!

ТЕРРОР

Национальное собрание передало власть Законодательному собранию, а Законодательное собрание — Национальному Конвенту.

Если можно так выразиться — Франция левела с каждым днем.

Сначала у власти стояли жирондисты, казнившие врагов свободы, но когда они оказались недостаточно левые — их сменили монтаньяры.

Монтаньяры с Робеспьером, Дантоном и Маратом во главе, конечно, немедленно казнили жирондистов как врагов свободы.

Когда все жирондисты были казнены, Робеспьер остановил свой рассеянный взор на Дантоне и подумал:

— А не казнить ли Дантону как врага свободы?

Когда он предложил это товарищам монтаньярам, те очень обрадовались и казнили товарища Дантону.

Впрочем, вскоре после этого монтаньяры задали сами себе вопрос:

— А не отрубить ли голову товарищу Робеспьеру?

Сделали это. У Робеспьера был товарищ монтаньяр Сен-Жюст. Отрубыли голову и Сент-Жюсту.

Таким образом, из всей компании один только Марат умер своей смертью. Он был убит в ванне Шарлоттой Корде, — "одной мечтательной девушкой", как мягко выражается Иловайский.

НАПОЛЕОН БОНАПАРТ

В то время как жирондисты и монтаньяры потихоньку рубили друг другу головы, Наполеон Бонапарт потихоньку выдвигался вперед.

— Кто же такой был Наполеон Бонапарт? — спросит любопытный читатель.

Это был обыкновенный артиллерийский офицер, выдвинувшийся при осаде Тулона.

Здесь мы категорически должны опровергнуть утверждение некоторых историков, которые производят имя великого Бонапарта от его военных подвигов на поле брани (На поле он). Во-первых, если бы это было так, то простая грамотность требовала бы иной орфографии (Наполеон), а во-вторых, Наполеон был французом, более того, корсиканцем — корсиканцы же, как известно, по-русски не говорят, почему назвали бы Наполеона по-французски (*Il est sur le champ*); кроме того, имена обыкновенно даются еще при рождении, когда самый проницательный человек не может определить размера будущих ратных подвигов ребенка...

Вообще солидный читатель, мы уверены, не придаст серьезного значения этой неосновательной гипотезе...

Секрет успеха Наполеона, если вдуматься в него, оказывается очень прост: армия была предана ему душой и телом, а добиться такой привязанности у простых честных солдат было очень легко.

Мы сообщим рецепт успеха Наполеона на тот случай, если кто-нибудь из главнокомандующих и вообще генералов пожелает им воспользоваться.

РЕЦЕПТ УСПЕХА

Предположим, кто-нибудь из читателей попал со своим войском в Египет. Предстоит упорная битва... Вы, не отдавая никаких сухих приказов и кисло-сладких распоряжений (вроде: "братцы, постоим же за матушку-родину... братцы, луши неприятеля в хвост и гриву — получите потом по чарке коньяку!") — просто выбираете пару-другую пирамид повыше и указываете на них пальцем:

— Солдаты! — кричите вы. — Сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид!

Простодушные солдаты поражены.

— Так много! — шепчут они. — Бросимся же, братцы, в бой!!

Если разобраться в сказанной вами фразе — в ней не найдется ничего существенного. Но закаленный в боях воин нетребователен. Ему многого не надо. "Сорок веков" его восхищают.

Если вблизи нет пирамид, можно придраться к чему-нибудь другому и опять привести солдат в крайнее возбуждение.

Например: кругом пусто, а сверху светит обыкновенное солнце.

— Солдаты! — торжественно говорите вы. — Это — то самое солнце (как будто бы есть еще другое), которое светило во время побед Людовика XII.

Не нужно смущаться тем, что злосчастный Людовик XII не имел ни одной победы — всюду его гнали без всякого милосердия...

Неприхотливым воинам это неважно. Лишь бы фраза была звонкая, эффектная, как ракета.

Конечно, полководец должен сообразоваться с темпераментом и национальностью своих солдат.

Немца на пирамиду не поймаешь... Ему нужно что-нибудь солидное, основательное или сентиментальное.

Немцу можно сказать так:

— Ребята! Нас сорок тысяч, а врагов — пятьдесят. Но они все малорослые, худые, в то время как вы — толстые, большие. Каждый враг весит в среднем около трех пудов, а вся ихняя армия — 150 000 пудов. В вас же, в каждом — около пяти пудов, т. е. вся цыща армия на 50 000 пудов тяжелее ихней. Это составит 25%. Неужели же мы их не поколотим?

Кроме того, немец любит слезу:

— Солдатики! — говорите вы, сдерживая рыдания. — Что же это такое? Неужели ж мы не победим их? Если мы их не победим, — подумайте, как будут огорчены ваши добрые мамашки, вяжущие на завалинке шерстяной чулок, и ваши престарелые папашки, пьющие за газетой свой зейдель пива, и ваши дорогие невесты, которые плачут и портят свои голубые глазки.

И все заливаются слезами: полководец, солдаты... даже последний барабанщик плачет, утирая слезу барабанными палками. Потом все бросаются в бой и побеждают.

Легче всего разговаривать с китайскими солдатами. Им нужно привести такой аргумент:

— Эй, слушайте там: все равно, рано или поздно, подохнете, как собаки. Так не лучше ли подохнуть теперь, всыпав предварительно врагу по первое число.

Есть еще один прием, к которому Наполеон часто прибегал и который привязывал солдат к полководцу неразрывными цепями.

Холодное, туманное утро... Солдаты жмутся у костров, сумрачные, в ожидании битвы.

Наполеон выходит из палатки и отзывает от костра одного солдата.

— Э... послушай, братец!.. Как зовут того солдата с усами, которому ты давал прикуривать и который так весело смеется?

— Этот? Жан Дюпон из Бретани. Он вчера письмо получил от большой матери, которая уже выздоравливает — и поэтому сейчас рад, как теленок.

Наполеон направляется к указанному солдату.

— Здорово, Жан Дюпон!

Дюпон расцветает. Император знает его фамилию! Император его помнит!..

— А что, Жан Дюпон, ведь прекрасная страна ваша Бретань?!

Дюпон еле на ногах стоит от счастья. Император Франции знает даже, откуда он!

— Ну, как твоей матери — лучше теперь? Выздоравливает?

Если бедный солдатик не сходит сразу с ума от удивления и восторга — он падает перед чудесным повелителем на колени, целует руки и потом пытается убежать с определенной целью раззвонить товарищам обо всем, что произошло. Но Наполеон удерживает его:

— Скажи, от кого ты сейчас закуривал папиросу? Такой рыжий.

— А! Этот? Мой товарищ парижанин Клод Потофэ. Сирота. Отца его убили во время взятия Бастилии, и у него теперь, кроме невесты, маленькой Жанны, никого нет в Париже.

Часа через два Наполеон натыкается на Клода Потофэ.

— Здорово, старый товарищ, Клод Потофэ! Небось, сам здесь, — хе-хе! — а мысли в Париже, около маленькой Жанны. Эх ты, плutiшка!!! Ну, посмотрим, такой ли ты забияка в сражении, как твой отец, который свихнул свою старую шею около Бастилии 14 июля.

Клод Потофэ падает от изумления в обморок, а когда приходит в чувство, говорит своим товарищам, захлебываясь:

— Вот это полководец! Нас у него двести тысяч, а он знает и помнит жизнь каждого солдата, как свою собственную...

НАПОЛЕОН — ИМПЕРАТОР

Если изучить как следует жизнь и деятельность Наполеона I, то придется сознаться, что этот человек подорвал в нас всякое уважение к истории человечества, к солидности и постепенности в прохождении того величавого медлительного пути, который свыше намечен народам мира.

Этот бывший артиллерийский офицерик носился по всей Европе, как собака, которой привязали к хвосту гремящую жестянку-честолюбие, дрался, как лев, хитрил, как лисица, пролез сначала в генералы, потом в первые консулы, потом в императоры и споткнулся только тогда, когда дальше идти было некуда — вся нечеловеческая прыть и прекрасная в своем ослепительном блеске наглость — была исчерпана до конца.

Пишуший эти строки счастлив, что ему представляется возможность закончить Всеобщую Историю человечества жизнью Наполеона I, — таким могучим аккордом, таким грандиозным апофеозом, который с самой беспощадной ясностью подчеркивает тщету всего земного, эфемерность так называемых "исторических и прочих условий".

Маленький человечек в треугольной шляпе и сером походном сюртуке захотел сделаться французским императором.

Он им сделался. Это так легко.

У него не было никаких предков королевской крови, никакой предшествующей династии, никаких традиций. Вероятно, поэтому он стал поступать дальше с прямотой и бесцеремонностью варвара, попавшего в музей, наполненный драгоценными реликвиями старины, прекрасными обветшальными тронами и портретами целых поколений королей, к которым он относился с ироническим пожатием плеч разбогатевшего лавочника — себе на уме...

Сделавшись императором, он на минутку приостановился, призадумался, положив палец на губы, и махнул рукой:

— Эх! Сделаюсь уж, кстати, и королем Италии.

Кстати, сделался и королем Италии.

Наместником туда назначил пасынка своего Евгения Богарнэ, который при других условиях торговал бы на Корсике прованским маслом в розницу или занимался корсиканской вендеттой — делом, не требовавшим больших расходов, но и не дававшим никакой прибыли.

Можно вообразить, как смеялся в тиши своего кабинета или походной палатки Наполеон, раздавая направо и налево своим бедным родственникам троны и королевства.

Это делалось с такой легкостью и простотой, с какой сытый буржуа дарит своим бедным друзьям и родственникам старые галстуки и жилеты, отслужившие хозяину свою службу.

Например, докладывают Наполеону:

— Вас там в передней спрашивают.

— Кто спрашивает?

— Говорят — ваш братец Иосиф. Да только подозрительно — правда ли это? Уж больно вид у них... подержанный.

— Ага! Зови его сюда.

Брат входит, мнется, переступая с ноги на ногу, мнет измызганную шапочку в руках...

Добрый Наполеон лобызается с братом.

— Жозеф! Ты! Очень рад тебя видеть. Что это ты в таком непрезентабельном виде?

— Я к тебе... Нет ли mestечка какого?

Наполеон трет лоб.

— Гм... Местечка... Можно было бы назначить тебя вице-королем в Италию, но туда я уже Женю посадил. Местечко занято. Разве, вот что: как тебе улыбается Неаполитанское королевство?

— Ну, что ж... У меня положение такое, что пойду и на это.

— Вот и прекрасно. Завтра же можешь и выехать. Скажи там, что я назначил тебя неаполитанским королем. Спроси, где трон — тебе покажут. Да я лучше записочку напишу.

— Вас там спрашивают, в передней.

— Кто?

— Говорят, братец Людовик. Вид тоже... тово...

— Бедняга! Зовите его сюда! Здорово, Людовик! Не бось, тоже за mestечком... Ну-с — пораскинем мозгами. Что у нас занято и что свободно? В Италии королевствует Евгений, в Неаполе Жозеф... Гм... А, вот! Голландия!! Хочешь быть голландским королем?

— Голландским? Другого ничего нет?

— Пока не предвидится.

— Ну, хочу.

— Ну, ладно.

Впрочем, не только к своим родственникам относился тепло добрый Наполеон.

За короткое время он сделал совершенно посторонним людям такие одолжения:

Герцогу	Баварскому	дал титул	короля.
—”	Вюртенбергскому	—”	—”
Курфюрсту	Саксонскому	—”	—”
—”	Баденскому	—”	великого герцога.

Однажды Наполеону взгрустнулось.

— Что бы такое сделать?

После недолгого размышления он образовал из западногерманских владений "Рейнский союз", а себя назвал "протектором" этого союза.

Сам себя называл. Никто не называл. Но когда он называл себя протектором — все без споров стали называть его протектором.

Случилось однажды так: был у Наполеона еще третий брат Иероним — а королевств свободных больше не было... Что же делает умный Наполеон? Были у Пруссии какие-то земли "к западу от Эльбы". Наполеон отнимает их у пруссаков, составляет из них Вестфальское королевство и — отдает брату.

— На, милый. Ты хоть и младший, но будь не хуже других. Тоже не лыком шит!

Когда у Наполеона не осталось больше свободных родственников — он принялся за своих генералов. Брата своего Иосифа перевел из Неаполя в Испанию ("довольно тебе, плутишка, быть неаполитанским королем — будь испанским"), а генерала Мюрата посадил на очищившийся неаполитанский престол.

Тех же генералов, которые не пользовались его расположением, Наполеон без всякого сожаления сажал на второстепенные троны. Так, его маршал Бернадот был посажен на шведский престол.

Историки рассказывают, что по этому поводу между Бернадотом и Наполеоном произошла тяжелая сцена.

— Сами садитесь на этот престол, — орал несдержанный Бернадот. — На что он мне! Не видал я вашего шведского престола!..

— Ничего, голубчик, сядешь! Невелика птица, — посмеивался Наполеон.

— Другие люди как люди, — рыдал огорченный Бернадот, — у того неаполитанский престол, у того испанский. А мне... Конечно... Понимаем-с, понимаем-с... Мы уже не нужны!! Мы уже свое сделали!! Ха-ха!! Шведский престол...

— О, милый мой, — говорил мечтательно притихший Наполеон, — было время, когда и я бы с радостью ухватился за шведский престол...

— Было время... Конечно! Было время, когда мы без штанов бегали. Но это в прошлом, это золотое детство! А теперь — раз человек вырос, сделался солидным — вы обязаны дать ему престол — и не какой-нибудь, а большой, хороший.

— Ну, ладно, старый ворчун. Садись пока на то, что есть, а потом мы тебе подыщем что-нибудь получше... Что ты скажешь, например, об Австрии? Хе-хе...

Только этой хитростью и можно было сломить упрямого Бернадота.

История говорит, что Бернадот так и кончил свою опальную жизнь в тиши и неизвестности, всеми забытый на своем шведском престоле...

КОНЕЦ НАПОЛЕОНА

Наполеона погубило то, что он вздумал вести победоносную войну с русскими. Удивительнее всего, что так оно и случилось: Наполеон, действительно, вел победоносную войну с русскими. Всюду русские отступали. Наполеон побеждал, русские уходили из Москвы, Наполеон вступал в Москву, русские терпели поражения, Наполеон терпел победы.

Кончилось тем, что Наполеон потерпел последнюю победу при Березине и ускакал в Париж.

Солнце склонилось к западу...

Собака с прикрепленной к хвосту жестянкой-честолюбием — была затравлена, загнана и — погибла.

Наполеон был щедрею победивших его союзников. Он дарил последнему из своих маршалов целые королевства, а союзники подарили ему, императору, маленький островок Святой Елены и одного подданного — конвойного сторожа, ухаживавшего за императором.

Гордый император терпеливо улыбался, а потом сигнал улыбку с лица и умер, сложив в последний раз по-наполеоновски руки, — те самые руки, которые долгое время жонглировали "исторически сложившимися государствами" без всякой церемонии и деликатности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Более философского, поучительного и мудрого заключения Всеобщей Истории, чем жизнь и деятельность Наполеона I — придумать нельзя.

У Наполеона не было своего личного герба (за хлопотами он забыл обзавестись им), но если бы был у Наполеона личный герб — ему приличествовала бы такая надпись:

"Vanitas vanitatum et omnia vanitas..."¹.

Что значит в переводе:

— Не боги горшки обжигают.

КОНЕЦ

ЭКСПЕДИЦИЯ В ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ САТИРИКОНЦЕВ: ЮЖАКИНА, САНДЕРСА, МИФАСОВА И КРЫСАКОВА (1911)

I. ВВЕДЕНИЕ

О пользе путешествий. — Кто такой Крысаков. — Душевые и телесные свойства Мифасова. — Кое-что о Сандерсе. — Я. — Наш слуга Митя

Как часто случалось нам останавливаться в восторге и восхищении, с раскрытым сердцем перед чудесами природы, созданной всемогущими руками Творца!

Некоторые восторженные простоватые натуры раскрывают даже при этом рот, и на закрытие его соглашаются только при усиленных уговорах или после применения физического насилия.

Спрашивается: каким же образом можем мы получать наслаждение от созерцания природы во всем ее буйном размахе и многообразии?

Ответ один: путешествия.

Да! Путешествие — очень полезное препровождение времени. Оно расширяет кругозор и облагораживает человека... Один мой приятель, живя безвыездно в России, приводил всех в ужас огрубением своего нрава: он беспрестанно и виртуозно ругался самыми отчаянными словами, не подозревая, что существует кроме браны и обыкновенный разговорный язык.

Однажды поехал он за границу. Объездил Германию, Францию, Италию и Испанию. Вернулся... и что же! После возвращения этот человек стал ругаться и поминать встречных не только по-русски, но и на немецком, французском, итальянском и испанском языках.

Такое поведение вызвало всеобщее изумление, и дела его поправились.

Даже небольшие путешествия облагораживают и развивают человека. Это можно видеть на примере обычных учеников. Ежедневные краткие их путешествия

¹ Суета сует и все — суета (лат.). Библия. Экклезиаст, 1, 2.

в училище делают из них образованных людей, которые никогда не заблудятся в лесу, несмотря на то, что главная его составная часть — буква "ѣ"¹.

А открытие Америки? Была ли бы она открыта, если бы Колумб не путешествовал? Конечно, нет. А неоткрытие Америки вызвало бы экономические неурядицы. Европейские герцоги и принцы, не встречая богатых американок, впадали бы в бедность и вымирали, а американки, не подозревая о существовании материка, битком набитого гербами, титулами и высокопоставленными их носителями — быстро разбогатели бы до того, что денег девать было некуда, ценность их упала, и экономический кризис, этот бич народов, обрушился бы от одного океана до другого на этот замечательный материк.

А что может быть прекраснее путешествия в тропическую страну, например Африку? Я читал об одном англичанине, который задумал исследовать берега таинственной Танганайки; он взял с собой палатку, носильщиков, верблюдов и чемоданы. На берегу таинственной Танганайки он наткнулся на такое прожорливое племя, что оно съело, помимо англичанина, верблюдов и носильщиков, — даже чемоданы и съедобные части палатки.

Даже в этом трагическом случае можно наблюсти пользу и культурное значение путешествий: невежественные дикари приняли чрезвычайно цивилизованный вид, украсив уши своих жен коробками из-под консервов, а королю нахлобучив на голову, вместо короны, керосиновую кухню.

Это пустяк, конечно. Но это — первый шаг в обширную область культуры.

Я мог бы еще сотнями примеров доказать пользу и значение путешествий, но не хочу ломиться в открытую дверь. Это только гимназисты в классных сочинениях на тему "о пользе путешествий" измышляют, как бы поосновательнее доказать, что дважды два — четыре.

1

Четверо нас (кроме слуги Мити) единогласно решили совершить путешествие в Западную Европу. Цели и стремления у нас были разные: кое-кто хотел просто

¹Здесь игра слов, основанная на старом написании слова "лес" — через букву "ѧть". Эта буква, совпадавшая по звуку с "е", была упразднена послереволюционной орфографической реформой.

"расширить кругозор", кое-кто мечтал по возвращении "принести пользу дорогой России", у одного явилось скромное желание "просто поболтаться", а слуге Мите рисовалась единственная заманчивая перспектива, между нами говоря, довольно убогая: утереть, по возвращении, своим коллегам нос.

В этом месте я считаю необходимым сказать несколько слов о каждом из четырех участников экспедиции, потому что читателю впоследствии придется неоднократно сталкиваться на страницах этой книги со всеми четырьмя, не считая слуги Мити.

Крысаков (псевдоним). Его всецело можно причислить к категории "оптовых" людей, если существует такая категория. Он много ест, много спит, еще больше работает, а еще больше лентяйничает, хохочет без умолку, в глубине сердца чрезвычайно деликатен, но на ногу наступить себе не позволит. При необходимости полезет в драку или в огонь, без необходимости — провалится на диване неделю, читая какую-нибудь "Эволюцию эстетики" или "Собрание светских анекдотов на предмет веселья". Иногда не прочь, ради курьеза, сорвать, но, уличенный, не спорит, а вместо этого бросается на учителя и начинает его щекотать и тормошить, заискивающе хихикая. В жизни неприхотлив. Спокойно доливает поданную чашку кофе — пивом, размешивает его с сахаром, а если тут же стоит молоко, то и молоко переливается в чашку. Пепел, упавший случайно в эту бурду, размешивается ложечкой для того, "чтобы не было заметно". Любит задавать официантам нелепые, бессмысленные вопросы. Раздеваясь у ресторанной вешалки, обязательно осведомится: приходил ли Жюль Верн? И чрезвычайно счастлив, если получит ответ:

— Полчаса, как ушли.

Беззаботность и лень его иногда доходят до героизма. Когда мы выехали из России, то, начиная от Берлина, у него постепенно стали отваливаться пуговицы от всех частей одежды. Постепенно же он заменял их булавками, иголками и главным образом замысловатой комбинацией из спичек и проволоки от лимонадных бутылок. Чтобы панталоны его сидели как следует, ему приходилось надменно выпячивать вперед живот и беспрестанно, с кажущейся беззаботностью, засовывать руки в карманы.

Положение его ухудшалось с каждым днем. Хотя еще стояла прекрасная весна, но крысаковские пуговицы, вероятно, совершенно созрели, потому что падали сами собою, без посторонней помощи.

В Венеции наступил крах. Когда мы собрались идти обедать в какое-то "Капелла Неро", Крысаков сел в своем номере на кровать и тоскливо сказал:

— Идите, а я посижу.

— Что ты, крысеночек, — участливо спросил я, — болен?

— Нет.

— Тебя кто-нибудь обидел?

— Нет.

— А что же?

— У меня не осталось ни одной...

— Лиры?

— Пуговицы.

— Купи другой костюм.

— Да у меня есть костюм.

— Где же он?

— В чемодане.

— Так чего ж ты, чудак, грустишь? Достань его, переоденься и пойдем.

— Не могу. Потерял ключ.

— Взломай!

— Попробуйте! Он из крокодиловой кожи.

Из угла вытащили огромный, чудовищно распухший чемодан и с озверением набросились на него. Схватили сначала за ручки — отлетели. Схватили за ремни — ремни лопнули.

— Раскрывайте ему челюсти, — хлопотливо советовал художник Мифасов, лежа на постели. — Засуньте ему палку в пасть.

После получасовой борьбы чудовище сдалось. Замок застонал, крякнул, крышки разжались, и душа его полетела к небу.

Первое, что лежало на самом верху — было зимнее пальто, под ним галоши, ящик из-под красок и шелковый цилиндр, доверху наполненный мелом, зубным порошком и зубными щетками.

— Вот они! — сказал радостно Крысаков. — А я их с самого Верхболова искал. А это что? Ваза для кистей... Зачем же я, черт возьми, взял вазу для кистей?

— Лучше бы ты, — сказал Сандерс, — взял стеклянный футляр для каминных часов или стенную полку для книг.

— Братцы! — восторженно сказал Крысаков, вынимая какую-то часть туалета. — Пуговиц, пуговиц-то сколько!.. Прямо в глазах рябит...

Он переоделся и, схватив свой чемодан, похожий на животное с распоротым брюхом, из которого вывалились внутренности, оттащил его в угол.

— Жалко его, — растроганно сказал он, выпрямляясь, — я так люблю животных...

— Что это у тебя сейчас упало?

— Ах, черт возьми! Пуговица.

Так он и ездил с нами — веселый, неприхотливый, пускавшийся иногда среди шумных бульваров в пляс, любующийся на красоту мира и таскающий за обрывок ручки свой ужасный полураскрытый чемодан, из которого изредка вываливался то тюбик краски, то ботинок, то фаянсовая пепельница, то рукав сорочки, радостно подпрыгивавший на неровностях тротуара.

Второй член нашей экспедиции — Мифасов (псевдоним) был молодцом совсем другого склада. Я не встречал человека рассудительнее, осмотрительнее и осведомленнее его. Этот юноша все видел, все знает — ни природа, ни техника не являются для него книгой тайн. Ему 25 лет, но по спокойному достоинству его манер и мудрости суждений — ему можно дать 50. По внешности и костяму он — полная противоположность бедняге Крысакову. Все у него зашито, приложено, манжеты аккуратно высываются из рукавов, не прячась внутрь и не вылезая за четверть аршина, воротничок рассудительно подпирает щеки, и шея подвязана настоящим галстуком, а не подкладкой от рукава старого сюртука (излюбленная манера Крысакова одеваться шикарно).

Осведомленность Мифасова приводила нас в изумление.

Уже спустя несколько часов после отъезда из Петрограда этот энциклопедический словарь, эта справочная машина заработала.

— Мы будем проезжать через Вильно? — спросил Крысаков.

— Что вы! — поднял плечи Мифасов. — Где наша дорога, а где Вильно. Совсем противоположная сторона. Неужели вы даже этого не знаете?

В глазах его светилась ласковая укоризна.

Мы проезжали через Вильно.

— Мифасов! — сказал я, наклоняясь к нему (он лежа читал книгу). — Ты говорил, что Вильно в стороне, а между тем мы его сейчас проехали.

Он скользнул по мне взглядом, сомкнул глаза и захрапел.

Перед Нюрнбергом он долго и подробно рассказывал о красоте замка Барбароссы и потом, по нашей просьбе,

сообщил стариное предание о знаменитом тысячелетнем дубе, посаженном во дворе замка графиней Брунгильдой. Притихшие, очарованные, слушали мы прекрасную легенду о Брунгильде.

В одном только Мифасов, рассказывая это, оказался прав — он действительно рассказывал легенду: потому что дерево, как выяснилось, посадила не Брунгильда, а Кунигунда — и не дуб, а липу, которая, по сравнению с тысячелетним дубом, была сущей девчонкой.

По этому поводу Мифасов саркастически заметил:

— Нам не нужно было ехать через Вильно. Тогда бы все оказалось в порядке.

Свободное время Мифасов распределял аккуратно на две половины. Первая — безжалостно ухлопывалась на чистку ногтей, вторая — на боязнь заболеть. Между нами была та разница, что мы любили жизнь, а осторожный Мифасов боялся смерти. Каждое утро он брал зеркало, засматривал себе в горло, ощупывал тело и сомнением качал головой.

— Что? — спрашивал его порывистый Крысаков.
— Еще нет чахотки? Сибирская язва привилась? Дифтерит разыгрывается?

— Не овайте упосей, — невнятно бормотал Мифасов, ощупывая язык.

— Что?

— Я говорю: не говорите глупостей!

— Смотрите на меня! — восторженно кричал Крысаков, вертаясь перед своим другом. — Вот я становлюсь в позу, и вы можете дотронуться до любой части моего тела, а я вам буду говорить.

— Что?

— Увидите!

Мифасов деликатно дотрагивался до его груди.

— Плеврит!

Дотрагивался Мифасов до живота.

— Аппендицит!

До рук.

— Подагра!

До носа.

— Полипы!

До горла.

— Катар горла!

Мифасов пожимал плечами:

— И вы думаете, это хорошо?

Мы бессовестно эксплуатировали осторожного Мифасова во время завтраков или обедов.

Если креветки были особенно аппетитны и Мифасов протягивал к ним руку, Крысаков рассеянно, вскользь говорил:

— Безобидная ведь штука на вид, а какая опасная! Креветки, говорят, самый энергичный распространитель тифа.

— Ну? Почему же вы мне раньше не сказали; я уже 2 штуки съел.

— Ну, две-то не опасно, — подхватил я успокоительно. — Вот три, четыре — это уже риск.

Подавали фрукты.

— Холера нынче гуляет — ужас! — сообщал таинственно Крысаков, набивая рот сливами. — Как они рисуют сейчас подавать фрукты?!

— Да, пожалуй, еще и немытые, — говорил я с отвращением, захватывая последнюю охапку вишен.

Оставалась пара абрикос.

— Мифасов, кушайте абрикосы. Вы ведь не из трусивого десятка. Правда, по статистике, абрикосы — наиболее питательная почва для вибрионов...

— Я не боюсь! — возражал Мифасов. — Только мне не хочется.

— Почему же? Скушайте. Вот ликеров — этого не пейте. От них бывают почечные камни...

В чем Мифасов — в противоположность своей обычной осторожности — был безумно смел, расточителен и стремителен — это в

.¹ это был прекраснейший человек и галантный мужчина.

В наших скитаниях за границей он восхищал всех иностранцев своим своеобразным шиком в разговоре на чужом языке и чистотой произношения.

Правда, багаж слов у него был так невелик, что свободно мог поместиться в узелке на одном из углов носового платка. Но эти немногие слова произносились им так, что мы зеленели от зависти.

Этот человек сразу умел ориентироваться во всякой стране.

В Германии, входя в ресторан, он первым долгом оглядывался и очертя голову бросал эффектное "Кельнер!", в Италии: "Камерьере!" и во Франции: "Гарсон!"

¹ Цензурено Мифасовым. (Примеч. авт.)

Когда же перечисленные люди подбегали к нему и спрашивали, чего желает герр, сеньор или мсье — он бледнел, как спирит, неосторожно вызвавший страшного духа, и начинал вертеть руками и чертить воздух пальцами, графически изображая тарелку, вилку, курицу или рыбу, пылающую на огне.

Сжалившись над несчастным, мы сейчас же устраивали ему своего рода подписку, собирали с каждого по десятку слов и подносили ему фразу, которую он тотчас же и тратил на свои надобности.

Третьим в нашей компании был Сандерс (псевдоним) — человек, у которого хватило энергии только на то, чтобы родиться, и совершенно ее не хватало, чтобы продолжать жить. Его нельзя было назвать ленивым, как Мифасова или меня, как нельзя назвать ленивыми часы, которые идут, но в то же время регулярно отстают каждый час на двадцать минут.

Я полагаю, что хотя ему в действительности и 26 лет, но он тянул эти годы лет сорок, потому что так нудно влачиться по жизненной дороге можно, только отставая на двадцать минут в час.

От слова до слова он делал промежутки, в которые мы успевали поговорить друг с другом а part, а между двумя фразами мы отыскивали номер в гостинице, умывались и, приведя себя в порядок, спускались к обеду.

Плетаясь сзади за нами, он задерживал всю процессию, потому что, подняв для шага ногу, погружался в раздумье: стоит ли вообще ставить ее на тротуар? И только убедившись, что это неизбежно, со вздохом опускал ногу; в это время ее подруга уже висела в воздухе, слабо колеблясь от весеннего ветерка и вызывая у обладателя тяжелое сомнение: хорошо ли будет, если и эта нога опустится на тротуар?

Кто бывал в Париже, тот знает, что такое — движение толпы на главных бульварах. Это — вихрь, стремительный водопад, воды которого бурно несутся по ущелью, составленному из двух рядов громадных домов, несутся, чтобы потом разлиться в речки, ручейки и озера на более второстепенных улицах, переулках и площадях.

И вот, если бы кто-нибудь хотел найти в этом бешеном потоке Сандерса — ему было бы очень легко это сделать: стоило только влезть на любую крышу и посмотреть вниз... Потому что среди бешеного потока людей маячила только одна неподвижная точка — голова задумавшегося Сандерса, подобно торчащему из воды

камню, вокруг которого еще больше бурлит и пенится сердитая стремнина.

Однажды я сказал ему с упреком:

— Знаете что? Вы даже ходите и работаете из-за лени.

— Как?

— Потому что вам лень лежать.

Он задумчиво взорвал:

— Это пара...

Я побежал к себе в номер, взял папиросу и, вернувшись, заметил, что не опоздал:

— ...докс, — закончил он.

Сандерс — человек небольшого роста, с сонными голубыми глазами и такими большими усами, что Крысаков однажды сказал:

— Вы знаете, когда Сандерс разговаривает, когда он цедит свои словечки, то часть их застrevает у него в усах, а ночью, когда Сандерс спит, эти слова постепенно выбирайтся из чаши и вылетают. Когда я спал с ним в одной комнате, мне часто приходилось наблюдать, как вылетают эти застрявшие в усах слова.

Сандерс промямлил:

— Я брежу. Очень про...

— Ну, ладно, ладно... сто? Да? Вы хотели сказать: "просто"? После договорите. Пойдем.

При его медлительности у него есть одна чрезвычайная страсть: спорить.

Для того чтобы доказать свою правоту в споре на тему, что от царь-колокола до царь-пушки не триста, а восемьсот шагов, он способен взять свой чемоданчик, уложить в него и, ни слова никому не говоря, поехать в Москву. Если он вернется ночью, то, не смущаясь этим, пойдет к давно забывшему этот спор оппоненту, разбудит его и торжествующе сообщит:

— А что? Кто был прав?

Таков Сандерс. Забыл сказать: его большие голубые глаза прикрываются громадными веками, которые непоседливый Крысаков называет шторами:

— Ну, господа! Нечего ему дрыхнуть! Давайте подыметем ему шторы — пусть посмотрит в окошечки. Интересно, где у него шнурочек от этих штор. Вероятно, в ухе. За ухо дернешь — шторы и взовьются кверху.

Крысаков очень дружен с Сандерсом. Иногда остановит посреди улицы задумчивого Сандерса, снимет ему котелок и, не стесняясь прохожих, благоговейно поцелует в начинающее лысеть темя.

— Зачем? — хладнокровно осведомится Сандерс.

— Инженер вы. Люблю я чивой-то инженеров...

Четвертый из нашей шумливой, громоздкой компании — я.

Из всех четырех лучший характер у меня. Я не так бесшабашен, как Крысаков, не особенно рассудителен и сух, чем иногда грешит Мифасов; делаю все быстро, энергично, выгодно отличаясь этим свойством от Сандерса. При всем том, при наших спорах и столкновениях — в словах моих столько логики, а в голосе столько убедительности, что всякий сразу чувствует, какой он жалкий, негодный, бесталанный дурак, ввязавшись со мной в спор.

Я не теряю пуговицы, как Крысаков, не даю авторитетных справок о Кунигунде и ее дубе, не еду в Москву из-за всякого пустяка... Но при случае буду веселиться и плясать, как Крысаков, буду в обращении обворожителен, как Мифасов, буду методичен и аккуратен, как Сандерс.

Я не писал бы о себе всего этого, если бы все это не было единогласно признано моими друзьями и знакомыми.

Даже мать моя — и та говорит, что никогда она не встречала человека лучше меня...

Будет справедливым, если я скажу несколько слов и о слуге Мите — этом замечательном слуге.

Мите уже девятнадцать лет, но он до сих пор не может управлять как следует своими телодвижениями.

Обыкновенная походка его напоминает грохот обвалившегося шапка со стеклянной посудой. Желая пошевелить руками, он приводит их в такое бешеное движение, что оно грозит опасностью прежде всего самому Мите. Рассчитывая перешагнуть одну ступеньку лестницы, он неожиданно для себя взлетает на самый верх площадки; однажды при мне он, желая чинно поклониться знакомому, так мотнул головой, что зубы его лязгнули и шапка сама слетела, описав эффектный полукруг. Мите бросился к шапке таким стремительным прыжком, что перескочил через нее, обернулся, опять бросился на нее, перескочил, и только в третий раз она далаась ему в руки. Вероятно, если человека заставить носить до двадцати лет свинцовые башмаки, а потом снять их, — он также будет перехватывать в своих телодвижениях и прыжках.

Почему это происходит с Мите — неизвестно.

О своей наружности он мнения очень определенного. Стоит ему только увидеть какое-нибудь зеркало, как он подходит к нему и на несколько минут застывает в немом восхищении. Его неприхотливая натура выносит даже созерцание самого себя в крышке от коробки с ваксой или в донышке подстаканника. Он кивает себе дружески головой, подмигивает, и рот его распускается в такую широчайшую улыбку, что углы губ сходятся где-то на затылке.

У Крысакова и у меня установилась такая система обращения с ним: при встрече — обязательно выбрать, упрекнуть или распечь неизвестно за что.

Качества этой системы строго проверены, потому что Мите всегда в чем-нибудь виноват.

Иногда, еще будучи у себя в кабинете, я слышу приближающийся стук, грохот и топот. Вваливается Мите, зацепившись одним дюжим плечом за дверь, другим за шкаф.

Он не попадался мне на глаза дня три, и я не знаю за ним никакой вины; тем не менее подымаю глаза и строго говорю:

— Ты что же это, а? Ты смотри у меня!

— Извините, Аркадий Тимофеевич.

— "Извините"... я тебя так извиню, что ты своих не узнаешь. Я не допущу этого безобразия!!! Я научу тебя! Молодой мальчишка, а ведет себя черт знает как! Если еще один раз я узнаю...

— Больше не буду! Я немножко.

— Что немножко?

— Да выпил тут с Егором. И откуда вы все узнаете?

— Я, братец, все знаю. Ты у меня узнаешь, как пьяниствовать! От меня, брат, не скроешься.

У Крысакова манера обращения с Мите еще более простая. Встретив его в передней, он сердито кричит одно слово:

— Опять??!

— Простите, Алексей Александрович, не буду больше. Мы ведь не на деньги играли, а на спички.

— Я тебе покажу спички! Ишь ты, картежник выискался.

Мите никогда не оставляет своего хозяина в затруднении: на всякий самый необоснованный окрик и угрозу — он сейчас же подставляет готовую вину.

Кроме карт и вина слабость Мите — женщины. Если не ошибаюсь, система ухаживать у него пассивная — он начинает хныкать, стонать и плакать, пока терпение его

влюбленной не лопнет, и она не подарит его своей благосклонностью.

Однажды желание отличиться перед любимой женщиной толкнуло его на рискованный шаг.

Он явился ко мне в кабинет, положил на стол какую-то бумажку и сказал:

— Стихи принесли.

— Кто принес?

— Молодой человек.

— Какой он собою?

— Красивый такой блондин, высокий... Говорит, "очень хорошие стихи"!

— Ладно, — согласился я, разворачивая стихи. — Ему лучше знать. Посмотрим.

Вы, Лукерья Николаевна,
Выглядите очень славно.
Ваши щеки, как малина,
Я люблю вас, очень сильно —
Вот стихи на память вам,
До свиданца, мадам.

— Когда он придет еще раз, скажи ему, Митя: "до свиданьца, мадам". Ступай.

На другой день, войдя в переднюю, я увидел Митя. Машинистом я закричал сердито обычное:

— Ты что же это, а? Как ты смел?

— Что, Аркадий Тимофеевич?

— "Что"?! Будто не знаешь?!

— Больше не буду. Я думал, может, сгодятся для журнала. Я еще одно написал и больше не буду.

— Что написал?

— Да одни еще стишкы.

И широкая виноватая улыбка перерезала его лицо на две половины.

Когда мы объявили ему, что он едет с нами за границу — радости его не было пределов.

— Только вот что, — серьезно сказал Крысаков.

— Отвечай мне... Ты наш слуга?

— Слуга.

— И должен исполнять все то, что тебе прикажут?

— Да-с.

— Так вот — я приказываю тебе изучить до отъезда немецкий язык. Через неделю мы едем. Ступай!

Сейчас же Крысаков и забыл об этом распоряжении.

Но Митя за день перед отъездом явился к нам и сказал:

— Готово.

— Что готово?

— Немецкий язык.

— Какой?

— Коммензи мейн либер фрейлен, их либези, данке, зицен-зи, гиб мир эйн кусс.

— Все?

— Все.

— Проваливай.

Думал ли Митя, что за границей его постигнет такая страшная, никем не предугаданная судьба.

2

Краткое описание Европы. — Статистические данные. — Флора. — Фауна. — Климат. — Мои беседы с путешественниками

Начиная описание нашего путешествия, я полагаю, будет нeliшне дать краткий обзор места наших будущих подвигов...

Европа лежит между 36-й и 71-й параллелями Северного полушария. Мы собственными глазами видели это.

Берега Европы омывают два океана сразу: Северный Ледовитый и Атлантический. Не знаю, как омывает Европу Ледовитый океан, но Атлантический — особой тщательностью в возложенной на него работе не отличается — грязь на берегу сколько угодно.

Относительно общей фигуры Европы во всех учебниках географии говорится одно и то же:

"Фигура Европы не представляет никакой правильности... Но если срезать три самых больших полуострова — Скандинавию, Бретань и Ютландию, то окажется, что форма материка — прямоугольный треугольник".

Это очень наглядно. Можно то же сказать при описании фигуры жирафы: "Если срезать у нее шею и ноги, то получится обыкновенный прямоугольный треугольник".

Конечно, если вздорное самолюбие европейцев завлечет их так далеко, что из желания жить в прямоугольном треугольнике они отрежут от материка упомянутые полуострова — я готов признать на будущее время эту форму типичной для Европы.

Пока же об этом говорить преждевременно...

Народонаселение Европы достигает 400 миллионов людей.

Здесь нeliшне будет привести (кажется, это всегда делается в подобных случаях) несколько наглядных статистических данных.

1) Если бы все народонаселение Европы поставить друг на друга, то высота этой пирамиды была бы выше 300 000 верст. Мы знаем, что от Москвы до Петрограда 600 верст, следовательно, все народонаселение Европы уложилось бы 500 раз, немного менее ста раз на версту.

2) Если у каждого европейца выдернуть из головы только по одному волоску, то количество собранных волос, посаженных в землю, займет пространство величиной в $4 \frac{1}{2}$ акра. Чтобы скосить этот "урожай", потребуется работа $2 \frac{7}{8}$ косарей в течение 9 суток!

3) Наиболее наглядным является такой статистический пример: если бы кто-нибудь захотел лично познакомиться со всем народонаселением Европы, то, считая полторы секунды на каждое рукопожатие, этому человеку пришлось бы затратить на знакомство (считая восьмичасовой рабочий день) около 600 лет. Средняя продолжительность человеческой жизни 68 лет, то есть, другими словами, для этого опыта потребовалось бы 8,9 человека. Во что бы превратились правые руки этих тружеников?

Откуда же взялось такое количество людей?

Детские учебники географии отвечают на этот вопрос довольно точно:

"Потому что Европа лежит в умеренном климате, способствующем наибольшему развитию и напряжению человеческих способностей".

Всю эту ораву в 400 миллионов человек приходится одевать и кормить. Отсюда выросла промышленность и сельское хозяйство.

Промышленность распределяется так: в России — главным образом добывающая, за границей — обрабатывающая. Я до сих пор не могу забыть, как хозяин римского отеля обсчитал меня на 60 лир, добытых в России.

Фауна Европы очень бедна: в городах — собаки, лошади, автомобили; за городом — гуси, коровы, автомобили. В одной России до сих пор водятся медведи, и то вожаками, на цепи.

Флора Европы богаче — растет почти все, от апельсин и морошки до процентов на банковские ссуды. Особое внимание уделяется винограду, потому что всякая страна

гордится каким-нибудь вином, кроме Англии, которая никаких вин не имеет. Оттого-то, вероятно с горя, англичане такие горькие пьяницы.

Первенство в отношении вин надо, конечно, отдать Франции. Оттого-то во Франции и пьют так много.

Впрочем, немцы качеством своих вин не уступают французам, и поэтому пьянство немцев вошло в пословицу.

В России виноделие стоит на очень низкой ступени. Поэтому ли или по другой причине, но встречаешь трезвого русского чрезвычайно редко.

Справедливо будет упомянуть еще об испанцах. Отношение их к вину таково, что даже свои лучшие города они прозвали "Хересом" и "Малагой". Не думаю, чтобы кто-нибудь из испанцев отважился на это в трезвом виде. В этом отношении португальцы гораздо скромнее: хотя и поглощают свой портвейн и мадеру в неимоверном количестве, но города носят приличные названия: Оporto, Мадейра и т. д.

В том же учебнике географии, автор которого безуспешно пытался срезать все европейские полуострова, сказано:

"В Америке, где пьют довольно много, трезвость европейцев вошла в пословицу".

Климат Европы разнообразный: есть много европейцев, которые с трудом излечивались от солнечного удара для того, чтобы через шесть месяцев замерзнуть самым неизлечимым образом. Ученые связывают климат Европы с какими-то воздушными течениями, то холодными, то теплыми. К сожалению, холодные течения появляются всегда зимой, а теплые летом, что никого устроить и утешить не может.

Площадь, занимаемая Европой, равняется 9 миллионам верст, то есть на каждую квадратную версту приходится $44 \frac{1}{2}$ человека. Таким образом, в Европе абсолютно невозможно заблудиться в безлюдном месте. Скорее есть риск быть зарезанным этими $44 \frac{1}{2}$ людьми с целью получить лишний клочок свободной земли.

Начиная описание нашего путешествия, я должен оговориться, что нам удалось объехать лишь небольшую часть 9 миллионов верст и увидеть только ничтожный процент 400 миллионов народонаселения. Но это неважно. Если самоубийца хочет определить сорт дерева, на котором ему предстоит повеситься, он не будет изучать каждый листок в отдельности.

Перед отъездом я попытался собрать кое-какие справки о тех странах, которые нам предстояло проезжать.

Мои попытки ни к чему не привели, хотя я и беседовал с людьми, уже бывавшими за границей.

Я пробовал подробно расспрашивать их, выпытывать, тянул из них клещами каждое слово, думая, что человек, побывавший за границей, сразу должен ошеломить меня целым каскадом метких наблюдений, оригинальных характеристик и тонких штришков, которые дали бы мне самое полное представление о "загранице".

Пробовали вы беседовать с таким обычного сорта путешественником?

Вы. Ну, расскажите же, милый, рассказывайте поскорее — как там и что, за границей?

Он (холодно). Да что ж... Ничего. Очень мило.

Вы. Ну, как вообще, там... люди, жизнь?

Он. Да, жизнь ничего себе. В некоторых местах хорошая, в некоторых плохая. В Париже трудно через улицу переходить. Задавят. А то — ничего.

Вы. Ага! Так, так!.. Ну, а Эйфелеву башню... видели? Какое впечатление?

Он. Большая. Длинная такая, предлинная. Я еще и в Италии был.

Вы. Ну, что в Италии?! Расскажите!!!

Он (зевая). Да так как-то... Дожди. А в общем, ничего.

Вы. Колизей видели?

Он. Ко... Колизей? Позвольте... гм... Сдается мне, что видел. Да, пожалуй, видел я и Колизей.

Вы. Ну, а что произвело там на вас, в Италии, самое яркое впечатление?

Он. Улицы там какие-то странные...

Вы. Чем же странные...

Он. Да так какие-то... То широкие, то узкие... Вообще, знаете, Италия!

Вы (обрадовавшись. Лихорадочно). Ага! Что Италия?! Что Италия!

Он. Гостиницы скверные, рестораны. Альберго, по-ихнему. Ну, впрочем, есть и хорошие...

Попробуйте беседовать с этим бревном час, два часа — ничего он вам путного не скажет. Вытянете вы из него клещами, с помощью хитрости, неожиданных уловок и ошеломляющих вопросов, только то, что в Германии хорошее пиво, что горы в Швейцарии "очень большие, чрезвычайно большие", что "Вена веселый город, а Берлин скучный город", что в Венеции его поразило обилие

каналов, такое обилие, которого ему нигде не приходилось встречать...

Да пожалуй еще, если он расщедрится, то сообщит вам, что Париж — это город моды, роскоши и кокоток, а в Испании в гостиницах двери не запираются.

И потом внезапно замолчит, как граммофон, в механизме которого сунули зонтик...

Или начнет такой путешественник нести отчаянный вздор. Долго плачется на то, что, будучи в Страсбурге, целый день разыскивал прославленный Кёльнский собор, а никакого Кёльнского собора и нет... Куда он девался — неизвестно.

У некоторых путешественников есть другая манера — все отрицать, всякое установившееся мнение, сложившуюся репутацию — переворачивать кверху ногами...

Вы. Говорят, итальянки очень красивы?

Он. Чепуха! Не верьте. Толстые, неуклюжие и — удивительно — почему-то на одну ногу прихрамывают. Одни разговоры о прославленной красоте итальянок!

Ошибкаочно думать, что этот глупец изучил итальянских женщин со всех сторон, во всех деталях. Просто был он в Риме два дня, все это время проторчал в грязном кабачке на окраине, и прислуживала ему одна-единственная итальянка, толстая, неуклюжая, прихрамывающая на одну ногу.

Вы. А в Испании небось жарко?

Он. Вздор! Дожди вечно жарят такие, что ужас. Без непромокаемого пальто не показывайся. (Два часа. От поезда до поезда — случайно шел дождь.)

Вы. А француженки — очень интересны?

Он. Ну что вы! Накрашены, потерты и при первом же знакомстве папироску клянчат.

Вышеизложенные характеристики посторонних путешественников приведены для того, чтобы подчеркнуть: а сатириконцы (и Митя) не такие, а сатириконцы (и Митя) будут вдумчиво, внимательно и своеобразно подходить к укладу заграничной жизни и постараются осветить в ней такие стороны, что все раскроют удивленно глаза и ахнут.

ГЕРМАНИЯ ВООБЩЕ

Один немец спросил меня:

— Нравится вам наша Германия?

— О да, — сказал я.

— Чем же?

— Я видел у вас, в телеграфной конторе, около окончка телеграфиста сбоку маленький выступ с желобками; в эти желобки кладут на минутку свои сигары те лица, которые подают телеграммы и руки которых заняты. При этом над каждым желобком стоят цифры — 1, 2, 3, 4, 5 — чтобы владелец сигары не перепутал ее с чужой сигарой.

— Только-то? — сухо спросил мой собеседник. — Это все то, что нравится?

— Только.

Он обиделся.

Но я был искренен: никак не мог придумать — чем еще Германия могла мне понравиться.

Немцы чистоплотны, — но англичане еще чистоплотнее.

Немцы вежливы¹, — но итальянцы гораздо вежливее.

Немцы веселы, — французы, однако, веселее.

Немцы милосердны¹ — нет народа милосерднее русских — в частности, славян — вообще.

Немцы честны², — но кто же может поставить это кому-нибудь в заслугу? Это пассивное качество, а не активное.

Ни один огурец не сделал в течение своей жизни ни одной подлости или мошенничества; следовательно, огурец следует назвать честным? Отнюдь. Честность его просто следствие недостатка воображения.

Большинство немцев честны по той же причине — по недостатку воображения.

Не то хорошо, что немцы честны, а то плохо, что все остальные народы, исключая франузов и англичан, отъявленные мошенники.

Когда в России встречаешься с французской или английской честностью — это производит крайне выгодное впечатление.

Однажды в Харькове я зашел в английский магазин купить шляпу.

— Сколько стоит эта шляпа? — спросил я.

— Десять рублей, — сказал хозяин.

— Хорошо, заверните. Вот вам 25 рублей — позвольте сдачу.

— Пожалуйста.

¹ Настоящая книга написана до войны с немцами. (Примеч. авт.)

² До войны мы, русские, все думали это... (Примеч. авт.)

— Позвольте!.. Мне нужно сдачи 15 рублей, а вы даете 18. Вы ошиблись в мою пользу.

— Нет, не ошибся. Дело в том, что шляпа стоит всего 7 рублей, и я не могу взять за нее больше...

— А почему же вы сказали раньше — 10.

— Я думал, вы будете торговаться — русские всегда торгуются. Я бы и сбросил 3 рубля. Но раз вы не торгуетесь — не могу же я взять за нее больше...

Вот я рассказал этот эпизод. Но если бы русские купцы не были такими мошенниками — мне и в голову бы не пришло восхищаться поступком иностранца-шляпника.

* * *

Немецкая аккуратность, немецкая методичность — это все выводит настоящего русского из себя.

В Берлине мы зашли однажды в какой-то музей военных трофеев.

Подошли в первую зале к монументальному сторожу и спросили:

— А где тут знамена?

Он оглядел нас и стал со вкусом медленно чеканить:

— Знамена есть налево; знамена есть направо; знамена есть впереди; знамена есть в нижнем этаже; знамена есть в верхнем этаже; знамена есть в среднем этаже. Какие именно знамена хотели бы вы видеть?

В одной немецкой гостинице я наблюдал следующий факт: какой-то человек постучал в дверь первого номера и сказал:

— Очень прошу извинения — не здесь ли находится в гостях господин Шульц; он мне нужен по одному мануфактурному делу.

После этого он постучал во второй номер:

— Очень прошу извинения — не здесь ли находится в гостях господин Шульц; он мне нужен по одному мануфактурному делу. Я уже спрашивал в первом номере — его нет.

То же самое он повторил в третьем, четвертом и пятом номере. В шестом уже добавлял: я искал господина Шульца в первом номере, я искал господина Шульца во втором номере, в третьем и в четвертом, я искал господина Шульца также в пятом — его там не было. Нет ли у вас господина Шульца, необходимого мне по мануфактурному делу?

У нас в России после этого монолога открылась бы дверь третьего или четвертого номера, и сапог полетел бы в голову незадачливого мануфактурщика.

А в немецкой гостинице голоса отвечали из-за дверей:

— Я очень сожалею, но у меня в пятом номере нет в гостях господина Шульца, необходимого вам по мануфактурному делу; но нет ли господина Шульца в номере шестом?

Все немецкие двери украшены надписями: "выход", будто кто-нибудь без этой надписи воспользуется дверью, как машинкой для раздавливания орехов, или, уцепившись за дверную ручку, будет кататься взад и вперед. Надписи, украшающие стены уборных в немецких вагонах, — это целая литература: "просят нажать кнопку", "просят бросать сюда ненужную бумагу", под стаканом надпись "стакан", под графином "графин", "благоволите повернуть ручку", в "эту пепельницу покорнейше просят бросать окурки сигар, а также других табачных изделий".

Одним словом, всюду — битте-дритте, как говорил Крысаков.

Существует и немецкая любовь к изящному: в Берлине большинство автомобилей раскрашено разноцветными розочками; всякая вещь, которая поддается позолоте — золотится; не поддается позолоте — ее украсят розочкой...

Наряд немецкой женщины — это целая симфония. На голове зеленая шляпа с желтым пером и красной розочкой. Юбка голубая, обшила внизу оранжевыми полосками. Только кофточка отличается скромным фиолетовым цветом, но одета она так, что грудь делается плоской, а спина пузирится, как волдырь на обваренном месте; башмаки хотя из грубой кожи, но зато большие; чулки прекрасной верблюжьей шерсти.

Из этих элементов составляется вся немецкая женщина, из женщин — толпа на главных улицах, толпа дает физиономию всему Берлину, а Берлин — Германии.

Немецкий мужчина — это вторая сторона вышеописанной физиономии. Средний немецкий мужчина не имеет ни страданий, ни сомнений, ни очень возвышенных, ни очень низменных чувств.

Он любит прежде всего себя, за то, что никогда не доставлял сам себе ненужных страданий; потом семью, потому что дети не огорчают его, а жена не изменяет, по недостатку темперамента или поклонников; наконец, любит родину, потому что она заботится о нем, пишет на

каждых дверях "выход" и устраивает удобные перенумерованные желобки для сигар у телеграфных окошечек.

Он спокоен за себя, за семью и за родину.

Спокойствие дает ему возможность веселиться, и он действительно каждый день веселится, но не утром или днем — когда нужно устраивать свое благосостояние, — а вечером. Как он веселится?

За столом в любимой пивной собирается каждый день одна и та же компания: Фриц Штумпе, Яков Миллер, Иоганн Миткраут и Адольф Гроссшток.

Целый вечер взрывы хохота несутся со стороны стола, занятого веселыми собутыльниками.

— Эге, — думает зритель в отдалении, — наверное, что-нибудь забавное рассказывают. Прислушаюсь-ка...

Прислушивается...

— Герр Штумпе! Отчего вы сегодня молчите? Не бьет ли вас ваша жена?

Взрыв гомерического хохота следует за этими словами.

— Ох, — говорит Иоганн Миткраут, задыхаясь от смеха. — Вечно этот Миллер придумает какую-нибудь штуку. А? "Не бьет ли, — говорит, — вас ваша жена?" Ха-ха-ха!

— Хо-хо-хо!

Всеобщий восторг пьянит толстую голову Миллера; надо сказать что-нибудь еще, чтобы закрепить за собой славу присяжного весельчака и юмориста.

— Герр Штумпе! Говорят, что вы уже целый год не носите ваших сбережений в ваш банк?

— Почему? — недоумевает простоватый Штумпе.

— Потому что весь ваш бюджет уходит на покупку ваших зонтиков, которые ломает о вашу спину ваша жена.

Будто скала обрушилась — такой хохот потрясаet стены пивной.

— Хо-хо-хо! — стонет басом изнемогающий Гроссшток.

— Хи-хи-хи, — октавой выше заливается, нагнув к столу голову, совершенно измученный Миткраут.

— Хе-хе-хе!

— Хо-хо-хо!!

— Э, — думает Штумпе, — дай-ка и я что-нибудь отмочу. Тоже когда-то острили не хуже.

— Вы, герр Миллер, кажется, купили вашего нового мопса? — спрашивает Штумпе, обводя компанию взглядом, который ясно говорит: "Слушайте, слушайте! Сейчас я выкину штуку еще позабористее".

— Да, герр Штумпе. Не хотите ли вы на нем покататься верхом? — подмигивает неистощимый Миллер, вызывая долгий хохот.

— Нет, герр Миллер. Но теперь нам опасно прийти в ваш дом есть ваш обед.

— Почему? — хором спрашивают все, затаив дыхание.

— Потому что вы можете угостить нас вашими сосисками из вашего мопса.

— Хо-хо-хо!!!

— Хи-хи!

— Хо-хо. Кхх... Рррр. Однако этот Штумпе тоже с язычком! Хо-хо... Так как вы говорите? "Колбаса из мопса?" Ну и чудак же! Вам бы попробовать написать что-нибудь в "Lustige Blätter"...

Так они веселятся до двух часов ночи. Потом каждый платит за себя и все мирно возвращаются под теплое крылышко жены.

— Сегодня мы прямо помирали от хохоту, — говорит длинный Гроссшток, накрываясь периной и почесывая живот. — Этот чудила Штумпе такую штуку выкинул! "Накорми-ка нас, — говорит, — герр Миллер, собачьими колбасами". Все со смеху полопались.

ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ

Сейчас я буду писать о том, что наполовину испортило наше путешествие, о том, что повергло нас в чрезвычайное уныние и благодаря чему мы потеряли человека, который доставлял нам немало хороших веселых минут.

Одним словом — я расскажу об инциденте с Митей.

Митя, пожив несколько дней в Берлине, начал уже приобретать некоторый навык в языке и стал понемногу отставать от неряшливой привычки путать: "бутер" и "брудер", "шинкен" и "тринкен".

Уже лицо его приняло выражение некоторого превосходства над нами, а разговор — тон легкого снисхождения к нашим словам и шуткам.

Уже он, отправляясь куда-нибудь с Крысаковым и наставя яркий галстук и старую панаму, пытался изредка принимать вид барина, путешествующего со слугой, так как шел он впереди, заложив руки в карманы и насыпав марш, в то время как безропотный Крысаков, неся в одной руке ящик с красками, в другой — фотографический аппарат, скромно плелся сзади.

Мы не могли налюбоваться на него, когда он, проходя по Фридрихштрассе, бросал влюбленный взгляд на свое отражение, затем задевал плечом пробегавшую мимо горничную с покупками и говорил густым, как из пустой бочки, голосом:

— Пардон!

Горничная испуганно оглядывалась, а он пускал ей вслед самый лучший излюбленный прием своего несложного донжуанства:

— Гиб мир эйн кусс.

И все-таки то, что случилось с Митеем, было для нас совсем неожиданно. Постараюсь восстановить весь инцидент в полном объеме, как он выяснился потом из расспросов, справок и сопоставлений.

Прошло уже несколько дней после нашего приезда в Берлин.

Так как ясные дни были для нас очень дороги, то мы, выбрав одно туманное, дождливое утро, решили посвятить его Вертгейму. Кто из бывших в Берлине не знает этого колossalного сарая, этого апофеоза немецкой промышленности, этого живого памятника берлинской дешевизны, удобства и безвкусицы?

— Митя! — сказали мы, поднявшись в башмачное отделение. — Этот магазин очень велик, и тут легко заблудиться и потеряться. Ты парень, может быть, и не глупый, да только не на немецкой почве. Поэтому сядь вот тут за столиком в ресторанном отделении, попроси стакан чаю и жди нас.

— Слушаю-с, — сказал он, смотря в потолок.
— Ой-ой, как тут высоко...

— Митя! — строго крикнул Крысаков. — Опять?!

— Что, Алексей Александрыч?

— "Что"... Будто я не знаю. Я тебя насквозь вижу!

— Простите... И откуда вы все знаете? Я всего только одну кружечку выпью. Мюнхенского. Чай не хочется. Удивительно — только подумаешь, а вы уже знаете.

— Ну ладно. Только одну кружечку, не больше.

Мы оставили его за столиком, ушли в бельевое отделение — и больше его не видели. Вернулись, нашли столик пустым, обегали все этажи, но так как у Вертгейма миллион закоулков — пришлось махнуть на поиски рукой, надеясь на то, что каким-нибудь образом добрался Митя до нашей гостиницы и ждет нас в номере.

Увы! Его не было там; он не пришел и вечером; не пришел на другой день. Мы заявили в полицию, сделали

публикацию в трех берлинских газетах — о Мите не было ни слуху ни духу. А на третий день нам уже нужно было ехать дальше, в Дрезден. Мы оставили консула некоторые распоряжения, немного денег и полные мрачных предчувствий и грусти — уехали.

Что же делал Митя?

Оставшись один, он выпил кружку пива, потом еще одну, и еще; мир показался ему светлым, радостным, а люди добрыми и благожелательными.

— Пока мои хозяева вернутся — пойду-ка я полюбуюсь на магазин. Я думаю, они не рассердятся.

Он нацарапал карандашом на мраморном столике (мы не заметили тогда этой надписи):

“Немножко я погуляю пока звините скоро завернусь пейте хороши. пиво Саветую. Прият. опетита. Ваш слу. Митя”.

После этого Митя принял бродить по галереям, спускаясь с каких-то лестниц, подымаясь куда-то на лифте и заглядывая во все закоулки.

Не прошло и получаса, как Митя должен был убедиться, что он заблудился. Он искал ресторан — ресторан как в воду канул.

Он остановил какого-то покупателя с целью спросить, где ресторан, но тут же вспомнил, что не знает, как по-немецки ресторан...

Хмель выскоцил из головы, и Митя почувствовал, что тонет.

У него было два выхода: или найти нас, или отправиться в гостиницу; но второе было не исполнимо — он не знал названия гостиницы.

Всему виной было его неуместное франтовство. Продусмотрительный Крысаков по приезде в Берлин заставил Сандерса изготовить следующий плакат на немецком языке для ношения на груди:

“Добрые туземцы! То, на чем навешен этот плакат, принадлежит нам, четырем чужестранцам, и называется слугой Митей. Если он потеряется — доставьте этого человека Отель Бангоф, № 26. Просят обращаться ласково; от жестокого обращения хиреет”.

Плакат был составлен очень мило, наглядно, но, как я сказал выше, в Митю вселился бес франтовства: он категорически отказался от вывешивания на груди плаката.

— Почему же? — увещевал его Крысаков. — Хочешь, мы сделаем приписку, как в скверах: “волос не рвать, на велосипедах по нем не ездить”.

Митя отказался — и теперь жестоко платился за это.

Долго бродил он, усталый, измученный, по разным лестницам и отделениям. Теперь он желал только одного: найти выход на улицу.

Но это было не так-то легко. Митя, шатаясь от усталости, ходил между чужими ему людьми, наполнявшими магазин, и призрак голодной смерти рисовался ему в чужом городе, в громадном магазине, среди чужих, не понимавших его людей.

Один раз он остановил покупательницу и попытался навести справки о выходе:

— Мейн герр! Битте цаллен. Их либе зи.

Нищенский запас немецких слов, имевшийся в его распоряжении, связывал его мысль; и весь разговор его, волей-неволей, должен был вращаться в сфере ресторанных или сердечных представлений.

Дама изумленно посмотрела на растрепанного Митю, пробормотала что-то и нырнула в толпу.

— Гм... — печально подумал Митя. — Не понимает.

Он обратился к господину:

— Где выход, а? Такой, знаете? Дверь, дверь! Понимаете?

— Was?

— Я говорю, выход. Гиб мир эйн кусс. Битте цаллен. Цузамен.

Господин задрожал от страха и убежал.

Бродил Митя так до вечера; покупатели стали редеть, зажглись огни... Мучимый голодом Митя заметил около одной покупательницы на стуле коробку конфет; потихоньку стащил ее, забрался в укромный уголок чемоданного отделения, съел добычу — и сон сморил его.

Только утром нашли его; он спал, положив под голову пустую раздавленную коробку из-под конфет, и на лице его были видны следы ночных слез. Бедный Митя...

Вот что последовало за этим: сердобольные продавщицы накормили его, одна из них поговорила с ним по-русски, выяснила положение, но так как нашего адреса Митя не знал, то дальнейший путь его жизни резко разошелся с нашим.

Мы уехали в Дрезден, а Митя, поддержаный вертгеймовскими продавщицами, которые были очарованы его простодушным немецким разговором и веселостью нрава, Митя открыл торговлю: стал продавать газеты, спички и букетики цветов — одним словом, все то, сбыт чего не требовал знания тонкостей немецкого диалекта.

Только на обратном пути в Россию отыскали мы через вертгеймовских продавщиц нашего Митю; он сначала встретил нас презрительно, потом обрушился на нас с упреками, а в конце концов расплакался и признался, что хотя богатство и прельщает его, но родину он не забывает и, вернувшись, сделает для нее все, что может.

ТИРОЛЬ

Инсбрук. — *Пернатые.* — Тяжелый разговор. — *О немецком остроумии.* — Теория приливов и отливов. —

Сандерс болен. — Еще одна теория. — В Штайнах. —

Зловещее место. — Ссора с Крысаковым. —

Отъезд в Фаркартен

Инсбрук — столица Тироля. Правильнее Инсбрук — мировая столица скуки, самодовольно-мелкого прозябания, суеты и сентиментальной тирольской глупости.

Приехав в Инсбрук, мы первым долгом на вокзале наткнулись на существо, которое во всяком нормальном здравомыслящем русском должно было вызвать смешанное чувство изумления и веселья.

Это был краснощекий, туполицкий, голоногий тиролец, с ног до головы убранный разноцветными лентами и утыканый перьями, точно петух, которого кухарка начала оципывать и, не окончив, побежала в мелочную лавочку за бутылкой прованского масла.

Голова этого дюжего парня была украшена какой-то бумажной короной, а за ушами торчали два пучка цветов.

Он что-то мурлыкал и приплясывал.

— Если бы не перья, — сказал Крысаков, — я мог бы предположить, что это человек.

— Больше того, — поддержал Мифасов. — Это похоже на девушку. Смотрите, сколько на ней лент.

В это время откуда-то вынырнул еще десяток людей, разукрашенных подобным же странным образом.

— Боже ты мой! Вероятно, где-нибудь поблизости лопнул сумасшедший дом и содержимое его вытекло на потеху мальчишек и на страх взрослым.

Но сейчас же мы заметили, что странная компания не только не пугала аборигенов, но даже не останавливалась на себе ничьего мимолетного внимания. Взрослые тирольцы, тирольки и маленькие тирольчата проходили мимо не оглядываясь, и только некоторые раскланивались с предводителем группы.

— Сандерс, — сказал Крысаков, — узнай, что с ними случилось? Не надо ли им чего?

Если судить о немецком языке по Сандерсову разговору — можно вывести заключение, что нет на свете языка длиннее, сложнее и утомительнее.

Сандерсу нужно было сказать только две фразы: "Кто вы такие? Почему так странно одеты?"

Он подошел к предводителю тирольцев из семейства ленточных, понурился и пробормотал что-то.

Тиролец ему ответил. Сандерс покачал головой с безнадежным видом и сказал такую длинную фразу, что два поезда успели уйти и один подкатил к вокзалу. Тиролец хлопнул себя по бедрам, прищелкнул пальцами и стал что-то объяснять, перепрыгивая с ноги на ногу. Объяснения тирольца не могли вырвать Сандерса из бездны уныния, угнетенности и сомнения. Он собрался с духом и размотал с невидимой катушки такую длинную фразу, что тиролец начал линять. Он потерял два пера с короны и одно с плеча и, не заметив убытка, высказал Сандерсу такое количество слов, что в них должно было заключаться географическое описание Тироля, характеристика нравов народонаселения и перечисление главнейших видов флоры и фауны. Утешило ли это Сандерса? Разъяснило ли ему что-нибудь? Нет! Он потрогал зеленую пуговицу на толстом животе тирольца и вытянул из себя длинную, как осенняя ночь, фразу.

И только получив обоснованный ответ на это, отошел он от тирольца, переваливаясь, как объевшаяся утка.

— Ну?! — спросил нетерпеливый Крысаков.

— Обыкновенные тирольцы. Ферайн. Возвращаются после воскресной экскурсии.

— Скрытный народец, — подмигнул Крысаков.

— Трудненько было вам вытянуть у этого оболтуса столь краткие сведения.

— Нет, ничего, — пожал плечами Сандерс. — Я только спросил, кто они такие, а он ответил...

— Тошнит меня от этих тирольцев, — признался Крысаков. — Чистенькие, кудрявые, кругозор ограничен горами и собственным недомыслием, благонравно ухаживают за тирольками и благонравно женятся. Здесь не бывает сцен ревности, убийств, измен и сильных душевных движений, как в сторону благородства, так и в сторону подлости. Шесть дней благонравно трудятся, седьмой день благонравно пляшут в какой-нибудь таверне. Кстати, как неимоверно сладок и противен их дефрегер! Бэр!

Самодовольно пляшут и самодовольно острят. Вы знаете, что такое ихние остроты? Вообще немецкое остроумие! В Берлине один господин с гордостью говорил, что немецкие дети не чета нашим. Они смелы, находчивы, сообразительны и в ответах не смущаются, а отвечают метко и остроумно. Мы сделали даже опыт... Встретили какого-то известного своей находчивостью знакомого господину школьника и вступили с ним в беседу. "Что ты любишь больше всего на свете?" — "Свою прекрасную родину". — "Неужели? А я думал, что больше всего тебе должно нравиться заехать в ухо мальчишке, который обидел бы тебя!" — "О нет. Вступать в драку стыдно. Лучше сообщить о нехорошем поступке мальчика его родителям, которые скажут ему, что он их огорчил, и ему станет стыдно". — "Та-ак... И, наверное, по воскресеньям вы собираетесь в школе и поете духовные псалмы?" — "О да. Это лучший наш отдых в свободное время". — "Видите, — сказал мне господин, когда мы отошли. — Преосторый мальчуган. За словом в карман не лезет". — "Может быть, может быть". И тут только я заметил, что мой господин тоже немецкий дурдой. Кстати о немцах. Меня томит жажда. Не выпить ли нам пива?

В этих случаях инициатива всегда принадлежала Крысакову. И удивительно, что мы — поднимавшие бесконечные споры по поводу выбора номера в гостинице или места в вагоне — в этом случае никогда не возражали и не спорили.

— Вы хотите выпить? Пойдем.

— А вы разве не хотите?

Все мы сразу делались чрезвычайно предупредительны к Крысакову, оставляя в забвении собственное желание и настроение.

— При чем тут мы? Раз вы хотите — пойдем.

— Да мне неудобно, что вы из-за меня идете.

— Ну вот глупости. Отчего вам и не доставить удовольствия.

Иногда от меня исходило предложение "кой-чего перекусить". И в этом случае — наша дружба разыгрывалась в полном блеске.

— Отчего же вы не обедали вместе с нами?

— Я тогда не хотел, а теперь хочу.

— Эх, ну что с вами делать. Придется пойти с вами.

— Вы можете посидеть. Я скоро закушу.

— Да чего там... Вы не спешите. Я тоже чего-нибудь глотну.

Покорные желанию Крысакова, мы уселись, и нам подали четыре кружки прекрасного пенистого пива. Крысаков отхлебнул и благодушно сказал:

— Не люблю я, чивой-то, Тироля. Отчего у них, братцы, колени голые? Что это за обычай?

После недолгого раздумья я нерешительно сказал:

— Я думаю — это в целях сохранения тирольской нравственности...

— При чем тут нравственность?

— А как же? Местность у них гористая, мужчины же при объяснении девицам в любви обязательно становятся на колени.

— Ну?!

— Ну, а в гористой местности на голые колени не очень-то встанешь...

— Это вздор! Нет ничего нелепее ваших теорий.

— А у вас никаких теорий и вообще-то нет.

— Вы думаете? А моя теория причины приливов и отливов? Это не мысль, а молния!

— Воображаю!

— Вы знаете, господа? По-моему, на земном шаре не хватает воды. Все дело в том, что два противоположных берега океана можно сравнить с головой и ногами спящего человека, прикрытоего коротким одеялом — океаном. Теперь: если натянуть короткое одеяло на голову, обнажаются ноги, натянуть на ноги — обнажается голова. Так и океан — если тут прилив, там должен быть отлив. Понятно?

— Садитесь! Два!

— Не два, а четыре.

— Идея. Кельнер! Еще четыре кружки.

— Я не хочу пива, — неожиданно сказал Сандерс, глядя на нас помутневшими глазами. — Мне нездоровится.

Мы засуетились, а больше всех Крысаков:

— Ну вот! Говорил я, что вам не нужно было есть яиц утром.

— Да при чем тут яйца?

Крысаков не медик, но у него своя стройная система распознания болезней и лечения их; кроме того, у него собственное, ни у кого не заимствованное представление о человеческом организме.

— Как при чем яйца? У вас еще вчера была немного повышенна температура. Крутые яйца при повышении температуры являются бродильным ферментом и, давя на печень, производят отлив крови от сердца.

— Вот-то чепуха.

Крысаков рассвирепел.

— "Чепуха"? Сначала не слушаете меня, а потом — чепуха?! Говорил я вчера, чтобы вы взяли холодную ванну? Говорил?

— Говорили.

— Ну вот. А вы не взяли. У меня, батенька, отец доктор.

— Наверное, прекрасный доктор, — вежливо поддержал я. — Я думаю, тысяча его бывших больных возносят на том свете за него молитвы.

— Сандерс! Сейчас же в постель! Мы поднимемся на фуникулере на гору, посидим с полчасика и потом зайдем к вам.

Опечаленные, поднимались мы по головоломной дороге в хрупком вагончике на вершину горы.

Крысаков рассеянно смотрел на зеленеющий склон, сбегавший к серебряной реке, и несколько раз бормотал про себя:

— Да, несомненно... Типичный брюшной тиф. Без вспышивания кокаина не обойтись. Гм... Ножные ванны.

Его красивое лицо с орлиным носом было сумрачно.

Чтобы отвлечь его от печальных мыслей, я спросил:

— Интересно, какой силой этот вагончик поднимается в гору.

— Очень просто, — пожал плечами Мифасов. — Один вагончик ползет вверх, другой вниз. Тот, который ползет вниз, подымает своей тяжестью первый, то есть идущий вверх.

— Я не техник, — возразил я, — но здравый смысл подсказывает, что это не так. По твоей теории выходит, что вагон, ползущий вниз, должен быть всегда в несколько раз тяжелее ползущего вверх.

— Он и тяжелее.

— А как же тогда следующая очередь, когда тяжелый должен ползти вверх, а легкий вниз?

— Очевидно, перекладывают какую-нибудь тяжесть.

— Как же перекладывать, когда вагончики ни разу не сходятся вместе внизу или вверху.

— Ну, это уже дело техники. Я говорю только то, что знаю наверное.

— А я думаю, что тяга электрическая...

— Что?! Ха-ха! Ну и скажет же, ей-Богу.

Немного спустя выяснилось, что тяга действительно электрическая.

— Ну что? — безжалостно спросил я Мифасова.

— Кто был прав?

— Что? Ну, милый мой, мне вообще ни тепло ни холодно, какая там тяга. Вообще не приставай ко мне.

Через час Сандерс с термометром под мышкой сидел, окруженный нами, и говорил:

— Ну, ребятки, плохо мне. Ужасно не хотелось бы умереть в Тироле.

Сердца наши разрывались от тоски и жалости.

— Подумайте, господа, — сказал я. — Четыре иностранца, сыны бедной России, заброшены судьбой в далекую тирольскую дыру. И вот один умирает... Как раз тот самый, который хоть и не спеша, но разговаривал по-немецки. Остаемся мы... Троє... Надо его хоронить, обычав мы не знаем, положение отчаянное. Идем в лесок, срубаем дерево, выдалбливаляем гробик и кладем туда Сандерса... И вот тирольцы видят странную, щемящую душу процессию. Три весельчака, понурив головы, в черных шапках, плетутся за гробом четвертого, влекомого равнодушной ко всему тирольской лошадью... Это сатириконцы хоронят своего товарища... Опустили гроб в могилу... "Прощай, товарищ! Недолго ты прожил среди нас... Спи спокойно..."

Крысаков всхлипнул, Мифасов сделал вид, что рассеянно глядит в окно; он махнул перед лицом рукой, будто сгоняя с него назойливую муху. Было тихо... Только слышалось тяжелое дыхание Сандерса.

— Да... вернемся мы втроем... Первый раз втроем! Придем в свои комнаты. У стены сиротливо лежит чемоданчик Сандерса. Он ему уже не нужен! "А что, господа, — скажет тихо Крысаков, — ведь в этом чемоданчике лежат деньжонки, которые Сандерсу уже не нужны. Не поделиться ли нам? Жаль, что он такого маленького роста, а то бы можно было и одежонкой его воспользоваться..."

— Я бы пива выпил, — неожиданно сказал больной.

Поднялась буря протестов.

Решили сделать так: мы с Мифасовым уезжаем немедленно прямо в Штейнах, до которого час езды, а Крысаков остается с больным в Инсбруке.

— Я его вылечу! — сурово обещал Крысаков.

— Он на меня все время кричит, — пожаловался больной. — В Дрездене чуть не поколотил меня...

— Как же вас не бить? Представьте себе, господа, я ему говорю: у вас ангина, вам нужно есть для очищения горла орехи, а он не хочет.

С тяжелым сердцем уехали мы с Мифасовым, оставив за своей спиной эту странную пару.

Крупный дождь... ветер гнул деревья, шумел, метался и выл в тесных горах. У подножия одной из них приютился Штейнах.

До сих пор мы все не можем выяснить, почему, по каким соображениям дремлющий Сандерс включил Штейнах в наш маршрут. После громадного, чудовищного Берлина, веселого, красивого Мюнхена — эта таинственная дыра с вымершим населением в несколько десятков человек — показалась нам тюрьмой, тем более что горы со всех сторон окружили ее, стеснили ее, сдавили ее.

Помню крохотный вокзал, у которого поезд приостановился на одну минуту, помню черный, как вакса, вечер, мокрую от дождя землю и абсолютное страшное безмолвие.

Мы выползли со своими чемоданами, постояли минут пять и наконец в ужасе завыли:

— Треге-е-ер!!

— Здесь нет трегеров, — ответил нам откуда-то с неба неизвестно чей голос.

— О, черт возьми! Изво-о-озчик!!

— Здесь нет извозчиков, — ответил тот же беспощадный голос с неба.

— Швейцар из гостиницы!!

— Швейцаров нет.

— Дайте нам какого-нибудь человека.

И прозвучало похоронное:

— Здесь нет людей.

— Да вы-то кто? Не человек?

— Я начальник здешней станции.

— Где вы?

— Наверху. Во втором этаже.

— Посоветуйте, как нам найти гостиницу?

— Идите прямо.

— Да тут забор!

— Идите влево.

— Тут тоже забор!

Проклятый начальник станции неожиданно замолчал, будто ему заткнули платком рот.

— Эй, вы-ы! Как вас!! Тут забо-о-ры!

Дождь обливал нас сверху, грязь хлюпала внизу под ногами... Молча взвалили мы на плечи чемоданы, перелезли через забор и наткнулись на какую-то дверь.

— Это что?

— Гостиница.

Так мы приехали в Штейнах. Приезд был невеселый, житье наше печальное и отъезд угрюмый.

Все мы ко дню отъезда перессорились в самых разнообразных комбинациях: Крысаков с Сандерсом, я с Сандерсом, Сандерс с Мифасовым.

Вообще, должен признаться, к стыду нашему, что ссорились мы частенько. При этом ссора кого-нибудь из нас с товарищем вызывала необычайное повышение симпатии в поссорившемся — к остальным. Другими словами, если X разрывал отношение с Y, то к Z он относился настолько повышенно нежнее, насколько это чувство расходовалось раньше на Y.

Ничто в мире не пропадает, и ничто вновь не появляется.

Самая тяжелая ссора случилась в Берлине, когда Крысаков оказался на одной стороне, а мы трое — на другой.

Впечатлительный Крысаков выносил такое положение вещей только сутки... На другое утро он взял свой незакрывающийся чемодан, ящик с красками и, скорбно понурившись, сказал Мите (единственному, с кем отношения были хороши):

— Митя! Проведи меня до вокзала... Я уезжаю. Что уж там... Пожили! Эх, эх...

Я не выдержал:

— Вы с ума сошли! Куда вы уезжаете?

Он опустился на чемодан и, ни на кого не глядя, под журчание Митиных слез сказал:

— Уеду... Что ж, и без меня проживете. Не бойтесь, я поездку не бросаю... Только эти четыре дня, что вы проживете в Берлине, — я посижу в том благословенном местечке, которое приглядел еще давеча.

— Какое местечко! Что вы задумали?!

— Такое... Я думаю, там будет тихо... Ни криков, ни попреков. Посижу там один. Может, когда меня не будет, вы поймете.

— Ну слушайте, это черт знает что! Какое там вы местечко выбрали, не зная языка, с вашим "битте-дритте"? Мы вас не пустим!

— Нет уж, что уж там. Митенька, бери чемодан. Тебе не тяжело, милый Митя... дорогой Митечка?

По принятому обыкновению, вся любовь и приязнь изливалась теперь на единственного человека, который был с ним в хороших отношениях, — на Митю.

— Извини меня, Митенька, что я тебя затрудняю... Может быть, мне самому лучше понести чемодан, а ты, Митя, отдохни.

Вокзал был в двух шагах, и поэтому берлинцы могли любоваться диковинной, нелепой процессией: впереди

шагал плачущий, растроганный слуга с чемоданом, сзади барин с видом погребальной лошади, нагруженный ящиком для красок, а сбоку бежали три друга, умоляя непреклонного Крысакова одуматься, уговаривая и успокаивая его.

— Нет уж... не уговаривайте. Уеду... Не поминайте лихом!

— Ну куда? куда вы едете? В какое mestечко?

— Сейчас узнаете.

Он подошел к билетному окошечку и грустно сказал кассиру:

— Битте-дритте, эйн билет! В Фаркартен!

— Куда? — ахнули мы.

— В Фаркартен. Это, вероятно, такое mestечко под Берлином. Я тут на доске прочел. С указательным пальцем. Туда и поеду. Уж вы не удерживайте. Раз я облюбовал.

— Вы знаете, что такое фаркартен? — зловеще спросил Сандерс.

— А что? Может быть, очень болотистое место?

— Нет. Фаркартен значит — "дорожные билеты".

— Митечка! — сказал Крысаков, помолчав. — Берика, тащи назад чемодан. Битте-дритте!

Мы подхватили его под руки и с заискивающим смехом повлекли обратно.

К сожалению, впоследствии частенько случалось, что у каждого из нас поочередно мутился разум, и он, забыв дружбу, "собирался в Фаркартен"...

Заканчивая эту главу, искренно хочу крикнуть:

— Да здравствует дружба! Долой проклятый Фаркартен!

ВЕНЕЦИЯ

1

Город лени и музыки. — Cartolina postale. —

Способ Крысакова. — Способ Мифасова. — Способ Сандерса. —

Демократия и аристократия. — Пир с нищенкой. — Сандерс

втягивается в лихорадку. —

Лечение

Мы в Венеции.

Если бы какой-нибудь гениальный писатель обладал таким совершенным пером, что дал бы читателю, не видевшему Венеции, настоящее о ней представление,

— такой писатель принес бы много несчастья и тоски читателям. Потому что узнать, что такое Венеция, и не увидеть ее — это сделаться навеки отравленным, до самой смерти неудовлетворенным.

Когда я приехал в Венецию, я подумал: "Ведь миллионы людей живут и умирают, не видя Венеции. Если бы они знали то, чего они лишены, жизнь их потеряла бы краски, и тоска по далекой невыразимой красоте иссушила бы сердце".

Я пишу эти строки в холодном угрюмом Петрограде, но стоит мне только закрыть глаза, как я до последних мелочей вижу Венецию. Она врезалась в память неизгладимо, я по ней тоскую и мечтаю, как о далекой прекрасной любовнице, свидание с которой сделает меня снова счастливым.

Я закрываю глаза...

Мягкий густой вечерний воздух, нежащий, как прикосновение, невыразимая истома во всем теле; хочется встать в гондоле и закричать от полноты настоящего наслаждения и счастья. Но не встаешь... Наоборот, развалившись на уютных подушках, погружаешься в блаженную неподвижность и всем телом, всеми органами, всеми порами впитываешь в себя ленивый, теплый, сладкий воздух, сладкую песню, лениво доносящуюся издалека, и молчишь, молчишь... Черная густая вода тихо журчит за гондолой, нежно плещет весло ленивого парня на корме, и таинственно молчат сбежавшиеся к воде старые-престарые дома, среди которых скользит тихая лениво-проводная гондола. Узенький канал кончился... Над головой мелькнул еще видимый изгиб мостика — и мы выносимся на широкий canale grande. Здесь широкое, пышное небо черным бархатом разметалось над нами и застыло, усеянное редкими сверкающими осколками-звездами. И внизу плещется черная теплая, слепая вода, и плывет далеко по каналу нежная, сладострастная серенада оттуда, где целый сноп огней, фонариков собрал полчища гондол, как свеча собирает мотыльков. Какие-то фигуры мелькают на огненном фоне, и изредка песню прорезает смех и веселый говор.

Замерла посреди канала большая, изукрашенная фонариками барка. На ней море огня, а все остальное зачернено ночью. Десятки гондол сползлись к огню, окружили его и, притихшие, почти невидимые, кольшутся. Изредка багровый свет на барке выхватит из темноты резной нос гондолы, блеснет на металле и погаснет.

Тихо колышутся гондолы; сладко нежит песня; все необычно; рядом с нашей гондолой трется о ее борт чужая, за ней еще одна, а остальные тонут, невидимые... Боже мой, как хорошо! Пусть все это искусственное, пусть барка принадлежит корыстолюбивому антрепренеру, а у певцов, наверно, грязные руки, а какие-то подозрительные молодцы с ухватками кошек или разбойников ползают по бортам ваших гондол, собирая за пение сольди и лиры...

Все равно не убить им этой Божьей красоты, пышного теплого неба и теплой воды, которая, как добрая нянька-колыбель — качает нашу гондолу. Пусть певцы нахальны и жадны, а немцы, самодовольно развалившиеся на подушках гондол, скучны до омерзения. Я все же нашел красоту, и ее у меня не отнять — я крепко прижал ее к моему сердцу. Боже, как далеко от меня Россия, Петроград, холод, грабежи, грязные участки, глупые октяристы, мой журнал, корректуры, цензурный комитет и немолчный телефон!..

Поют... Тихо постукивают гондолы боками одна о другую. Качаются.

Хорошо, когда усталого баюкают.

А утром другая — томительно-сладкая жизнь; зазвучит все по-другому... засверкает ослепительное солнце, четко вырежется на голубом небе кружево белых дворцов и легких мостиков, зазвучит музыкальная брань гондольеров, польется с неба золотой зной, и замелькают всюду живые, проворные, как обезьяны, и ленивые, как черепахи, итальянцы, наполняя жгучий воздух немолчным жужжаньем.

Ах, эти итальянцы... Над ними можно смеяться, но не любить их нельзя.

Уличная толпа сплошь состоит из беспардонных лгунов, мелких мошенников и попрошайек, но это такая веселая, живая толпа, плутовство их так по-дикарски примитивно и неопасно, что не сердишься, а только добродушно смеешься и отмахиваешься.

— Cartolina postale.

— No, signore.

— Cartolina postale!!

— No, no!

— Cartolina postale!!

— Не надо, тебе говорят!!

— Руски! Ошень кароши cartolina... Molto bene.

— Руски, а? Купаться! Шеловек! Берешь cartolina postale?

— Убирайся к черту! Алевузан, пока тебе не попало.

— Господин, купаться, а? — заискивающе лепечет этот разбойничье вида детина, стараясь прельстить вас бессмысленными русскими словами, Бог весть когда и где перехваченными у проезжих *forestieri russo*.

Я сначала недоумевал — чем живут эти люди, от которых все отворачиваются, товар которых находится в полном презрении и его никто не покупает?

Но скоро нашел; именно тогда, когда этот парень шел за мной несколько улиц, переходил мостики, дожидался меня у дверей магазинов, ресторана и, в конце концов, заставил купить эти намозолившие глаза венецианские открытки.

— Ну черт с тобой, — сердито сказал я. — Грабь меня!

— О, руссо... очень карашо! Крапь.

— Именно — грабь и провались в преисподнюю. Ведь ты, братец, мошенник?

— Купаться, — подтвердил он, подмигивая.

Замечательно, что венецианцы знают одно только это русское слово и употребляют его в самых разнообразных случаях.

У Крысакова, по обыкновению, своя манера обращаться с этими надоедливыми комарами.

Он мерно шагает, не обращая ни малейшего внимания на приставания грязнорукого, темнолицего молодца, нагруженного пачками открыток и альбомов. Тот распинается, немолчно выхваляет свой товар, забегает спереди и сбоку, заглядывает Крысакову в лицо, — Крысаков с каменным, сонным лицом шагает, как автомат. И вдруг, среди этой болтовни и упрашиваний, Крысаков неожиданно оборачивается к преследователю, раскрывает сомкнутый рот и издает неожиданно такой пронзительный нечеловеческий крик, что итальянец в смертельном ужасе, как бомба, отлетает шагов на двадцать. У Крысакова опять спокойное каменное лицо, и он равнодушно продолжает свой путь.

Мифасов, наоборот, враг таких эксцентричностей. Разговор его с этими паразитами — образец логики и внушительности.

— Cartolina postale! — в десятый раз ревет продавец.

— Милый мой, — оборачивается к нему Мифасов.

— Ведь мы уже тебе сказали, что нам не надо твоих открыток, зачем же ты пристаешь? Когда нам будет нужно, мы сами купим, а пока — настойчивость твоя останется без всякого результата.

У каждого свой характер. Сандерс и здесь остается Сандерсом.

— Carrrrrtolina postale!!!

Сандерс останавливается и начинает аккуратно пересматривать все открытки. Он берет каждую и медленно подносит ее к близоруким глазам. Пять, десять, двадцать минут...

— Нет, брат. Плохие открыточки.

Умирающий от скуки итальянец рад, наконец, когда эта пытка кончается, хватает забракованные открытки и удирает в какую-нибудь щель, чтобы прийти в себя и собраться с духом.

Когда мы подъезжали к Германии, Крысаков лаконично сказал:

— Тут пьют пиво.

И мы, покорные обычаям приютившей нас страны, принялись поглощать в неимоверном количестве этот национальный напиток.

В Венеции, едва мы переоделись после дороги и спустились на еще не остывшую от дневного зноя пьяцетту, Крысаков потянул носом воздух и сказал:

— Жареным пахнет. Вы спросите, что здесь пьют? Вино. Кьянти.

И началось царство кьянти. Добросовестность наша в этом случае стояла вне сомнений. Мы решились есть и пить во всякой стране только то, чем эта страна славится.

Поэтому в Германии выработался свой шаблон.

— Четыре кружки пива, бульон "мит-ай", шницель и братвurst мит-краут.

К этому заказу Крысаков неизменно прибавлял единственную немецкую фразу, которую он сам сочинил и которой оперировал в самых разнообразных случаях:

— Битте-дритте.

Он был ошеломляющим среди скучных немцев, со своим сияющим лицом, костюмом, осунувшимся от отсутствия пуговиц, чемоданом, распухшим, как дохлый слон, внутри которого скопились газы, и неизменным припевом ко всем нашим распоряжениям:

— Битте-дритте.

Ехал он в Европу с самым независимым видом, обещая поддержать нас в смысле языка, но в Германии ему не пришлося этого сделать, так как он знал только французский язык, в Италии его французского языка итальянцы не понимали, а во Франции французы вполне присоединились в этом смысле к итальянцам.

Так он и остался со своим загадочным:

— Битте-дритте.

Начиная с Венеции, мы разбились на две резкие группы: Мифасов и Сандерс — благомыслящая, умеренная группа, я с Крысаковым — бесшабашная разгульная пара, неприхотливая и небрезгливая до последней степени. Мы якшались с подонками населения, пили ужасное грошевое вино, ели каких-то пауков, каракатиц и разных морских чудовищ, пожирали червяков, похожих на макароны, и макароны, очень смахивавшие на червяков, а Мифасов и Сандерс, обедая в приличных дорогих ресторанах, лишь изредка ходили за нами, наблюдая издали за нашими поступками.

Однажды мы затащили их в такую остерию, что Мифасов, прежде чем сесть на скамью, покрыл ее осторожно газетой.

— Ну, ребятки, — оскалил зубы Крысаков. — Покушаем, ха-ха, покушаем... Женщина! Синьора хозяйка! Дайте нам вон этих штучек и этих... Эту рыбку зажарьте да макарон закатите посмешнее. Да кьянти не забудьте, лучшее, что есть в вашем погребе.

Нам подали стряпню, о которой лучше не говорить, и вино, о котором нужно сказать только то, что хотя бутылка и была покрыта паутиной, но, вероятно, в этом погребе паук содержался на определенном жалованье — так все было нехорошо сделано.

— А вы что же, милые? — радушно обратился Крысаков к Мифасову и Сандерсу. — Кушайте, угощайтесь.

— Я сыт, — осторожно сказал Мифасов, — и кроме того, сейчас иду в ресторан.

Бедному Сандерсу очень хотелось заслужить наше расположение; он принял молодецкий вид, наложил себе на тарелку немного кушанья и, осмотрев его, спросил:

— Это что? Рыба или мясо?

— Бог его знает. Среднее между рыбой и мясом. Земноводное. Во всяком случае, оно уже умерло, и вы его не жалейте.

Наши друзья смотрели на нас с отвращением, мы на них с презрением...

Утолили голод прекрасно, хотя на тарелке осталась целая гора макарон; в остерию зашла нищенка, увидела, что мы оставили недоеденным лакомое блюдо, и попросила разрешения докончить его.

Мы радушно усадили ее между застывшим Мифасовым и Крысаковым, налили ей винца, чокнулись и выпили за благополучие красавицы Венеции.

Без хвастовства могу сказать, что мы двое чувствовали себя вполне в своей тарелке, отличаясь этим от макарон, быстро перешедших с тарелки в желудок нашей соседки.

— Что, миленькие мои, — язвительно спросил Крысаков, когда мы вышли. — Вы ведь привыкли "спускаться к обеду, когда ударит гонг"? Здесь это проще: трахнет один гость другого бутылкой по голове — вот тебе и гонг. Можешь обедать с чехлом от чемодана на плечах вместо смокинга...

Сандерс и Мифасов нас презирали, не скрываясь — это было ясно.

— Вы заболеете от такой пищи! — предупредил Сандерс.

Он угадал: на другой день я был болен легкой лихорадкой, но, к несчастью, заболел и Сандерс, который питался "по гонгу". Этим блестяще опровергалась его теория.

И опять Крысаков трогательно, как сестра милосердия, ухаживал за нами. Сочинял нам разные лекарства, натирал нас вином и коньяком, отделяя для себя известный процент этих медикаментов в виде гонорара; совал нам под мышку термометры, вскакивал ночью и, встревоженный, прибегал к нам, чтобы пробудить нас от крепкого сна; мне рекомендовал холодную ванну, а Сандерсу горячую, хотя симптомы были у нас совершенно одинаковые...

2

Купанье на Лидо. — "Русским языком я тебе говорю!" —

Гондолы. — Паразиты. — Собор св. Марка. —

Перепроизводство дождей. — Школа св. Маргариты. —

Снова и снова Сандерс болен. —

Как мы купались

Через два дня Крысаков нашел нас совершенно здоровыми и повез на Лидо купаться.

И опять на долгое время погрузился я в состояние тихого восторга. Небо, какого нет нигде, вода, которой нет нигде, и берег, которого нет нигде.

Милые, милые итальянцы!.. Они не стыдливы и просты, как первые люди в раю. И удивительно, как сатириконы быстро ко всему приспосабливаются: едва мы разделись и натянули на себя "трусики" величиной в но-

совой платок — как сразу почувствовали себя маленькими детьми, которых нянька полощет в ванне. Похлопывая себя по груди и бокам, ринулись мы на песок, не стесняясь присутствия дам, зарылись в него, выскочили, огласили воздух победным криком и обрушились в воду, подняв такое волнение, что, вероятно, не одно судно, паруса которых мелькали вдали, перевернулось и пошло ко дну.

Мужчины и дамы, полоскавшиеся около, смотрели на нас с некоторым удивлением. Эта обуглившаяся от солнца публика долго любовалась на наши белые, как молоко, северные тела, причем один из ротозеев соболезнующе сказал:

— Это недолго. Через три дня почернеете.

— О, милые! — возразил Крысаков. — Мы пожираем таких же пауков и спрутов, каких пожираете вы, пьем ваше кьянти, готовы петь и плясать по-вашему целый день, разделись голые, как вы сейчас, не стесняясь дам — почему же нам и не сделаться такими же черными, как вы?

Мы упали животами на песок и, надвинув на затылки панамы, подставили свои плечи и ноги под жгучий каскад горячего, как кипяток, солнца.

Крысаков, впрочем, нашел в себе силы доползти до Сандерса, приподнять его панаму и нежно поцеловать в темя.

— Зачем? — лениво спросил Сандерс.

— Инженер. Люблю инженеров.

И мы погрузились в нирвану.

Когда мы одевались, я услышал в соседней кабинке странный диалог.

Незнакомый сиплый голос говорил:

— Русским языком я тебе говорю или нет: принеси мне лампадочку вермутцу позабористее.

Голос слуги при кабинках — старого, выжженного солнцем итальянца-старика в матроске (я его видел раньше) отвечал:

— Нон каписко.

— Не каписко! Чертова голова! Не каписко, а вермут. Ну? Русским языком я тебе, кажется, говорю: вермут принеси, понимаешь? винца!

— Нон каписко.

— Да ты с ума сошел? Кажется, русским языком я тебе говорю... и т. д.

— Слушайте! — крикнул я. — Вы русский?

— Да, конечно! Кажется, русским языком говоришь этому ослу...

— На них это не действует... Скажите ему по-итальянски...

— Да я не умею.

— Как-нибудь... "прего, синьоре камерьере, дате мио глячио вермуто..." Только ударение на "у" ставьте. А то не поймет.

— Ага! Мерси. Эй ты, смейся паяччио! Дате мио, как говорится, вермуто. Да живо!

— Субито, синьоре, — обрадовался итальянец.

— То-то, брат. Морген фри.

Мы оделись, уселись на пароход и покатили в Венецию, свежие, безоблачно радостные, голодные как волки зимой.

Это были прекрасные дни. Долгими часами бродили мы по закоулкам среди старых величавых дворцов, любуясь небом, прислушиваясь к мрачной тишине узеньких каналов, которую редко-редко когда нарушит тяжело нагруженная кирпичом или овощами лодка. В лодке — итальянец и, конечно, он спит, прикрыв шляпой бронзовое лицо и щедро подставляя под солнце бронзовые руки и ноги...

По всей Венеции разлит сладкий яд невыразимой лени и медлительности... Уличного шума нет, потому что нет грохота экипажей и криков извозчиков. А венецианские гондольеры, в большинстве случаев, молчаливы и со-средоточенны. Жизнь — вечный медленный праздник. Публика шагает не спеша, останавливаясь на каждом шагу, гондолы ползут лениво, потому что спешить некуда и пассажир все равно дремлет, изредка поднимая отяжелевшие от истомы веки и скользя ленивым взглядом по облупившимся фасадам примолкших дворцов и покосившимся причалам, которые зыбкой линией отражаются в черной воде уснувшего канала...

На пьяццете, у берега большого канала, жизнь шумнее. Здесь десятки черных гондол мерно качают своими благородными, прекрасной формы носами, а лодочники, как стая разбойников, притаившись, стерегут проходящего форестьера, растерянного и сбитого с толку необычностью всего окружающего.

Стоит только показаться иностранцу, как поднимается неимоверный крик десятков хриплых глоток:

— Гондола, гондола, гондола!

Выйдя из гостиницы (тут же на пьяццете), я подхожу к берегу и делаю знак. С радостным воем гондольер прыгает в гондолу и, как птица, подлетает ко мне. Сейчас же откуда-то из-за угла дома вылетают: 1) здоровенный

парень, роль которого — подсадить меня, поддержав двумя пальцами под локоть; 2) другой здоровенный парень, по профессии придерживатель гондолы у берега какой-то палочкой, — хотя гондола и сама знает, как вести себя в этом случае; 3) нищий, по профессии пожелатель доброго пути, и 4) мальчишка-зритель, который вместе с остальными тремя потребует у вас сольди за то, что вы привлекли этой церемонией его внимание.

Я сажусь; поднимаются радостный вой, маханье шапками и пожелания счастья, будто бы я уезжаю в Африку охотиться на слонов, а не в ресторанчик через две улицы.

При этом все изнемогают от работы: парень, который подсаживал меня двумя пальцами, утирает пот с лица, охает и, тяжело дыша, придерживает рукой готовое разорваться сердце; парень, уцепившийся тоненькой палочкой за борт гондолы, стонет от натуги, кряхтит и всем своим видом показывает, что если в Италии и существуют каторжные работы, то только здесь, в этом месте; нищий желает вам таких благ и рассыпается в таких изысканных комплиментах, что не дать ему — преступно; а ротозей-мальчишка вдруг бросается в самую средину этого каторжного труда и немедленно принимает в нем деятельное участие: поддерживает под локоть того парня, который поддерживал меня.

Если вдумаешься в происшествие, то только всего и случилось, что я сел в лодку... Но сколько потрачено энергии, слов, споров, советов и пожеланий. Четыре руки с четырьмя шляпами протягиваются ко мне, и четверо тружеников, получив деньги, дают клятвенное уверение, что теперь, после моего благородного поступка, обо мне позаботятся и святая Мария, и Петр, и Варфоломей!

Я говорю гондольеру адрес, мы отчаливаем, тихо скользим по густой воде и, после получасовой езды, подплываем к самому ресторану. Кто-то на берегу приветствует меня радостными кликами. Кто это? Ба! Уже знакомые мне: придерживатель гондолы, подсаживатель под руку, пожелатель счастья и мальчишка поддерживатель поддерживателя под руку.

Они объясняют мне, что слышали сказанный мною гондольеру адрес и почли долгом прийти сюда, чтобы не оставить доброго синьора в безвыходном положении. Опять кипит работа: один придерживает гондолу, другой суетливо призывает благословение на мою голову, третий меня придерживает под руку, а четвертый поддерживает третьего.

Милая, голодная, веселая, мелкожульническая и бесконечно красивая даже в этом жульничестве Италия!

Нас обманывали на каждом шагу, но так мелко, так дешево, что мы только посмеивались.

У собора св. Марка целая туча гидов. Показывают собор, показывают могилу какого-то знаменитого дожа, настолько знаменитого, что потом в каждой церкви нам показывали могилу, где лежали настоящие, подлинные останки этого удивительного дожа.

Однажды я не вытерпел и спросил:

— Вы говорите, что это настоящая могила, в которой лежит настоящее, подлинное тело дожа Марка X?

— Си, синьоре, только у нас!

— Странно... я до вас был в семи церквях и в каждой мне показывали настоящее трупохранилище Марка X.

— Они вам показывали? — презрительно возразил проводник. — Хотел бы я посмотреть ихнего дожа! Воображаю... Вероятно, что-нибудь курам на смех. Туда же... лезут со своими дожами. У нас, синьор, такой дож Марко X похоронен, что пальчики оближете.

У меня осталось смутное впечатление, что в прежние времена трупы знаменитых дожей заготовлялись оптовым способом на одной из немецких фабрик и потом рассыпались во все церкви, чтобы никому не было обидно...

Когда мы осмотрели собор св. Марка, гид, показавший нам собор, опустил голову, отошел поодаль и задумался: "Что бы еще такое показать?"

Вспомнил. Показал то место, где Барбаросса стоял перед папой на коленях. Место было самое обыкновенное. Задумался. Вспомнил. Показал то место, где сидел папа.

— Ну, довольно, — сказали мы. — Все!

— Нет! — остановился гид.

Задумался. Вспомнил. Показал то место, на котором Барбаросса не стоял. Мы внимательно осмотрели указанное место. Понравилось.

— Я сейчас вам покажу мраморную колонну, отнятую у турок.

— Не надо, — сухо сказали мы.

— Покажу то место, где стояли кардиналы, когда Барбаросса...

— Не надо!

Он призадумался.

— Хотите, может быть, красивую синьору? Очень скромная, молодая, а?

— Пойди к черту!

— Открыток не надо ли? Вот хорошие есть. Эй, Джузеппе! Иди сюда, вот господам нужно открытки.

— К дьяволу! Ничего нам не нужно.

— Ага! Я знаю, что вам показать... Хотите видеть школу святой Елизаветы?

— Это интересно, — сказал Крысаков, обращаясь к нам. — Мне очень хотелось бы видеть, как у них поставлено учение... Ведите!

Мы последовали за гидом.

Он привел нас в какое-то помещение, одна часть которого была занята венецианским стеклом, а другая — несколькими десятками рабочих, копавшихся над какими-то мраморными статуэтками и мозаикой.

— Вот, — сказал гид, подмигивая хозяину, — эти господа хотят что-нибудь купить.

— Это что такое? — сурово спросил Мифасов.

— Школа святой Елизаветы!

— Это такая же школа, как ты честный человек. Ах ты, мошенник! Какая это школа?! Разве такие школы бывают?

— Я не понял синьоров, — сказал гид, сверкая зубами...

— Школу желаете? Пожалуйте, я проведу вас в школу. Школу святой Маргариты! Синьоры останутся довольны.

Он повел нас, треща, как попугай, приплясывая и беспрестанно оборачиваясь...

Привел... Среди десятка манекенов сидели и плели кружева несколько прехорошеньких девушек.

— Вот, — сказал гид. — Настоящие венецианские кружева.

Меня удивило, что никто из нас не рассердился.

Наоборот, все подошли к красавицам и с захватывающим интересом стали следить за их работой.

Крысаков настолько заинтересовался проворством маленьких ручек, что взял одну из них и поцеловал.

— Нет, — сказал гид. — Я только хотел предложить вам купить кружева.

В другом углу Сандерс внимательно рассматривал плетеные, остановив работу самым примитивным способом: взял обе руки работницы в свои.

— Мифасов! — печально сказал я. — Только мы с тобой и отличаемся суровой нравственностью и закаленным сердцем.

— Да, да... Послушай... Тебе не нужен тот цветочек, что торчит в твоей петлице? Дай мне. Я приколю его к груди той, вон, высокой, черной...

"Боже, — подумал я с отвращением. — Эти люди, как тигры, набросились на беззащитных девушек..."

Глубокое чувство сожаления охватило меня. Я нежно-покровительственно обвил талию ближайшей работницы и шепнул:

— Не бойтесь! Я не подпущу их к вам.

— Пойдем, синьоры, — сказал гид, лицо которого вытянулось. — Я вижу, что вы ничего не купите...

Действительно, мы вышли из "школы Маргариты", не купив даже аршина кружев.

— Все-таки, — задумчиво сказал Крысаков. — У них школьное дело обставлено недурно.

Когда наступил назначенный заранее день нашего отъезда из Венеции, мы с Сандерсом снова заболели.

Поезд уходил в пять часов вечера, и мы аккуратно пролежали до 4 1/2 часов вечера.

— Теперь уже на поезд не успеешь? — осторожно спросил Сандерс.

— Нет. Пока соберемся, пока гондола доползет...

— Ну, значит, можно вставать. Господи! Какое счастье еще один денек пожить в Венеции!

Мы вскочили, оделись и пошли бродить.

На другой день печаль разрывала наши сердца — нужно было уезжать.

Мы обошли все уголки, простились с Венецией, но... случилась непредвиденная вещь: в три часа дня заболел Мифасов.

— Плохо мне что-то, — сказал он. — Знаю, что нынче обязательно нужно ехать, но не могу встать.

— Гм... Ну, ты полежи, а мы поедем на Лидо купаться. Все равно уж, раз остались...

— И я с вами...

— С ума вы сошли! Смотрите-ка! У него лихорадка, а он — купаться!

Укутали Мифасова, пошли завтракать, побродили по переулкам и поехали на Лидо.

Разделись, легли на песок. Вдруг Крысаков поднялся на локтях и, глядя в воду, неуверенно сказал:

— Гм! Если бы Мифасов сейчас не лежал в Венеции в жестокой лихорадке, я бы подумал, что это он!

— А, это вы, братцы, — пролепетал Мифасов, сконфуженно потирая тощую грудь. — А мне сделалось этого, знаете... как его? лучше! Да, сделалось лучше — я и приехал.

Признаться ли? Все мы втайне были благодарны за его ловкий прием. Пожить еще один день в Венеции! Этот Мифасов всегда придумает что-нибудь остроумное.

И в последний раз вошли мы в лазурные воды Лидо...

У всякого была своя манера купаться. Сандерс заплывал так далеко, что я, теряя его из виду, начинал подумывать о приискании, по возвращении в Россию, нового секретаря.

Крысаков, повернувшись в воде две минуты и наглотавшись соленой воды, вполне удовлетворенный, выбегал на берег и принимался за разные гадости: бросал в нас песком, завязывал узлы на рубашках и носился, как сорвавшийся с цепи слон, по всему побережью.

Мифасов входил в воду с таким лицом, что будто бы он уже махнул рукой на жизнь и что морская пучина — близкая его могила. Валился на полуаршинной глубине во весь свой длинный рост и, выпучив в безумном паническом ужасе глаза, размахивал бешено руками с видом человека, решившегося дорого продать жизнь.

Со стороны казалось, что это человек среди океана борется с гигантским волнением и тонет, одинокий... На самом деле стоило ему только протянуть руку, чтобы она коснулась берега.

В первый раз, когда я увидел его полный отчаяния взгляд и бешеные спазматические движения на полуаршинной глубине, то, обеспокоенный, спросил:

— Боже мой! Что это ты делаешь?

— Плаваю! — прохрипел этот лихой малый.

— Где? Ведь тут глубины не больше двух футов.

— Что ты! Я ведь ногами до самого дна достаю.

Я не хотел ему говорить, что этого же результата он достигает на любой городской улице, где воды нет. Но, взглянув на его покрытое предсмертным потом лицо и отчаянный лихой взгляд — промолчал.

Может быть, кто-нибудь спросит, как плаваю я?

Боже мой! Да конечно — превосходно.

ФЛОРЕНЦИЯ

Мнение путеводителя. — Испорченный механизм Мифасова. — Фьеэоле. — Капанье в странном экипаже. — Человек, перешагнувший Сандерса. — Мы растерялись. — Поиски. — Остроумный плакал. — Опять Фьеэоле

В путеводителе о Флоренции сказано:

"Этот город можно назвать самым красивым из всех итальянских городов".

А о Венеции в том же путеводителе сказано:

"Этот город считается самым красивым из всех итальянских городов".

К Риму составитель путеводителя относится так:

"Рим можно назвать самым красивым из всех итальянских городов".

Можно сказать с уверенностью, что жена составителя путеводителя в своей семейной жизни была не особенно счастлива. Каждую встретившуюся женщину увлекающийся супруг находил "лучше всех".

Венеция — царица, а Флоренция — ее красивая фрейлина, поддерживающая царственный шлейф. В Венеции нужно наслаждаться жизнью, во Флоренции — отдыхать от жизни.

Благородным спокойствием обвеяна Флоренция.

Улицы без крика и гомона, роскошная зелень недвижно дремлет около белых дворцов, а солнце гораздо ласковее, нежнее, чем в пылкой Венеции.

Едва мы умылись в гостинице и переоделись, я спросил:

— Что хотел бы каждый из вас сейчас сделать?

— Меня интересует, — нерешительно сказал Мифасов, — постановка их школьного дела.

Крысаков пожал плечами и взглянул на часы:

— Поздно! Они уже, наверно, кончили свои кружевые дела. Меня интересует — едят ли здесь что-нибудь? Я хочу есть.

— А вы, Сандерс, чего хотите?

Он вздохнул, поглядел в окно, передвинул ногой чемодан и сказал:

— Я...

Мы терпеливо подождали.

— Ну ладно! Выскажетесь по дороге. Некогда.

— Надо, господа, ехать во Фьезоле, — предложил Мифасов. — Полчаса езды на трамвае. Там прекрасно. Красивое местоположение, зелень.

Совет Мифасова поставил нас в затруднительное положение. За час перед этим я заглядывал в путеводитель и нашел такие сведения: "Фьезоле, полчаса езды от Флоренции в трамвае; прекрасное местоположение, масса зелени".

Но раз это же самое утверждал Мифасов, я усомнился: нет ли ошибки в путеводителе? Потому что не было большего неудачника в подобных случаях, чем Мифасов. У него была прекрасная память, но какая-то негативная: все запоминалось наоборот.

— Может быть, Фьезоле не около Флоренции, а около Рима? — спросил, колеблясь, я.

— Нет, здесь.

— Может быть, это какая-нибудь скверная дыра? Не спутал ли ты, Коленька... А? Ну-ка, вспомни.

— Нет, там хорошо.

И что же... Не успел трамвай доехать до места назначения, как мы убедились, что это Фьезоле и что оно действительно прекрасно.

— Тут есть, господа, остатки древнего цирка. Можно взять лошадок и съездить посмотреть. Близко.

— Коля, — осторожно сказал Крысаков, — может быть, это не цирк, а театр, а? И не старый, а новый? Ну-ка вспомни-ка. Может, до него далеко? Может, тут не лошадки возят, а мулы или верблюды?

В механизме Мифасова что-то испортилось: цирк был действительно древний и находился он близехонько.

Когда я сравниваю себя с товарищами, мне прежде всего бросается в глаза разница нашей духовной организации. Попробуйте спросить меня, что осталось в моей памяти от Флоренции и Нюриберга? Я отвечу в первом случае: красивая грусть, которой проникнуто было все; во втором случае: идиллическое настроение на фоне суровых, тесно сдвинувшихся зданий, в окна которых, казалось, грозно глядят прошлые, серые века, закованные в латы и отягощенные доспехами. А спросите о Флоренции и Нюриберге моих товарищей. От всего Нюриберга уцелел толстый немец Герцог, хозяин кабачка, в котором нас угостили несравненными кровяными колбасами, брат-вurstом и изумительным пивом. Я до сих пор не могу забыть ни этих колбас, ни этого пива... Флоренция? Фьезоле? О, конечно, при этом слове у моих друзей засверкают глаза и польются воспоминания:

— Помните кьянти? Нигде во всей Италии нам не давали такой прелести! А асти? Нигде нет такого! А мартаделла, а гарганзола!! А какая-то курица, приготовленная таинственно и чудесно. Ах, Фьезоле, Фьезоле!..

Действительно, должен сознаться, что ни этого вина, ни этих чудесных кушаний забыть нельзя. Ах, Фьезоле, Фьезоле!

После этого чудесного пира мы, ласковые и разнеженные, вышли из увитого зеленью дворика крохотного ресторана и бодро зашагали, полные искренней любви

друг к другу. Крысаков не преминул снять с Сандерса шляпу и нежно поцеловать его в темя.

— Почему? — спросил сонно Сандерс.

— Славный вы человек. Дай Бог вам всего такого...

Идя сзади под руку с Мифасовым, я шепнул ему:

— В сущности, они хорошие ребята, не правда ли?

— Превосходные. В них есть что-то такое...

Он споткнулся, но я дружески поддержал его.

— Стойте! — закричал Крысаков. — Экипаж! Поедем на нем. Эй, ты! Свободен?

Это был большой, черный, поместительный экипаж, влекомый парой лошадей, которых вел под уздцы парень в грязном темном костюме.

— А флорентийцы, как и венецианцы, — люди одного вкуса. Все у них выдержано в черных тонах. Садитесь, господа! Фу ты, как неудобно...

Кучер что-то закричал и стал прыгать и кривляться около экипажа.

— Что он делает?

— Наверное, какая-нибудь секта. Эти итальянцы, вообще...

— Может быть, он занят? Спросите его по-французски.

По-французски возница не понимал.

— Свободен? — спросил Мифасов. — Либр? Э? Твоя экипажа свободна есть? Либр?

Экипаж оказался свободен, и тем не менее возница очень не хотел, чтобы мы садились. Он кричал и беспновался...

— Покажите этому флорентийскому ослу пять лир. Может быть, это его успокоит.

Мы показали смятую бумажку и победоносно полезли в экипаж.

Возница застонал, всплеснул руками, вскочил на облучок, ударил по лошадям, — и экипаж поскакал, бешено подпрыгивая на каменистой мостовой.

Прохожие, встречаясь с нами, взмахивали руками и кричали что-то нам вслед; мальчишки бежали за нами, приплясывая и оглашая воздух немолчными воплями.

— Какое приветливое народонаселение, — сказал Мифасов удовлетворенно. — Вообще итальянцы всегда хорошо относятся к иностранцам.

— А может быть, они принимают нас за каких-нибудь должностных лиц? — спросил честолюбивый Крысаков.

— Ну знаете... Мы больше смахиваем на конокрадов.

— О черт. Ударился головой о верх! Знаете, я думаю, этот экипаж не создан для быстрой езды.

В справедливости слов Крысакова мы не замедлили убедиться через две минуты. Навстречу нам очень медленно подвигался такой же самый экипаж. Возница степенно вел четырех лошадей под уздцы, а сзади шагали погруженные в задумчивость люди. В экипаже был только один пассажир, и тот не сидел, а лежал, чинно сложив на груди руки.

— Посмотрите-ка, что это?

— Д-а-а... Гм!..

— Знаете что? Тут уж нам недалеко; пройдемся пешком.

— Идея! А то мы совсем без движения...

— Растолстеешь, — согласился Крысаков, поспешно спрыгивая с нашего экипажа.

Домой мы добрели молча. Говорить не хотелось.

Уезжали на другой день утром. Во Флоренции нам удалось видеть самого медлительного человека в мире. Сандерс казался перед ним человеком-молнией.

Наша гостиница была около самого вокзала, через дорогу. Портъе сказал, что он довезет наши вещи на тележке; а мы можем пойти вперед, брать билеты. До поезда оставалось двадцать пять минут. Мы взяли билеты, просмотрели юмористические журналы; до поезда осталось десять минут. Выпили бутылку вина, проверили билеты, проверили время отхода — осталось три минуты.

— Проклятое животное! Мы опоздали. Не украл ли он наши вещи?

— Пусть кто-нибудь побежит за ним.

— А вдруг он сейчас откуда-нибудь вынырнет?

— Как же мы поедем без одного. Нам разлучаться нельзя.

— Теперь уж не разлучимся.

— Почему?

— А вот... наш поезд... тронулся.

Когда хвост поезда скрылся где-то за горизонтом, послышалось тихое пение, и портъе, мурлыча популярную канканетту и толкая впереди тележку с нашими вещами, показался из-за угла. Он подвигался популярным среди нас "шагом Сандерса" со скоростью десяти ругательств спутника в минуту.

Остановился... Вытер лицо красным платком, засунул сигару, пожал руку знакомому факкино и, заметив в углу нашу молчаливую группу, благодушно спросил:

— Опоздали? Поезд ушел?

— Ушел.

— Та-ак.

— Ну, что новенького в Риме? — спросил, сдерживая себя, Крысаков.

— О, я, синьоры, к сожалению, не был там.

— Неужели? Я думал, вы сейчас туда заезжали по дороге. Благополучно ли вы переправились через непрступное ущелье, отделяющее гостиницу от вокзала?

— О, синьоры, дорога совершенно прямая.

— Знаете, кто вы такой, синьор портье? Идиот, грязное животное, негодяй и бригант!

К французскому языку он относился совершенно равнодушно, что было видно из того, что лицо его оставалось сонным, и под градом ругательств он сладко затягивался отвратительной сигарой.

— По-итальянски бы его, — свирепо сказал я.

— Ладно. Кто будет?

— Говорите вы. А мы будем составлять фразы.

Каждый из нас знал по несколько итальянских ругательств, но это было плохое, разрозненное издание. Приходилось собирать у каждого по несколько слов, систематизировать и потом уже в готовом виде подносить их Крысакову для передачи по адресу.

Мы расселись на своих чемоданах, и фабрика заработала. Мы с Мифасовым произносили слова, Сандерс их склеивал, а Крысаков громовым голосом бросал уже готовый фабрикат в лицо обвиняемому.

Обвиняемый присел на пустую тележку, надвинул шапочонку на глаза и закрыл лицо руками.

Когда мы с Мифасовым опустошили себя, оказалось, что негодяй заснул.

— Пойдем жаловаться хозяину гостиницы.

Они ушли, а я остался около вещей. Прошло очень много времени; я видел, как ушел второй поезд на Рим, и узнал, что следующий уходит только через три часа. Велел факкино отнести вещи в багаж, а сам пошел бродить по городу, чтобы протянуть время до поезда. Обиженный, покинутый, плотно позавтракал. За час до отхода поезда вернулся на вокзал. Никого не было. Потом оказалось, что Сандерс, Крысаков и Мифасов пришли

после моего ухода на вокзал. Увидели, что меня нет, и отправились искать меня по городу. Зашли по дороге в альберго, хорошо позавтракали. Потом опять искали. А я пришел на вокзал, никого не нашел и, встревоженный, отправился на поиски. Искал долго, устал... Зашел в ресторан пообедать. В это время потерянные друзья опять навестили вокзал, не нашли меня и снова пустились в поиски; заглядывали в рестораны, остерии; в одной решили пообедать. А поезда приходили из Рима, уходили в Рим, сновали туда и сюда, не дожидаясь несчастной, располнвшейся по всему городу компании. Группа "Мифасов, Сандерс и Крысаков" устроила заседание, по поводу потерявшейся группы "Южакин", и решила поставить поиски на самую широкую ногу: город был разбит на районы; на углах улиц поставлена была цепь сторожевых (Мифасов); член этой человеколюбивой экспедиции Сандрес был командирован на вокзал со специальным поручением: наклеить в багажном отделении на мой чемодан глубокомысленный плакат:

"Если вы придетете на вокзал, забирайте вещи и идите в гостиницу "Палермо", где мы ночуем. А если не придете на вокзал, мы вечером — в шантанчике у Рынка Свиньи, туда прямо и идите".

Ниже приписка карандашом:

"Впрочем, что я за дурак: если вы не придете на вокзал, как же вы узнаете, что мы вечером у Рынка Свиньи? Тогда ведь вы не будете знать, где мы. В таком случае, поезжайте в "Палермо" и вечером просто ложитесь спать. Крысаков кланяется".

— А, ну вас, — подумал я. — Не люблю людей, делающих ложные шаги. К черту ваш Рынок Свиньи! Поеду-ка я лучше на Фьезоле, в этот милый кабачок.

Потом я выяснил, что мои спутники к концу вечера растеряли друг друга и каждый очутился в одиночестве. Это произошло потому, что Крысаков, вместо того чтобы ждать Сандерса в условленном месте, решил пойти ему навстречу; Сандерс, наоборот, решил зайти по дороге за Мифасовым, а Мифасов отправился к Крысакову, не нашел его, полетел на вокзал, — и четыре человека весь день бродили в одиночестве по флорентийским улицам. Каждый из них был раздражен глупостью других и, не желая их видеть, решил провести вечер в одиночестве.

Поэтому Крысаков был чрезвычайно изумлен, обнаружив меня на Фьезоле, в излюбленном ресторанчике,

а Сандерс и Мифасов, появившиеся почти в одно время за нашими спинами, сочли это каким-то колдовством.

Сначала, усевшись, мы сделали кое-какую попытку разобраться в происшедшем, но это оказалось таким сложным, что все махнули рукой, дали клятву не различаться и... курица по-итальянски, выплывшая из ароматной струи асти, смягчила ожесточившиеся сердца.

РИМ

Сандерс сокрушается. — Старина. — Я стараюсь перешеголять гида. — Колизей. — Сандерс в катакомбах. — Музей. — Тяжелая жизнь. — Художественное чутье. — Дорогая палка. — Уна лира

Рим не на всех нас произвел одинаковое впечатление. Когда мы осмотрели его как следует, Сандерс засунул руки в карманы и спросил:

— Это вот и есть Рим?

— Да.

— Это такой Рим?

— Ну конечно. А что?

— Гм, да... — протянул он, ехидно усмехаясь. — Так вот он, значит, какой Рим...

— Да, такой. Вам он не нравится?

— О, помилуйте! Что вы! Как же может Рим не нравиться? Смею ли я...

Свесив голову, он долго повторял:

— Да-с, да-с... Вот оно как! Рим... Хи-хи. А я-то думал...

— Что вы думали?

— Ничего, ничего. Городок-с... Городочек-с! Хи-хи. Мы пробовали рассеять его огорчение.

— Он, правда, немножко староват... Но зато...

— Да, да... Староват. Но зато он и скучноват. Он и грязноват. Он и жуликоват. Хи-хи!

В этом смысле я резко разошелся с Сандерсом. Рим покорил мое сердце. Я не мог думать без умиления о том, что каждому встречному камню, каждому обломку колонны — две, три тысячи лет от роду. Тысячелетние памятники стояли скромно на всех углах, в количестве, превышающем фонарные столбы в любом губернском городе.

А всякая вещь, насчитывавшая пятьсот, шестьсот лет, не ставилась ни во что, как девчонка, замешавшаяся в торжественную процессию взрослых.

Я долго бродил с гидом по Форуму, среди печальных обломков старины, и в ушах моих звенели диковинные цифры:

— Две тысячи лет, две с половиной! Около трех тысяч лет...

Когда мы брали усталые по солнцам от жары улицам, я остановился около мраморного, позеленевшего от воды и лет фонтана и сказал:

— О! Вот тоже штучка. Я думаю, не из новых.

Гид пожал плечами, сплюнул в струю воды и возразил:

— Дрянь! Всего-то восемьсот лет.

На углу меня заинтересовала чья-то бронзовая статуя.

— Господин, — сказал гид, — если мы будем останавливаться около таких пустяков — у нас не хватит недели.

— Вы это считаете пустяком?

— О, Господи ж! Поставлен в прошлом столетии.

— Однако, — сказал я. — Как же вы терпите эту ужасную новую ярко позолоченную конную статую Виктора Эммануила?

— О, ведь это вещь временная. Этот памятник еще не готов.

— Почему?

— Он будет готов через шестьсот—семьсот лет, когда позолота слезет. Тогда это будет благороднейшее стариное произведение искусства.

— Странный обычай. У нас, в России, таким способом заготовляют только огурцы впрок. Раз он не готов — не нужно было его открывать...

— Закрытыми такие вещи нельзя держать, — возразил гид. — Тогда позолота и в тысячу лет не слезет.

Я проникся культом старины даже гораздо раньше, чем этого мог ожидать гид.

В сумерки он зашел ко мне в гостиницу и предложил, лукаво ухмыляясь:

— Не желает ли господин посмотреть тут один шантанчик?

— Старый? — спросил я.

— О нет, совершенно новый, недавно отремонтированный.

— Так что ж вы мне его предлагаете! Еще если лет восемьсот, девятьсот...

— О, тогда господину нужно пойти в кафе Греко.

— Старое?

— О да. Еще в восемнадцатом веке...

— Только-то? Нет, мой дорогой. Я полагаю, его можно будет посещать лет через триста... и то с большой натяжкой...

Я имею основание думать, что гид почувствовал ко мне тайное почтение. Он поклонился и сказал:

— В таком случае не посмотрите ли вы завтра собор святого Петра?

— О, — равнодушно пожимая плечами, промямлил я, — вы говорите — святого? Это, вероятно, что-нибудь уже после Рождества Христова?

— Да, но...

— Знаете что? Отложим это до будущего приезда. Все-таки будет годиком больше, а?

— Ну, я знаю, что господину нужно... Он завтра утром посмотрит Колизей и термы Каракаллы.

— Ну что ж, — сказал я. — Я полагаю, что это меня позабавит.

На другой день утром автомобиль в двадцать минут доставил нас прямо к Колизею. Был прекрасный жаркий день.

Лицо гида сияло гордостью и торжеством.

— Вот-с! Извольте видеть.

— А где же Колизей?

Гид побледнел:

— Как... где..? Вот он, перед вами!

— Такой маленький? Тут повернуться негде.

— Что вы, господин! — жалобно вскричал гид. — Он громаден! Это одно из величайших зданий мира. Пожалуйте, я вам сейчас покажу ямы, где содержались звери до представления и откуда их выпускали на христиан.

— Там сейчас никого нет? — осторожно спросил положительный Мифасов.

— О синьор, конечно. Вам со мной нечего бояться. Вот видите, остатки этих громадных стен; все они были облицованы белым мрамором — такую работу могли сделать только рабы.

— А где же мрамор?

— Монахи утащили в Ватикан. Весь Ватикан построен из награбленного отсюда мрамора.

— Ага! — сказал Сандерс, — око за око... Сначала звери в Колизее драли христиан, потом христиане ободрали Колизей.

— О, — сказал гид, — христианство погубило красоту Рима. Это была месть язычеству. Лучшие памятники разграблены и уничтожены Ватиканом. Вам еще нужно взглянуть на бани Каракаллы и на катакомбы.

Добросовестный гид потащил нас куда-то в сторону, и мы наткнулись на грандиозные развалины, на стенах которых еще кое-где сохранилась живопись, а на полу — чудесная мозаика.

Мы, притихшие, очарованные, долго стояли перед этим потрясающим памятником рабства и изнеженности, над которым несколько тысячелетий пронеслись, как опустошительный ураган, пощадив только то немногое, что могло дать представление нам, узкогрудым потомкам, о мощном размахе предков.

И мне захотелось остаться тут одному, опуститься на обломок колонны и погрузиться в сладкие мечты о безвозвратно минувшем прошлом. Так хотелось, чтобы никого около меня не было, ни гида, ни Сандерса, с его сонным видом и вечным стремлением завязать спор по всякому ничтожному поводу, ни размашистого громогласного Крысакова, ни самоуверенного кокетливого Мифасова, которому до седой старины такое же дело, как и ей до него.

В это время ко мне приблизился Мифасов и сказал тихонько:

— Вот она, старина-то!.. Так хочется побывать одному, без этого хохотуна Крысакова, без вялого дремлющего Сандерса, которому, в сущности, наплевать на всякую старину... Так хочется посидеть часик совсем одному.

За моей спиной послышался шепот Сандерса:

— Вас не смешат, Крысаков, эти два дурака, которые, вместо того чтобы замереть от восторга, шепчутся о чем-то? Как бы мне хотелось, чтобы никого из них не было!.. Сесть бы в уголочке да помечтать.

— Да, да, — сказал Крысаков. — Мне тоже. Чтобы никого не было!.. Ну, разве только вы, — деликатно добавил он.

Были мы в катакомбах. Сырой, холодный воздух, зловещий шорох наших ног, огонек свечи, освещавший пространство в ладонь величиной, и тяжелое смутное настроение, которое еще больше усиливали вопросы Сандерса, неожиданно вступившего в полосу разговорчивости в этом неподходящем месте.

— Почему тут так темно? — осведомился он у монаха.

— Катакомбы.

— Ну, я понимаю — катакомбы! А все-таки могло быть светлее. Тут никто не живет?

— Конечно нет. Здесь хоронили мучеников, а в последнее время — пап.

— Чых? — бессмысленно спросил Сандерс, отколупывая пальцем кусок воска от свечки.

— Римских.

— Ага! Теперь уже, вероятно, нет древних христиан? Времени-то, слава Богу, прошло немало.

— Ради Бога, довольно! — сурово перебил Крысаков.

— Теперь я понимаю, почему Сандерс так редко разговаривает... У него есть солидные основания.

Большую часть времени, проведенного в Риме, мы тратили на хождение по музеям и картинным галереям.

Я подозреваю, что с музеями у нас с самого начала вышло недоразумение: художники боялись показаться мне и Сандерсу людьми некультурными, не интересующимися искусством и потому, едва успев приехать в город, уже неслись с искаженными тоской лицами во все картинные галереи города; мы, не желая показать себя перед художниками людьми отсталыми, равнодушными к их профессии, носились за ними.

Сколько мы видели картинных галерей? Сколько музеев обежали мы за все время наших скитаний по Европе? Какое количество картин больших и маленьких промелькнуло перед нашими утомленными глазами? Берлин, Дрезден, Мюнхен, Нюрнберг, Венеция, Флоренция, Рим, Неаполь, Генуя, Париж... Всюду целое море полотна — зеленого, красного, розового, старинного и нового...

В Ватикане Сандерс заснул в музее за дверью, а в другом музее — забыл его название — мы так разошлись, что, поднимаясь все выше и выше, попали в большую комнату, уставленную столами, за которыми сидели несколько живых стариков. Мы тупо осмотрели их, постоянно добросовестно около портрета Виктора Эммануила и потом потащились обратно, шатаясь от усталости.

— Вот столб какой-то, — указал Мифасов, когда мы спускались по темной лестнице.

— Старинный?

— Бог его знает! Спокойнее будет, если осмотрим.

Осмотрели столб. Как говорится, ничего особенного.

Начиная с Мюнхена, мы, по приезде в каждый город, усвоили привычку робко спрашивать у обывателей:

— Нет ли тут каких-нибудь музеев или картинных галерей?

И если музеи были, Крысаков решительно надевал шляпу и с суровой складкой у углов рта с видом подвижника говорил:

— Ну, ничего не поделаешь... Надо идти.

Остальные трое безропотно надевали шляпы и шагали за ним, угрюмо опустив головы.

— Может быть, он закрыт? — шептал Сандерс, с надеждой поглядывая на Крысакова.

— Глупости! Почему бы ему быть закрытым?

— Ремонт... Или по случаю пожара.

— Вздор! Пойдем. Я вам покажу тут такого Луку Кранаха, что даже ахнете.

Как люди деликатные, мы с Сандерсом ахали.

— Смотри, Сандерс — Кранах!

— Да, да! Лука. Изумительно.

Крысаков и Мифасов распознавали художников и их картины по общепринятой системе; у Сандерса же была своя система — очень дикая, но, к общему изумлению, довольно верная. Например, Рубенса он узнавал по цвету женских колен, а какого-то французского художника единственным по тому признаку, что на всякой его картине в центре была нарисована белая лошадь. И действительно, в десятке разбросанных картин было заключено десять лошадей, и все белые, и каждая в центре.

Я с завистью смотрел на трех друзей, которые издали безошибочно, по одним им известным признакам, узнавали среди десятков — какого-нибудь Гверчино, Зурбарана или Луку Кранаха.

В конце концов, я придумал следующий практический и простой способ конкурировать с ними: когда они застывали в изумлении перед какой-нибудь картиной, я потихоньку прокрадывался в следующую комнату, прочитывал подписи под картинами, возвращался и потом, шествуя в хвосте в эту следующую комнату, говорил, выглядывая из-за спин товарищей:

— А! Что это? Если не ошибаюсь, эта старина Лауренс? Похоже на его письмо...

— Да, это Лауренс, — неохотно соглашался Крысаков.

— Еще бы! Я думаю. А этот, вот в углу висит — убейте меня, если это не Бёрн-Джонс. Сразу можно узнать этого дьявольского виртуэза! Ну конечно. Да тут, если я не ошибаюсь, и Гэнсборо, и Рейнольдс!

Сандерс, Мифасов и Крысаков изредка ошибались. Я никогда не ошибался.

— Смотрите! — говорил Крысаков. — Ведь это Коро! Его сразу можно узнать.

Я читал на дощечке:

“Ван Хиггинс. Голландская школа”.

— Неужели? А ведь совсем Коро!.. Не правда ли, Мифасов?

— Да! — подтверждал Мифасов, очень ревниво относившийся к поддержанию их профессионального престижа. — Ну, Добиньи, конечно, вы сразу узнали?

— Это не Добиньи, — поправлял я. — Это Курбе.

— Ну, Курбе! Их часто смешивают.

— У Курбе всегда толстое дерево сбоку, — авторитетно замечал дремавший Сандерс.

И мы шли дальше, пробегая одним взглядом десятки картин, лениво волоча усталые ноги и судорожным движением выпрямляя изредка натруженные спины и затылки.

Когда уже все было осмотрено, несносный проныра Крысаков неожиданно говорил:

— А вот тут есть еще один закоулочек — мы в нем не были.

— Ну, какой там закоулочек... Стоит ли? Я уверен, там ничего путного нет.

— Нет, Сандерс, — так нельзя. Нужно все осматривать...

— Милые мои! Отпустите вы меня...

— Что вы! Там целых два Фрагонара.

— Два?.. Эх! Ну, идем!!

Всюду нам сопутствовала компания англичанок. Англичанки все, как на подбор, были старые — ни одной молоденькой, ни одной красивой.

За все время мы видели несколько сот англичанок — все они были старые, отвратительные. Я уверен, что в Англии есть много и молодых, но они на континенте не показываются. Их, вероятно, держат где-нибудь взаперти, выдерживают в каком-то погребе, дожинаясь, пока они постареют. А когда они готовы — их выпускают на континент большими партиями. Ездят они всюду по Куковскому маршруту, сопровождаемые длинными, иссохшими от времени англичанами; забавно видеть, как Куковский проводник набивает чудовищно громадный автомобиль этим старым мясом, хватая леди и джентльменов за шиворот и про-

пихивая их ногой в затруднительных местах. Ничего, довольны.

И бродят они, несчастные, подобно нам, застывая с видом загипнотизированных кроликов перед какой-нибудь “головой старика” или “туманным вечером в Нидерландах”.

Это позор и несчастье — изучать сокровища искусства таким образом. Что у меня осталось в памяти? Несколько Рубенсов, два-три Рембрандта, полдюжины Бёклинов и кое-что испанское: поразительные Сулоага, Англада и Саролла-Бастила. А сколько я видел? Зеленые, желтые пейзажи, розовые тела, разные девушки с кошкой, девушки без кошек и кошки без девушек; цветы, сырья рыба рядом с персиками и вечный Святой Себастьян, которого не изображал только тот, кто вместо живописи занимался другими делами. Потом было много каких-то уродливых облупленных картин с детской перспективой и кривыми телами.

Корректный Мифасов считал необходимым восхищаться и этими облупленными обрывками старины; а хронический протестант Сандерс в таких случаях ввязывался в ожесточенный спор:

— Замечательно! Ах, как это замечательно! Крысаков! Посмотрите, какой это чудесный тон! И как проштудировано!

— Да, действительно... тон, — деликатно подтверждал Крысаков.

— Послушайте, — начинал Сандерс, как бык, потупив голову и озираясь. — Неужели эта ерунда вам нравится?

— Милый мой, это не ерунда!

— Это не ерунда? Вы посмотрите, как нарисовано! Теперь гимназист пятнадцати лет нарисует лучше.

— Вы забываете исторические перспективы.

— Тогда при чем здесь “тон”, “проштудировано”? Изумляйтесь исторически — и этого будет довольно.

— Вы варвар!

— А вы сноб!

— Ах так? Надеюсь, наши отношения...

— Ну, поехала! — кривился Крысаков. — “Не осенний мелкий дождичек”...

И Крысаков, и Мифасов, как авгуры, упорно охраняли своих богов, а мы, честные, откровенные люди без традиций — не церемонились. Впрочем, однажды, изловив Крысакова в темном уголку, я путем вопросов довел до его сознания, что Боттичелли не так уж хорош, чтобы

захлебываться перед ним. На сцену, правда, выступила историческая перспектива, но я налег — и Крысаков сдался. Это меня тронуло, и я, помню, очень расхвалил какую-то незначительную картинку, которая ему понравилась.

Он очень любил живопись, но под конец нашего путешествия, если по приезде в новый город в нем не оказывалось музея, Крысаков оживлялся, шутил и вообще начинал чувствовать себя превосходно.

К концу нашего путешествия мы с Крысаковым оказались обладателями очень драгоценных предметов: я — палки, он — фотографического аппарата. Эти две вещи мы вывезли из России, и на месте они стоили: палка — рубль, аппарат — двенадцать рублей.

Мы с ними нигде не расставались, и поэтому при входе во всякий музей или галерею у нас их отбирали, а потом взыскивали за хранение.

В Риме я решил бросить эту дрянную рублевую палку, но она уже стоила около пятидесяти лир, — было жаль. В Неаполе цена ее возросла до семидесяти лир, начиная от Генуи — до ста, а после Парижа — потеря ее совершенно бы меня разорила. Эта палка и сейчас находится у меня. Любопытные долго ее осматривают и очень удивляются, что такая неказистая на вид вещь обошлась мне около двухсот франков. А крысаковский аппарат к концу путешествия разорил своего хозяина, потому что, как верная собака, таскался за ним в самые неподходящие места.

Рим в отношении поборов — самый корыстолюбивый город. Там за все берут лиру: пойдете ли вы в Колизей, захотите ли взглянуть на картинную галерею, на памятник или даже на собственные часы.

В Ватикане с нас брали просто за Ватикан (лира!), за картинную галерею Ватикана (лира!), за левую сторону галереи (лира!), за правую (тоже!), за Сикстинскую капеллу (лира!) и еще за какой-то закоулочек, где стоит подсвечник — ту же лиру.

Немудрено, что самый захудалый папский кардинал имеет возможность носить бархатную шапку.

Все это сделано на наши лиры.

Извиняюсь за это лирическое отступление, но оно необходимо для того, чтобы пристыдить некоторых итальянцев, если они прочтут эту книгу.

НЕАПОЛЬ

1

Неаполитанцы. — Случай с монетой. — Город нищих. — Неаполитанский купец. — Первое появление Габриэля.

Аквариум. — Позилиппо. — Тарантелла.

Мы разрываем с Габриэлем. — Кафе-концерт.

Ресторанная тактика. — Помпей.

Гризуность Габриэля.

Самая богатая страна

В путеводителе сказано, что Неаполь один из самых больших городов Италии — в нем свыше полумиллиона жителей.

Я думаю, путеводитель сказал на этот раз правду, потому что уже на вокзале я насчитал очень много народа.

Неаполитанцы у нас, в России, известны своими оркестрами. Мифасов сообщил нам некоторые сведения об оригинальном подразделении этого народа на группы: весь Неаполь делится на так называемые оркестры, а оркестры делятся на отдельных жителей, мужчин (игра на гитаре и пение) и женщин (пение и танцы).

Конечно, Сандерс не преминул вступить с ним в бесконечный спор, оспаривая правильность этого простого и ясного подразделения. Мне оно понравилось.

Стремление неаполитанца надуть туриста возведено в культ. В Венеции и Риме это делается спешно, по-любительски, без установленных приемов и твердой организации. Неаполь же может похвастаться серьезным и добросовестным отношением к своему делу.

Один мой знакомый рассказывал следующий случай из неаполитанской жизни...

Сидел он однажды в кафе и пил кофе. Народу было мало — несколько итальянцев за мороженым и одинокий турист-англичанин, мирно пивший в углу кофе. Выпив его, англичанин вынул портмоне, стал рыться в нем и при этом нечаянно выронил золотую монету. Никто не трогался с места. Только один слуга прошел в этот момент мимо, обремененный подносом с новыми порциями мороженого.

Англичанин позвал других слуг, попросил поднять монету, но — монета как в воду канула. Все слуги искали ее на глазах у англичанина — утаить было невозможно,

монета не могла куда-нибудь закатиться, потому что щелей в полу не было.

И тем не менее монета исчезла.

Выругавшись, англичанин расплатился и ушел.

Тогда мой знакомый подозвал к себе человека, неспешного в момент потери громадный поднос, и потихоньку сказал:

— Послушайте, камерьере... Я не буду поднимать истории — расскажите мне, как вы это сделали?

— Что я сделал?

— Ну вот... Ук... присвоили себе монету. Каким это образом?

— Господин ошибается. Я никакой монеты и не видел, — возразил итальянец, скаля зубы.

— Послушайте... я же прекрасно видел, как она упала, как вы, проходя, наступили на нее ногой и как она сейчас же исчезла...

— Не знаю, о чем синьор говорит.

— О, черт возьми! Я ведь не полицейский, и мне все равно, но, если вы не расскажете, я заявлю обо всем хозяину кафе.

— В таком случае, — усмехнулся слуга, — дело это очень простое. Средина моей подметки была смазана kleem. Я увидел, как монета упала, и сию же секунду наступил на нее. Вот и все.

— Послушайте... Но ведь не могли же вы сегодня, когда смазывали подметку сапога, предвидеть, что кто-нибудь уронит золотую монету?

— О, сударь, золотая, серебряная — это все равно, — возразил добрый слуга, — и падают они, конечно, не так часто, но подметки — все мы смазываем с утра на всякий случай.

Это ли не организация?

И вместе с тем нет итальянца ленивее, чем неаполитанец. Целыми днями валяются они на набережной, в узких кривых переулках и между мраморных колонн домов. Вероятно, лежат и мечтают: как бы почуднее надуть туриста?

Но трудно собраться с мыслями, когда солнце так приятно поджаривает оборванца, а море дышит в самое лицо вкусным соленым запахом.

Много ли ему нужно? На целый день оборванцу заработать, найти или украсть пару сольди. На эту пышную сумму он с заходом солнца купит в грязной, шумной обжорной улице, сплошь заставленной громадными ча-

нами с кипящей снедью, какую-нибудь жареную рыбку или тарелочку макарон и тут же съест все это бок о бок с таким же оборванным любителем *dolce far niente*. Жаркий климат много еды не требует, и в пище все очень умеренны.

Все жизненные потребности до смешного невелики.

Проезжая по рынку — одно из самых интересных живописных зрелищ Неаполя, — я видел такого рода купцов: около корзиночки, сооруженной из щепочек и наполненной двумя крохотными жалкими полудохлыми рыбками, сидит продавец и пронзительным голосом выкликает свой товар. Сколько могут стоить эти рыбки величиной с ладонь — в Неаполе, в этом рыбном царстве? Нужно добавить, что грязная простоволосая женщина, которая закупит оптом весь запас этого товара, будет торговаться до седьмого пота, хватая несчастных рыбок, подбрасывая их, перевертывая, нюхая и вообще стараясь выжать из флегматичного купца все, что можно.

Большинство неаполитанских промышленников — это "купец, продающий пару рыбок".

Часто мы встречали целую длинную процессию: два дюжих итальянца везут крохотную тележку, на которой стоит обыкновенная шарманка. Третий, мускулистый мужчина, гордо идет сбоку, положив одну руку на шарманку (очевидно, это настоящий владелец ее), а еще два здоровяка подталкивают тележку сзади.

В сущности, эту тележку могла бы повезти вскачь обыкновенная кошка; но пять верзил присосались к шарманке как пиявки, и каждый всеми силами старается доказать, что он честным трудом зарабатывает свой хлеб.

Шарманка останавливается... Двое начинают вертеть ручку, меняясь с видом полного изнеможения каждые две минуты; один горланит какое-нибудь "*sole mio*", а остальные двое энергично собирают у слушателей деньги.

Соберут копеек десять, покроют чехлом шарманочку и поплетутся дальше, придерживая, подпихивая и таща тележку, точно русские многострадальные бурлаки по берегу Волги баржу тянут.

Ленивые... Если у итальянца чешется затылок, он не почешет его до того случая, когда встретится со знакомым и снимет шляпу; тогда заодно и почешется.

Вся нечеловеческая энергия целиком, как в громадных коллекторах, собралась в продавцах открыток и разносчиков газет.

Только в Неаполе возможен такой прямо-таки невероятный способ распространения газет.

Газетчик, опережая вас, вдруг ловко подбрасывает вам под ноги какую-нибудь "Миланскую газету" или "Popolo Romano", с таким расчетом, чтобы вы с разгону наступили ногой на газету... Тогда газетчик поднимает крик и взыскивает деньги за якобы испорченную вашей ногой газету.

Добродушные туземцы, зная этот способ, остерегаются и ставят ногу с разбором, а форестьеры всегда попадаются.

Никаким промыслом не брезгуют обворванные юнцы, если можно получить несколько чентезимов.

Один итальянский мальчишка, пробегая мимо меня, вдруг остановился и указал мне на проходившего жирного патера.

— Ну? Что?

— Патер.

— Прекрасно. Что же дальше?

— Это патер. Господин мне даст что-нибудь?

— За что?!

— За то, что я указал господину патера.

Таких указателей патеров в Неаполе несметное количество.

Едва мы приехали и, оставив вещи в гостинице, отправились купаться, как перед нами выросла фигура молодца самого подозрительного вида, с грязными руками и бегающими вороватыми глазами.

Этот человек на все время нашего пребывания в Неаполе сделался нашей тенью, нашим эхом, нашим вторым я.

Увидев, что он отделился от группы людей не менее подозрительных, мы инстинктивно сдвинулись ближе и вынули руки из карманов, но грязный парень сказал:

— Господа путешественники! Я могу предложить себя в качестве гида. Хорошо знаю город, могу показать самое интересное.

— Не надо! — хором ответили мы.

— Могу показать вам Везувий, повезти вас на Позилиппо и порекомендовать самый лучший кафешантан в городе.

— Не надо!

— В таком случае я знаю, что заинтересует молодых путешественников (он засмеялся с самым развратным видом) — тарантелла!

— А-а, тарантелла, — заинтересовались мы. — Это любопытно. Посмотрим...

— Где господа остановились? "Эксцельсиор"? Тут за углом! Знаю. Я сегодня вечером зайду. Сейчас купаться? Знаю! Пойдемте, я вас провожу.

— Да не надо, — сказали мы. — Зачем же? Купальня ведь в двух шагах.

— Нет, что вы! Я вам помогу. Разве можно? Вот тут купальня. Видите — вот она. А это вот будка, где продают билеты! Здравствуйте, мамарелла! Вам, конечно, нужны билеты? Вот этим господам нужны билеты! Дайте им билеты! Они очень нуждаются в билетах! Пожалуйста, три билета. Вот они платят вам деньги. Позвольте, я заплачу. Нет, нет, не беспокойтесь. Вот их деньги, мамарелла. Сдачи! А вот сдача. Получите сдачу, синьоры. Это сдача. Позвольте, я проведу вас в купальню. Это вот называется купальня. Это тут раздеваются, а там вот купаются, видите, где вода. Прислужник! Вот эти господа хотят выкупаться. Это прислужник, господа. Не бойтесь, господа, — он славный малый. А то вон пароход идет. Здесь вот раздевайтесь. Позвольте, я вам расстегну жилет — вам неудобно. Я вам расшнурую ботинки. Сядьте на стул, а ножку свою поставьте мне на колено. Прислужник! Эти господа будут купаться. Они добрые, хорошие господа. Надо, чтобы им было хорошо купаться. Позвольте, я галстук развязжу.

— Ради Бога, нам ничего не нужно! Мы все сами сделаем.

— Позвольте, я разверну вам простыню.

— Ничего, ничего не надо. Мы сами все сделаем — вернитесь к своим повседневным делам.

— Так я вас тут около купальни подожду...

Он ушел с глубоким сожалением. "Вернулся к своим повседневным делам", по выражению Мифасова.

Но, очевидно, кроме нас — у него никаких повседневных дел не было. Вообще, этот человек произвел, в конце концов, на нас такое впечатление, что до нашего приезда у него никаких дел не было, что все его существование на этой планете приспособлено исключительно к нашему появлению в Неаполе и что после нашего отъезда он, исполнив свое земное предназначение, вернется к небытию.

Когда мы вышли, он ждал нас у входа, задремав на закатном солнышке.

Мы хотели потихоньку пройти мимо, но он очнулся, вскочил, рассыпался в извинениях и завертелся, как мельница.

— Господа искупались и идут в гостиницу? Я провожу их в гостиницу.

— Не надо! Нам тут два шага. Мы знаем, где гостиница.

Он замотал головой и, отстраняя попавшегося нам навстречу прохожего, понесся на всех парах.

— Я вас провожу! Пустите, прохожий, этих господ. Они идут к себе в гостиницу, не препрятайте им пути. Они в гостинице, вероятно, освежившись купаньем, будут пить чай или вино, не так ли?

— Провансское масло! — отвечал Сандерс. — Пустите нас, или я задушу вас, как котенка.

— Ха-ха-ха! Господин очень веселый, он шутит. Итальянцы тоже веселые. Эввива, руссо! Швейцар! Вот эти господа пришли в вашу гостиницу, они тут остановились. Это хорошие господа, и ты, швейцар, относись к ним внимательно. Не нужно ли вам разложить ваши чемоданы, ваши вещи? Что? К черту? О, господин большой весельчак. Имею честь кланяться. До вечера!

Стоя внизу, в пролете лестницы, он долго посыпал нам приветственные знаки и махал грязным платком.

Через час я вышел на улицу с целью побриться. Первое лицо, которое я увидел около гостиницы, был Габриэль, наш знакомец.

— Что вы тут делаете? — изумленно спросил я.

— Ожидая. Может быть, синьорам что-нибудь понадобится.

— Ничего не надо. Как дойти до парикмахерской: налево или направо?

— О, я, конечно, провожу вас! Пойдемте, я знаю, где парикмахерская. О, действительно, хорошо было бы, если бы Габриэль не знал, где парикмахерская.

— Не надо провожать меня. Я просто возьму извозчика.

— Извозчика? Сейчас!

Он исчез, и через полминуты ко мне подкатил экипаж. Я взглянул на извозчика...

Это был Габриэль.

— Как?! Разве вы и извозчик?!

— Я все, господин. Все, что вам понадобится.

— Я хочу акробата, — пошутил я.

Габриэль камнем скатился на мостовую, положил бич и, хлопнув в ладоши, стал на голову. Еле уговорил я его усесться на козлы.

В тот же день мы с Сандерсом отправились в знаменитый неаполитанский аквариум.

Человек, продававший билеты, попросил на чай, человек, отбиравший билеты, попросил на чай же, и сторож при рыбах попросил тоже на чай за то, что он палочкой пощевелил какого-то гада.

Аквариум действительно был чудесный. Громадные омары и крабы медленно шевелились за стеклом, беззвучно перебирая чудовищными клешнями... Отвратительные осьминоги такого вида, который только может пригрезиться вочных кошмарах, смотрели на нас страшным неподвижным взглядом, присосавшись к стеклу и медленно втягивая и вытягивая тошнотворные лапы, покрытые, как маленькими белыми блюдцами, присосками.

Какие-то толстые рыбы с презрительно отвисшей нижней губой, точно сытые бюрократы, еле шевелили плавниками в тупой дремоте... Стая юрких рыбок стрелой неслись по воде, моментально, как по команде, поворачивались и так же стройно неслись в другую сторону. Одна суетливая рыба чрезвычайно напомнила нам провинциальную сплетницу: она без толку шныряла от одной группы к другой, подсматривала, что делают омары, и, взмахнув возмущенно плавниками, неслась сейчас же к угрям, рассказывала о виденном и, махнув хвостом, летела уже к солнному крабу, донося на поведение угрей. Всюду она вынюхивала, шпионила и подслушивала. И еще потому была она похожа на человеческую сплетницу, что имела рот узенький, собранный в ниточку, глазки острые, а на голове нечто вроде природного капора.

В то время как я за ней наблюдал, Сандерс задумчиво стоял около другого стеклянного ящика, изредка вертя головой во все стороны.

— Вот чудаки! — сказал он. — Насыпали песку и поставили пустой ящик.

Сторож, услышав это, по выражению лиц заметил наше недоумение и, хлопнув Сандерса ободряющее по плечу, исчез.

Через минуту он явился с длинной палкой. Сунул ее в пустую вазу и — вдруг песок зашевелился, разорвался на десяток кусков, и каждый кусок песку оказался плос-

кой рыбой, — до смешного точно — сотворенной мудрой природой под цвет и вид настоящего песка.

— Мимикрия! Защитный цвет. До сих пор я видел это только у бабочек.

Так как мы не были одарены свойством мимикрии и не могли слиться с окружающей нас обстановкой, то сторож, вернувшись, без труда отыскал нас и потребовал на чай, за то, что пощевелил палкой.

Осьминог, присосавшись к стене, смотрел, как мы расплачивались, и в его страшных выпученных глазах тоже ясно читалось всеобщее, как эпидемия, желание получить с форестьера на чай.

— А вот, — сказал я Сандерсу, — посмотрите-ка, какие хорошие раковины. Если бы на каждой из них было еще написано: "Привет из Ялты" — совсем они были бы настоящими раковинами.

— А вот это так называемая чернильная рыба, — сказал Сандерс, — кстати, надо будет нынче вечером написать домой письмо.

Сандерс никогда ни в чем не хотел от меня отставать. Стоило только сострить мне, как острил и он.

— Однако, — ледяным тоном сказал я. — Атмосфера начинает сгущаться. Пожмите осьминогам лапы и пойдем отсюда.

Конечно, Габриэль уже дождался при выходе. И, конечно, он уговорил нас ехать на Позилиппо.

Мы не жалели, что поехали. Чудесная живописная дорога... С одной стороны обрывистый берег моря, с другой — непрерывный многоверстный ряд домишек, населенный ужасающей беднотой. Но все это так красиво: грязные растрепанные дети, ленивые прохожие, тяжелые простоволосые простолюдинки, перебрасывающиеся из окна с соседкой тихими односложными словами или перебегающие дорогу с фляской вина под мышкой, живописное тряпье, развешанное на стенах и окнах домишек, обрывок песни, донесшейся слева, запах свежей рыбы, донесшийся справа, клуб золотой от заходящего солнца пыли впереди и крики мальчишек, бегущих сзади за экипажем, в чаянии получить что-нибудь с ошеломленного иностранца...

Позилиппо... Ресторан с верандой на громадной высоте, над морем. Вдали выгнулась из воды мощная спина Капри — место невольного заточения Максима Горького¹.

¹ Написано в 1912 году. — Авт.

Чисто физическое, животное чувство довольства охватило нас, когда мы, потребовав вина и музыки, погрузились в созерцание тихого синего моря, теплого неба и осколка бледно-розовой луны в чистой прозрачной высоте.

Нежная, сладкая итальянская песня, тихий рокот двух гитар, теплота наступающего вече...

— Cartolina postale!!

— О, чтобы тебя черти забрали! Что такое?

— Cartolina postale...

— Провались ты с ними вместе! Даже сюда забрался, каналья.

— Возьмите. Хорошие карточки.

— Отстань, тебе говорят.

— Тогда, знаете что? Я вас познакомлю с барышней...

Синьорита беллиссима! Париссима! Чрезвычайно честная девушка, но вы сами понимаете... Отец бедный...

— Не надо.

— Уверяю вас — красавица...

Сандерс сделал вид, что заинтересовался. Стал участливо расспрашивать.

— Неужели красавица?

— O, mio Dio!..

— И вы говорите — честная девушка?

— Чрезвычайно честная.

— Ну что вы говорите?! Это неслыханно! А отец бедный?

— О, очень бедный!

— Неужели? Что же это он так... Работы нет?

— Нет. Так хотите — поедем?

— Вы говорите — красавица?

— Да, очень. Но бедность — сами понимаете...

— Ничего, ничего. И очень красивая, вы говорите?

— О да.

— Она, может быть, просто хорошенькая... Или действительно — красавица?

— Настоящая!

— Так, так... Ну, ступайте! Нам ничего не надо.

— Синьоры! Это вас ни к чему не обязывает, — отчаянно возопил продавец открыток, видя, что добыча ускользает. — Вы только можете посмотреть! Право, поедем.

Но в это время Габриэль, подойдя к веранде, услышал его слова и налетел на него как коршун, изгнав беднягу в одну минуту.

Смысл его протesta был такой, что, дескать, эти хорошие господа принадлежат ему, он их нашел, честно около них кормится и никому другому не позволит переходить себе дорогу.

Они спорили, будто два гуртовщика о стаде бааранов.

Впрочем, мы их умиротворили, выслав остатки вина и мартаделлы; вся компания продавцов открыто и просто ротозеев, под предводительством Габриэля, уселась на ступеньках и стала пировать, издавая в нашу честь восторженные крики и произнося заздравные тосты.

Я заметил, что Сандерс был наверху блаженства: около нас гремела специально нанятая нами музыка, пели для нас певцы, внизу пировала восторженная чернь под командой нашего первого ministра... Я подозреваю: не чувствовал ли Сандерс себя в этот момент королем среди своего доброго народа?

Вечером каналья Габриэль действительно повез нас "смотреть тарантеллу".

В этот вечер изучение неаполитанского быта ни на шаг не подвинулось вперед.

Мы были бессовестно обмануты.

Вас, — путешественников, которые когда-нибудь попадут в Неаполь, — хочу я предупредить, что такое "тарантелла", которую так усиленно рекомендуют нечестные гиды...

Нас (меня и Сандерса) ввели в большую круглую комнату, стены и потолок которой были покрыты зеркалами. Вокруг стен диваны, посередине комнаты круглое бархатное возвышение — все это аляповатое, ужасающе грубое.

— Садитесь, господа, — загадочно ухмыляясь, сказал Габриэль, и сейчас же засуетился, обращаясь к тучной женщине, на лице которой была написана целая книга былых преступлений и порока. — Вот эти господа, мамарелла, очень желают видеть тарантеллу, им нужно показать тарантеллу... Ах, да покажите же этим добрым господам вашу тарантеллу. Это прекрасные и хорошие господа, и им надлежит посмотреть тарантеллу.

"Мамарелла" хлопнула в жирные ладони, и тотчас же шесть женщин выбежали из боковых дверей.

Были они в том, "в чем", по русской поговорке, "мать родила", и даже еще меньше, принимая во внимание, что какая-нибудь из них в свое время родилась в сорочке. Одним словом, были они абсолютно, безусловно и радиально голы.

С заученными жестами дефилировала эта армия перед нами, а мы сидели с Сандерсом, опечаленные этим обманом, оскорбленные в нашей скромности.

— Нравится? — спросила торжествующим тоном беспартийная мамарелла.

Бедняге и в голову не могло прийти, что ее "тарантелла" могла в ком-нибудь не вызвать одушевления.

— Гм, да... — смущенно сказал Сандерс. — Весь забавноватая. Недурно, как говорится, задумано. Женщины?

— Конечно. Вы же видите.

— Так, так... Гм... Не холодно?

Пансион мамареллы, привыкший к скотской разнуданности немцев и к шумному поведению галантных французов, был изумлен нашей сдержанностью; все поглядывали на нас с недоумением.

— Протанцуйте им, деточки, — скомандовала мамарелла. — Пусть посмотрят вашу тарантеллу.

Она взяла в руки бубен, и шесть женщин закружились, заплясали; откормленные торсы сотрясались от движений, и вообще, все это было крайне предосудительно.

— Помпейские позы! — скомандовала мамарелла, уловив на нашем лице определенное выражение холода и осуждения.

Но и помпейские позы не развеселили нас. Женщины становились в неприличные сладострастные позы с таким деловым, небрежным от частых повторений видом, как утомленный приказчик мануфактурного магазина к концу вечера показывает надоевшим покупательницам куски товара.

На сцене вдруг появился дожидавшийся где-то неподалеку Габриэль.

— О!.. А почему господа так скромно сидят? Почему они не приласкают этих красавиц? Смотрите, какие красоточки. Вот эта или эта... Или вот эта! Настоящая богиня. А эта! Красавица, а? Не нравится? Пошла вон. Тогда, может, эта? Украшение Неаполя, знаменитая красавица... Не надо? Ну ты, лошадь, отойди, не мешайся тут. А вот эта... Что вы о ней скажете, синьоры?..

Он с деланным восторгом хлопал женщину по плечам, трепал по щекам, отгонял равнодушно "первых красавиц" и "богинь", а красавицы и богини с таким же холодным видом шептались около нас, ожидая нашего одобрения и благосклонности.

— Пойдем! — сказал Сандерс.

— Что вы, синьоры! Куда? Неужели вам не нравится?!

— Не нравится? Мы в восторге! Это прямо что-то феерическое... Когда-нибудь после... гм... на днях... Мы уж, так сказать, к вам денька на три. А теперь — прощайте.

Мы, угрюмые, замкнутые, спускались по лестнице, а Габриэль вертелся около нас, юлил и заглядывал в наши лица, стараясь отгадать впечатление.

— Видишь вот эту улицу? — обратился к нему Сандерс. — И вот эту улицу?.. Ты иди по этой, а мы по этой... И если ты еще к нам пристанешь — мы дадим тебе по хорошей зуботычине.

Он захныкал, завертелся, заскакал, но мы были непреклонны. Отношения были прерваны навсегда.

Я уверен, что настоящим неаполитанцам никогда бы в голову не пришло пойти на тарантеллу и "помпейские позы". Все это создано для туристов и ими же поддерживается. Для них же весь Неаполь принял облик какого-то громадного дома разврата.

Пусть иностранец попробует пройтись в сумерки по Неаполю. Из-за каждого угла, из каждой подворотни, буквально на каждом шагу к нему подойдет гнусного вида незнакомец и тихо, но назойливо предложит "красивую синьюру", "обольстительную синьюру" или даже рогаццину (девочку).

Эти поставщики осаждали нас, как мухи варенье.

— Что такое?

— Синьоры... берусь показать вам одну прекрасную даму. Познакомлю даже... тут сейчас за углом. Пойдем...

— К ней? К dame? Явиться одетому по-дорожному — что вы! Это неудобно.

— Ничего! Я ручаюсь вам — можно.

— Ну что вы... И потом неловко же являться в чужой дом, не будучи знакомыми.

— Пустяки! С ней нечего — хи-хи — церемониться.

— Ну вам-то нечего — вы, конечно, хорошо знакомы... По праву старой дружбы можете и без смокинга. А нам неудобно.

— Но я вам ручаюсь...

— Милостивый господарь! Мы знаем правила хорошего тона и не хотим делать бес tactности. Мы уверены, что дама будет шокирована нашим бесцеремонным вторжением. Она примет нас за сумасшедших.

...Итальянский кафе-концерт — зрелище, полное интереса и разных неожиданностей.

Действие происходит больше в публике, чем на сцене. Весь зал подпевает, притоптывает, вступает с певицей в разговоры, бешено аплодирует или бешено свищет.

Если певица не нравится — петь ей не дадут. Понравится — измучают повторениями.

У всех душа нараспашку. Подстерегают всякого удобного случая, чтобы выкинуть коленце, посмеяться или посмешить публику. Зал набит порохом, взрывающимся от малейшей искры.

Всякого вновь входящего зрителя сидящая публика приветствует единогласным доброжелательным:

— А-а-а!..

Приветствуемый, гордый всеобщим вниманием, пробирается на свое место и через минуту присоединяет уже свой голос к новому приветствию:

— А-а-а!

Выходит на сцену толстая немка... берет несколько хриплых нот.

Музыкальная публика этого не переносит:

— Баста. Баста!!

— Баста!!!

Немка, не смущаясь, тянет дальше.

И тогда гром невероятных по шуму и длительности аплодисментов обрушивается сверху, перекатывается и растет, как весенний гром.

Петь невозможно. Виден только раскрытый рот, растерянные глаза. Забракованная певица исчезает под гомеический свист.

Когда мы покупали билеты, перед нами вынырнул Габриэль.

— А-а, синьоры идут сюда! Сейчас, сейчас! Кассир! Выдайте этим хорошим господам билеты... Они желают иметь билеты. Это мои знакомые господа — дайте им лучшие билеты. Вот сдача. Вот билеты. Красивые красивые билетики. Я вас тут подожду. Когда выйдете, поедем в одно местечко.

— Отстаньте, — сурово сказали мы. — Не смейте нас дожидаться — мы все равно не поедем с вами. Напрасно только потеряете время. И ни чентезима не получите и потеряете время.

— О, добрые господа! Зачем вы обижаете Габриэля? Он бедный человек и подождет вас.

Конечно, когда мы через три часа вышли, бедный человек ждал нас.

— Пройдемся, господа, — сказал Крысаков. — Прелестная ночь.

— Пожалуйте! — подкатил Габриэль. — Тут как раз четыре места. Я вас ждал.

— Убирайся к дьяволу! Мы тебе сказали, что ты не нужен? Отъезжай! Мы хотим идти пешком...

Мы зашагали по озаренному луной тротуару, а Габриэль шагом потянулся за нами.

Узкие улицы, еще сохранившие в каменных стенах и мостовой теплоту солнца, накалившего их днем — нежились и дремали под луной... И везде нам приходилось шагать через груды беспорядочно разметавшихся тел. Весь голодный, нищенский Неаполь спит на улицах... это красиво и жутко. Будто весь город, все дома вывернуты наизнанку.

Аршина два макарона днем и аршина два тротуарной плиты ночью — весь обиход оборванного гражданина прекрасной Италии. Господь Бог хорошо обеспечил этих бездельников...

Странные жуткие улицы.

Какой-нибудь англичанин верхом на осле медленно пробирается среди этой беспорядочной гекатомбы спящих и пожирающих макароны тел, медленно пробирается, напоминая смешную пародию на Штуковскую картину "Бог войны".

— Зайдем в ресторан, господа. Закусим.

Когда мы взбирались по лестнице ресторана, Габриэль крикнул:

— Я подожду вас, синьоры!

— Убирайся к черту!

— Синьоры только крикнут — и я уж тут как тут.

В итальянских ресторанах средней руки у нас своя линия поведения, выработанная общими усилиями хитроумного Сандерса и изобретательного Крысакова.

Дело в том, что рестораторы и слуги — невероятные бестии, жадные, трусливые, нахальные, только и помышляющие о том, как бы надуть бедного путешественника, подсунув ему вместо асти помои, заменив заказанное кушанье отвратительным месивом и приписав к счету процентов пятьдесят.

Поэтому мы, явившись в ресторан, с места в карьер подчеркиваем: с кем им придется иметь дело.

— Почему на скатерти пятно? — яростно кричит Крысаков, свирепо вращая глазами. — Что? Где? Вот

оно! Если вы вытираете сапоги скатертю, так можете сунуть ее в карман, а не подсовывать нам!! Это что?? Это что?? Вода? А графин? Его когда мыли? Такие графины на стол ставят?! Позвать метрдотеля! Хозяина сюда! Как же вы нас накормите, если у вас так обращаются с гостями!! На ножах ржавчина! Ложки погнуты! Одна ножка стола короче других!! А? Позвовите сюда полицию... Мы консулу пожалуемся!!! Все ваше гнусное заведение по косточкам разнесем!!!

Все обитатели ресторана мечутся около нас в паническом ужасе.

— Будет, — деловито говорит Мифасов. — Довольно. Теперь они подготовлены...

Мы сразу успокаивались.

И действительно, после этого за нами ухаживали, как за принцами. Подавали лучшее вино, прекрасное кушанье, и счет предъявлялся потом такой честный и скромный, что всякий не отказался бы выдать за него собственную дочь.

— Хорошо ли поужинали, синьоры? Габриэль ждет вас — и лошадка его тоже ждет добрых великодушных синьоров... Какие-то господа сейчас нанимали нас, но мы с лошадкой отказались.

— Вы знаете что? — дрожа от негодования, вскричал Мифасов. — Я думаю, что нам придется из-за этого проклятого человека уехать из Неаполя раньше времени. Вы подумайте, если он умрет с голода, мы будем виновниками его смерти... Потому что он не пьет, не ест и ездит за нами с утра до ночи. Он ничего не зарабатывает, не получает ни от нас, ни от других пассажиров, которым он из-за нас отказывает! Что привязало его к нам? Какую несбыточную мечту лелеет он, привязавшись к нам, как пиявка к бескровному железу. Постойте! Я ему сейчас скажу все как следует!

— Не надо! Самое лучшее не обращать на него внимания... Представим себе, что его нет.

Мы пошли дальше, весело беседуя, а Габриэль шелся за нами на своей лошаденке, изредка окликая нас, листя и заискивая.

С этого вечера мы стали прикидываться, что совершенно не замечаем его, не слышим его голоса и не видим тела. Он вертелся около нас, предлагал, клянчил, а мы продолжали начатую беседу и смотрели сквозь него, как сквозь оконное стекло, равнодушным, неостанавливающимся взглядом.

Утром возник спор, ехать ли в Помпею и на Везувий или только в одну Помпею.

— На что нам Везувий? — говорил Сандерс. — Обыкновенная гора с дырой посередине. Ни красоты, ни смысла. Тем более что она ведь и не дымится.

— Тогда, значит, и Траянову арку не нужно было смотреть: обыкновенная арка, с дырой посередине и тоже не дымится.

— Это не то. Не можем же мы рассматривать все интересные предметы только с двух сторон: дымятся они или не дымятся. А вулкан должен дымиться. Это его профессия. Если же он этого не делает — не стоит и смотреть на лодыря.

— Господа! Кто за Везувий, — сказал Крысаков, — пусть подымет руки.

Было так жарко, что никто и не пошевелился. Даже сам Крысаков — поклонник вулканов — помахал рукой, но поднять ее не имел силы.

Везувий провалился.

Гид, нанятый через контору гостиницы, повез нас в Помпею.

Конечно, почти всю дорогу за нами ехал Габриэль, взывая к нам, предлагая освободить нас от гида и суля различные диковинные уголки в Помпее, о которых гид и не слыхивал.

Пустые угрюмые развалины Помпеи производят тягостное, хватающее за душу впечатление. Стоят одинокие пустые, как глазницы черепа, примолкшие дома, облитые жестоким, палиющим глаза солнцем... В каждом закоулке, в каждом крошечном мозаичном дворике притаились тысячетелетия, перед которыми такими смешными, жалкими кажутся наши "завтра", "на той неделе" и "в позапрошлом году".

Останавливает внимание и углубляет мысль не главное, не вся улица или дом, а какой-нибудь трогательный по жизненности пустяк: камень, лежащий посреди узкой улицы на повороте и служивший помпейским гражданам для перехода в грязную погоду с одной стороны улицы на другую; какой-нибудь каменный прилавок с углублением посередине для вина — в том домишке, который когда-то был винной лавкой.

Это дает такое до жгучести яркое представление о прошлой повседневной жизни! Так хочется закрыть глаза, задуматься и представить толстого, обрюзгшего

продавца вина, разгульных покупателей, толпящихся в лавочонке, стук сандалий промелькнувшей мимо женщины; стан ее лениво изгибается от тяжести кувшина с водой, и черные глаза щурятся от солнца, разбивающего золотые лучи о белый мрамор стен...

Спит мертвая теперь, высохшая, изглоданная временем, как мумия, Помпей, — скелет, открытый через две тысячи лет.

Только проворные изумрудные ящерицы быстро и бесшумно скользят среди расщелин стены, покрытой тысячелетней пылью, да болтливый, жадный, вертлявый гид оглашает немолчной трескотней мертвые, как раскрытый гроб, улицы.

Вот посреди улицы фонтан... Бронзовый фавн с раскрытым ртом, из которого когда-то лилась вода. Гид обращает наше внимание: нижняя губа и часть щеки фавна совершенно стерты; на мраморе водоема видна большая глубокая впадина — будто отиск руки в мягком тесте. Это — следы миллионов прикосновений уст жаждущих помпейян — на лице бронзового фавна, и миллионы прикосновений рук, опиравшихся на мраморный край водоема, в то время когда губы сливались с бронзовыми губами фавна...

В Риме, в соборе св. Петра, большой палец бронзовой статуи Петра наполовину стерт поцелуями верующих; в какой-то другой церкви мраморная статуя популярного святого имеет странный вид — одна нога обута в бронзовый башмак. Зачем? Мрамор очень непрочный материал для поцелуев. Надолго его не хватит.

Этот стертый рот фавна и большой палец св. Петра дают такое ясное представление о времени, мере и числе, что сжимаешься, делаешься маленьком-маленьким и чувствуешь себя песчинкой, подхваченной могучим самуrom, рядом с миллионами других песчинок, увлекаемых в общую мировую могилу...

— Что он вам показывает какого-то дурацкого фавна. Пойдем со мной, добрые, великолушные синьоры!.. Я вам покажу такие пикантные фрески, что вы ахнете. Только мужчинам их показывают, дорогие, прекрасные синьоры!

Из-за расщелины стены показывается орошенная обильным потом плутоватая физиономия Габриэля.

— Что он вам показывает? Все какую-то чепуху... А я вам, синьоры, мог бы показать неприличную статую фавна.

Наш гид настроен серьезно, академично, мошенник же Габриэль, наоборот, весь погряз в эротике и вне гривуазности и сала — никакого смысла жизни не видит.

Гид отгоняет его, но он увязывается за нами и, следуя сзади, с сарднической улыбкой выслушивает объяснения гида.

— Вот тут, в этом доме, при раскопках нашли мать и ребенка, которые теперь находятся в здешнем музее. Мать, засыпаемая лавой, не нашла в себе силы выбраться из дома — так и застыла, прижав к груди ребенка...

— А неприличную собаку видели, синьоры? — вмешивается Габриэль. — Вот-то штучка... Хи-хи...

Никто ему не отвечает.

В каком-то доме мы, наконец, к превеликому восторгу Габриэля, натыкаемся на висящий на стене деревянный футляр в виде шкатулки...

Его открывают... Если в античные времена эта фреска красовалась без всякого прикрытия — античная публика имела о стыдливости и пристойности особое представление.

Габриэль корчится от циничного смеха; наш гид снисходительно подмигивает, обращая наше внимание на некоторые детали.

Человек, который показывает эту непристойность, просит на чай; тот человек, который впустил нас в дом, — тоже просит на чай; и тот человек, который пропустил нас в какие-то ворота, — взял на чай.

В помпейском музее брали с нас за вход в каждую дверь; неизвестный человек, указав пальцем на иссохшее тело помпейца, лежащее под стеклом, сказал:

— Это тело помпейца.

И протянул руку за подаянием.

Я указал ему на Крысакова и сказал:

— Это тело Крысакова.

После чего, в свою очередь, протянул ему руку за подаянием.

Он ничего мне не заплатил, хотя мои сведения были ценнее его сведений: я знал, что его помпеец — помпеец, а он не знал, что мой Крысаков — Крысаков.

Возвращаясь обратно на станцию, мы наткнулись на громадные штабели лавы, сложенной здесь после раскопок; на несколько верст тянулись эти штабеля.

Вышел из хижины человек, взял несколько кусков лавы в орех величиной и раздал нам на память. Потом попросил уплатить ему за это.

— Сколько? — серьезно спросил Мифасов.

— О, это сколько будет вам угодно!..

— Нет, так нельзя. Всякая вещь должна быть оплачена ее стоимостью. Во сколько вы цените врученные нам кусочки?

— Если синьоры дадут мне лиру — я буду доволен.

— Сандерс! Уплатите ему лиру.

Мифасов оглядел необозримое пространство, покрытое лавой, и завистливо сказал:

— Какая богатая страна — Италия!

— Почему?

— Четыре кусочка лавы общим весом в четверть фунта — стоят одну лиру. Сколько же должно стоить все, что тут лежит? Интересно высчитать.

Возвращались усталые.

— Видели в музее сохранившиеся зерна пшеницы, кусочки почерневшего хлеба и даже остатки какого-то кушанья... Это изумительно!

— Понимаю, — подмигнул Крысаков, — просто вы проголодались и потому сворачиваете все на съестное. Вон, кстати, и рестораник.

Первый стакан кьянти приободрил нас.

— Милое винцо! Смотрите, господа, что это Сандерс такой задумчивый? Сандерс! Что с вами?

Он рассеянно поднял опущенные глаза и сказал:

— Приблизительно около двенадцати с половиной миллиардов пудов, на общую сумму девятьсот миллиардов рублей.

— Чего??!

— Лавы. Тут.

Розовая черепаха. — Максим Горький. —
Итальянская толпа. — Старик. — Тяжелое путешествие. —
Последнее мошенничество. — Опять Габриэль

На Капри пароход отходил утром.

Так как весь Неаполь пропитан звуками музыки и пения, то и на пароходе оказался целый оркестр.

Хорошо живется бездельничающему туристу. Сидит он, развалившись под тентом, а ему играют неаполитанские канканетты, пляшут перед ним, охлаждают пересохшее от жары горло какой-то лимонной дрянью со льдом — и за все это лиры, лиры, лиры...

Тут же у ног пресмыкается продавец черепаховых изделий и кораллов.

Крысаков, осажденный продавцом, пробует притвориться глухим, но когда это не помогает, прибегает к странному способу: он берет нитку кораллов, осматривает их и пренебрежительно говорит:

— Ну, милый мой, какая же это черепаха!.. Ничего общего.

— Да это, синьор, не черепаха. Это кораллы.

— Что? Не слышу. Ты можешь мне клясться хоть отцом родным — я не поверю, что это черепаха. Разве розовые черепахи бывают?

— Но это не черепаха! Я и не говорю, что это черепаха. Это кораллы.

— Что? Не слышу. А это что? Коралл? Почему же он в форме гребенки?.. Ты, братец, изолгался; ну разве бывает коралл прозрачный, коричневого цвета. Это что-то среднее между янтарем и агатом. Что? Не слышу!

Продавец орет Крысакову в самое ухо:

— Это и есть, господин, черепаха! Настоящий черепаховый гребень.

— Врешь, врешь! Он на коралл ни капельки не похож. Как не стыдно?! Господа, разве это коралл?

— Конечно, не коралл, — в один голос поддерживаем мы.

— Ну вот видишь. Ты уж думаешь, если мы иностранцы, русские, — так и ничего не понимаем. У нас, братец, за такие штуки в полицию тянут. Ступайте, чужеземец.

Скрипки заливаются, солнце печет, винт оставляет сзади на чудесном лазурном зеркале воды длинную вспаханную борозду.

У "голубой пещеры" пароход останавливается. Туча лодок подлетает к пароходу, лодочники разбирают пассажиров, и мы, улегшись на дно лодки, вползаем в пещеру.

За то, что пещера действительно голубая — с нас берет по лире главный лодочник, берут простые лодочники и потом еще взыскивают в пользу какого-то акционерного общества, которое эксплуатирует голубую пещеру.

Туристы нисколько не напоминают баранов, потому что баранов стригут два раза в год, а туристов — каждый день.

Я не сказал о цели нашей поездки на Капри — мы ехали к Максиму Горькому.

Я бы мог многое рассказать об этом чудесном, интереснейшем человеке нашего времени, об этой кристальной душе, узнав которую нельзя не полюбить крепко и надолго; я бы мог рассказать о его жизни, так непохожей теперь на печение булок в пекарне, о его мастерском увлекательном разговоре, о детском смехе и незлобии, с которым он рассказывает о попытках компатриотов в гороховых пальто залучить его на родину; бедные гороховые пальто потратились на дорогу, приехали, организовали слежку, но все это было так глупо устроено, что веселые итальянцы за животы хватались от смеху. Так ни с чем и уехали компатриоты; разве что только русский престиж среди итальянцев подняли.

Я бы мог рассказать о той исключительной приветливости и радушии, с которыми мы были встречены писателем...

Но, щадя его скромность, пропущу все это.

А вот нижеизложенное имеет некоторое отношение к этой книге...

Мы говорили о Неаполе.

— О, видите ли, — сказал Горький, — есть два Неаполя. Один Неаполь туристов: жадный, плутоватый, испорченный и распутный; другой — просто Неаполь. Этот чудесен. И неаполitanцы тоже бывают разные... К сожалению, иностранца встречают только отбросы, специально живущие на счет туристов, обирающие их. Будьте уверены, что настоящий неаполitanец с глубоким отвращением относится ко всем этим "тарантеллам", ко всему тому, что специально создано для нездрового спроса форестьера. Нужно пожить между итальянцами, чтобы узнать их. Они добры, великолдуши, горячи и неизменно веселы. Я вам расскажу сейчас один случай, очень характеризующий славных неаполитанцев...

Пришло в Неаполь однажды какое-то русское судно. Матрос, отпросившись на берег, стал бродить по городу, дивясь на незнакомую обстановку, пока не наткнулся на кинематограф. Бедняге вятичу или костромичу, взятыму от сохи, никогда не приходилось видеть раньше кинематографа, и он решил посмотреть. Купил билет, сел. Промотрел всю программу — пришел в такой восторг, что остался снова ее смотреть... Билета с него второй раз не спросили, но покосились... Просмотрел второй раз программу... Восхищение его было так велико, что он

остался и на третий раз. Тут уж хозяин не выдержал — потребовал, чтобы матросик взял второй билет. Матросик заспорил, и по незнанию ли итальянского языка или по чему другому, но дал хозяину зуботычину. Поднялся крик — матросика схватили и потащили в полицию.

Итальянская толпа любопытна до истерики. Увидели, что ведут чужеземца в полицию, заинтересовались:

— За что? Что сделал?

Хозяин кинематографа рассказал: "Смотрел, дескать, человек программу два раза, да еще хотел и в третий раз смотреть. А деньги за билет уплатить отказался, да, кроме того, когда его стали выводить, — вступил в драку".

Посмотрели неаполитанцы на матросика.

— Знаете что, — обращаются к полицейским и хозяину. — Отпустите вы его.

— Как так, отпустите?

— Ну чего там... Бедный человек, видит кинематограф впервые, обрадовался, что дорвался, — за что его в полицию?

— В самом деле, отпустите его.

Толпа загудела сначала просительно, потом — не просительно.

— Отпустите этого человека! Отпустите его! — гудела вся улица.

Итальянская толпа шутить не любит. Просят, значит, надо сделать.

— Ну Бог с тобой, — согласился кинематографщик.

— Ступай! Отпустите его, я ничего против него не имею.

Торжествующая толпа бросилась качать кинематографщика, полицейских; потом устроила овацию матросику, подхватила его на руки и с веселым пеньем и плясками повела в ближайший кинематограф.

Ввалились, просмотрели программу, подхватили опять матросика на руки и с той же восторженностью повлекли в другой кинематограф, оттуда в третий, четвертый, и так до самого вечера, пока несчастный матросик не взмолился:

— Братцы, отпустите меня! Тошнит меня от него...

Вот и вся история. Но сколько в ней неожиданности, добродушия и милой шутки. Ко всякому поводу придется неаполитанец, чтобы погорланить, повеселиться и поплясать.

До сих пор не могу сказать точно, — какое впечатление произвели мы на Максима Горького.

Говорю это потому, что знаю — порознь каждый из нас сносный человек, но все мы in соргore — представляем собою потрясающее зрелище. Человек с самыми крепкими нервами выносит пребывание в нашей компании не больше двух-трех часов. Шутки и веселье хороши, как приправа, но если устроить человеку обед из трех блюд: на первое соль, на второе горчица и на третье уксус — он на половине обеда взходит и сбежит.

Однажды ехали мы из Петрограда в Москву — Крысаков, Мифасов и я. В четырехместное купе к нам сел какой-то сумрачный старик. Он начал сурово прислушиваться к нашему разговору... Постепенно морщины на его лице стали разглаживаться, через пять минут он стал усмехаться, а через полчаса хохотал как сумасшедший, радуясь, что попал в такую хорошую компанию. В начале второго часа смех его заменился легкой, немного усталой усмешкой, в середине второго часа усмешка сбежала с лица, и весь он осунулся, со страхом поглядывая на нашу компанию, а к исходу второго часа — схватил свои вещи и в ужасе убежал отыскивать другое купе.

Мы же были свежи и бодры, как втянувшиеся в алкоголь пьяницы, которых и бутылка рому не свалит с ног.

На другой день мы решили сами (безо всякой просьбы со стороны Горького) покинуть Капри и вернуться на родину — в Неаполь.

Пароход отходил в 4 часа дня, но был другой способ добраться до Неаполя — на лодке.

Мы с Крысаковым сначала колебались в выборе, но когда Мифасов и Сандерс подали голоса за пароход — мы решили ехать на лодке.

Минусы были таковы: 30 верст по палящей жаре. Если не будет ветра — на веслах 6—7 часов езды (на пароходе 1 1/2 часа), если же будет ветер, то будет и качка. Цена на пароходе — 8 лир, на лодке — 30.

Облив Сандерса и Мифасова потоком холодных, ядовитых, презрительных слов и замечаний, мы вдвоем сели в 10 часов утра и поехали.

Ветер оказался таков: не настолько сильный, чтобы надуть паруса, и не настолько слабый, чтобы не было качки.

Поэтому мы стояли на месте, и нас качало. Я немедленно подружился с лодочниками. Откупорил бутылку кьянти, угостил этих добрых людей, эти добрые люди угостили меня какой-то колбасой с хлебом, и потом я с этими добрыми людьми принялся горланить неаполitanские песни.

Что в это время делалось с Крысаковым — говорить не буду; он частенько наклонялся за борт, и не знаю, что заставляло его вести себя так — проклятая качка, которой он не переносил, или наше энергичное, но нестройное пение.

А сверху палило прежестокое, обваривавшее нас, как раков, солнце, а внизу колыхалась изумрудная вода, и вялый парус ласково трепал Крысакова по лицу.

Бедняга частенько наклонялся за борт, и мы из деликатности отворачивались, рассматривая какую-нибудь чайку и заглушая его стоны визгливым пением "Bella Napolii" и "Sole mio".

Приехали мы на полчаса (они выехали в 4 часа!) позднее Сандерса и Мифасова. То есть приехал я почти один, потому что от большого могучего Крысакова осталась одна оболочка, которую я, как плед, перекинул через руку, выходя из лодки.

Нужно было три дня, чтобы набить эту опустевшую оболочку пищей и чтобы эта оболочка приняла некоторое подобие контуров прежнего Крысакова.

Очнувшись, он протянул мне слабую руку, и первые слова его были таковы:

— Теперь вы можете представить, как я вас люблю, если согласился, ради вас, на такую штуку!

— Спасибо, — добродушно сказал я. — Обещаю вам, что первую попавшуюся картинную галерею исхожу с вами вдоль и поперек...

Прощай, прекрасный Неаполь!.. Мы уезжаем.

Заключительный неаполитанский аккорд был таков: собираясь ехать на пристань, мы с Сандерсом наняли извозчика; сели, тронулись.

Меланхоличный Сандерс, бродя рассеянным взором по окружающему, увидел на стекле таксометра нашего извозчика какую-то маленькую прилипшую бумажечку, в полтинник величиной; от скуки он стал пальцем соскабливать ее. Бумажечка сейчас же отклеилась и — о чудо! Под ней на таксометре красовалась цифра — 2 лиры!

Мы только что тронулись, и поэтому с нас могло следовать не более двадцати центезимов...

— Стой! — заорали мы. — Это что такое? Откуда у тебя две лиры?

Извозчик сразу прикинулся не понимающим по-французски (в Италии почти все говорят довольно внятно по-французски) и стал что-то объяснять нам, спорить, кричать.

Бедняга не знал нашей системы. Мы сразу подняли такой вой и крик, что сбежалось пол-Неаполя.

— В полицию! — ревел я. — К консулу! Телеграмму посланнику!! Разбойники!..

— Стреляйте в него, — кричал Сандерс. — Где ваш ножик? Нас грабят!! Перережьте ему горло!

Извозчик обрел неожиданный дар французской речи. Подобострастно вскочил, низко кланяясь, перевел механизм таксометра, и мы, сразу заговорив обычными спокойными голосами, двинулись под восторженные клики собравшейся толпы.

Больше всех был в восторге наш возница. Он смотрел на нас с восхищением, оборачивался, хлопал меня по коленке и говорил:

— Добрый синьор руссо — умный, понимающий человек. Он прекрасный, чудесный путешественник, и пусть он не сердится на Беппо. Ну, вышла маленькая ошибочка — чего там... Хе-хе.

Мы приехали на пристань.

Правду говорит пословица: "кто на море не бывал, тот горя не видал", — пароход задержался с погрузкой, и нам пришлось ожидать четыре часа.

Всякий развлекался как хотел: Крысаков ел, Сандерс спал, а мы с Мифасовым бросали в воду серебряные монеты. Несколько юрких мальчишек бросались за ними с пристани, ныряли и доставали со дна. Были изумительные искусники.

Какой-то немец тоже бросал монеты, но, как человек экономный, не желающий даром тратить денег, он — или забрасывал монету за двадцать метров от намеченного ныряльщиками места, или старался попасть ныряльщикам в голову...

Прогудел уже второй гудок, и в это время на пристани показался Габриэль. Он долго отыскивал нас глазами, а найдя — закричал, заплясал и стал посыпать нам воздушные поцелуи.

— А что, господа, — сказал Мифасов. — Может быть, он всюду увязывался за нами не из-за выгоды, не из-за денег, а просто потому, что искренно полюбил нас. А мы не понимали его, гнали, унижали и не замечали.

Это было совершенно новое освещение поступков Габриэля. Мы наскоро сложились, завернули в бумагу несколько лир и бросили это сооружение Габриэлю.

И за этим последовал не дождь, а целый ливень воздушных поцелуев... с обеих сторон.

— Прощай, Габриэль! Кланяйся иссохшему Помпейскому человеку! Поцелуй от нас мартаделлу.

Бедный, милый Габриэль!.. Прощай. Ты ведь никогда, вероятно, не узнаешь, что я, где-то в далекой России, вспоминаю о тебе в книге, написанной непонятным тебе, кроме слова "купаться", языком и напечатанной непонятными буквами.

НА ПАРОХОДЕ ИЗ НЕАПОЛЯ В ГЕНУЮ

— А братья есть у вас?

— О да. Семь миллионов, три миллиона и четырнадцать с половиной.

— Простите... что вы такое говорите?

— В этих суммах выражается состояние каждого из них! Трое.

— А матушка ваша... жива?

— Нет. Скончалась. Позвольте... дайте вспомнить... Да! Двадцать восемь тысяч долларов было истрачено на ее похороны.

— Вероятно, ваша семья сильно горевала?

— Еще бы! Приостановка дела на четыре дня дала по конторе убытку около четырехсот тысяч... А когда умерла бабка Стивенсон, их горе не стоило и сотняги тысяч. Вот вы и смекните.

— Да? Какое бессердечие... Смотрите, что за чудесное облако направо от нашего парохода!..

— Будущий атмосферный осадок. Если бы его перенять на сушу, да спустить на пшеницу — ого!

— А что?

— А то, что за него всякий неглупый сельский хозяин пару сотен отвалит.

Это было мое первое знакомство и первый разговор с мистером Джошуа Перкинсом. Он казался самым обыкновенным американцем: одетый в брюки отвратительного американского фасона и ботинки, похожие больше на лошадиные копыта, он шатался по всему

пароходу без пиджака и жилета, с засученными рукавами, распевал пронзительным, фальшивым голосом ужасные американские песенки и презирал всех так откровенно и беззаботно, что все полюбили его.

Только ко мне он благоволил, потому что при первой встрече я выказал себя еще большим американцем, чем он: выйдя после обеда на палубу и заметив, что мистер Перкинс развалился на занятом мною *longue chaise'e*, я подошел и, лениво зевнув, опустился к нему на колени. Он забился подо мной, завыл и, сбросив меня, в бешенстве вскочил на ноги.

— Простите, — заметил я, — но я сел на свое место. Вот карточка с моим именем на спинке.

Он захохотал и, пересев на соседний стул, вступил со мной в вышеприведенный разговор.

После замечания относительно облака он посвистал немного и спросил:

— Женаты?

— Был.

— Жена?

— Умерла.

— От чего?

— О, это тяжелая история... Она сгорела на моих глазах от лопнувшей бутылки с бензином.

— А!

В глазах его засветился живой интерес к моим словам.

— Тяжелая история?

— Да. Очень.

— Хотите дело?

— ?..

— Я, вероятно, не говорил вам, что у меня в Нью-Йорке есть две газеты... Опишите вашу историю погуще — у вас есть литературное имя — я смогу заплатить вам по полдоллара за строчку.

— Нет. Не хочу.

— Почему? Мне просто хочется утереть такой штукой нос этому зазнавшемуся каналье Чарли Пегготу. Он изо дня в день пичкает своих читателей историями о вырытых трупах и взбесившихся животных — этот мошенник Пеггот...

— Я не могу принять вашего предложения, — сухо отвечал я.

Он похлопал меня по плечу.

— Молодец! Я, признаться, хотел испытать вас — настоящий вы мужчина или нет. Вы сразу раскусили меня.

Действительно, полдоллара за строчку — это сор. All right! Я заплачу вам доллар.

— Не находите ли вы, — угрюмо возразил я, — что покойница, дорогая сердцу мужа, — плохое средство для утираания носов зазнавшимся Чарли Пегготам.

Джошуа Перкинс смущился и крепко пожал мою руку.

— Простите, если я не так выразился. Конечно, утирание носа Пегготу вашей... дорогой покойницей... это скорее метафорический оборот...

— Ничего. Прекратим этот разговор. Вы давно путешествуете по Европе?

— Третий месяц.

— Что же вас тут больше всего интересует?

— Искусство.

— Значит, музеи, картинные галереи, да?

— Да. Есть изумительные вещи. Говорят, тут за одного Рубенса отвалили около двух миллионов?

— Да.

— Вот это приемная вещь!

— Что это такое — приемная?

— Вещь, которую не стыдно повесить в приемной. А, откровенно говоря, все эти Луки Кранахи да Паоло Веронезе — ведь это так... для кабинета или в другую какую комнату... а?

Он нерешительно заглянул в мое непроницаемое лицо.

— А? Как вы думаете?

— Да... Это правда. Кранахом Пегготу носа не утрешь!

— Вы думаете? Это, пожалуй, верно. Можете представить, у него в буфетной комнате, в дверцах буфета, вделаны четыре настоящих Фрагонара!

— Шикарно! Надеюсь, вы утерли нос этому зазнавшемуся высокочке?

Джошуа подмигнул мне:

— Собираюсь. Да так, что он и не ожидает! Хе-хе!

Мы оба долго смеялись.

— Небось, — предположил я, — обмеблируете свою квартиру египетскими мумиями? Они стоят бешеных денег. А живот ей выдолбить, да устроить там погребец для ликеров... То-то позеленеет ваш Пеггот.

— Нет, это почище мумий. Вы знаете, я подыскиваю себе старинный замок!

— Для чего?

— Жить в нем. Буду приезжать месяца на три в год, да и жить в нем. Не правда ли, комфортабельно?

— Нашли что-нибудь подходящее?

— Нет. Есть или простые развалины, или хорошие замки, но не продают. Я приторговывал замок Барбароссы в Нюрнберге... Нет, говорят, нельзя. — Почему?

— Неизвестно!

— Как же вы думаете устроиться?

— Я уже говорил с архитектором. Он обещал выстроить новый, но как бы старый. Как вы думаете?

Я подумал немного и сказал решительно:

— Нет, это не то.

— Ну что вы говорите!..

— В старых замках обыкновенно есть прекрасные галереи портретов, где так сладостно-жутко и страшно по ночам, когда желтая луна тускло светит в разбитые, затканные паутиной окна...

— О, за этим дело не станет. Любой антикварий развесит за гроши целую галерею!.. Стекла, если их разбить...

— Пожалуй. Но где летучие мыши, гнездящиеся под потолком полуразрушенной башни, где треск ветхой мебели, шорохи под полом и завывание ветра в трубе громадного, веками закопченного камина?

— Да, это так. Гм...

Джошуа поднял ноги, положил их на перила палубы и, осмотрев свои похожие на лошадиные копыта башмаки, спросил:

— А вы не знаете, как их разводят?

— Кого?

— Летучих мышей.

— Кто же их разводит... Сами разводятся. Черт их знает как. Пустите одну пару для завода, а там видно будет. Остальное, конечно, пустяки. Камин можно закоптить порохом, под полом поставить несколько аппаратов, которые трещали бы при ходьбе, ветер в трубе прекрасно имитируется парой органных труб, вековая пыль в нежилых комнатах оседает в три дня, если десяток дюжин рабочих будет посменно шаркать пыльными сапогами... Все это не так трудно. И устроите вы такое помещеньице, что утрете нос самому Барбароссе... Одного только у вас не будет.

— Ого!

— Да-с. Не будет у вас старого зловещего привидения, которое бродило бы по ночам, пугая обитателей замка.

— Да ведь привидений-то вообще нет.

— Ну, это смотря где. Конечно, в вашем нью-йоркском небоскребе ему не ужиться, а в старых замках их целые гнезда.

— Может быть, и у меня заведется...

— Не-ет, дорогой мой... На имитацию его не подловишь. Оно, как тесто на муке, замешивается на легенде, на каком-нибудь старинном злодеянии. А старинного злодеяния вам за миллион не устроить.

Джошуа был огорчен искренно и серьезно.

— Наловить их в развалинах да напустить ко мне...

— Убегут. Главное дело — легенды нет. Злодеяния нет.

— Есть дело! — сказал Джошуа, хлопнув меня по колену. — Вы писатель? Так придумайте мне легенду. Легенду старинного замка Джошуа Перкинса.

— Да что ж тут можно придумать? Есть определенные американские легенды: железнодорожные короли Дженкинс и Бридж, имея две параллельные железнодорожные линии, конкурировали в ценах на перевозку скота из места, где его было много, в места, где его было мало. Дженкинс спустил цены за перевозку до минимума, а Бридж, по американскому обычаю, захотел "утереть нос" Дженкинсу и назначил цены себе в громадный убыток. Что же делает умный Дженкинс? Он начинает сам покупать скот и отправлять его за гроши по дороге своего конкурента, кладя в карман огромные прибыли, чем и разоряет его. Вот вам и легенда. А что из нее сделаешь? Если даже Бридж повесился, то и тогда что он скажет Дженкинсу, явившись к нему темной страшной ночью — в качестве привидения? "Дженкинс, Дженкинс, — скажет он только, — зачем ты отправлял скот по моей дороге?" — "Да ведь и ты, голубчик, — основательно возразит ему Дженкинс, — спустил цены так, что хоть ложись да помирай. Не надо было зарываться". Нет. Такой легенды никакой замок не выдержит.

Джошуа сосредоточился, что-то припоминая.

— А вот у меня дед скончался при крайне таинственных обстоятельствах.

— Именно?

— Его повесили в Канзасе за кражу лошадей...

Я скептически пожал плечами:

— Уж и легенда! Да махните рукой на привидение. Живите так.

— Это не то. Не комфорtabельно. Впрочем, я поговорю с архитектором.

— Вам бы жениться лучше, — посоветовал я.

— О, это очень трудная вещь — брак. У меня есть две девушки на примете — не знаю, на какой из них остановиться.

— А какая между ними разница?

— Хлебный элеватор.

— Удивляюсь я вам, американцам... Все вы сводите на деньги да на элеваторы. Могли бы хоть тут последовать влечению сердца. Каковы они собою?

— Одна миниатюрная, небольшого роста, килограммов около пятидесяти весу, другая высокая, хорошо развитая девушка.

— Килограммов в семьдесят?

— Да, около этого. Вот вы тут и посоветуйте!..

— И советовать нечего. Женитесь на той, которая весит больше.

Он с сомнением посмотрел на меня — не смеюсь ли я.

— Однако... Это, мне кажется, несколько меркантильный взгляд...

— Ничуть! — горячо возразил я. — Вы подумайте. Что такое жена? Это нечто такое, что дороже всего человека. И если этого дорогого, прекрасного будет на двадцать процентов больше, то не ясно ли даже не умеющему считать, что от этого счастье обладания любимым существом подымется на такое же количество процентов.

Он снисходительно пожал плечами:

— Эти европейцы неисправимые идеалисты. Впрочем... Пароход наш уже подходит к Генуе... Мы сейчас расстанемся. Я совершенно незаметно провел с вами два часа сорок семь минут. Очень рад. Не откажитесь принять от меня на память эту любопытную вещицу!

Джошуа вынул из бумажника зубочистку и благовоний протянул ее мне.

— Это что такое?

— Это замечательные зубочистки. Их всего у меня три, и каждая обошлась мне в 300 долларов.

— Из чего же они сделаны? — изумился я.

Он самодовольно улыбнулся.

— Из пера на шляпе Наполеона Первого, на той самой шляпе, в которой он был на Аркольском мосту. Мне было очень трудно достать эту вещь!

Джошуа Перкинс пожал мне руку, надел пиджак, за-
свистал фальшиво и зашагал за носильщиком.

Я подошел к борту парохода, бросил наполеоновскую
зубочистку в воду и стал смотреть на закат...

ГЕНУЯ

Генуя знаменита своим Campo Santo; Campo Santo знаменито мраморными памятниками; памятники зна-
мениты своей скульптурой, а так как скульптура эта — невероятная пошлинина, то о Генуе и говорить не
стоит.

Впрочем, есть люди, которые с умилением взирают на
такие, например, скульптурные мотивы:

1) Мраморный детина, в мешковатом сюртуке, брю-
ках старого покроя и громадных ботинках стоит у чай-
ницы, единственной, по мысли скульптора, изобра-
жать могилу отца детины; детина, положив под мышку
котелок, плачет. Ангел, сидя на чайнице, тычет в нос
безутешному молодцу какую-то ветку.

2) Огромный барельеф: внизу на крышке гроба стоит
ангел и передает, вытянув руки, парящему наверху ангелу —
покойнику, с безмолвной просьбой распорядиться им
по своему усмотрению.

3) Безносая смерть тащит упирающуюся девицу
в склеп.

4) А вот девица, судьба которой лучше — ее просто
два ангела ведут под руки к вечному блаженству.

5) Целая композиция: мраморный хозяин умирает на
мраморной кровати, окруженный домочадцами; налево
господин в мраморном галстуке не то утешает, не то
щекочет пальцем даму, возведшую глаза горé.

Всюду невероятное смешение старомодных сюртуков
и панталон с ангельскими крыльями, ангельскими хито-
нами, ангельскими факелами в руках.

Ангельское терпение нужно, чтобы пересмотреть всю
эту бессмыслицу.

Во время нашего путешествия по этому бесконечному
морю испорченного мрамора произошел странный ин-
цидент.

Именно: Крысаков, который задержался около стуча-
щейся в райские двери девицы, вдруг догнал нас бледный
и в ужасе зашептал:

— Со мной что-то случилось...

— Что такое?

— Сколько кьянти выпили мы за завтраком? — спро-
сил Крысаков, дрожа от страха.

— Сколько каждому хотелось — ни на каплю больше.
А что случилось?

— Дело в том — я не знаю, что со мной сделалось, но
я сразу стал понимать по-итальянски.

— Как так? Почему?

— Видите ли, около той "девушки у врат" стоит
публика. Вдруг кто-то из них заговорил — и я сразу
чувствую, что понимаю все, что он говорит!

— Какой вздор! Этого не может быть.

— Уверяю вас! Другой ему ответил — и что же?
Я чувствую, что понял и ответ.

— Тут что-то неладно... Пойдем к ним!

Мы подошли.

— Слышите, слышите? Я прекрасно сейчас понимаю,
о чем они говорят... О том, что такой сюжет они уже
встречали в Риме... Хотите, я вам буду переводить?

— Не стоит. Это излишне.

— По... почему?

— Потому что они говорят по-русски.

Мифасов оглядел фигуру смущенного Крысакова
и уронил великолепное:

— Удивительно, как вы еще понимаете по-русски.

СТРАШНЫЙ ПУТЬ

Путь из Генуи в Ниццу был ужасен. Отвратительные
грязные вагоны, копоть, духота.

Все мы грязные, немытые — и умыться негде.

Едим ветчину, разрывая ее пальцами, и пьем кьянти
из апельсинных шкурок и свернутых в трубочку визитных
карточек.

Солнце склонялось к закату. Все мы сидели злые,
мрачные и все время поглядывали подстерегающими взо-
рами друг на друга, только и ожидая удобного случая
к чему-нибудь придраться.

В вагоне сразу стемнело.

— Удивительно, как на юге быстро наступает ночь,
— заметил Мифасов. — Не успеешь оглянуться, как уже
и стемнело.

— Удивительно, как вы все знаете, —sarcastically
заметил Сандерс.

— В вас меня удивляет обратное, — возразил Мифасов.

Вдруг в вагоне стало проясняться, и опять дневной свет ворвался в окно.

— Удивительно, — захихикал Сандерс, — как на юге быстро светлеет.

Поезд опять нырнул в туннель.

— Удивительно, — сказал Крысаков, — как на юге быстро темнеет...

— Черт возьми, — проворчал Сандерс, — как быстро время летит. Сегодня только выехали, и уже прошло три денечка.

— Опять темнеет! Четвертая ночка!

— А вот уже и рассвет... Четвертый денечек. С добрым утром, господа.

Угрюмо озираясь, сидел затравленный Мифасов.

Чем дальше, тем тунNELи попадались чаще, и до границы мы проехали их не меньше сотни.

Когда, по выражению Крысакова, "наступила ночка", я вдруг почувствовал, что какое-то тяжелое тело навалилось на меня и стало колотить меня по спине. Я с силой ушипнул неизвестное тело за руку, оно вззвизнуло и отпрыгнуло.

Поезд вылетел из туннеля — все смирно сидели на своих местах, апатично поглядывая друг на друга.

— Хорошо же, — подумал я.

Едва только поезд нырнул в следующий туннель, как я вскочил и стал бешено колотить кулаками куда попало.

— Ой, кто это? Черрт!

Опять светло... Все сидят на своих местах, подозрительно поглядывая друг на друга.

— Кто это дерется? Что за свинство, — спросил сонный Сандерс.

— Действительно, подхватил я, — безобразие! Вести себя не умеют.

Тьма хлынула в окна. И опять поднялась в вагоне неимоверная возня, рев, крики и протесты.

— Стойте! — раздался могучий голос Крысакова.

— Я поймал того, который нас бьет. Держу его за руку... Нет, голубчик, не вырвешься!

Засиял свет — и мы увидели бьющегося в крысаковских руках Сандерса.

Все набросились на него с упреками, но я заметил, как змеилась хитрая улыбочка на губах Мифасова.

От Монте-Карло к нам в купе подсели две француженки.

Одна из них обвела нас веселым взглядом и вдруг нахлобучила Крысакову на нос его шляпу.

— Ура! — гаркнул Крысаков из-под шляпы. — Отселе, значит, начинается Франция!

НИЦЦА

Ницца — небольшой городок, утыканный пальмами.

Мы попали в него в такое время, когда все приезжее народонаселение состояло из шести человек: нас четырех и тех двух француженок, которых мы встретили в вагоне.

У бедняжек, очевидно, в сезоне были такие плохие дела, что уехать было не на что, и поэтому они влачили вдвое жалкое существование, надеясь на случай.

Но случай не подвертывался, потому что, кроме нас, никого не было, а наши принципы удерживали нас от легкомысленных поступков и преступного общения с женщинами.

Нам не нужно было тратить много времени, чтобы заметить, что вся Ницца живет только нами и для нас; все гостиницы были закрыты, кроме одной, в которой жили мы; все извозчики бездельничали, кроме двух, которые возили нас, магазины отпирались для нас, музыка по праздникам на площади гремела для нас, и только легкомысленные бабочки, кружившиеся около нас, были вне этого распорядка — спрос на женскую привязанность стоял до смешного низко.

Когда мы уезжали, было такое впечатление, что душа Ниццы отлетает и тело сейчас замрет в последней агонии.

В Париж! В Париж!

ПАРИЖ

Тоска по родине. — Мы четверо. — Призрак голода. —

Муки. — 14 июля. — Лирическое отступление. —

Деньги отыскиваются. — Последние усилия. — Драка. —

Победа. — В Россию. — Последнее merci...

Наиболее остро это началось с Парижа.

Первым был пойман Мифасов: пойман на месте преступления, в то время когда, сидя в маленьком кафе на бульваре Мишель и увидя нас, пытался со сконфуженным видом спрятать в карман клочок бумаги.

— Погодите! — строго сказал Крысаков. — Давайте-ка сюда. Ну конечно, я так и подозревал.

Это был обрывок русской газеты.

— А наше слово? Наше слово — не читать русских газет, не вспоминать о России, не пить русской водки?..

Опустив голову, смущенно шаркал ногой по цементному полу Мифасов.

Вторым попался Сандерс.

Однажды, идя по улице впереди него и неожиданно оглянувшись, мы заметили, что он отмахнулся два раза от какого-то попрошайки, а потом вдруг остановился, прислушался к его словам, и лицо его, как будто очарованное сладкой музыкой, распустилось в блаженную улыбку.

— О! — сказал Сандерс, — вы говорите — вы русский! Неужели? Не обманываете ли вы меня?

— Русский! Ей-Богу! Поверьте, третий день уже хожу — нишиша...

— Как? Как вы сказали? "Нишиша"? О, это очень мило! Какое образное русское слово! Это очень хорошо, что вы русский. Это благородно с вашей стороны!

— Обносился, оборвался я, как боявка...

Склонив голову набок, Сандерс сладко слушал...

— О, что за язык! "Боявка" ... "оборвался" ... Почему никто из товарищ моих не говорит так по-русски? Давно я не слыхал от них русского слова. Все стараются французить... Русский! Я желаю вас выручить, русский. Вот вам пять франков.

Крысакова однажды поймали ночью уже на лестнице в то время, когда он, крадучись, со своим распухшим, больным чемоданом пробирался к выходу...

— Неужели, господа, вы не можете потерпеть несколько дней? — возмущался я. — До нашего срока отпуска — двух месяцев — осталось всего шесть суток.

Но в тот же вечер я сам, подойдя к открытому окну, увидел на небе нашу русскую добродушную луну. И мне захотелось, как собаке, положить лапы на подоконник, вытянуть кверху голову, да как завыть!.. Завыть от тоски по нашей несчастной, милой родине...

В предыдущих очерках я уделял наибольшее внимание этнографическим описаниям; Париж настолько всем известен, что я считаю себя вправе заняться главным образом путешественниками — Мифасовым, Крысаковым, Сандерсом и мною.

Всякий, конечно, был верен себе: Сандерс однажды задремал с булкой в руках, остановившись на полпути между прилавком и нашим столиком; он же, заспорив как-то о том: какой из двух путей, ведущих к Лувру, ближе, — встал в шесть часов утра и пошел проверять тот и другой путь; среди сна все трое были разбужены и оповещены о том, какой хороший, умный человек Сандерс и как он всегда бывает прав.

Всякий, конечно, был верен себе: Мифасов после обеда потащил нас в кафешантан Марини; он же возмутился бешеными ценами на места в этом учреждении; он же предложил поехать в какой-нибудь из маленьких шантанчиков на Севастопольском бульваре, утверждая, что хотя это далеко, но зато дешевизна тамошних кабачков баснословная, он же, в ответ на наши сомнения, сказал, что ему приходилось бывать там и что спорить с ним, опытным кутилой, глупо. "За свои слова я ручаюсь головой". По приезде на место выяснилось, что цены в кафе-концерте на Севастопольском бульваре выше цен Марини на 40%.

Всякий, конечно, был верен себе: шокируя Мифасова и Сандерса, мы с Крысаковым присаживались за столиком в третьеклассном кафе, требовали пива, а потом Крысаков мчался к тележке, развозившей всякую снедь, подкупал на 10 су паштета из телячьей печени, на 3 су хлеба, и мы устраивали такой пир, что все с восхищением глядели на нас, кроме Мифасова и Сандерса.

— Кушайте, — добродушно уговаривал Крысаков, похлопывая ладонью по своему паштету. — Бигте-дриtte.

Должен заметить, что паштетом питались и наши антагонисты — Мифасов и Сандерс. Должен заметить, что и насыщение паштетами за 10 су и хлебом за 3 су, и возмущение ценами шантана — все это имело под собой основательную почву: дело в том, что мы разорились.

Кто был виноват в этом? Что было причиной этому: склонность ли Мифасова к фешенебельным ресторанам, "обедам под гонг", страсть ли Сандерса к эффектным одеждам, покупка ли массы оружия, которое всякий из нас приобрел для защиты жизни от могущих посягнуть на нее врагов? Вероятно, все вместе повредило нам.

Правда, мы ждали солидного перевода на Лионский кредит, и перевод этот должен был получиться в Париже 12 июля. Но 12 июля банки были закрыты потому, что через два дня предстояло огромное празднование 14 июля — день взятия Бастилии; 13 июля банки не открывались потому, что оставался всего один день до 14-го;

14-го праздновали Бастилию; 15-го отпраздновали первый день после взятия Бастилии, а 16-го была какая-то генеральная проверка всех банковских касс; так как 17-го было воскресенье — то мы, очутившись 11-го без денег, — могли ожидать их получения только 18-го.

Грозный призрак голода протянул к нам свои kostяные, когтистые лапы.

Первые признаки бедствия выяснились неожиданно: 11-го июля, после роскошного завтрака в ресторане на Итальянском бульваре, мы взяли мотор и полетели в Булонский лес.

Сандерс был задумчив. Вдруг на полдороге он хлопнул ладонью по доске мотора и с несвойственной ему энергией воскликнул:

— Стойте! Сколько показывает таксометр?

— 6 франков 50.

— Мотор! Назад!

— Что случилось?

И, как гробовой молоток, прозвучали слова Сандерса:

— У нас всего 8 франков... (общественными суммами заведовал Сандерс).

Раздались крики ужаса; мотор повернули, и он, как вестник бедствия, полетел со страшным ревом и плачем в город.

— Стойте! До дома версты полторы. Дойдем пешком, — предложил благородный Крысаков. — Шоферу нужно, конечно, заплатить полным рублем, но на чай, ввиду исключительности положения, не давать; пусть каждый пожмет ему руку; это все, чем мы можем располагать.

Все с чувством пожали шоферу руку и поплелись домой.

Вечером прибегли к паштету с пивом, а утром на другой день Мифасов засел за большую композицию "Голодающие в Индии".

— Как жаль, что нет с нами Мити, — заметил Крысаков. — Его можно бы послать собирать милостыню. Самим нам неудобно, а он мог бы поработать на бедных хозяев.

— Бедный Митя! — вздохнул Мифасов. — Он, вероятно, умирает от голода в Берлине, мы — в Париже. О, жизнь! Ты шутишь иногда жестоко, и твоя улыбка напоминает часто гримасу смерти.

Сандерс обошел кругом Крысакова и, щелкнув зубами, сказал:

— Думал ли я, что рагу из Крысакова будет казаться мне таким заманчивым?!

Крысаков, взволнованный, встал, поцеловал Сандерса в темя и выбежал из нашей комнаты в свою.

Потом вернулся, положил на стол золотой и сурово сказал:

— Последний! Прятал на похороны. Берите!

Радостный крик сотряс наши груди.

— Беру в кассу, — сказал Сандерс. — Что мы сделаем на эти деньги?

— Тут я на углу видел один ресторанчик... — несмело заметил Мифасов.

"Голодающие" на его рисунке сразу пополнили. Он приделал им животы, округлил щеки, прибавил мяса на руках и ногах и сказал:

— Произведения художника есть продукт его настроения. Налево за углом, вход с бульвара. Обед два франка с вином!!

— Браво, Мифасов! Он заслуживает качанья. В первую же хорошую качку на море вы будете вознаграждены! За угол, господа, за угол!!

Было 13-е число. Весь Париж наряжался, украшался, обвесивался разноцветными лампочками; на улицах строили эстрады для музыкантов, драпируя их материей национального цвета. Уже приближался вечер, и пылкие французы не могли дождаться завтрашнего дня, зажгли кое-где иллюминацию и плясали на улице под теплым небом, под звуки скрипок и флейт.

А мы сидели в комнате Мифасова без лампы, озаренные светом луны, и тоска — этот спутник сирых и голодных — сжимала наши сердца, которые теперь переместились вниз и свили себе гнездо в желудке.

Недоконченный этюд "Голодающие в Индии", снова реставрированный в сторону худобы и нищенства, смутно белел на столе своими страшными скелетообразными фигурами.

— Мама, мама, — прошептал я. — Знаешь ли ты, что испытывает твой сын, твой милый первенец?

— Постойте, — сказал Мифасов, очевидно, после долгой борьбы с собой. — У меня есть тоже мать, и я не хочу, чтобы ее сын терпел какие-нибудь лишения. В тот день, когда голод подкрадывался к нам, — у меня были запрятанные 50 франков. Я спрятал их на крайний случай... на самый крайний случай, когда мы начнем питаться кожей чемоданов и безвредными сортами масляных

красок!.. Но больше я мучиться не в силах. Музыка играет так хорошо, и улицы оживлены, наполнены веселыми лицами... сотни прекрасных дочерей Франции освещают площади светом своих глаз, их мелодичный смех заставляет сжиматься сердца сладко и мучи...

— По 12 с половиной франков, — сказал Сандерс.
— Господи! Умываться, бриться! Черт возьми! Да здравствует Бастилия!

И мы, как подтаявшая льдина с горы, низринулись с лестницы на улицу.

Какое-то безумие охватило Париж. Все улицы были наполнены народом, звуки труб и барабанов прорезали волны человеческого смеха, тысячи цветных фонариков кокетливо прятались в темной зелени деревьев, и теплое летнее небо разукрасилось на этот раз особенно роскошными блестящими звездами, которые весело перемигивались, глядя на темные силуэты пляшущих, пьющих и поющих людей.

Милый, прекрасный Париж!..

Как танцуют на улице? Играют оркестры?!

Невероятным кажется такое веселье русскому человеку.

Бедная, темная Русь!.. Когда же ты весело запляшешь и запоешь, не оглядываясь и не ежась к сторонке?

Когда твои юноши и девушки беззаботно сплетутся руками и пойдут танцевать и выделывать беззаботные скачки?

Желтые, красные, зеленые ленты серпантинов взвиваются над толпой и обвивают намеченную жертву, какую-нибудь черномазую модистку или простоволосую девицу, ошалевшую от музыки и веселья.

На две тысячи разбросает сегодня щедрый Париж бумажных лент — целую бумажную фабрику, миллион сгорит на фейерверке и десятки миллионов проест и пропьет простолюдин, празднуя свой национальный праздник.

Сандерс тоже не дремлет. Он нагрузился серпантином, какими-то флагами, бумажными чертями и сам, вертлявый, как черт, носится по площади, вступая с девицами в кокетливые битвы и расточая всюду улыбки; элегантный Мифасов взобрался верхом на карусельного слона и летит на нем с видом завзятого авантюриста. Мы с Крысаковым скромно пляшем посреди маленькой кучки поклонников, вполне одобряющих этот способ нашего

уважения к французам. Писк, крики, трубный звук и рев карусельных органов.

А на другое утро Сандерс, найдя у себя в кармане обрывок серпантина, скорбно говорил:

— Вот если бы таких обрывков побольше, склеить бы их, свернуть опять в спираль, сложить в рулон и продать за 50 сантимов; двадцать таких штучек изготовить — вот тебе и 10 франков.

Крысаков вдруг открыл рот и заревел.

— Что с вами?

— Голос пробую. Что если пойти нынче по кафе и попробовать петь русские национальные песни; франков десять, я думаю, наберешь.

— Да вы умеете петь такие песни?

— Еще бы!

И он фальшиво, гнусавым голосом запел:

Матчиш прелестный танец —

Шальной и жгучий...

Привез его испанец —

Брюнет могучий.

— Если бы были гири, — скромно предложил я.

— Я мог бы на какой-нибудь площади показать работу гириями... Мускулы у меня хорошие.

— Неужели вы бы это сделали? — странным, дрогнувшим голосом спросил Сандерс.

Я вздохнул:

— Сделал бы.

— Гм, — прошептал он, смахивая слезу. — Значит, дело действительно серьезно. Вот что, господа! Мифасов берег деньги на случай питания масляными красками и кожей чемоданов. Я заглянул дальше; на самый крайний, на крайнейший случай, — слышите? — когда среди нас начнет свирепствовать цинга и тиф — я припрятал кровные 30 франков. Вот они!

— Браво! — крикнул, оживившись, Крысаков.

— У меня как раз цинга!

— А у меня тиф!

Мифасов сказал:

— Тут... на углу... я...

— Пойдем.

Грохот восьми ног по лестнице разбудил тишину нашего мирного пансиона.

Когда мы были в "Кабачке мертвцов" и Сандерс, уходя, сказал шутовскому привратнику этого кабачка,

где слуги поносили гостей как могли: "Прощайте, сударь", тот ответил ему привычным, заученным тоном: "Прощайте, туберкулезный!"

Конечно, это была шаблонная шутка, имевшая успех в этом заведении, но сердце мое сжалось: что если в самом деле слабый здоровьем Сандерс заболеет с голодухи и умрет?..

Последние десять франков ухлопали мы на это кощунственное жилище мертвых, будто бы для того прия сюда, чтобы привыкнуть постепенно к неизбежному концу.

— Удивляюсь я вам, — сказал мне Крысаков. — Человек вы умный, а не догадались сделать того, что сделал каждый из нас! Припрятать деньжонок про запас. Вот теперь и голодай. До открытия банков два дня, а я уже завтра с утра начну питаться верблюжьим хлебом.

— Чем?

— Верблюжьим хлебом. В зоологическом саду верблюдов кормят. Я пробовал — ничего. Жестко, но дешево. Хлебец стоит су.

— Ну, — принужденно засмеялся я. — У вас, вероятно, у кого-нибудь найдется еще несколько припрятанных франков "уже на самый крайний случай — чумы или смерти".

— Я отдал все! — возмутился Мифасов. — Запасы имеют свои границы.

— И я.

— И я!

— Я тоже все отдал, — признался я. — Натура я простодушная, без хитрости, я не позволю утаивать что-нибудь от товарищей "на крайний случай". А тут — чем я вам помогу? Не этой же бесполезной теперь бумажонкой, которая не дороже обрывка газеты, раз все меняльные учреждения закрыты.

И я, вынув из кармана русскую сторублевку, пренебрежительно бросил ее наземь.

— В Олимпию, — взревел Крысаков. — В Олимпию — в это царство женщин! Я знаю — там меняют всякие деньги!

Как нам ни противно было очутиться в этом царстве кокоток и разгула — пришлось пойти.

Меняли деньги... Крысаков был очень вежлив, но его "битте-дритте" звучало так сухо, что все блестящие ночные бабочки отлетали от него, как мотыльки от электрического фонаря, ударившись о твердое стекло.

В тот момент, когда наконец для французов красные, а для нас черные дни кончились и наступили будни, мы получили пачку разноцветных кредиток и золота.

И в тот же момент в один истерический крик слились четыре голоса:

— В Россию!

— Домой!

— В Петроград!

— К маме!

Но кто проследит пути судьбы нашей?

Кто мог бы предсказать нам, что именно в день отъезда случится такой яркий потрясающий факт, который до сих пор вызывает в нас троих смешанное чувство ужаса, восторга и удивления?!

Милый, веселый, неприхотливый Крысаков... Ты заслуживаешь пера не скромного юмориста с однотонными красками на палитре, а, по крайней мере, могучего орлиного пера Виктора Гюго или героического размаха автора "Трех мушкетеров".

Постараюсь быть просто протокольным, — иногда протокол действует сильнее всего.

Было раннее утро. Крысаков накануне вечером спорился с нами идти на Центральный рынок поглазеть на "чрево Парижа", но, конечно, каждый из нас придерживался совершенно новой оригинальной пословицы: "вечер утра мудренее". Вечером можно было строить какие угодно мудрые, увлекательные планы, а утром — владычествовал один тупой, бессмысленный стимул: спать!

Крысаков собрался один. Жил он в другом пансионе с женой, приехавшей из Ниццы; с утра обыкновенно заходил к нам и не расставался до вечера.

В шесть часов утра хозяйка пансиона видела жильца, который на цыпочках, стараясь не шуметь, пробирался к выходу с вещами (ящик для красок и этюдник); в девять часов утра та же хозяйка заметила жену жильца, вышедвшую из своей комнаты с картонкой в руках.

Хозяйка проградила ей путь и сказала:

— Прежде чем тайком съезжать, милые мои, — надо бы уплатить денежки.

— С чего вы взяли, что мы съезжаем? — удивилась жена Крысакова. — Я еду к модистке, а муж поехал на этюды, на рынок.

— На этюды? Все вы, русские, мошенники. И ваш муж мошенник.

— Не больше, чем ваш муж, — вежливо ответила жена нашего друга.

Затем произошло вот что: хозяйка раскричалась, толкнула квартирантку в грудь, отобрала ключ от комнаты, несмотря на уверения, что деньги лежат в комнате и могут быть заплачены сейчас, а потом квартирантка была изгнана из коридора и поселилась она в помещении гораздо меньшем, чем раньше — именно на уличной тумбочке у парадных дверей, где она плача просидела до двух часов дня.

Она не знала, где найти мужа, который в это время, ничего не подозревая, весело завтракал с нами на полученные из Лионского кредита денежки.

Позавтракав, он вспомнил о семейном очаге, поехал домой и наткнулся на плачущую жену на тумбочке.

Наскоро расспросив ее, вошел побледневший Крысаков в зал пансиона, где за общим табль д'от сидело около двадцати человек аборигенов.

Мирно завтракали ветчиной и какой-то зеленью.

— Где хозяин? — спросил Крысаков.

— Я.

— Почему ваша жена безо всякого повода позволила себе толкнуть в грудь мою жену?

— О, — возразил хозяин, пренебрежительно махнув рукой. — Вы русские?

— Да.

— Так ведь русских всегда бьют. Русские привыкли, чтобы их били.

Привычному человеку, конечно, не особенно больно, когда его бьют. Но непривычный француз, получив удар кулаком в живот, заревел как бык и обрушился на маленький столик с цветочным горшком.

Несколько французов вскочили и бросились на славного, веселого, кроткого Крысакова.

Крысаков повел могучими плечами, ударили ногой по громадному столу, и все слилось в одну ужасающую симфонию звона разбитой посуды, стона раненых и яростного крика взбешенного Крысакова.

Вот подите ж: глупые разные "Земцины" и "Колоколы" с истинно дурацким постоянством из номера в номер уверяют десяток своих читателей, что сатириконцы — это жиды (!?) без всякого национального чувства и достоинства.

А Крысаков безрассудно, без всякого колебания, полез один на двадцать человек именно за одну нотку

в голосе хозяина, которая показалась ему безмерно горькой и обидной.

И вот когда зажиревший в свободах француз поднял, по примеру всероссийского городового, руку на русского — в голове должно помутиться и рассудок должен отойти в сторону...

— Мерзавцы, — гремел голос нашего товарища.

— Русских бьют? Не так ли вот? Или, может быть, этак?

Двою пытались уползти от него в дверь, один выскочил в раскрытое окно; какой-то глупец схватил палку, взбежал по винтовой лестнице в угол комнаты и пытался поразить оттуда всесокрушающего Крысакова; но тот схватил палку, стащил ее вместе с обладателем с лестницы и, задав ему солидную трепку, бросил палку под ноги двум последним удиравшим противникам.

Поломанные стулья, разбитая посуда, хрустящим ковром покрывавшая пол, и посередине Крысаков с мужественно поднятыми руками и ногой на животе лежащего без чувств хозяина...

Момент — и он забился в шести дюжих руках... Три полисмена схватили его, приглашенные расторопной хозяйкой пансиона.

— Полиция? — сказал Крысаков. — Сдаюсь. Это уже закон!

Но когда его привели в участок и комиссар предложил в резкой форме снять шляпу, Крысаков с любопытством спросил:

— А почему вы в шляпе?

Полисмен сзади ударом ладони сбил с Крысакова шляпу, но Крысаков повернулся и в один момент посыпал с полисменов кепи (по своей теории — "иногда и русские бьют").

Нужно ли говорить еще что-нибудь?

Личное задержание, штраф, убытки за поломанную посуду и поврежденных французов — одним словом, мы уехали вдвоем с Сандерсоном, оставив Крысакову для подкрепления Мифасова.

Потом они передавали нам, что русский консул, к которому Крысаков обратился за заступничеством, сказал:

— Знаете что? Не стоит поднимать истории... Заплатите им штраф и убытки. Правда, они первые оскорбили вашу жену... Но если бы недалеко были наши броненосцы, я бы говорил с ними. А так, что я могу сказать?! Что мы можем сказать?

Жалкое, забитое существо этот консул.

Нам говорили опытные люди, что если русский человек хочет найти серьезное заступничество — он должен обратиться к английскому консулу.

И вот мы едем в Россию.

В Верхолове поздоровались с жандармом, а Сандерс, изнемогая, остановил носильщика и сказал:

— Я хочу услышать от тебя хоть одно русское слово. Истосковался. Скажи мне его, это слово, вот тебе за это целковый.

— Мерси, — ответил расторопный носильщик.
Пахло щами.

КОНЕЦ

КРУГИ ПО ВОДЕ (1912)

Посвящаю
Александре Яковлевне Садовской

ОТ АВТОРА

Я расскажу все как было.

— Как вы предполагаете назвать эту книгу? — спросил мой издатель.

— Я подумаю, — отвечал я. — Через три дня дам вам ответ.

Через три дня, встретившись со мной, издатель вторично задал тот же вопрос.

Я поднял глаза к небу и тихо сказал:

— Жаркое, пышное лето... Медленная, зеркальная река, обрамленная дремлющей зеленью... Я стою на берегу и один за другим бросаю в воду круглые камушки... С громким всплеском они падают, исчезают, но от них бегут круги... Сначала маленький круг — резкая, энергичная морщина на зеркальной глади... За маленьким — больший, тоже четкий и энергичный, а за ним все более и более широкие, но уже нежные, незаметные... какие-то умиротворенные и кроткие... И последний огромный круг, замирающий где-то за пределами моего зрения, совсем неуловимый, как улыбка на лице умирающего... Я бросаю второй, третий камушек. Такие же ожерелья появляются вокруг того места, где он утонул, — ширятся, расплываются и умирают. Вернее, не умирают, — они все идут, идут крошечными, микроскопическими волнами, но простой, грубый глаз их не увидит...

— Все это так, — перебил издатель, этот человек с типографской машиной вместо сердца, — но все-таки как же вы назовете книгу?

— Мои рассказы, — задумчиво сказал я, — те же круги по воде... Сравнение головы читателя с рекой, в которую бросаешь камни, немного смелое, но я прибегаю к этому сравнению, чтобы вы меня поняли... Мои рассказы так же должны западать в читательские головы

и, сделав в читательской памяти резкий, энергичный круг, постепенно расплыться на всю читательскую жизнь нежными, еле уловимыми волнами.

— Пожалуй, это для читателя слишком сложно, — возразил издаатель. — Он не сумеет всего этого проделать.

— Чего проделать? Ему ничего не надо и проделывать. Это сделается само собой...

— Значит, вы говорите, что берете книгу, бросаете ее читателю в голову, и он...

— Да нет же! — нетерпеливо сказал я. — Просто книга выходит обыкновенным способом, но я даю ей такое название, которое должно иметь некоторую логическую связь с ее содержанием.

— Я немного не понял... как название? "Широкая, пышная река летом, в которую вы..."

— Ах, Боже мой! Я назову книгу: "Круги по воде". При чем тут пышная река летом?

Понял ли меня этот человек, с фальцовой машиной вместо души, презиравший всякое первое издание, еле раскланивавшийся с третьим и подобострастный, суетливый перед десятым? Я думаю, нет.

Тем не менее он сказал:

— Как хотите. Значит, круги по воде? Я, значит, сегодня же заказываю обложку художнику.

* * *

Конечно, кроме себя, никого винить мне не следует. Нужно было обстоятельно потолковать с художником, рисовавшим обложку, чего я, за недосугом, не сделал.

Увидев эту обложку уже в печати, я зашатался... У меня потемнело в глазах и из груди вырвался стон.

— Что это такое?! — закричал я, сдерживая готовые хлынуть слезы.

— Круги на воде, — самодовольно сказал художник.

— Не думаете ли вы, что их маловато? Я на них не скучился.

— Это круги на воде! — застонал я. — Совсем другая мысль!.. А мне нужно было не "на", а "по"! Слушайте!

Я, обессиленный, опустился на стул и тихо начал:

— Жаркое, пышное лето... Медленная, зеркальная река... Я стою на берегу и один за другим бросаю в воду камушки... И от них бегут круги...

— Да... — неуверенно сказал художник. — Те круги иначе рисуются... Другой сорт... Впрочем, знаете что? Оставьте так.

— Так?! А моя мысль, моя прекрасная аллегория...

— Так тоже получается аллегория... Вы выпустили книгу. Для всякого человека, которого гнетет тоска, это тот спасительный круг, за который он должен ухватиться...

— Вы мне не льстите? — подозрительно спросил я.

— Что вы! Прекрасная книга! Прямо спасение утопающих.

— Ну вы думаете, прекрасная? — улыбнулся я сквозь слезы.

— Она-то? Поразительная книга!

Это меня немного успокоило.

Я считал необходимым предпослать читателям это краткое объяснение, боясь, чтобы они не заподозрили меня в отсутствии сообразительности.

Виноват художник.

Нет более прямолинейных и "не от мира сего людей", чем художники.

Недавно я попросил того же самого художника нарисовать обложку для "альманаха мелочей" под названием. "Пауки в банке".

— Хорошо, понимаю! — сказал он, вдумавшись в заглавие. — Это будет очень забавно: изобразить помещение банка и за конторками сидят этакие пауки, водя лапами по книгам...

— Боже вас сохрани! Не банк, а банка. Пауки в банке! Аллегория собрания ядовитых мелочей!

Нет более прямолинейных и стремительных людей, чем художники.

Попробуйте поручить одному из них нарисовать, не объяснив как следует, зайчиков на стене. Будьте уверены, что он аккуратно развесит на стене головой вниз десяток мертвых зайцев и будет утверждать потом, что тут есть тоже аллегория.

Автор

ДВУЛИЧНЫЙ МАЛЬЧИШКА

I

Авторы уголовных романов и их читатели не поняли бы странной двойственной натуры мальчишки Алешки — натуры, которая в свое время привела меня в восхищение и возмутила меня.

Авторы уголовных романов и их читатели прославились своей прямолинейностью, которая обязывала их не заниматься смешанными типами. Злодеи должны быть злодеями, добрые — добрыми, а если капелька качеств первых попадала на вторых или наоборот — все кушанье считалось испорченным... Злодей — должен быть злодеем без всяких уверток и ухищрений... Он мог раскаяться, но только в самом конце, и то при условии, что, в сущности, он и раньше был симпатичным человеком. Добрый тоже мог стать в конце романа злым, бессердечным, но тоже при условии, что автор опрокинет на него целую гору несчастий, людской несправедливости и тягчайших разочарований, которые озлобят его. Ни в одном из таких романов я не встречал жизненного простого типа, который сегодня поколотил жену, а завтра подаст гриевник нищему, утром прилежно возится у станка, штампую фальшивые деньги, а вечером вступится за избиваемого еврея.

Человек — более сложный механизм, чем, например, испанский кинжал, вся жизнь которого сводится только к двум чередующимся поступкам: он или режет кому-нибудь горло, или не режет.

Попадись автору уголовных романов Алешка — он повертел, повертел бы его, понюхал, лизнул бы языком и равнодушно отбросил бы прочь.

— Черт знает что такое!.. Ни рыба ни мясо.

В жизни не так много типов, чтобы ими разбрасываться...

Я подбираю брошенного разборчивым романистом Алешку и присваиваю его себе.

Об Алешке я сначала думал, как о прекрасном, тихом, благонравном мальчике, который воды не замутит. В этом убеждали меня все его домашние поступки, все комнатное поведение, за которым я мог следить не сходя с места.

Мы жили в самых маленьких, самых дешевых и самых скверных меблированных комнатах. Я — в одной комнате, Алешка с безногой матерью — в другой.

Тонкая перегородка разделяла нас.

Я так часто слышал мягкий, кроткий Алешкин голос:

— Мама! Хочешь, еще чаю налью? Отрезать еще кусочек колбасы?

— Спасибо, милый.

— Книжку тебе еще почитать?

— Не надо. Я устала...

— Опять ноги болят? — слышался тревожный голос доброго малютки. — Господи! Вот несчастье так несчастье!..

— Ну ничего. Лишь бы ты, крошка, был здоров.

— Ну-с, — важно говорил Алешка, — в таком случае ты спи, а я напишу еще кое-какие письма.

Было ему около десяти лет.

II

Однажды я встретился с ним в коридоре.

— Тебя Алешкой зовут? — спросил я вежливо, ради первого знакомства, дергая его за ухо.

— Алешкой. А что?

— Да ничего. Ну, здравствуй. У тебя мать больная?

— Да, брат, мать больная. С ногами у нее неладно. Не работают.

— Плохо ваше дело, Алешка. А деньги есть?

— В сущности, — сказал он, морща лоб, — денег нет.

Тем и живем, что я заработкаю.

— А чем ты зарабатываешь?

Посмотрев на меня снизу вверх (я был в три раза выше его), он с любопытством спросил:

— Тебе там наверху не страшно?

— Нет. А что?

— Голова не кружится?

Я засмеялся.

— Нет, брат. Все благополучно.

— Ну и слава Богу! До свиданья-с.

Он подпрыгнул, удариł себя пятками по спине и убежал в комнату матери.

Эти нелепые замашки в таком благонравном мальчике удивили меня. С матерью он был совсем другим. Я понял, что хитрый мальчишка надевает личину в том или другом случае, и решил при первой возможности разоблачить его.

Но он был дьявольски хитер. Я несколько раз ловил его в коридоре, подслушивал его разговоры с матерью — все было напрасно. При встречах со мной он был юмористически нахален, подмигивал мне, хохотал, а сидя с матерью, трогательно ухаживал за ней, читал ей книги и в конце вечера неизменно говорил с видом заправского молодого человека:

— Ну-с, а мне нужно написать кое-какие письма.

Я приставал к нему несколько раз с расспросами:

— Что это за письма?

Он был непроницаем.
Однажды я решился на жестокость.
— Не хочешь говорить мне, — равнодушно процедил я, — и не надо. Я и сам знаю, кому эти письма...
— Ну? Кому? — тревожно спросил он.
— Разным благодетелям. Ты каждый день с этими письмами пропадаешь на несколько часов... Наверное, таскаешься по благодетелям и клянчишь.
— Дурак ты, — сказал он угрюмо. — Если бы я прошил милостыни, то и у тебя просил бы. А я заикнулся тебе хоть раз? Нет.

И добавил с напыщенно-гордым видом:
— Не беспокойся, брат... Я не позволю себе просить милостыни... Не таковский!

Должен признаться: я был крайне заинтересован таинственным Алешкой. Сказывались мои двадцать два года и 24 часа свободного времени в сутки.

Я решил выследить Алешку.

III

Был теплый летний полдень.
Из-за перегородки слышался монотонный голос Алешки, читавшего матери "Анну Каренину". Через некоторое время он прервал чтение и заботливо спросил:

— Устала?
— Немного.
— Ну, отдохни. А я пойду. Если захочется без меня кушать, смотри сюда: вот ветчина, холодные котлеты, молоко. Захочется читать — вот книга. Ну, прощай.

В последовательном порядке послышались звуки: поцелуй, хлопнувшей двери и Алешкиных шагов в коридоре.

Я схватил шляпу и тихонько последовал за Алешкой.
Через двадцать минут мы оба очутились в Летнем саду, наполненном в это время дня дряхлыми старишками, няньками с детьми и целой тучей девиц с вечными книжками в руках.

Алешка стал непринужденно прохаживаться по аллеям, бросая в то же время косые проницательные взгляды на сидевших с книжками девиц и дам и делая при этом такой вид, будто бы весь мир создан был для наслаждений и удовольствий.

Неожиданно он приостановился.

На скамейке, полускрытым зеленым кустом, сидела сухая девица и, опустив книгу на колени, мечтательно глядела в небо. Думы ее, вероятно, витали далеко, отрещившись от всего земного, рассеянный взгляд видел в пространстве его, прекрасного чудесного героя недочитанной книги, обаятельного, гордого красавца, а неспокойное сердце девичье крепко и больно колотилось в своей непрятливой, по наружному виду, клетке.

Алешка тихо приблизился к мечтательнице, стащил с головы фуражку и почтительно сообщил:

— А вам, барышня, письмецо есть...
— От кого? — вздрогнула девица и обернула к Алешке свое ставшее сразу пунцовым лицо.
— От "него", — прошептал Алешка, щуря глаза с самым загадочным видом.
— А... кто... он?.. — еще тише, чем Алешка, прошелестела девица.
— Не велено сказывать. Ах! — вскрикнул он неожиданно (будто прорвался) с самым простодушным глуповатым восторгом. — Если бы его видели; такой умница, такой красавец — прямо удивительно!

Девица дрожащими руками взяла письмо... на лице ее было написано истерическое любопытство. Грудь тяжело вздыхалась, а маленькие бесцветные глаза сияли, как алмазы...

— Спасибо, мальчик. Ступай... Впрочем, постой. Вот тебе!

Девица порылась в ридикюле, вынула две серебряные монеты и сунула их в руки добром вестнику.

Добрый вестник осыпал ее благодарностями, отсалютовал фуражкой и сейчас же деликатно исчез, не желая присутствовать при такой интимности, как чтение чужого письма.

Сидя на противоположной скамье, я внимательно следил за девицей. Бледная как смерть, она лихорадочно разорвала конверт, вынула из него какую-то хитроумно сложенную бумажку, развернула ее, впилась в нее глазами и сейчас же с легким криком уронила ее на пол... Бесцветные глаза девицы метали молнии, но она быстро спохватилась, напустила на себя равнодушный вид, поднялась, забрала свою книгу, сумочку и быстро-быстро стала удаляться.

Когда она скрылась с глаз, я вскочил, поднял брошенное письмо от "него" и прочел в этом таинственном письме только одно слово: "Дура!"

Второе лицо Алешки было разгадано.

IV

Алешка выходил из сада, распространив все свои письма и легкомысленно позывая серебром в растопыренном кармане.

У входа я поймал его, крепко схватил за руку и пропшипел:

— Ну-с, Алешенька... Теперь мы знаем ваши штуки!..

— Знаешь? — сказал он цинично, нисколько не испугавшись. — Ну и на здоровье.

— Кто это тебя научил? — суровым тоном спросил я, еле удерживаясь от смеха.

— Сам, — улыбнулся он с очаровательной скромностью. — Надо же чем-нибудь семье помогать.

— Но ведь если ты когда-нибудь попадешься — знаешь, что с тобой сделают? Изрядно поколотят!

Он развел руками, будто соглашаясь с тем, что всякая профессия имеет шипы.

— До сих пор не колотили, — признался он. — Да вы не смотрите, что я маленький. О-о... Я хитрый как лисица... Вижу: где, как и что.

— Все-таки, — решительно заявил я, — твоя профессия не совсем честная...

— Ну да! Толкуйте.

— Да, конечно. Ведь ты же обманываешь девиц, сообщая им, что письмо — от красивого, умного молодого человека, в то время как оно написано тобой.

Мальчишка прищурился. Мальчишка этот был скользок, как угорь.

— А почему, скажите пожалуйста, я не могу быть умным молодым человеком? А?

— Да уж ты умный, — согласился я. — Уж такой умный, что беда. Только почему ты, умный молодой человек, пишешь такие резкие письма. Почему "дура", а не что-нибудь другое?

И он ответил мне тоном такого превосходства, что я сразу почувствовал к нему невольное уважение.

— А разве же они — не дуры?

Вечером я лежал на диване и слушал тоненький, нежный голосок:

— Мамочка, дать еще цыпленка?

— Спасибо, милый, я сыта.

— Так я тебе почитаю.

— Не надо. Ты, вероятно, устал, продавая эти противные газеты. Отдохни лучше.

— Спасибо, мамочка. Мне еще надо написать кое-какие письма!.. Ох-хо.

С тех пор прошло несколько лет... И до настоящего дня этот проклятый двуличный мальчишка не выходил у меня из головы.

Теперь он вышел.

РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

I

Встретившись утром с Натальей Сергеевной, я услышал от нее следующее:

— Забыли меня? Нечего сказать — хороши! Вероятно, новый "предмет", как говорят, кажется, военные писаря, завелся?

— Я? Забыл вас? Тебя... Наташа?

— Тссс... Без фамильярностей. Что мы делаем сегодня вечером?

— Что угодно! Хотите, отправимся в театр?

— А что там?

— Новая пьеса "Цепи любви". Интереснейшая штучка! Сюжет новый и захватывающий: молодой граф живет счастливо с женой, но это счастье обманчиво... Представь себе... гм... те!.. — представьте, говорю я, что у этого графа есть на душе грех: любовница, которую он покинул с ребенком и которая в один прекрасный день приезжает в дом, случайно, как гувернантка. Ребенка она выдает за младшую сестру, граф, конечно, догадывается, в чем дело, но не может сказать, у жены какие-то странные предчувствия... Очень интересно! Масса драматических коллизий, захватывающий лиризм некоторых мест...

— Ну, поедем.

Я обещал заехать за Натальей Сергеевной к 8 часам; в тот же день около 5 часов вечера явился на обед к Марусиной.

Обедал.

— Как вы думаете, — спросила за жарким Марусина.

— Хорошая эта пьеса "Цепи любви"?

— А что? — осторожно прищурился я.

— Я бы хотела сегодня посмотреть ее.

— Сегодня? Хотите, лучше завтра поедем?

— Нет, именно сегодня. Только вот не знаю — интересная ли это пьеса?

— Дрянь. Страшная чепуха... Сюжет старый, как мир, и захваченный всеми горе-драматургами... Какой-то идиотский граф (конечно! Без графа подобная галиматья не обойдется...) женился, и вот он якобы счастлив, а на самом деле у него есть старая любовница с ребенком, которая является в дом под видом гувернантки... Очень жизненно, не правда ли? Ну и так далее... Весь этот вздор пересыпан глупыми коллизиями, неуместным лиризмом и залит целым морем одуряющей скуки.

— Ну, а я все-таки хочу пойти.

— Автор, как мне говорили, прегорький пьяница. Вероятно, все эти дикие "Цепи" написаны в алкоголическом бреду.

— А я все-таки пошла бы.

— Что ж, пожалуйста. Кстати, вы не подвержены грудной жабе?

— Нет. А что?

— Это удивительное помещеньице в смысле сквозняков и грудной жабы. Как будто бы архитектор именно и строил все здание с расчетом исключительно на грудную жабу. Мы помолчали.

— Фойе неуютное... Капельдинеры грубияны.

— Вы пойдете со мной?

— К сожалению, я уже обещал одному человечку быть там. Но тем не менее в театре прошу разрешения побывать немного около вас.

— Что это за человечек еще?

— Просто одна знакомая. Напросилась, ну, сами понимаете, неловко было отказать... Согласился...

— А-а... Вот как... Новая привязанность?

Я фальшиво расхохотался.

— Вечно вы надо мной подтруниваете... Нельзя быть такой злой... Новая привязанность... Ха-ха-ха! И это говорите вы!..

— Пустите мои руки, фальшивая душа!.. Так вы не оставите меня в театре одну?..

II

Когда мы ехали в театр, Наталья Сергеевна была весела и болтлива; я молчал.

— Чего вы молчите?

— Разве я молчу?

— Да вы же не сказали ни одного слова.

— Нет, сказал... целых три: "разве я молчу"?.. А теперь даже еще больше.

— Спасибо. Вы безумно щедры. Если так будет продолжаться, я прогоню вас от себя и буду сидеть одна.

— О, если бы ты, милая, это сделала... — подумал я, сочувственно пожимая самому себе холодную руку.

Первое действие уже началось, когда мы приехали и вошли в ложу. Пьесу я не смотрел, сидел молчаливый, бросая редкие взгляды в партер и отыскивая в рядах высокую фигуру в золотистом платье с пышными белокурыми волосами.

...Я вздрогнул. Марусина сидела в третьем ряду и, отвернувшись от сцены, упорно разглядывала в бинокль меня и мою соседку.

Я украдкой поклонился.

— Кому это вы там еще кланяетесь? — сухо спросила Наталья Сергеевна.

— Одна знакомая.

— Какая там еще знакомая?

— Так, деловое знакомство. Кстати, хорошо, что она здесь. Мне нужно ей слова два по делу сказать...

— Начина-ается! Какое такое еще дело?

— Продажа мельницы. Я устраиваю тут одному помещику ее мельницу на Днепре.

— Вот как? С каких это пор вы комиссионерством занялись?

— Вам не дует?

— Нет. Я спрашиваю: с каких это пор вы комиссионерством занялись?

— Миленькая, — захихикал я. — Да вы, кажется, меня ревнуете?

Она презрительно пожала плечами и замолчала.

Когда кончился акт, я поднялся и сказал:

— Вы разрешите на минутку отлучиться? Я скажу только слова два-три и вернусь.

— Пожалуйста! Можете хоть совсем не возвращаться.

— Милая! Вы... сердитесь?

— Ничего я не сержусь... За что? Я серьезно говорю: если у вас есть такое срочное дело, которое нельзя отложить даже в театре, вы не стесняйтесь... Только едва ли вежливо оставлять женщину одну в незнакомом месте, где мужчины такие нахалы.

— Господи... но ведь вы же в ложе!

— А что ему стоит взять да перелезть из соседней ложи через барьер...

— Ну хорошо... Я останусь!

— Нет, идите, идите... Мне так неловко, что я затруднила вас, заставив сопутствовать мне...

— Фи... Стыдитесь...

С тяжелым чувством спустился я в партер. Марусина очень обрадовалась.

— Здравствуйте еще раз! Вы знаете, какая прелест: около меня есть свободное место. Хотите посидеть со мной один акт?..

— Я... был бы счастлив... Но там дама...

— Да? Я видела ее. Недурна, только мажется, кажется, неимоверно. Впрочем... простите... вам, может быть, неприятно?..

— Нет, ничего. Кх... кх... Ну, как поживаете?

— Спасибо. Если бы я знала, что вы не можете покинуть вашу даму даже на минутку, я бы ни за что сюда не приехала. А у меня как раз жажда — пить очень хочется — только что ж... не буду вас затруднять.

— Пойдем! — грубо проворчал я.

— Нет, что уж... Потерплю...

— По-ойдем!

Я встал, взял ее под руку и потащил в фойе, чувствуя на своей спине раскаленный взгляд одинокой Натальи Сергеевны...

III

— Ну, как мельница? — спросила меня Наталья Сергеевна, когда я с видом побитой собаки вполз в ложу.

— Какая вы злая! Если бы вы знали, что она говорила о вас, вы не были бы такой...

— Интересно: что она могла там сказать... — скривилась Наталья Сергеевна.

— Она нашла вас очаровательной! Будь я, говорит, мужчиной — непременно бы в нее влюбился... Эти губы, этот цвет лица... Она уверена, что я влюблен в вас и совершенно искренно поздравляла меня с хорошим вкусом.

— Ну да... нашли красавицу! Я думаю вы наполовину выдумали.

— Ей-Богу, нет. Чего мне выдумывать...

Я неожиданно замолк и глубоко задумался.

— А что если... их познакомить сегодня? Идея во всех отношениях хорошая... Можно перетащить Марусину в нашу ложу, и мне уже не придется в антрактах носиться

как угорелому из ложи в партер и обратно... Кроме того, они, вероятно, разговорятся и перестанут терзать и мучить меня своими словечками и шпильками... Кроме того, мне, конечно, предстояло провожать Наталью Сергеевну домой, а Марусина просила свезти ее в ресторан, — теперь можно обеих свезти в ресторан... А после развести по домам на автомобиле... И кроме того, — о, черт возьми! — почему бы им и в самом деле не подружиться? Бабы, в сущности, хорошие, сердечные, если отбросить в сторону неуместную ревность и разные женские штучки...

— Вы ей так понравились, — сказал я вслух, — что она мне даже надоелапросьбами: познакомить вас.

— Да? — открыла широко глаза Наталья Сергеевна... Ну что ж — если она приличная женщина — отчего же? Пригласите ее в нашу ложу.

Скрывая радость, я встал и отправился вниз к Марусиной.

— Поздравляю вас, — сказал я. — Вы произвели на мою даму ошеломляющее впечатление... Она все допытывалась: кто эта красавица, с которой я выходил в фойе? Утверждает, что я влюблен в вас до безумия.

— Она мне тоже нравится. У нее в глазах есть что-то симпатичное.

— Конечно, конечно! Она ко мне все приставала, чтобы я познакомил ее с вами. Просто влюблена в вас.

— Да? Я с удовольствием познакомлюсь сней.

— Прекрасно! Какая вы милая... Пойдемте в нашу ложу. Она удивленно взглянула на меня.

— Как... в нашу ложу?.. Но я думала, что она спустится сюда.

— Зачем? Будем втроем сидеть в ложе.

— После — пожалуй. Но сейчас, если ей хочется познакомиться, — пусть она сюда и придет. Неудобно же мне тащиться в ложу к незнакомой женщине...

Я потоптался на месте и сказал:

— Ну ладно. Пойду приведу ее сюда.

IV

Я не думал, что дело так осложнится: Наталья Сергеевна наотрез отказалась спуститься в партер.

— Если ей так хочется познакомиться — пусть придет сюда.

— Да она стесняется! Говорят: ваша дама такая ослепительная, что мне даже страшно.

— Ну, а я к ней тоже не пойду!

— Обождите, — с наружной жизнерадостностью сказал я. — Одна минута — и все будет устроено. Пустяки! Я побежал вниз.

— Она боится показаться вам навязчивой и стесняется прийти сюда. Отчего бы вам не зайти в нашу ложу?

— Глупости! С какой стати?.. Посидите лучше со мной этот акт... если, конечно, я вам не безразлична...

Я взглянул на нашу ложу. Женская рука делала мне оттуда какие-то знаки.

Я напряженно засмеялся.

— Ну ладно... Тогда вот что: выходите в фойе, а я приведу туда свою даму... На нейтральной, так сказать, почве!

— Это другое дело! Ну, проводите меня.

Я привел ее в фойе, посадил на диван и хотел помчаться в ложу, но был остановлен.

— Позвольте... Как же вы меня оставляете одну, в фойе. Это неудобно.

— А... как же я приведу свою даму?

— Ну... можно послать за ней кого-нибудь...

— Помилуйте, это неудобно... Она светская женщина... Марусина сухо сказала:

— Я тоже светская женщина. Впрочем, делайте как знаете. Все равно сегодняшний вечер уже испорчен...

Через минуту я уже был в ложе.

— Хотите прогуляться в фойе? — простодушно спросил я.

— Надо было предложить это раньше, — сумрачно проворчала Наталья Сергеевна. — Впрочем, пойдем...

Я привел ее в фойе, сделал полкруга, наткнулся, как будто нечаянно, на сидевшую на диване Марусину и воскликнул:

— Вот как кстати! Позвольте, господа, познакомить вас: Наталья Сергеевна Боровитина — Елена Ивановна Марусина.

Дамы подали друг другу руки, а я, усталый, в изнеможении, оперся о косяк двери и затих...

— Нравится вам пьеса? — спросила Марусина.

— Не особенно. А вам?

— Так себе. Длинноватая...

"Слава Богу, — подумал я. — Наладилась, завертелась мельница!"

Вслух попросил:

— Разрешите мне, пожалуйста, пойти в буфет, выкупить папирюску.

— А кто же... отведет меня на место?

— Не желаете ли в нашу ложу сесть? — любезно предложила Наталья Сергеевна.

— Молодец баба! — подумал я. — Умница. Недаром я тебя так люблю...

— Спасибо... Если вас не стеснит...
Я потихоньку убежал в курительную.

V

Шел последний акт...

— Куда бы нам, mesdames, отправиться после спектакля поужинать? — несмело предложил я.

— К Контану, — сказала Марусина.

— Если вы, дорогая Елена Ивановна, ничего не имеете — я бы предложила Донона. Там лучше кормят.

— О, мне все равно. Только у Контана прекрасный оркестр. Я предлагаю к Контану.

— К Контану так к Контану. Только я так привыкла к Донону... Отправимся лучше туда.

— Хорошо. Можно к Донону. Только Контан, по-моему, лучше. Если ехать — так к Контану.

В это время кончился спектакль.

— Я раздевалась внизу, — сказала Марусина. — Не проводите ли вы меня?

— А как же я? — спросила Наталья Сергеевна. — Впрочем, конечно, если вам удобнее проводить Елену Ивановну...

— Нет, что вы, — сказал я с первной дрожью в голосе.

— Мне все равно.

— Все равно? — тонко улыбнулась Марусина. — Тогда, конечно, принесите раньше платье Натальи Сергеевны. Не беспокойтесь... Я сама отыщу свое...

— Я не допущу этого! — горячо воскликнул я.

— Я сейчас провожу вас вниз...

— Кажется, уже поздно, — мило улыбнулась Наталья Сергеевна. — В ресторан не стоит ехать. Не правда ли? Я поеду домой. Надеюсь, вы меня проводите, милый друг?.. Вы меня так часто сегодня покидали, что теперь, надеюсь, не покинете.

Я растянул лицо в беззаботную улыбку и весело сказал:

— Сейчас! Сейчас все это будет сделано. Не беспокойтесь! Одну минутку... Только одна минутка — и готово.

Я оставил их в ложе вдвоем. Выбежал... Отыскал свободного капельдюниера, сунул ему в руку пять рублей и сказал:

— Пойди в ложу номер третий. Там две барыни. Скажи им, что я сейчас шел по коридору, а меня схватили два агента сыскной полиции и, несмотря на сопротивление, куда-то потащили. Вырази надежду, что это недоразумение, которое дня через три разъяснится, что меня, вероятно, смешали с кем-то другим. Не забудь сказать, что я очень сопротивлялся, отбивался...

Отыскав свое пальто, я оделся и уехал.

Сидел весь вечер в скромном ресторанчике, попивая вино, — и никогда мне не было так хорошо, тихо, светло и радостно...

Вообще, я люблю одиночество.

ЧАД

План у меня был такой: зайти в близлежащий ресторан, наскоро позавтракать, после завтрака прогуляться с полчаса по улице, потом поехать домой и до обеда засесть за работу. Кроме того, за час до обеда принять ванну, вздрогнуть немножко, а вечером поехать к другу, который в этот день праздновал какой-то свой юбилей. От друга постараться вернуться пораньше, чтобы высপаться как следует и на другое утро со свежими силами засесть за работу.

Так я и начал: забежал в маленький ресторан и, не снимая пальто, подошел к буфетной стойке.

Сзади меня послышался голос:

— Освежиться? На скорую руку?

Оглянувшись, я увидел моего юбилейного друга, сидевшего в углу за столиком в компании с театральным рецензентом Буйносовым.

Все мы обрадовались чрезвычайно.

— Я тоже зашел на минутку, — сообщил юбилейный друг. — И вот столкнулся с этим буйносным человеком. Садись с нами. Сейчас хорошо по рюмке хватить.

— Можно не снимая пальто?..

— Пожалуйста!

Юбиляр налил три рюмки водки, но Буйносов схватил его за руку и решительно заявил:

— Мне не наливай. Мне еще рецензию на завтра писать нужно.

— Да выпей! Какая там еще рецензия...

— Нет, братцы, не могу. Мне вообще пить запретили. С почками неладно.

— Глупости, — сказал я, закусывая первую рюмку икрой. — Какие там еще почки?

— Молодец, Сережа! — похвалил меня юбилейный друг. — За что я тебя люблю: за то, что никогда ты от рюмки не откажешься.

Именно я и хотел отказаться от второй рюмки. Но друг с таким категорическим видом налил нам по второй, что я безропотно чокнулся и влил в себя вторую рюмку.

И сейчас же мне чрезвычайно захотелось, чтобы и Буйносов тоже выпил.

— Да выпей! — умоляюще протянул я. — Ну, что тебе стоит? Ведь это свинство: мы пьем, а ты не пьешь!

— Почему же свинство? У меня почки...

— А у нас нет почек? А у юбиляра нет почек? У всякого человека есть почки. Это уж, брат, свыше...

— Ну, я только одну...

— Не извиняйся! Можешь и две выпить.

Буйносов выпил первую, а мы по третьей.

Я обернулся направо и увидел свое лицо в зеркале. Внимательно всмотрелся и радостно подумал: "Какой я красивый!"

Волна большой радости залила мое сердце. Я почувствовал себя молодым, сильным, любимым друзьями и женщинами — и безудержная удаль и нежность к людям проснулась в душе моей.

Я ласково взглянул на юбиляра и сказал:

— Я хочу выпить за тебя. Чтобы ты дождался еще одного юбилея и чтобы мы были и тогда молоды так же, как теперь.

— Браво! Спасибо, милый. Выпьем. Спасибо, Буйнос!

Пей — не хами.

— Я не хам... хамлю, — осторожно произнес странное слово Буйносов. — А только мне нельзя. Рецензию нужно писать со свежей головой.

— Вздор! После напишешь.

— Когда же после... Ведь ее в четверть часа не напишешь.

— Ты?! — с радостным изумлением воскликнул юбилейный друг. — Да ты в десять минут отхватишь такую рецензию, что все охнут!

— Где там... — просиял сконфуженный Буйносов и, чтобы отплатить другу любезностью за любезность, выпил вторую рюмку.

— Ай да мы! Вот ты смотри: скромнейский, скромнейский, а ведь он потихонечку нас за пояс заткнет...

— А вы что же думали, — засмеялся Буйносов. — И заткну. Эх, пивали мы в прежнее время! Чертям тошно было! Э-э!.. Сережа, Сережа! А ты почему же свою не выпил?

— Я... сейчас, — смущаясь я, будто бы меня поймали на краже носового платка. — Дай ветчину прожевать.

— Не хами, Сережа, — сказал юбилейный друг. — Не задерживай чарки.

Я вспомнил о своей работе.

— Мне бы домой нужно... Дельце одно.

К моему удивлению, возмутился Буйносов:

— Какое там еще дельце? Вздор — дельце! А у меня дела нет?! А юбилиру на вечере хлопот мало? Посидим минутку. Черт с ним, с дельцем.

“А действительно, — подумал я, любуясь в зеркало на свои блестящие глаза. — Черт с ним, с дельцем!..”

Вслух сказал:

— Так я пальто сниму, что ли. А то жарко.

— Вот! Молодец! Хорошо, что не хамишь. Снимай пальто!

— ...И пива я бы кружку выпил...

— Вот! Так. Освежиться нужно.

Мы выпили по кружке пива и разнеженно посмотрели друг на друга.

— Сережа... милый... — сказал Буйносов. — Я так вас двух люблю, что черт с ней, с рецензией. Сережа! Стой! Я хочу выпить с тобой на “ты”.

— Да ведь мы и так на “ты”! — засмеялся я.

— Э, черт. Действительно. Ну, давай на “вы” выпьем.

Затея показалась такой забавной, что мы решили привести ее в исполнение.

— Графинчик водки! — крикнул Буйносов.

— Водку? — удивился я. — После пива?

— Это освежает. Освежимся!

— Неужели водка освежить может? — удивился я.

— Еще как! Об этом даже где-то писали... Сгорание углерода и желтков... Не помню.

— Обедать будете? — спросил слуга.

— Как? Разве уже... обед?..

— Да-с. Семь часов.

Я вспомнил, что потерял уже свою работу, небольшой сон и ванну. Сердце мое сжалось, но сейчас же я успокоился, вспомнив, что и Буйносов пропустил срочную рецензию. Никогда я не чувствовал так остро справедливости пословицы: “На миру и смерть красна”.

— Семь часов?! — всплеснул руками юбилиар. — Черт возьми! А мой юбилей?

Буйносов сказал:

— Ну куда тебе спешить? Времени еще вагон. Посидим! Черт с ней, с рецензией.

— Да, брат... — поддержал и я. — Ты поси迪 с нами. На юбилей еще успеешь.

— Мне распорядиться нужно...

— Распорядись! Скажи, чтобы дали нам сейчас обед и белого винса.

Юбилиар подмигнул.

— Вот! Идея... Освежает!

Лицо его неожиданно засияло ласковой улыбкой.

— Люблю молодцов. Люблю, когда не хамят.

Когда нам подали кофе и ликер, я бросил косой взгляд на Буйносова и сказал юбилиару:

— Слушай! Плюнь ты на сегодняшний юбилей. Ведь это пошлистина: соберутся идиоты, будут говорить тривиальности. Не надо! Посиди с нами. Жена твоя и одна управится.

— Да как же: юбилей, а юбилиара нет.

Буйносов задергался, заерзал на своем месте, засуетился:

— Это хорошо! Это-то и оригинально! Жизнь однообразна! Юбилеи однообразны! А это свежо, это молодо: юбилей идет своим чередом, а юбилиара нет. Где юбилиар? Да он променял общество туши на двух друзей... которые его искренне любят.

— Поцелуемся! — вскричал воодушевленно юбилиар.

— Верно! Вот. Будем освежаться бенедиктином.

— Вот это яркий человек! Вот это порыв, — воодушевился Буйносов. — В тебе есть что-то такое... большое, оригинальное. Правда, Сережа?

— Да... У него так мило выходит, когда он говорит: “Не хами!”

— Не хамите! — с готовностью сказал юбилиар.

— Сейчас бы кюрасо был к месту.

— Почему?

— Освежает.

Я уже понимал всю беспочвенность и иллюзорность этого слова, но в нем было столько уюта, столько оправдания каждой новой рюмке, каждой перемене напитка, что кюрасо был признан единственным могущим освежить нас напитком.

— Извините, господа, сейчас гасим свет... Ресторан закрывается.

— Вздор! — сказал бывший юбилиар. — Не хами!

— Извините-с. Я сейчас счет подам.

— Ну, дай нам бутылку вина.

— Не могу-с. Буфет закрыт.

Буйносов поднял голову и воскликнул:

— Ах, черт! А мне ведь сегодня вечером нужно было в театр на премьеру...

— Завтра пойдешь. Ну, господа... Куда же мы? Теперь бы нужно освежиться.

В мою затуманенную голову давно уже просачивалась мысль, что лучше всего — поехать домой и хоть отчасти высаться.

Мы уже стояли на улице, осыпаемые липким снегом, и вопросительно поглядывали друг на друга.

Есть во всякой подвыпившей компании такой психологический момент, когда все смертельно надоедают друг другу и каждый жаждет уйти, убежать от пьяных друзей, приехать домой, принять ванну, очиститься от ресторанный пьяной грязи, от табачной копоти, переодеться и лечь в чистую, свежую постель, под толстое уютное одеяло... Но обыкновенно такой момент всеми упускается. Каждый думает, что его уход смертельно оскорбит, обездолит других, и поэтому все топчутся на месте, не зная, что еще устроить, какой еще предпринять шаг в глухую темную полночь.

Мы выжидательно обернули друг к другу усталые, истомленные попойкой лица.

— Пойдем ко мне, — неожиданно для себя предложил я. — У меня еще есть дома ликер и вино. Слугу можно заставить сварить кофе.

— Освежиться? — спросил юбиляр.

“Как попугай заладил, — с отвращением подумал я. — Хоть бы вы все сейчас провалились — ни капельки бы не огорчился. Все вы виноваты... Не встреть я вас — все было бы хорошо, и я сейчас бы уже спал”.

Единственное, что меня утешало, это — что Буйносов не написал рецензии, не попал на премьеру в театр, а юбиляр пропьянировал свой юбилей.

— Ну, освежаться так освежаться, — со вздохом сказал юбиляр (ему, кажется, очень не хотелось идти ко мне), — к тебе так к тебе.

Мы повернули назад и побрали. Буйносов молча, безропотно шел за нами и тяжело сопел. Идти предстояло далеко, а извозчиков не было. Юбиляр шатался от усталости, но тем не менее в одном подходящем случае показал веселость своего нрава; именно разбудил дремавшего ночного сторожа, погрозил ему пальцем, сказал знаменитое: “Не хами!” — и с хохотом побежал за нами...

— Вот дурак, — шепнул я Буйносову. — Как так можно свой юбилей пропустить?

— Да уж... Не дал Господь умишка человеку.

“А тебе, — подумал я, — влетит завтра от редактора... Покажет он, как рецензии не писать. Будет тебе здорово за то, что я пропустил сегодняшнюю работу и испортил завтрашнее утречко”.

Я долго возился в передней, пока зажег электричество и разбудил слугу. Буйносов опрокинул и разбил какую-то вазу, а юбиляр предупредил слугу, чтобы он вообще не хамил.

Было смертельно скучно и как-то особенно сонно... противно. Заварили кофе, но он пах мылом, а я, кроме того, залил пиджак ликером. Руки сделались липкими, но идти умыться было лень.

Юбиляр сейчас же заснул на новом плюшевом диване. Я надеялся, что Буйносов последует его примеру (это развязало бы, по крайней мере, мне руки), но Буйносов сидел запрокинув голову и молчаливо рассматривал потолок.

— Может, спать хочешь? — спросил я.

— Хочу, но удерживаюсь.

— Почему?

— Что же я за дурак: пил-пил, а теперь вдруг засну — хмель-то весь и выйдет. Лучше уж я посижу.

И он остался сидеть, неподвижный, как китайский идол, как сосуд, хранящий в себе драгоценную влагу, ни одна капля которой не должна быть потеряна.

— Ну а я пойду спать, — сухо проворчал я.

Проснулись поздно.

Все смотрели друг на друга с еле скрываемым презрением, ненавистью, отвращением.

— Здорово вчера дрызнули, — сказал Буйносов, из которого уже, вероятно, улетучилась вся драгоценная влага.

— Сейчас бы хорошо освежиться!

Я сделал мину любезного хозяина, послал за закуской и вином. Уселись трое с помятymi лицами...

Ели лениво, неохотно, устало.

“Как они не понимают, что нужно сейчас же встать, уйти и не встречаться! Не встречаться, по крайней мере, дня три!!!”

По их лицам я видел, что они думают то же самое, но ничего нельзя было поделать: вино спаяло всех троих самым непостижимым, самым отвратительным образом...

Рукавов собирался пить чай.

Он налил стакан, посмотрел его на свет и неодобрительно поджал губы.

— Чайшко-то, кажется, мутноватый... Ох уж эти меблированные комнаты! Ох уж эта холостая жизнь!

Дверь скрипнула. Рукавов оглянулся и увидел прижавшегося к притолоке и молча на него смотревшего Заклятьина.

— А, здравствуйте! — равнодушно сказал Рукавов.

— Вот приятный визит. Входите... Ну, как дома? Все благополучно? Чаю хотите?

Заклятьин отделился от притолоки и сделал шаг вперед.

— Я пришел только сказать вам, Рукавов, — держась рукой за сердце, сказал Заклятьин, — что людей, подобных вам, нужно убивать без милосердия, как бешеных собак. И, клянусь, я убью вас!

Рукавов отставил налитый стакан. Брови его были нахмурены.

— Слушайте, Заклятьин... Я не знаю, на чем вы там помешались и каким вздором сейчас наполнена ваша голова... Но об одном прошу вас: обдумывайте, что говорите! Даже в пылу гнева. Есть такие слова, о которых потом жалеешь всю жизнь. Садитесь. Что случилось?

— Рукавов! Вы меня поражаете!

— Чем? Наоборот, вы меня поражаете. Хотите чаю?

— Рукавов! Берегитесь!

Рукавов улыбнулся.

— Хорошо. Только скажите: от чего. Тогда, может быть, я и буду беречься.

Заклятьин скривил лицо и, взявшись руками за спинку стула, внятно отчеканил:

— Я узнал, что вы находитесь в связи с моей женой, Надеждой Петровной.

— Есть ложь смешная, есть ужасная, есть глупая. То, что вы, Заклятьин, говорите, — ложь третьей категории.

Рукавов снова взялся за свой стакан и, размешивая сахар, бросил холодный взгляд на бледное, искаженное злостью лицо Заклятьина.

— Это не ложь! Когда я уезжал в Москву, вас видели однажды выходящим от моей жены в восемь часов утра.

— И это все? — сурово спросил Рукавов. — Стыдитесь! Извольте, я скажу вам: да, в восемь часов утра выходил от вас, но вошел я к вам в восемь без четверти. Просто забыл

накануне вечером свою палку и зашел за ней. Уверен, что Надежда Петровна спала в это время сном праведницы.

— Знаете ли вы, — злобно прошипел Заклятьин, — что я нашел у нее в столе записку от вас, правда, прямых указаний не дающую, но вы там называете мою жену на ты!

Рукавов пожал плечами:

— Какой же в этом ужас? Просто как-то в шаловливом настроении я назвал ее "ты" и теперь постоянно дразню ее этим. Мне было забавно, как она сердится.

— Рукавов! — потупившись, тихо сказал Заклятьин.

— Сегодня жена сама сказала мне, что вы ее любовник.

Рукавов поднял одну бровь.

— Вы... можете поклясться в этом?

— Даю вам мое честное слово.

— Ох, эти женщины, — усмехнулся Рукавов, качая головой. — Никогда не знаешь, как с ними держаться... Впрочем, вы не подумайте, что я отрицал давеча все только потому, что боялся вас. А просто не в моих правилах разглагольствовать о своих победах.

— Еще бы, — угрюмо сказал Заклятьин. — Это так понятно! И тем не менее еще раз повторяю: берегитесь! Я убью вас.

Рукавов пожевал губами.

— Можно вам задать вопрос, но только совершенно серьезно? И вы отвечайте так же.

— Да.

— За что вы хотите меня убить?

— Вы разбили мою жизнь. Все мое счастье было в этой женщине — вы отняли ее!

Рукавов погрузился в задумчивость.

— Вот что, Заклятьин... Я вам сейчас возражу, но не потому, что желаю сохранить свою жизнь... Я понимаю — слишком глупо для меня было бы плакать и воскликать, прячась за стол: ах, не убивайте меня, ах, пощадите меня!.. В конце концов, жизнь — не такое уж важное кушанье. И на помощь я звать не буду... и из комнаты не выйду. Можете убить меня во всякую минуту. И тем не менее еще раз спрашиваю: чем я виноват?

— Вы обманули меня. Вы отняли у меня жену.

Голос Заклятьина звучал торжественно и громко.

— Я жену вашу не отнимал. Она сошлась со мной по своей воле.

— Если бы не вы — мы были бы с ней по-прежнему счастливы.

— А какая у вас гарантия — что не явился бы другой?

— Рукавов! Вы ее оскорбляете!

— Чем? Что вы, помилуйте... И в мыслях не имел. Только смотрите: мы оба рискуем стать в смешное положение. Говоря о другом любовнике, я хочу подчеркнуть, что я — человек, не блещущий никакими талантами и красотой, что я — самый заурядный человек. Не начните же вы сейчас опровергать меня, доказывая, что я человек особенный, ошеломляющий, человек такого сорта, перед которым женщина устоять не может! Человеку, которого хотят убить, не говорят комплиментов!..

— Хорошо! — поморщась, перебил его муж. — Допустим, что вы самый ординарный человек. Что же из этого следует?

— А то, что ординарных людей тысячи. Не будете же вы всех их убивать.

— Не буду. Но они ведь и не любовники жены.

— Если один ординарный человек — любовник, то почему и другой не мог быть любовником? Лотерея!

— В которой муж всегда проигрывает, — громко усмехнулся Заклятьин.

— Утешьтесь! Если я женюсь — я тоже проиграю.

— А вдруг не проиграете? Ведь это цинизм — так думать! Неужели не может быть семьи без измены?

Рукавов встал, протянул вперед руку и взволнованно и быстро заговорил:

— Нет! Прочной любви нет. Верности нет. Опровергайте меня примерами! Скажите мне: "Жена Петрова всю жизнь была верна мужу! Жена Сидорова так и умерла, храня супружескую верность!" Сотни таких случаев есть... тысячи! Верно! Но они моих слов не опровергают. Добавьте даже, что за женами Петрова и Сидорова волочились безуспешно десятки поклонников, что красавец Иванов предлагал этим верным женам все свое состояние, умница Карпов доказывал нелепость верности, вельможа Григорьев тщетно ослеплял этих жен своим могуществом и великолепием... Заклятьин! Слушайте меня, я вам скажу: это все пустяки... А Сазонова-то ведь и не было!

— Какого... Сазонова? — машинально спросил Заклятьин.

— Сазонова! Это я сейчас его выдумал, но Сазонов существует, и живет он, негодяй, в каждом городе: в Харькове, Одессе, Киеве, Новочеркасске!..

— Какой Сазонов?

— Вот какой: в Москве живут муж и жена Васильевы. Сорок лет прожили они душа в душу, свято блюя супружескую верность, любя друг друга. И вот, несмотря на это, Заклятьин, вы не имеете права сказать: "Ах, это была идеально верная жена — мадам Васильева! За ней ухаживали десятки красавцев, а она все-таки осталась верна своему мужу..." — "Почему она осталась верна? — спрошу я вас. — Не потому ли, что сердце ее абсолютно не было способно на измену?" Нет! Нет, Заклятьин! Просто — потому что Сазонов сидел в это время в Новочеркасске. Стоило ему только приехать в Москву, стоило случайно встретиться с семьей Васильевых — и все счастье мужа полетело бы к черту, развеялось бы, как одуванчик от ветерка. Так можно ли серьезно толковать о верности лучшей из женщин, если она, верность эта, зависит только от приезда Сазонова из Новочеркасска?

— Но в таком случае, — нахмурился Заклятьин, — мы возвращаемся к тому, с чего я начал: Сазоновых этих нужно убивать, как бешеных собак!

— Берегитесь! Вас тоже должны будут убить.

— Меня? За что?

— Потому что вы тоже — Сазонов для какой-нибудь женщины, живущей в Курске или Обояни. Может быть, вы никогда и не встретитесь с ней — тем лучше для ее мужа! Но вы — Сазонов.

II

Заклятьин оперся локтями о стол, положил голову на руки и застонал:

— Где же выход? Где выход?!

— Успокойтесь, — участливо сказал Рукавов, гладя его по плечу. — Хотите чаю?

— Боже мой! Как вы можете говорить так хладнокровно?..

— Да ведь чай-то пить все равно нужно, — улыбнулся Рукавов. — Он был мутноватый, но теперь отстоялся. Я вам налью, а?

— Ах ты, Господи... Ну, давайте!!

— Вам два куска сахара? Три?

— Три.

— Крепкий любите?

— Рукавов! Где же выход?

— У вас же был выход, — тихо усмехнулся Рукавов.
— Когда вы пришли давеча, помните. Хотели убить меня, как бешеную собаку.

— Нет, — серьезно сказал Заклятьин. — Я вас убивать не буду. Она больше виновата, чем вы.

— И она не виновата... Слабые, хрупкие, глупые, безвольные женщины! Мне их иногда до слез жалко... Привяжется сердцем такая к одному человеку, уж на подвиг готова, на самозаклание. И своего, задушевного — ничего нет. Все от него идет, — все ее мысли, стремления, все от Сазонова. Все с его барского плеча. Ох-ох!..

Заклятьин выпил свой чай, прошелся раза два по комнате и, круто повернувшись к дивану, упал ничком на него.

— Рукавов, — прокрежетал он. — Я страдаю. Научите, что мне делать!

Рукавов подсел к нему, одной рукой обнял его плечи, а другой — стал ласково, как ребенка, гладить по коротко остриженной голове.

— Бедный вы мой... Ну, успокойтесь. Делать вам ничего не нужно. Жену я у вас заберу, потому что если бы даже она и осталась у вас, то какая же это будет жизнь? Одно мученье. Вы будете мучить ее ревностью, она вас — ненавидеть... Что хорошего? Постарайтесь развлечься, встречайтесь с другими женщинами, увлекайтесь ими. Вы человек неглупый, интересный... Гораздо интереснее меня — клянусь вам, что говорю это совершенно серьезно... Всего-то моего и преимущества перед вами, что я — Сазонов, которого угораздило приехать из Новочеркасска. Лежите смирненько, милый. Ну вот. Встретите вы еще хорошую, душевную женщину, которая приголубит вас по-настоящему...

Плечи Заклятина судорожно передернулись.

— Я Надю никогда не забуду.

— Ничего-о, миленький... забудете, — мягко, просто-дущим протянул Рукавов. — Это сейчас, когда чувствуется вся острота обиды и разочарования, кажется, что горе такое уж большое, такое безысходное... А там обойдется, дальше-то. Ну, конечно, если уж вам под сердце тоска и злость подкатит до того, что будет нестерпимо, ну — убейте меня. Только что ж... Если хорошенъко вдуматься — ведь это не поможет, не имеет никакого смысла... Злости против меня у вас нет, а раз нет злости — не нужно и преступление...

Сумерки обволакивали комнату.

В тихом воздухе долго звучали тихие слова:

— Не плачьте, миленький. Вы большой, взрослый мужчина — нехорошо. Это только женщина может убиваться до смерти, стенать, теряя любимого человека, — потому что у женщины ничего другого, кроме жизни сердца, не имеется. А мы, мужчины, — творцы красоты жизни, творцы ее смысла — должны считать свои сердечные раны такими же царапинами, как и те, которыми награждает нас судьба в других случаях. Удержите ваше сердце от терзаний — мужчина должен уметь сделать это. Попробуйте пить даже первое время, попробуйте наскандалить как-нибудь поудивительнее, чтобы это перебросило вас в другую колею. И не смотрите на весь мир так, как будто он — неловкий слуга, не сумевший у служить вам и поэтому достойный презрения и проклятий. Используйте его получше и умирайте попозже. Через год вы забудете все ваше несчастье наполовину, через пять лет — совсем, а к старости и имени-то вашей бывшей жены не вспомните... Так стоит ли из-за этого терзаться? Вы хотели убить меня... Не беспокойтесь, умру и так, своею смертью, и она умрет, и вы... Все умрем... И даже могилки наши одинокие исчезнут с лица земли — новая жизнь пронесется над ними, — и ни одна душа не будет знать о трех людях, о трех незначительных букашках, которые когда-то волновались, любили и страдали...

Рукавов говорил странные, сбивчивые, мало выражавшие его мысли слова, но тон их был мягок, ласков и любовен; печальные слова плыли по комнате и смешивались с печальными сумерками.

Заклятьин полежал еще немного с закрытыми глазами, потом вздохнул, встал с дивана, обнял Рукавова, поцеловал его и, нашарив в темноте шляпу, ушел.

КУРИЛЬЩИКИ ОПИУМА

I

В комнате происходил разговор.

— У нас с тобой нет ни копейки денег, есть нечего и за квартиру не заплачено за два месяца.

Я сказал:

— Да.

— Мы вчера не ужинали, сегодня не пили утреннего чая и впереди нам не предстоит ничего хорошего.

Я подтвердил это.

Андерс погладил себя по небритой щеке и сказал:

— А между тем есть способ жить припеваючи. Только противно.

— Убийство?

— Нет.

— Работа?

— Не совсем. Впрочем, это противно, как ежедневное занятие... А один день для курьеза попробуем... А?

— Попробуем. Что нужно делать?

— Пустяки. То же, что и я. Одевайся, пойдем на воздух.

— Хозяин остановит.

— Пусть!

Когда мы вышли из комнаты и зашагали по коридору, я старался прошмыгнуть незаметно, не делая шуму, а Андерс, наоборот, бесстрашно ступал ногами, как лошадь.

В конце длиннейшего коридора нас нагнала юркая горничная.

— Господин Андерс, хозяин Григорий Григорьевич очень просят вас зайти сейчас к ним.

— Свершилось! — прошептал я, прислонясь к стене.

— А-а... Очень кстати. С удовольствием. Пойдем, дружище.

Отвратительный стариакашка, владелец меблированных комнат, помешанный на чистоте и тишине, встретил нас холодно:

— Извините, господа. По делу. Вероятно, в душе думаете: "Зачем мы понадобились этой старой скотине?"

Андерс укоризненно покачал головой и хладнокровно сказал:

— Мы все равно собирались сегодня зайти к вам. В глазах старика сверкнула радость.

— Ну? Правда? В самом деле?

— Да... хотели вас искренно и горячо поблагодарить. Вы знаете, мне приходилось живать во многих меблированных комнатах, иногда очень дорогих и роскошных — но такой тишины, такой чистоты и порядка, я буду говорить откровенно: нигде не видел! Я каждый день спрашиваю его (Андерс указал на меня) — откуда Григорий Григорьевич берет время вести такое громадное сложное предприятие?..

— Он меня действительно спрашивал, — подтвердил я. — А я ему, помнится, отвечал: "Не постигаю. Тут какое-то колдовство!"

— Да, — сказал старик с самодовольным хохотом.

— Трудно соблюдать чистоту, тишину и порядок.

— Но вы их соблюдаете идеально!! — горячо воскричал Андерс. — Откуда такой тант, такое чуде!.. По-

мню, у вас в прошлом году жил один пьяница и один самоубийца. Что ж они, спрашивается, посмели нарушить тишину и порядок? Нет! Пьяница, когда его привозили друзья, не издавал ни одного звука, потому что был смертельно пьян, и, брошенный на постель, сейчас же бесшумно засыпал... А самоубийца —помните? — взял себе, потихоньку повесился и висел терпеливо, без криков и воплей, пока о нем не вспомнили на другой день.

— А ревнивые супруги! — подхватил я. — Помнишь их, Андерс? Когда она застала мужа с горничной — что было? Где крики? Гдессора и скандал? Ни звука? Просто взяла она горничную и с мягкой улыбкой выбросила в открытое окно. Правда, та сломала себе ногу, но...

— ...Но ведь это было на улице, — ревниво подхватил стариакашка. — То, что на улице, к моему меблированному дому не относится...

— Конечно!! При чем вы тут? Мало ли кому придется охота ломать на улице ноги — касается это вас? Нет!

— Да... много вам нужно силы воли и твердости, чтобы вести так дело! Эта складочка у вас между бровями, характеризующая твердость и непреклонную волю...

— Вы, вероятно, в молодости были очень красивы?

— Да и теперь еще... — подмигнул Андерс. — Ой-ой!.. Если бы я женат, подальше прятал бы от вас свою же... Ой, заболтались с вами! Извиняюсь, что отнял время. Пойдем, товарищ. Еще раз, дорогой Григорий Григорьевич, приносим от имени всех квартиронтов самые искренние, горячие... Пойдем!..

Повеселевший стариик проводил нас, приветственно размахивая дряхлыми руками. В коридоре нам опять встретилась горничная.

— Надя! — остановил ее Андерс. — Я хочу спросить у вас одну вещь. Скажите, что это за офицер был у вас вчера в гостях... Я видел — он выходил от вас...

Надя весело засмеялась.

— Это мой жених. Только он не офицер, а писарь... военный писарь... в штабе служит.

— Шутите! Совсем, как офицер! И какой красавец... умное такое лицо... Вот что, Надичка... Дайте-ка нам на рубль мелочи. Извозчики, знаете... То да другое.

— Есть ли? — озабоченно сказала Надя, шаря в кармане. — Есть. Вот! А вы заметили, какие у него щеки? Розовые-розовые...

— Чудесные щеки! Прямо нечто изумительное. Пойдем.

Когда мы выходили из дома, я остановился около сидевшего у дверей за газетой швейцара и сказал:

— А вы все политикой занимаетесь? Как приятно видеть умного, интеллиг...

— Пойдем, — сказал Андерс. — Тут не надо... Не стоит...

— Не стоит, так не стоит.

Я кротко повернулся и покорно зашагал за Андерсом.

II

Прямо на нас шел худой, изношенный жизнью человек с согнутой спиной, впалой грудью и такой походкой, что каждая нога, поставленная на землю, долго колебалась в колене и ходила во все стороны, пока не успокаивалась и не давала место другой, неуверенной в себе, ноге. Тащился он наподобие кузнецчика с переломанными ногами.

— А! — вскричал Андерс. — Коля Магнатов! Познакомьтесь... Где вчера были, Коля?

— На борьбе был, — отвечал полуразрушенный Коля.

— Как обыкновенно. Ах, если бы вы видели, Андерс, как Хабибула боролся со шведом Аренстрремом. Хабибула тяжеловес, гиревик, а тот, стройный, изящный...

— А вы сами, Коля, боретесь? — серьезно спросил Андерс.

— Я? Где мне? Я ведь не особенно сильный.

— Ну да... не особенно! Такие-то, как вы, сухие, нервные, жилистые и обладают нечеловеческой силой... как ваш гриф? А ну, сожмите мою руку.

Изможденный Коля взял Андерсову руку, натужился, выпучил глаза и прохрипел:

— Ну что?

— Ой!! Пустите!.. — с болезненным стоном вскричал Андерс. — Вот дьявол... как железо!.. Вот свяжись с таким чертом... Он те покажет! Вся рука затекла.

Андерс стал приплясывать от боли, размахивая рукой, а я дотронулся до впалой груди Коли и спросил:

— Вы гимнастикой занимаетесь с детства?

— Знайте же! — торжествующе захихикал Коля.

— Что я гимнастикой не занимался никогда...

— Но это не может быть! — изумился я. — Наверное, когда-нибудь занимались физическим трудом?..

— Никогда!

— Не может быть. Вспомните!

— Однажды действительно лет семь тому назад я для забавы копал грядки на огороде.

— Вот оно! — вскричал Андерс. — Ишь хитрец! То грядки, а то — смотришь еще что-нибудь... Вот они скромники! Интересно бы посмотреть вашу мускулатуру поближе...

— А что, господа, — сказал Коля. — Вы еще не завтракали?

— Нет.

— В таком случае я приглашаю вас, Андерс, и вашего симпатичного товарища позавтракать. Тут есть недурной ресторон близко... Возьмем кабинет, я разденусь... Гм... Кое- какие мускулишки у меня-то есть...

— Мы сейчас без денег, — заявил я прямолинейно.

— О, какие пустяки... Я вчера только получил из имения... Дурные деньги. Право, пойдем...

В кабинете Коля сразу распорядился относительно вин, закуски и завтрака, а потом закрыл дверь и обнажил свой торс до пояса.

— Так я и думал, — сказал Андерс. — Сложение сухое, но страшно мускулистое и гибкое. Мало тренирован, но при хорошей тренировке получится такой дядя...

Он указал мне на какой-то прышник у сгиба Колиной руки и сказал:

— Бицепс. Здоровый, черт!

III

Из ресторана мы выбрались около восьми часов вечера.

— Голова кружится... — пожаловался Андерс. — Пойдем в театр. Это идея! Извозчик!!

Мы сели и поехали. Оба были задумчивы. Извозчик плелся ленивым, скверным шагом.

— Смотри, какая прекрасная лошадь, — сказал Андерс.

— Такая лошадь может мчаться как вихрь. Это извозчик еще не разошелся, а сейчас он разойдется и покажет нам какая-такая быстрая езда бывает. Прямо — лихач!

Действительно, извозчик, прислушавшись, поднялся на козлах, завопил что-то бешеным голосом, перетянул кнутом лошаденку — и мы понеслись.

Через десять минут, сидя в уборной премьера Аксарова, Андерс горячо говорил ему:

— Я испытал два потрясения в жизни: когда умерла моя мать и когда я видел вас в "Отелло". Ах, что это было!! Она даже и не пикнула.

— Ваша матушка? — спросил Аксаров.

— Нет, Дездемона. Когда вы ее душили... Это было потрясающее зрелище.

— А в "Ревизоре" Хлестаков... — вскричал я, захлебываясь.

— Виноват... Но я "Ревизора" ведь не играю. Не мое амплуа.

— Я и говорю: Хлестакова! Если бы вы сыграли Хлестакова... Пусть это не ваше амплуа, пусть — но в горниле настоящего таланта, когда роль засверкает, как бриллиант, когда вы сделаете из нее то, чего не делал...

— Замолчи, — сказал Андерс. — Я предвкушаю сегодняшнее наслаждение...

— Посмотрите, посмотрите, — ласково сказал актер.

— Вы, надеюсь, билетов еще не покупали?

— Мы... сейчас купим...

— Не надо! С какой стати... Мы это вам устроим. Митрофан! Снеси эту записку в кассу. Два в третьем ряду... Живо!..

В антракте, прогуливаясь в фойе, мы увидели купеческого сына Натугина, с которым были знакомы оба.

— А... коммерсант! — вскричал Андерс. — О вашем последнем вечере говорит весь город. Мы страшно смеялись, когда узнали о вашем трюке с цыганом из хора; ведь это нужно придумать: завернул цыгана в портьеру, приложил сургучные печати и отправил к матери на квартиру. Воображаю ее удивление остроумно остроумно да пока в России есть еще такие живые люди такое искреннее широкое веселье Россия не погибла дайте нам пятьдесят рублей на днях отдадим!

Хотя во всей андерсовской фразе не было ни одного знака препинания, но веселый купеческий сын сам был безграмотен, как вывеска, и поэтому последние слова принял, как нечто должное.

Покорно выпнул деньги, протянул их Андерсу и сказал, подмигивая:

— Так, ловко это вышло... с портьерой?

* * *

Усталые, после обильного ужина возвращались мы ночью домой. Автомобиль мягко, бережно нес нас на своих пружинных подушках, и запах его бензина смеши-

вался с дымом сигар, которые лениво дымили в наших зубах.

— Ты умный человек, Андерс, — сказал я. — У тебя есть чутье, такт и сообразительность...

— Ну, полно там... Ты только скромничашь, но в тебе, именно в тебе есть та драгоценная ясность и чистота мысли, до которой мне далеко... Я уж не говорю о твоей внешности: никогда мне не случалось встречать более обаятельного, притягивающего лица, красивого какой-то странной красоты...

Спохватившись, он махнул рукой, поморщился и едва не плонул:

— Фи, какая это гадость!

ЯЗЫК

I

Иногда так приятно поглядеть на людские страсти, поступки и стремления со стороны, не будучи совершенно заинтересованным в происходящем. Созерцающий человек кажется самому себе выше других, ибо он имеет право, не волнуясь, с добродушной, немного иронической улыбкой, следить за всем происходящим, и, если он мудр, такое созерцание должно доставить ему громадное наслаждение.

Не напоминает ли он тогда сам себе доброго, прекрасного Бога, который так же беспристрастно следит за смешной суетней и курьезным столпотворением в человеческом муравейнике?

Я сидел на бульваре за буфетным столиком и, беззаботно поглядывая по сторонам, потягивал из стакана какую-то мудреную, прохладительную, мною самим изобретенную жидкость.

За соседним столиком сидела в одиночестве со стаканом чаю красивая молодая дама, по виду — иностранка. Одета она была скромно, но элегантно, и ее пышная, зрелая красота в этот томный весенний вечер вызвала со стороны бульварных фланеров не один поворот головы и жадный взгляд.

Но моя соседка рассеянно глядела по сторонам, прихлебывала чай и ни на кого не обращала особенного внимания.

Вдруг я заметил молодого человека в прекрасной панаме. Он два раза прошел мимо моего столика, чуть не задев его и в то же время бросая красноречивые взгляды на сидевшую даму.

Молодой человек был тоже красив, имел нежные, юношеские губы, прекрасно очерченные, как на греческих статуях, и темные, крохотные усики. Кроме того, у него были горячие, томные глаза и прекрасный рост, что давало ему много преимуществ перед другими гуляющими — золотушными чиновниками, вульгарными юнкерами и какими-то кривоногими телеграфистами.

Меня восхитила смелость этого молодца. Он, пройдя два раза мимо меня, неожиданно повернулся назад, очутился лицом к лицу с пышной красавицей и, опустившись на какой-то отбившийся от пустого столика стул, в одном шаге от моей соседки, спросил ее:

— Вероятно, вам сидеть так — тоска смертельная? А?

Есть разные типы ухаживателей. Некоторые, воспылав к женщине страстью, года три терзаются, не будучи представленными этой женщине, потом наконец находят общего знакомого, который, улучив минутку, знакомит их с предметом страсти, и тогда завязывается длинная, утомительная канитель: вздохи, пожатия — такие незаметные, что от них в случае чего можно отпереться, полунаемеки и одинокие рыдания по ночам при свете задумчивой луны.

А есть и другой тип ухаживателя.

Увидев впервые на улице женщину, которая ему нравится, этот расторопный человек подлетит к ней, поспешно приподнимет шляпу и сразу перешагнет семь верст.

— Сударыня! — скажет он одним духом. — Куда изволите спешить? Жизнь коротка; нужно ею пользоваться и ловить подходящие сладкие моменты. Тут есть один очень укромный уголочек под вывеской "Византия", где нас не сыщет никакая собака, — пойдемте!

Удивительнее всего, что женщина часто так поражается этим предложением, что неожиданно для себя принимает его. Потом, конечно, плачет, мучается и терзается дня три, если не больше.

II

Молодой господин, за которым я наблюдал, напоминал больше второй тип, чем первый.

— Ну признайтесь — ведь лучше было бы со мной убить несколько часочек, чем тосковать одной? Э?

Дама подняла на него серые, немного изумленные глаза, и ответила с порозовевшим от смущения лицом на чистом немецком языке:

— Простите, я немка, и говорю только на немецком языке.

— Ах, вы по-русски не говорите, — огорченно заметил молодой человек, не знаяший, очевидно, ни одного языка, кроме собственного — русского.

— Я недавно приехала в этот город, — печально сказала дама, — и почти никто не понимает меня.

— Я не с какой-нибудь гнусной целью, — возразил молодой человек, силясь понять странные, незнакомые слова. — Я просто прогуливаюсь. Компренэ? Променад!

— Да, да, — вздохнула дама. — Несколько месяцев тому назад я похоронила мужа и теперь совершенно одинока.

— Да уж, знаете... — сочувственно кивнул головой молодой господин. — Есть такие мужчины, от которых не скоро отстанешь.

— Что? — машинально переспросила немка.

— Да я не о себе говорю. Я такой скромник, что просто удивительно. А вот другие — прямо ужас.

— Так тяжело, когда нет в городе ни одной знакомой души, — сказала немка, и ее прекрасные серые глаза затуманились. — Если бы у меня здесь была подруга, я пришла бы к ней и проплакала всю ночь: так мне тяжело и грустно.

— Ничего, — успокоил ее молодой человек, — выучитесь. Один мой знакомый тоже так! Ни в зуб толкнуть. А потом — ничего.

— А если бы вы знали, как трудно мне устраивать дела покойного мужа... Он перед смертью служил тут в одной местной технической конторе.

Молодой господин внимательно выслушал собеседницу и, указав пальцем на ее стакан, сказал:

— Может быть, чего-нибудь другого выпьете? Позвольте вам предложить.

Дама взглянула на стакан.

— Да, чай пью. Ничего, он не остынет. Бывало, мой муж — всегда любил холодный чай.

Она подняла свое красивое лицо, на которое падала тень модной шляпы, и долго смотрела на луну.

Вероятно, она думала:

— Вот эта милая, красивая луна везде одна — и здесь, и в Вене — и она мне такая же родная... А люди разные, и никто тут не может меня развеселить.

— Вы очень красивы! — прошептал молодой господин, с восхищением глядя на нее. — Когда я смотрю на вас, у меня бьется сердце. Если бы было можно, я засыпал бы все ваше нежное тело поцелуями.

— Почему... — спросила дама, — почему я к вам чувствую такое доверие? Мне кажется, вы не позволите сказать вольного комплимента, вы сдержанны и скромны с женщиной... Мне это нравится. Впрочем, вы, вероятно, втайне слишком высокого мнения о своей наружности? А?

Печальные глаза ее сделались кокетливыми и засветились такой теплотой, что ее собеседник тихо взял ее руку в свою и тихо погладил.

— Какая чудесная рука!

Рука действительно была на редкость красивая — нежная, полная кисть с ямочками на тыльной части и выхоленными, блестевшими при лунном свете ноготками.

— Дома забыла, — улыбнулась дама. — А обычно я всегда хожу в перчатках...

— Вы мне безумно нравитесь! — вскричал молодой господин. — А я... Послушайте, скажите: я, я! Я вам хоть немножко, хоть чуточку нравлюсь?

Даму удивила эта неожиданная горячность, так не вязавшаяся с предыдущим мирным разговором о перчатках.

Она недоумевающе взглянула на собеседника, с горячностью колотившего себя в грудь, и спросила, силясь понять:

— Вы? Что такое? Что — вы? Вы не носите перчаток? Ах, Господи... В чем дело? Может быть, я вас чем-нибудь обидела?.. Как жаль, что мы не понимаем друг друга!..

Она в искреннем порыве положила свою руку на руку молодого человека и стала ее гладить.

— А, — расцвел он. — Значит, я вам тоже нравлюсь? Значит, вы немножко любите меня... Ах вы, моя милая!

Несмотря на то что он сказал это по-русски, дама ответила по-немецки:

— Вы мне очень нравитесь. У меня есть к вам какое-то странное доверие. Конечно, если бы вы понимали меня, я бы этого не сказала! Но вы мне нравитесь, мой пылкий незнакомец!

И она поглядела на него так ласково, что даже у меня, молча наблюдавшего эту сцену, забилось сердце...

Молодой господин схватил ее руку и стал целовать ее, не отрываясь.

Дама вздрогнула и деликатно высвободила руку.

— Что вы, что вы, мой милый мальчик, — улыбнулась она, укоризненно грозя ему, — ведь на нас же все смотрят.

— Что? Что вы говорите? Муж? Вероятно, о муже? Но подумайте — ведь вы же сейчас одна? Ведь ваш муж преступник, если такое сокровище, как вы, заставляет быть в одиночестве. Стоит ли думать и вспоминать о таком человеке?

И опять — удивительно — она почти поняла его, хотя говорили они на разных языках.

— Зачем? — сказала она с неожиданной грустью, — зачем он умер, оставив меня одинокой, всем чужой тут? Не трогайте мою руку, милый ребенок. Вы знаете, я, вероятно, старше вас... Ну, сколько вам лет? Сколько, а?

Молодому господину, вероятно, было года двадцать два, а ей двадцать четыре. Но он не смог ответить ей на этот вопрос, хотя и видел, что она обращается к нему с каким-то вопросом.

— Что? — мучительно переспрашивал он. — Что?

— Сколько лет? Ну? Вам! Я спрашиваю: вам?

Она показала пальцем на его грудь и показала пальцами, что хочет узнать цифру его лет.

— У меня? — спросил молодой господин. — Часы? Есть. Еще очень рано. Я вам покажу.

Он вынул плоские золотые часы и протянул их даме.

Та наклонилась над циферблатом и с улыбкой показала две цифры.

— Вот! Десять и одиннадцать. Вам уже есть двадцать один год, а? Вам, вам! Ах, какой вы непонятливый.

Она рассмеялась, будто жемчуг рассыпался по тарелке.

— А, — сказал, кивая головой, юноша. — Понимаю. Домой? Нужно быть дома между десятью и одиннадцатью? Да, да! Но еще очень рано.

— Так? — захлопала в ладоши дама, — значит, я угадала? 21 год. Вы, мой милый ребенок...

"Милый ребенок" придвинулся ближе к ней и, положив незаметно, в тени спинки стула свою руку на ее талию, сказал:

— Поедем ко мне!

— Что вы! Сумасшедший! Увидят, — ахнула дама.

— Примите руку.

— Я не могу! — горячо сказал юноша. — Я с ума сойду, если мы сегодня расстанемся. Если тебе нужно

домой в одиннадцать часов — поедем ко мне! У нас еще два часа... Ведь я тебе тоже нравлюсь?

Рука его продолжала лежать на ее талии. Рука эта, очевидно, жгла тело молодой женщины. Трепет пробежал по ее плечам, и она, схватив свободную руку юноши, прошептала слабеющим голосом:

— Ради Бога! Не надо... Я даже не знаю, что вы говорите.

И вот страсть молодого человека сделала чудо. Он напряг все силы своего ума и вспомнил:

— Аллон нах гауз! Ко мне! Хорошо?
Он указал пальцем на себя.

— Домой? — шаловливо засмеялась дама. — К вам? Милое дитя! Да о чем же мы там будем разговаривать? Впрочем... нужно идти... становится сыро...

Молодой господин постучал лакея, бросил ему рубль и, взяв красавицу под руку, повел ее, ловко лавируя между столиками под восхищенными взглядами сидевших дам и мужчин.

И две стройные, сильные фигуры шли по аллее к выходу, освещенные, облитые одним и тем же светом луны, сковавшим их в единую серебряную группу.

И имя этой скульптурной серебряной группе было: "Желание".

Я проследил с божественным хладнокровием за ними, до тех пор пока они не скрылись в зеленой, лунной пыли. И я, как Бог, знал последующее, хотя не мог его видеть: недолгую борьбу красавицы с предприимчивым юношей, ее несогласие идти к нему, потом ее согласие, потом жаркие тесные объятия, тихие благодарные поцелуи и свет луны на крохотных, беспорядочно брошенных туфельках, на висящей на спинке стула кофточке и шляпке, на которую бесцеремонно взгромоздился мужской жилет, не думавший о таком легкомыслии там, на бульваре, когда он облекал грудь своего хозяина.

Могу сказать — в этот вечер на бульваре я видел яркое подтверждение старой истины: есть в природе такой язык, который выше любого иностранного.

ЦЕПНАЯ СОБАКА

I

Когда Зыряников вошел в кабинет, полное добродушное лицо редактора журнала "Северное сияние" засияло радостью.

— Я в восторге, что вижу вас, — приветливо сказал он. — Одну минутку! Я только сейчас вот отпущу посетителя.

Посетителем был хилый молодец со скорбным видом и такими длинными волосами, что опущенная голова его напоминала плакучую иву. Он говорил:

— Почему же вы находите, что моя повесть не подходит? Неужели она слаба?

— Я нахожу? — воскликнул редактор, — Бог с вами! Я нахожу ее прелестной. Мы по этому поводу часа полтора спорили со вторым редактором "Сияния" Лиходеевым. Но он уперся как бык — и вот видите: приходится возвращать вам эту вещь. Верьте мне, я как будто с кровью отрываю ее от сердца. Ведь между нами-то говоря, это лучшее, что вы написали!

— Спасибо... Вы меня хоть немного утешили. Виноват... Один вопрос: почему вы должны подчиняться мнению этого Лиходеева, а он вашему — нет?

— Иногда и он подчиняется. Лишний голос всегда принадлежит тому из нас, кто почему-либо против принятия произведения. Этим мы достигаем лучшего отбора материала в журнале.

— А что, если бы я... сходил к этому... Лиходееву. Поговорил бы... А?

— Пожалуйста! Это самое лучшее. Может быть, вы смягчите его сердце.

Хилый писатель тряхнул своей "плакучей ивой", поблагодарил редактора и исчез.

Редактор обратился к Зырянову:

— Вы зашли за ответом?

— Да.

— Аванс? Пятьсот рублей?

— Да! Я же говорил.

— Гм... Я думаю, это можно устроить. Вот только не знаю, как Лиходеев. В этом деле нужно и его согласие.

— А вы думаете — он не согласится? — испуганно спросил Зырянов.

Редактор улыбнулся.

— Ну что вы... Это было бы слишком. Он не такой уж зверь, каким кажется. Правда, иногда бывает тяжеленек, душу всю своими капризами вымотает, но... в общем, дело с ним делать можно.

— Фамилия у него зловещая.

— Да уж... И характерец тоже не из первосортных. Иногда и меня до белого каления доводит. А вообще — пустяки! Сходите — ваше дело чистенькое. Если он даст согласие, идите прямо в кассу и получайте монеты. До свидания! Когда будете уходить — загляните.

Зыряинов вышел из кабинета редактора и, проходя через коридор, обратился к экспедитору:

— Как зовут господина Лиходеева?

Экспедитор усмехнулся.

— За глаза? Малютой Скуратовым. Скотиной! А в глаза — Филиппом Ипатьичем.

— А что он, скажите... действительно злой?

— Он? Мерзавец первой руки. Злобный скряга, палач, человек с камнем в груди вместо сердца! Его за глаза так и называют: "Малюта Скуратов"! Редактор Бильбокеев добрая душа, но тряпка, и всецело в руках этого проклятого старика. Бильбокеев, хотя наружно и храбрится, но втайне боится его как огня.

— Я не понимаю, — спросил Зыряинов, — для чего в одном журнале два редактора?

— Издательская глупость. Завел издатель эту моду, да и сам не рад. Малюта, кажется, и его в руки захватил. А у вас есть дело к этому мерзавцу?

— Да... аванс. Бильбокеев согласился, а теперь остановка за Лиходеевым.

— Не даст. Это уж не первый случай. А Бильбокеев обещал? Бедняга... И жалко его, и досадно, и смешно.

— Гм... — сказал Зыряинов. — Вы говорите: Филипп Ипатьич? Ну, посмотрим-с...

II

Кабинет Лиходеева был маленький, полутемный, запыленный и грязный — настоящее жилище паука, раз навсегда соткавшего себе уютную паутину.

Наружность Лиходеева представляла яркий контраст с его характером: это был маленький, розовый стариочек, с ясным взглядом голубых глаз и мягкими ласковыми жестами. Только иногда ласковые глаза прикрывались тяжелыми веками и голос делался жестким, неприятным.

Когда вошел Зыряинов, он, кроме Лиходеева, застал у этого зловещего старика еще одного человека — судя по разговору, начинающего поэта.

— Что мне Бильбокеев! — говорил, стуча маленьким кулаком по столу, Лиходеев. — Я сам себе Бильбокеев! Стихи ваши слабы — вот и все.

— Да почему же?

— Очень просто. Это какая-то рубленая капуста, а не стихи.

— Ну например, например... Укажите хоть одно место?

— Не помню я там ваших стихов. Еще указывай...

— У меня есть и другой экземпляр. Вот он! Будьте добры взглянуть.

Лиходеев нехотя взял бумажку и повертел ее в руках.

— Ну, вот это:

"К ее ногам я нес свои мечты,
Безумье грез, росинки слез вечерних...
Я ей шептал: "Прими, поверь в них..."

— Что это такое?

— Виноват... Что же вам не нравится?

— Грубо. "К ее ногам!" Почему не к "ножкам", не к "стопам"?

— У меня так вылилось...

— Плохо, что вылилось... Потом: "росинки слез вечерних". Зачем это? Кому это нужно? Что, вы хотите мир этим перевернуть? Стыдитесь! Да я бы на вашем месте утопился; со стыда сгорел бы. Взрослый мужчина! Прощайте, молодой человек! Хе-хе! Это вам не Бильбокеев! Притворяйте дверь, у меня ревматизм. Вам что угодно?

— Здравствуйте, Филипп Ипатьич. Я — Зыряинов. У меня принятая вещь... Я хотел аванс. Бильбокеев направил к вам.

Лиходеев посмотрел на него добрыми глазами, покачал головой и поджал губы.

— Напечатана?

— Еще нет, но...

— Так как же вы хотите получить деньги под то, что еще не напечатано?

— Мне очень нужны деньги.

— Э, батенька... Кому они не нужны.

— Бильбокеев мне обещал.

Старик вздернул плечами.

— Удивляюсь я этому Бильбокееву! Это ребенок какой-то. "Обещал, обещал"! Обещать легко. Как это так: "Дайте мне аванс". Почему? "Деньги нужны"! Да мне-то, например, деньги не нужны что ли?! Однако я не прошу. Сегодня вы аванс взяли, завтра жену у меня взяли...

— Извините! — резко перебил Зырянилов. — Это не одно и то же.

— Э, дорогой мой... Что там говорить. Теперь пошло всеобщее развращение.

Зырянилов сухо спросил:

— Так, значит, вы в авансе отказываете?

— Господи! Ведь я же доказал вам, как дважды два, что аванса мы не можем дать. Обращаюсь к вашей рассудительности.

"Старик-то, кроме того, что зол — еще и глуп", — подумал Зырянилов, а вслух сказал ледяным тоном:

— Прощайте. Нам с вами, кажется, разговаривать больше не о чем.

И отправился к Бильбокееву.

III

— Ну что? — спросил Бильбокеев, пожимая руку Зырянилову. — Удачно?

— Это мерзавец какой-то! — злобно проскрежетал Зырянилов.

Бильбокеев вскочил и всплеснул руками:

— Неужто отказал?

— Да!

— О, черт возьми... Я всего ожидал от этого маньяка, но отказать в такой простой вещи...

— И вы знаете: он не только скуп, но и глуп до противного. Он при мне так раскритиковал стихотворение одного поэта...

— А что же он вам сказал?

— Сегодня, говорит, деньги возьмете, а завтра чужую жену...

— Вот кретин-то. Да вы бы ему сказали, что вам очень нужны...

— Говорил. "А мне, говорит, не нужны?"

Редактор переплел пальцы и со страдальческой миной скжал их так, что они хрустнули.

— Боже! Какой осел... О, когда мы только от него избавимся? Это будет счастливейший день моей жизни.

— Ваше положение, — сочувственно сказал Зырянилов, — тоже не из важных. Я это понимаю...

— Ах, как это все неприятно... Мне так хочется вам это устроить... Я понимаю — когда деньги нужны...

— А знаете что? Напишите ему записку, что вы категорически настаиваете на выдаче мне аванса. А я ее снесу ему.

— С удовольствием. Я буду рад, если дело выгорит. И паука, может быть, зазрит совесть.

Бильбокеев стал писать записку.

— Ха-ха! Пишу ему: "Дорогой мой Филипп Ипатыч", а хочется написать: "Проклятое, тупое дерево, мерзавец Филька!" Ну вот-с. Записка готова. Я все-таки думаю, что он согласится. Скажите ему на словах, что я прошу сделать мне в личное одолжение.

— Я не знаю, как и благодарить вас, — в волнении воскликнул Зырянилов...

IV

Лиходеев распекал какого-то потрепанного человека.

— Зачем исторический роман? Кому это нужно? Что? Бильбокеев? А что мне ваш Бильбокеев! Бильбокеев мне не указ. Исторический роман из эпохи Самозванца... Ха-ха! Да вы что, были там? Видели эту эпоху? Нет? Так нечего вам и говорить. До свиданья. Притворяйте дверь. А! Вы опять пришли? Что вам угодно?

— Вот записка от Бильбокеева. Он еще просил передать, что согласие ваше будет личным ему одолжением.

— Ребенок! — сказал старик. — Сущий ребенок.

Одним глазом он скользнул по записке и, разорвав ее, бросил в корзину.

— Извините. Ничего не могу.

— Во-первых, — сказал Зырянилов, — я очень сожалею, что просьба моя удовлетворена вами быть не может, а во-вторых, ты ни более ни менее, как старый идиот, мерзавец, и когда черти заберут тебя в ад — на земле будет дышаться легче, солнце засияет ярче и птицы запоют громче!..

Лиходеев протянул к нему дрожащие руки и жалобно сказал:

— За что же вы... старика... обижаете?

— А за то, — в чрезмерном волнении вскричал Зырянинов, — что этот старик отказывает мне в деньгах, на которые можно было бы вернуть жизнь моей жене. У нее начало чахотки, и если повезти ее на юг, то спасти бы можно. А старику на это наплевать.

Лиходеев опустился на стул и схватился руками за голову...

Так он просидел минуты две. Потом поднял голову и, глядя на Зырянина скорбными глазами, прошептал:

— Хорошо... Скажите в кассе... что я разрешаю. Там, вероятно, выдадут.

V

В третий раз вошел Зырянинов в кабинет Бильбекеева.

— Отказал?

— Наоборот, согласился. Я уже и денежки получил.

— Быть не может! Это так не похоже на нашего Малюту Скуратова.

— Представьте, разжалобился. Я его, впрочем, ругнул порядочно.

— Сердечно рад за вас! Поздравляю... Вы прямо маг и чародей. Чудесно, чудесно. Уходите? Ну, прощайте. Желаю вам повеселиться!

Оставшись один, Бильбекеев прошелся несколько раз по кабинету и позвонил.

— Скажите Филиппу Ипатычу, — обратился он к служителю, — что я очень извиняюсь за беспокойство и прошу, если он сейчас не занят, пожаловать ко мне по важному делу. Не забудьте извиниться за беспокойство.

Через минуту вошел Лиходеев. Он подошел к столу и стал неподвижный с опущенной головой.

— Слушайте, Фиалкин! — сердито полушепотом начал Бильбекеев. — Это что еще за новости? Какое вы имели право давать какие-то глупейшие разрешения на авансы?! Я не для того плачу вам сорок рублей ежемесячно, чтобы вы выкидывали подобные глупости. Во всяком благоустроенным дворе есть цепная собака, но если она начинает ласкаться к прохожим, вместо того чтобы рвать им штаны, — ее выбрасывают ко всем чертям! Зарубите себе это на носу.

ПЛОВЕЦ НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ

I

Дело было зимой в Петербурге, в трескучие морозы, когда термометр показывал 22° — вот почему никто не мог поймать и уличить во лжи этого проклятого мошенника Новаковича.

Мы оказались в совершенно беспомощном положении, а Настасья Николаевна не придумала ничего лучшего, как прийти в восторг от подвигов Новаковича.

Мы четверо составляли свиту Настасии Николаевны — женщины, которая была более умна, чем проницательна, и более красива, чем умна. Из нас четверых — трое были скромные, простодушные, честные люди, а четвертый — Новакович.

Перед камином в гостиной Настасии Николаевны разостлали пушистый ковер, поставили на двух томах энциклопедического словаря бутылку бенедиктина и рюмки, легли на животы все, не исключая Настасии Николаевны, и, примостившись поудобнее, стали говорить о том, что кому приходило в голову.

— Интересно: какой вкус имеет человеческое мясо?
— щурясь на огонь, промямлил молодой Шмидт.

— Не пробовал, — ответил Новакович, как будто бы спрашивали об этом именно его, — лгать не буду: что не пробовал — то не пробовал...

— А вот, — сказала Настасья Николаевна, — вас здесь четверо мужчин: были ли у кого-нибудь из вас в течение вашей жизни обагрены руки человеческой кровью?

— Не могу похвастаться, — отвечал опять назойливый Новакович. — Чего не было — того не было.

— У меня были обагрены, — признался молчаливый Работторговцев, обращая к нам расширившиеся от ужасных воспоминаний глаза. — Однажды я наклонился зашнуровывать ботинок, а кровь так и хлынула из носу на руки. Я, видите ли, полнокровный.

— Вы, видите ли, не полнокровный, а глупый, — возразила Настасья Николаевна. — Ну, хорошо... если вы не совершали преступления, то, может быть, на вашей совести, господа, есть какие-нибудь подвиги?

Подвиги оказались у Новаковича.

— Есть подвиги! — заявил он. — Два. Однажды я, раздеваясь в купальне, услышал крики. Оказалось, что

кто-то тонет... Я, как был в ботинках, в белье, бросился в воду и вытащил несчастного.

— А второй подвиг? — спросил Шмидт.

— Да это и есть второй. Первый — когда я бросился одетый в воду, а второй — когда я вытащил утопающего.

— А кто, господа, из вас самый лучший пловец? — спросила Настасья Николаевна.

— Я! — сказал Новакович.

— Ну это уж слишком! — возмутился я. — Откуда вы знаете, как плаваем мы: Шмидт, Работорговцев и я?! Может быть, мы трое плаваем как рыбы!

— Хорошо, — язвительно засмеялся Новакович.

— Сколько вы можете проплыть без отдыха?

— Полверсты, — подумав, отвечал Шмидт.

— А я версту, — заявил я.

— И я, — заявил Работорговцев.

— Версту?! — засмеялся Новакович. — Это у них называется "как рыбы"!.. Ха-ха! Знаете ли вы, милые мои, что я проплыпал по шести верст!

Если бы в то время было лето, я схватил бы Новаковича за шиворот, потащил бы к морю и, швырнув его в воду, заставил бы проплыть на моих глазах эти шесть верст.

Но он, чувствуя себя хозяином положения, перевернулся на спину, засвистал и потом небрежно продолжал:

— Да... А как я ныряю! Боже ты мой!.. Однажды, купаясь в реке, я нырнул на глазах публики и исчез. Искали меня до самого вечера. А я преспокойно вынырнул на другом берегу, потихоньку оделся и ушел.

— Во что же вы оделись, если ваша одежда была на другом берегу?

Новакович посмотрел на меня, скосив свои холодные глаза.

— У меня была заготовлена другая. На втором берегу...

Мы трое скрипели зубами, грызли края рюмок с бенедиктином, но ничего не могли с ним поделать.

А он рассказывал Настасье Николаевне:

— Прыгать в воду нужно умеючи. Если прыгать с большой высоты неумело — можно разбиться о воду... я прыгал однажды с самой верхушки мачты корабля... Сажень десять... Море внизу кажется маленьким-маленьким.

— Как же вы могли, — спросил методичный Шмидт, — прыгать с мачты прямо в море, если на вашем пути встречается борт корабля? Он должен далеко выдаваться за линию полета.

— Да, — согласился Новакович, целуя руку Настасии Николаевны. — Он и выдавался.

— Ну?! Так как же...

— Да так, — усмехнулся Новакович. — Я прыгал во время волнения, когда была качка. Я выжидал наклона корабля в мою сторону и прыгал. Промедли я несколько секунд — мое тело безжизненной массой ударилось бы о борт корабля...

— Вы, значит, очень ловки? — любуясь им сквозь опущенные веки, спросила Настасья Николаевна.

Новакович, охорашиваясь, сложил руки на груди, вытянул ноги и хладнокровно кивнул головой.

— Да, я очень ловкий.

— Да уж ловкий, нечего и говорить, — проворчал Шмидт.

— Ловкий парень! — усмехнулся Работорговцев.

— Я ловкий! — засмеялся Новакович.

— Ловкий, — подумал я. — Ловкий, чтоб ты пропал.

— Ловкий, — подтвердил еще раз Новакович. — Не пропаду. Я, можно сказать, вырос на море.

— Как же вы говорили раньше, что ваша родина Москва? — спросил я, подмигнув Шмидту. — Как же так?

— Да, Москва!.. Что ж из этого? — удивился Новакович.

— Как же так: то — Москва, то — вырос на море?

— Ну да — что ж из этого?

— Какое же в Москве море?

— В Москве моря нет. Но что ж из этого следует?

Его наглый, какой-то хладнокровно-стальной тон смущил меня.

— Как же... вы... росли?.. — пробормотал я.

— Так и рос. Не оставаться же мне ради вашего удовольствия всю жизнь маленьким ребенком.

Настасья Николаевна засмеялась.

Лучше бы она меня ударила.

II

22 градуса мороза, Петербург, пылающий камин, пушистый ковер и бенедиктин на энциклопедическом словаре — все это осталось далеко позади.

Было жаркое, летнее утро, был севастопольский бульвар, тихое море и нагретая солнцем скамейка, на которой я еле мог усидеть.

Сзади меня послышался скрип песка под чьими-то ногами и мелодичный свист. Я оглянулся и бросился вдогонку за промелькнувшим человеком.

— Новакович! — крикнул я. — Эй, Новакович! Стойте!

Приветствовал он меня равнодушно, без особенной радости.

— Очень рад видеть вас, Новакович, — сказал я, зловеще улыбаясь. — Посостязаемся! Надеюсь, вы помните, что говорили зимой на пушистом ковре? Хе-хе! Это редкое зрелище — видеть, как человек переплывает расстояние в шесть верст.

— А разве я говорил шесть? — осведомился, чертя палкой по песку свое имя, Новакович.

— Шесть.

— Да, но в речной воде. Речная легче морской.

— Хорошо, — согласился я. — Пусть. Положим на морскую воду половинное расстояние: три версты. Идет?

Он о чем-то думал.

— Пожалуй. Когда?

— Завтра.

Он мог удрать из Севастополя сегодня же вечером. Поэтому я решил не спускать с него глаз и увязался за ним обедать. После обеда мы ужинали, а потом, поздно вечером, я под каким-то предлогом напросился к нему ночевать.

Было ясное, жаркое утро. Держа Новаковича под руку, я вел его в купальню, а он вперемешку со свистом рассказывал:

— Теперь нет хороших пловцов... Помню, лет семь тому назад я плавал в Одессе с одним английским матросом... Вилли Сандерсон. Отплыли мы так, что берегов не видно. Что делать? Куда возвращаться?.. Компаса нет... "Плырем, — говорит Сандерс, — сюда". "Как — сюда? А вдруг берег останется сзади, и мы поплывем в открытое море"!.. Положеньице! Поплыли на авось...

— Ну? — мрачно спросил я.

— В десяти верстах пароход нас подобрал. Что смеху было!

— Вот и купальня, — сказал я. — Ну-с, разденемся.

Мне казалось, что я припер Новаковича к стене. Выхода ему не было... В его плаванье я верил так же, как в философский камень.

К моему удивлению, он бодро разделся, натянул купальный костюм и вышел на лестницу.

— Вот что... — обратился он ко мне. — Я поплыну, и если через два часа не вернусь — значит, что-нибудь меня задержало. Тогда вы не ждите — можете идти домой. Завтра увидимся.

— Ладно, ладно... Лезьте в воду.

— Сейчас полезу. Как вы думаете — холодная вода?

— 20 градусов.

— Ага... 20. Сейчас... сейчас полезу.

Он опустил одну ногу в воду и вдруг, вздрогнув, обернулся ко мне. На лице его была написана гадливость и отвращение, будто бы он наступил на лягушку.

— Что с вами? — удивился я.

Он взял меня за руку, отвел в сторону и шепнул, презрительно выщипывая губы:

— Я не могу лезть в воду.

— Почему?!

— Тот вон толстый человек, который за канат держится, сейчас плонул в воду.

— Эка важность! Не в ванну же он плонул, а в море. Море велико.

Не слушая меня, он стянул купальный костюм и с дрожью отвращения стал одеваться...

— Какая гадость! И как это позволяют плеваться?.. Фи! Только вспомню об этом — с души воротит! А вы... — обратился он ко мне, презрительно всматриваясь в мое лицо, — неужели вы бы купались в такой заплеванной воде?

— Дело не в этом, — угрюмо возразил я.

— Завтра встанем пораньше и придем, когда никого не будет. Ладно?

— Вот это — другое дело. Сделайте одолжение!

III

Когда мы пришли на другое утро — в купальне не было ни души. Только в соседней женской купальне слышался чей-то разговор, взвизгивания и плеск воды.

Новакович опять быстро, с готовностью, переоделся в купальный костюм, вышел на лестницу, потом сейчас же вернулся и, смущенно смеясь, подошел ко мне.

— Ну? Что еще? — нервно спросил я.

— Там... женщины, — сконфуженно прошептал он.

— Да! Женщины. А вы что, — злобно прошипел я, — стесняетесь их?!

Он застенчиво провел пальцем по шву купального костюма.

— Они... смотрят... Я почти... голый. Как же так?

— Подумаешь, Иосиф Прекрасный! — разозлился я. — Лезьте в воду! Плывите!

Он тихо смеялся, подкатывая глаза, будто бы его щекотали.

— Ах, что вы, что вы!.. На виду у женщин... С голыми ногами... Ах! Мне, право, так неловко...

— Хорошо! — закричал я. — Хорошо! Мы возьмем лодку, отплывем в открытое море, и вы там поплаваете, черт возьми. Вам ведь все равно?!

— И прекрасно! — оживился он. — Лучше этого и придумать нельзя... Хоть сейчас.

— Ладно, — усмехнулся я. — Сейчас — так сейчас.

Через двадцать минут мы в четыре весла неслись из бухты на большом, просторном ялике.

— Ну вот, здесь хорошо, — сказал я, искоса поглядывая на него. — Ни души не видно, и всюду открытое море. Глубина здесь аршин сорок — пятьдесят.

— Средняя глубина, — кивнул головой Новакович. — На такой глубине я в молодости доставал со дна ракушки.

Он разделся, взял купальный костюм, завернутый в газетную бумагу, и стал его разворачивать. Скользя глазами по газете, он вдруг наклонился, впился в нее взглядом и тихо выругался.

— О, черт возьми! Вот не везет — так не везет!

— Что?! — крикнул я, сжимая кулаки.

— Оказывается, в открытом море нельзя купаться. Вот постановление градоначальника, напечатанное в газете: "Во избежание несчастных случаев, запрещается купальщикам выезжать в открытое море"...

— Вздор! — сказал я. — Нас здесь никто не увидит, а яличнику я дам за молчание пять рублей! Лезьте в воду.

Новакович обиженно пожал плечами.

— Как! Вы хотите, чтобы я нарушил приказ начальства, того начальства, которое поставлено над нами самим Богом, которое заботится о нас и которое знает лучше: что хорошо, что плохо?! Никогда я себе этого не позволю... Э, нет... Плохо же вы знаете Новаковича!

Я действительно плохо знал Новаковича.

Когда мы возвращались, я устало, апатично смотрел на далекий горизонт, а Новакович оживленно рассказывал:

— Помню, в Красном море был со мной случай: нырнул я, вижу — акула... Я как крикну на нее...

ГОРНИЧНАЯ ИЗ БОЛЬШОГО ДОМА

I

Два верхних этажа громадного дома были заняты меблированными отдельными комнатами, населенными разгульным, беспутным народом: репортёрами, студентами, начинающими поэтами и просто разными порочными молодыми людьми.

В минуты просветления после нашей чадной жизни мы собирались в угловой комнате рыжего Васюканова и, тихо беседуя, недоумевали:

— Чем живет наш хозяин?

Денег за комнаты не платил никто, кроме технолога Ильяшенко. Да и то, поступая так в пьяном виде, Ильяшенко потом глубоко и сильно раскаивался. Вытрезвившись, он рвал на себе волосы, а однажды даже пошел отнимать у хозяина деньги, заплаченные в одну из таких минут разгула и расточительности.

Хозяин денег не возвратил.

Жильцов было так много, что хозяин в лицо их не помнил, хотя были такие, например, как я, которые жили по два года.

Однажды, поднимаясь по лестнице, я столкнулся лицом к лицу с хозяином.

Он посмотрел на меня и, заискивающе подтолкнув меня плечом, нерешительно спросил:

— Слушайте... А как же насчет деньжат? А?

Я широко раскрыл глаза.

— Деньжат? Каких деньжат?

— За квартиру...

— За квартиру? За какую квартиру?

В моем тоне было столько неподдельного изумления, что хозяин, сбитый с толку, сконфузился.

— Разве вы не мой квартирант?

— Я? Что вы?! У меня свой дом на Дворянской и именье в Крыму... А сейчас я иду к своим друзьям. Так, знаете... навестить.

Он погладил ладонью руки перила лестницы.

— Вот оно что! Так, так... В таком случае, молодой человек, не могли бы вы повлиять на ваших друзей в смысле деньжат, а? Они что-то, между нами говоря, сильно затянули уплату.

Я принужденно рассмеялся.

— Как же вы меня просите об этом, когда даже не знаете, к кому я иду?!

— О, это все равно... Мне все должны. Вы не беспокойтесь: ошибки никакой не произойдет.

— Хорошо, — пообещал я. — Будьте покойны. Все будет сделано.

— То есть... что — все?

— Все решительно! Без всякого исключения! Все в буквальном смысле этого слова! Прощайте. Привет супруге!

Он, волоча ноги, пошел вниз, а я, как стрекоза, взлетел наверх и кликнул сейчас же клич среди всего беспардонного народа:

— Господа! — сказал я. — Положение становится невыносимым! Хозяин уже осмеливается затрагивать скромных честных жильцов на лестницах! Очевидно, дела его совсем швах.

Сострадательный настройщик предложил:

— Устроим ему подписку!

В тот же вечер в пользу хозяина была устроена подписка, давшая 4 рубля 2 копейки наличными деньгами и 7 рублей 30 копеек в виде пустой стеклянной посуды типа бутылки.

II

Ко мне зашел Васюканов и со стоном покатился на кровать.

— Ужасный случай!

— Да?

— Да! Глупый хозяин нанял новую горничную.

— Не обязал ли он тебя платить ей жалованье?

— Она некрасивая! Понимаешь, такая некрасивая, что я чуть не упал в обморок. У нас шесть горничных — есть хорошенкие, средние и некрасивые, но это — Бог мой! Что я с ней буду делать!

— Предложи ей вместо любви дружбу.

— Это не то. Моя специальность требует не дружеских, а интимных отношений с женщинами, посвятившими себя услугам человечеству и уборке комнат.

— Неужели она такая некрасивая?

— А вот посмотри сам.

Опечаленный специалист по горничным нажал кнопку звонка и мрачно опустился на диван.

Вошла новая горничная.

Была она маленького роста, с длиннейшими красными руками, широкоскулая, с микроскопическим нацелив-

шимся в потолок носом, веснушчатая, серолицая, увенчанная жидким пучком волос бледно-желтого цвета.

— Вот она, — сказал жестокий с женщинами сердцеед Васюканов. — Рекомендую! Звезда Востока. Лакомый кусочек для любителей изящного и элегантного!

Горничная смущилась, опустила голову и из-под нахмуренных бровей метнула сердитый взгляд на Васюканова.

— Замолчи! — вскричал я. — Здравствуйте, голубушка. Как вас зовут?

— Валей!

— Ва...лей?!

— Ну да. Валентина. Что же тут удивительного?

— Гм... — сказал Васюканов. — Никогда я не встречал большей гармонии между именем и внешними данными! Вот, милая Валентина, — мой друг не прочь за вами приволокнуться. Вы, несомненно, ребенок в его вкусе.

Валентина пожала плечами и, прищурив глаза так, что они бесследно пропали, тихо сказала:

— Этого мало, что они хотят. Нужно, чтобы и мне они понравились.

Посмотрела презрительно на Васюканова и вышла.

С этих пор наш этаж невыносимо задирал нос перед другими этажами: на нашем этаже была самая безобразная горничная в околотке.

Только мы, только наша свора могла изобрести такую безумно нелепую причину самохвалства и гордости.

III

Напротив двери моей комнаты в коридоре помещался телефон.

Васюканов сидел у меня и рассказывал, какой он умный и как все удается ему в жизни.

— Я теперь живу безбедно и сыто, а почему? Потому что башка работает.

— С каких же пор ты стал жить безбедно?

— С прошлой недели. В прошлую среду я явился к соседу Оськину, к этой старой желтой крысе. И выпросил взаймы рубль. "Да вы не отадите?" — догадался почему-то Оськин. "Я? Что вы! Я, признаюсь, славлюсь своей честностью. Завтра же отдам". Взял у него. Прожил. На другой день пошел к швейцару Гавриле и говорю: "Милый! Выручи двумя рублями. Завтра отдам!" Сначала он усомнился, а потом дал. Рубль я сейчас же

пошел отдал Оськину, а рубль прожил. Через день приходил к Оськину: "Одолжите, пожалуйста, три рубля".

— "Да вы не отадите!" — "Я? Рубль же отдал, как обещал, и три отдам". Зловещий старик дал. Пошел я к Гавриле, вернул ему два рубля, а на рубль жил и веселился сообразно со склонностями. Затем снова явился к Гавриле: "Дай, милый, четыре рубля". "Вам, — говорит, — можно, вы аккуратные!" Дал. Три рубля снес я Оськину, а рубль истратил на пищу, питье и одежду. Потом приходил к Оськину через день, прошу: "Дайте пять рублей!" — беру! Четыре рубля Гавриле, а рубль...

— Довольно! — сказал я. — Система ясна. В ней есть только один недостаток. Сколько и кому ты сейчас должен?

— Гавриле. Девять.

— На пятнадцатом рубле предприятие лопнет, предупреждаю тебя. — Постарайся, по крайней мере, чтобы пострадал Оськин.

Васюканов пообещал:

— Он пострадает.

За дверьми раздался голос, настолько скрипучий, что его без колебания можно было приписать предмету нашей своеобразной гордости: Валентине.

— Кто у телефона? — спрашивала она. — Что? Это вы, Михаил Львович? Здравствуйте. Что? Что вы делаете? Как? Все в свои газеты пишете? Вы, смотрите, на меня не напишите!.. Все утро? Думали обо мне? Охота вам. Я такая неинтересная!.. Ха-ха! Что? Нет, не приду. Вы не умеете скромно держать себя. Когда зовете, так вы и такой и сякой, и скромнейший, и тихий, а придишь — сейчас с объяснениями... Что? Кататься? Нет, не поеду. Холодно! Да и зачем на извозчиков тратиться... Что? Обманываете! Все вы сначала о любви толкуете, а мы, дуры, верим...

Мы сидели с Васюкановым смущенные, растерянные.

— Ч...черт знает что!! — сказал он, смотря на меня во все глаза. — У этого огородного пугала есть любовник?!

— Очевидно! — пробормотал я и рассмеялся. — Интересно бы его видеть.

— Наверно, какой-нибудь беглый из приюта для слепороденных... Или опустившийся nocturnal, живущий за ее счет...

— Нет, милый, это не то. Он пишет в газетах и тратит свои деньги, чтобы катать ее на извозчиках.

Васюканов ударил кулаком по столу.

— Черт знает что! Теперь всю ночь я не буду спать!.. Это кошмар какой-то!

Я открыл дверь и выглянул.

Она стояла еще у телефона и говорила:

— Ну, прощайте. Завтра я позвоню. Что? Тысячу поцелуев? Не много ли будет? Ха-ха!

Увидев меня, она смущлась, охнула, закрыла лицо руками и убежала.

IV

Прошло два дня.

У меня сидели гости: Васюканов, Ильяшенко и два молодых агента по сбору объявлений — все наши соседи, жившие по этому же коридору.

Разговаривали. Неожиданно нашу беседу перебил звонок и голос в передней:

— Алло! Я у телефона. Да. Валентина. Здравствуйте, господин Жорж. Что? Видеться со мной? А что скажет Михаил Львович, если узнает? Да... Большая разница. Он любит по-настоящему, а вы только говорите... Что? Этого мало! На словах вы все любите! Куда? В драматический? Спасибо, в другой раз. Сегодня может позвонить Миша. Как? Интересная пьеса? Гм... Ну ладно. Только с условием: после театра чтобы без ужинов. Прямо домой. Что? Ха-ха! Знаем мы эти ужины. А? Знаем мы вас, мужчин... Хорошо, только оденусь и приеду. А? Да.

Валентина повесила трубку и стремглав понеслась в свою комнату, вероятно, одеваться.

Васюканов развел руками.

— Очевидно, в этом городе есть какая-нибудь особенная secta людей, которым нравится Валентина?! Какой-нибудь орден подвижников. Раньше бичевали тело, а теперь любезничают с этим кошмаром, с этой гrimasой человечества! Хо-хо-хо!

Ильяшенко, задумчиво глядя через наши головы, сказал:

— Вы судите поверхностно. Предположите, что в этом уроде есть что-то такое, есть такая какая-то сила и обаяние, которые лишают иных людей рассудка... Может быть, в сущности, она интереснейшая женщина!

— Но как же такую можно поцеловать? — вскричал хриплым голосом беспокойный, порывистый Васюканов.

— Как?

— Попробуйте, — усмехнулся сборщик объявлений.

Васюканов хлопнул ладонями.

— Попробую!!

Вошла Валентина, одетая в синее бархатное платье. Наряженная, в шляпе, она казалась еще безобразнее. Мне показалось даже, что было что-то гармоничное в ее безобразии.

Все мы смотрели на нее чрезвычайно внимательно.

— Вам, господа, ничего не понадобится? — независимо спросила она. — Я ухожу. Может, в лавку сходить нужно?

— В театр едете? — спросил Васюканов и — как это ни странно — в голосе его прозвучала нотка ревности.

Агент подошел к ней ближе и, обняв рукой ее талию, спросил:

— Неужели, вы без корсета?

Она засмеялась.

— Тсс... Нельзя руки распускать, господа. Я девушка.

— Девушка? — прищурился Васюканов. — Кланяется от меня, девушка, Жоржу.

Она всплеснула руками, смущаясь и у нее вырвалось:

— Ах! Откуда вы знаете?

Все засмеялись, и она, сконфуженная, убежала, переваливаясь на ходу.

V

Однажды я, проходя вечером по коридору, видел, как Васюканов поцеловал Валентину; при этом он держал ее за руку и спрашивал:

— Что это за Жорж? Что это за Михаил Львович и Костя? Почему ты с ними разговариваешь? Они тебе нравятся? Да? Да?

Она тихо усмехалась.

— Пустите. Не жмите руку. Какие вы все странные... Вчера и господин Ильяшенко меня все спрашивали: кто такие, да почему с ними разговариваю, да люблю ли?

Увидев меня, Васюканов выпустил ее руку и, принужденно усмехаясь, сказал:

— Странное существо! Не правда ли?

Я промолчал.

Вечером ко мне зашел Ильяшенко, один из агентов Васюканов.

И опять мы слышали разговор:

— Кто это? Дядя Вася? Здравствуйте! Спасибо за подарок... Что? Напрасно тратитесь... Вы уже старый,

а я девушка честная и того, что вы думаете, — не будет... Что? Замуж? Ох-хо! О нет, нет. Давно видели Жоржа? Кланяйтесь ему...

Брови Васюканова были нахмурены. Ильяшенко кусал губы, а агент только повторял:

— Черт подирай! О, черт подирай!

Кажется, все они думали о Валентине больше, чем нужно.

Разговор после этого шел вяло. Прощаясь с ними, я сказал:

— Заходите ко мне завтра в это время. Я что-то покажу вам.

Они пришли.

— Тсс, — сказал я. — Молчите!

Я вынул из кармана нож, вышел в коридор и, взбравшись на подоконник, перерезал вверху телефонный провод.

— Зачем это? — удивился Васюканов, когда мы вернулись в комнату. — Ведь хозяину придется платить за исправление.

— Я сам заплачу, — сухо сказал я.

В коридоре послышались знакомые шаги, остановившиеся около телефона, и сейчас же послышался голос:

— Центральная? Дайте номер 43-65. Что? Спасибо. Кто у телефона? Это Жоржик? Здравствуйте. Ну как вам спалось после вчерашнего? Что? Ха-ха! Не знала я, что вы такой нахал... Ха-ха-ха-ха! Мне кажется, вы не можете видеть женщину, чтоб не... ну, вы знаете что... Что? Любите? Ох, сколько раз я уже слышала от вас, мужчин, это! Всем, наверное, вы говорите одно и то же. Что? Хорошо. Сегодня я приеду к вам... Только, чтобы без объятий! Слышиште?..

НЕУДАЧНАЯ АНТРЕПРИЗА

I

— Пусти! О, чёр... рт!..

— Нет-с, я вас не пущу...

— Какое тебе дело! Касается это тебя? Пусти-и!!

— Отойдите от перил — тогда пущу...

— Обниму тебя покрепче, да вместе и прыгнем — будешь тогда знать!

— Ну нет... Я на это не согласен. Послушайте... Вы непременно решили топиться?

— Нет, так просто — поплавать. Ха-ха! Все равно мягкосердечный ты человечек... Отойдешь — я тут же и сигану.

— Ладно в таком случае. А не согласились бы вы утонуть вместо сегодняшнего дня — завтра?

— Спасибо, милый. Значит, выходит — три дня голодал — голодай и четвертый?

— Послушайте... Хотите, мы обломаем прекрасное дельце? У вас есть родственники? Жена?.. Есть?

— Гм... Мало ей от меня радости.

— Так вот... раз вы уже решили утонуть — отчего вам не принести жене и детям какую-нибудь пользу. Отдайте себя в мое распоряжение до завтра, а там топитесь хоть десять раз. Но жена ваша получит тысячонку рублей...

Спаситель был полный, краснощекий мужчина с проворными ухватками и резким смешком. Худой, давно небритый самоубийца, одетый в заношенный серый пиджак, болтавшийся на нем, как на вешалке, посмотрел исподлобья на спасителя, погладил рукой перила моста и ворчливо спросил:

— А что вы со мной сделаете?

— А вот, — захлебываясь какой-то внутренней волной, вскричал весело дородный незнакомец, — а вот что я с вами сделаю... Смотрите: кладу сначала в вашу руку золотой десятирублевик, а затем — веду вас в ближайший ресторанчик и кормлю вас сколько влезет. За обедом потолкуем. Недурно-с? Ась? Недурновато-с?

— А не будете там размазывать мне разные слова и уговаривать не топиться? Если зовете для этого — так и знайте: вскочу, убегу и опять в воду. Так уж я решил!

Его худой кулак упрямо и грозно опустился на железные перила.

— Вот чудак! Вовсе не буду я уговаривать вас не топиться. Просто прошу повременить денек. А если вы три дня не ели — подумайте: разве плохо съесть сейчас добрый кусок хорошей розовой ветчины, яичницу, пару котлет с жареным картофелем, какую-нибудь этакую осетрину и запить все бутылкой холодного пива или вина.

Худой человек потер ладонью небритую щеку.

— Да... вы умеете говорить. Пойдем.

II

— Вот вам! Ешьте. Ветчина, рыба, икра. Кушайте. А я буду говорить. Вы можете меня слушать?

— Мг...

— Прекрасно. Я рассуждаю так: всякое дело, если за него умело взяться, — может принести заинтересованному лицу немалую пользу. А в данном случае нас, заинтересованных, даже трое: вы, жена ваша и я. Чем заинтересованы вы? Вы умрете со спокойной совестью, что жена ваша надолго обеспечена, что жизнь ваша не пропала даром, что вы, умирая, принесли любимому существу пользу. Чем заинтересована ваша жена? Она получает тысячу чистоганчиком — мало тысячу — две тысячи! Совершенно не ударив палец о палец! Теперь вы, конечно, спросите, какую пользу получаю я? Я должен взять на этом тысяч тридцать, тридцать пять!! Каково? Вы спросите: почему же так много? Да ведь — Господи же! Ведь я же антрепренер. Мой риск, мои деньги!! Это уж правило — что при хорошем деле антрепренер получает больше всей своей труппы. Конечно, труппа или в данном случае — вы — могли бы сказать: "А ну тебя к черту! Зачем мы будем отдавать тебе то, что можем сами взять". Тут-то я вам и крикну: "Дудки-с! Дудочки! А капитал? А оборотные средства? Где они у вас?" А без них вы ничего не сделаете.

— Ага, — догадался самоубийца, энергично прожевывая ветчину. — Значит, вы хотите меня застраховать?

Плотный господин даже завизжал от радости.

— Конечно же! Конечно! Рассуждайте так: раз вы решили умереть — вы от этого ничего не теряете. Жена ваша выигрывает — и все довольны! Ну, скажите мне, скажите: можно что-нибудь мне возразить? Ну, возражайте же, возражайте!

— Гм... возразить-то, пожалуй, нечего, — промямлил задумчиво самоубийца. — Дело ясное! Как говорится — не подкопаешься. А если я скажу, чтобы вы выдали моей жене половину заработка... то есть, тысяч пятнадцать? Что вы запоете?

— Если вы это скажете? А я запою — ищите себе другого! А я не согласен!! Нет расчета! Я слишком для этого коммерсант!

Коммерсант помолчал и потом, побарабанив по скатерти пальцами, обиженно продолжал:

— Да, право. Даже обидно... То еле его от воды оттащил, а то он начинает торговаться, как тряпичник.

Скажите, что изменилось в вашей жизни за этот час? Только что раньше жена ваша умерла бы с голоду, а теперь она заработает пару тысячонок.

— А знаете, — сказал самоубийца, поглядывая на собеседника из-за громадной кости отбивной котлеты, которую он обсасывал, — если бы жена моя знала о нашем условии, она бы отказалась от денег.

— Почему? Господи! Почему?

— Потому что она меня любит. Если бы ей предложили на выбор меня, каков я есть — нищий, выгнанный с завода за забастовку, попавший под надзор полиции — или кучу золота — будьте покойны — ха-ха! — она выбрала бы меня.

— Но раз вы уже утонете, — рассудительно возразил антрепренер, — ей уж выбора не будет.

— Если она узнала бы, что я утонул — это убило бы ее, — разнеженно прошептал самоубийца, одним взмахом салфетки утирая жирные губы и крупную слезу в уголке глаза.

— Однако раньше вы об этом не думали? — съязвил антрепренер.

— Раньше у меня было только одно чувство — голод. Тогда уж ни о чем не думаешь. А раз человек сыт — он добре и не прочь подумать о своих близких.

Полное лицо спасителя налилось кровью.

— О, черт? — испуганно вскричал он. — Не раздумали ли вы топиться?

Худой опустил голову и задумался.

— Нет, пожалуй... Дело такое, что раздумать нельзя. В сущности, что изменилось с тех пор, как вы меня оттащили от перил моста? Только то, что я сыт и в кармане лежит золотой?

— Конечно, конечно, — подхватил антрепренер.

— Только и всего. А завтра вы опять будете голодны, а если начнете есть, то через неделю от золотого ничего и не останется.

— Ну, нет, — глубоко задумавшись, покачал головой самоубийца. — На этот золотой можно сделать лучше: поехать в другой город и поступить на завод.

— Глупости! Глупости!!! Кто вас там примет? Везде полные штаты даже с избыtkom.

— Это ничего... Если хороший мастер — его всегда возьмут. А я, по механическому делу — о-о, какой дока!

— Все равно, если под надзором полиции — через месяц опять вылетите и опять голодать будете. Уж поверьте-с.

— Почему же? Буду жить скромненько... Для семьи... Полиция меня и не будет трогать. Накоплю деньжонок... Вы знаете, такой мастер, как я, может до ста рублей вырабатывать? Ей-Богу. Можно половину проживать, половину откладывать. Да жене если купить машинку, она шить будет — смотри, тоже две красненьких набежит. А там синишка у меня поднимется — славненький пятилеток — к тому времени и в гимназию его отдать будет не трудно. Пусть и он не хуже других. А там университет... Не справимся сами — уроками поможет.

— Как же... дожидайтесь! Знаем мы эти студенческие уроки... На сапоги не хватит!

— Отчего же... Он у меня парнишка крепкий. Выбется. А там, смотри — доктором будет или податным инспектором...

— Нет-с! Не будет! Не будет он податным инспектором!! Это, батенька, не так легко!

— Почему?

— Почему? Отдавай мне мои десять рублей — вот почему! Ишь ты, какой! То топиться, а то в инспекторовы отцы лезет. Подавай денежки!

Худой человек почесал щеку, подумал немного и, сунув руку в карман, вынул золотой.

— Нате... получайте, пожалуй. Обойдусь как-нибудь и без них.

— Обойдешься?! Интересно это мне знать: как обойдешься?

— Ну как-нибудь... Можно в автомобильный гараж подменно поступить — моторы чинить... Я в этом мара��ую. Перебиться немного, скопить на дорогу, а там опять на оседлое место, на завод. Да... пожалуй, так и придется сделать...

— Швейная машинка!! — заревел спаситель, стуча кулаками по столу. — Податной инспектор?! Кукиш с маслом!! Если так — иди опять топись! Черт с тобой... И страховать тебя не буду — пусть жена твоя с голоду подохнет!

— Зачем же ей подыхать с голоду, — благодушно улыбнулся самоубийца. — Даст Бог, выкрутимся.

— Выкрутись... Вот свяжись с дураком...

Антrepренер посмотрел с омерзением на мечтательное лицо худого человека и сказал с целью как-нибудь побольше узвить его:

— Ты небось и тогда ломался, когда у перил стоял... Все равно не прыгнул бы.

— Нет, прыгнул, — возразил самоубийца. — Вот вам крест, прыгнул бы.

— У-у, р-рожа! — зарычал с ненавистью антрепренер.

— Так теперь-то чего не хочешь??!

— Да, может, обойдусь. Выхожусь...

— Говорю тебе, не выходишься! Топился бы лучше уж, гадина омерзительная.

— Чего ж ругаться... Не виноват же я, что планишки некоторые теперь появились.

— Пла-анишки! А почему на мосту планишков никаких не было?

— Почему, да почему... Откуда же мне знать, почему?

Один недоумевал сдержанно, лениво. Другой — злобно, бешено сверля противника разгоряченными тридцатью тысячами, налитыми кровью глазами.

— Почему? Ну почему?

И никто из них даже не поглядел на скромно лежавшие на тарелках остатки жареной рыбы, ветчины и огрызок отбивной котлеты с картофелем.

КАК МЕНЯ ОБВОРОВЫВАЛИ

I

Однажды я ехал в поезде, имея в кармане две тысячи рублей наличными. В купе вагона нас было двое: я и еще один господин — самого продувного вида.

Еще когда не зажигали огней, я уже решил, что этот господин не прочь обокрасть меня, а когда наступил вечер — я готов был дать голову на отсечение, что мой сосед не кто иной, как самый зловредный, опытный, хитрый вор без всяких твердых принципов и устоев.

“Хорошо-с, — думал я, свесившись с верхней койки, на которой мне предстояло провести ночь, и разглядывая подозрительного соседа. — Мы с тобой, братец, еще потянемся!.. Ты хитер, да и я ведь человек не последнего сорта! Посмотрим...”

Голова моя усиленно заработала.

“Если я засну, — размышлял я, — то он сейчас же обшарит мои карманы, найдет в боковом кармане деньги и удерет... Значит, нужно или совсем не спать, или заснуть, спрятав предварительно деньги в надежное место. Не отдать ли их обер-кондуктору?.. Но кто может мне поручиться, что тот завтра утром не отопрется от всего,

заявив, что никаких денег он и не видывал? Или сделать так: пойти в уборную и сунуть деньги до утра в умывальник или за электрический фонарь... Конечно, они могут сохраниться до утра. А вдруг кто-нибудь найдет их и заберет себе?..”

По зрелому размышлению я признал все эти планы рискованными и негодными.

“Не спрятать ли деньги в чемодан, привязав потом его веревкой к ноге? Вор схватит чемодан, веревка дернет меня за ногу, я проснусь, наброшусь на вора и отколочу его...”

Это было бы очень недурно, если бы вор дал предварительную клятву не перерезывать ножом веревку, привязанную к ноге.

Но такую клятву, я был уверен, трудно у него вырвать, да и поклявшись, он мог бы нарушить данную клятву, потому что эти люди имеют о совести и религии самое смутное представление...

— А не предложить ли мне ему просто сто рублей с условием, чтобы он соскочил на первой же станции? Неудобно. Спросит — почему? Раскричится...

Я долго и тщетно ломал голову и в конце концов остановился на одной мысли, которая показалась мне наиболее подходящей.

“У меня много карманов в платье, — подумал я. — Если разложить деньги поровну по всем карманам — вор вытащит деньги из одного кармана и удерет, не подозревая, что в каждом другом кармане лежит такая же сумма... Лучше потерять мне сто или полтораста рублей, чем две тысячи — это ясно. Лучше уменьшить риск в пятнадцать раз, чем рисковать всем!”

Я погрузился в расчеты.

“В пиджаке у меня пять карманов, да в жилете четыре... Нет, тоже пять — один внутренний. Итого десять. В брюках — два по бокам, да один сзади на пуговице... Если при этом надеть пальто, в котором пять карманов — получится восемнадцать. Предположим, я размещаю в каждый карман по сотне рублей... Останется две сотни лишних. Куда же их сунуть? В ботинки разве? Самое лучшее место! Наиболее рискованными карманами являются наружные в пальто. Они так явно мозолят глаза, что даже честному человеку трудно удержаться, чтобы не заглянуть в них. Нельзя ли сделать так: из карманов пальто перевести одну сотню в брючный карман, а другую — во внутренний жилетный (самое безопасное место). Или насовать в пальто по десяти рублей на карман — пусть берет, простофиля.

Но тогда у меня останется лишних двести пятьдесят. Можно в пиджак. Какой пиджак? Что за вздор... Это я хотел сказать — чемодан? Где чемодан?.. Вот он! Странно только — почему он шевелится?"

Действительно, мой чемодан зашевелился, верхняя крышка отскочила и изнутри выползло нечто вроде змеи красивого изумрудного цвета. Меня страшно удивила особенность женщин притворяться: я сразу разгадал хитрость! Это была не змея, а рукав зеленой кофточки жены. Я увидел жену во весь рост. Она потрепала меня по плечу, опустилась на качалку и лениво сказала:

— Вот скучища-то! Хоть бы в театр куда-нибудь. Еще не поздно? Который час?

Я протянул руку к своим часам и, содрогнувшись, очнулся.

Никакой жены не было. Она исчезла и даже не одна, а с моим подозрительным соседом.

Я огляделся. Купе было совершенно пусто.

Я схватился за карман. Он был пуст.

В отчаянии я схватился за голову. В ней тоже после крепкого тяжелого сна ощущалась пустота.

Так обокрали меня первый раз в жизни.

II

Вторая кража была на значительно меньшую сумму. Просто когда я жил на кавказском курорте и вышел однажды прогуляться по горам, откуда-то из-за утеса выскошли кавказские разбойники и украли меня. Повторяю — эта кража была для воров менее прибыльна, чем первая, в вагоне, потому что со мной не было ни копейки денег, а сам по себе я стоил немного.

Разбойники схватили меня, связали, посадили на лошадь и заявили самым убедительным тоном:

— Если вздумашь бежать — мы тебя убьем.

— Да для чего я вам понадобился? — с любопытством спросил я. — Вот еще, нашли тоже сокровище!

Моя скромность не произвела на них хорошего впечатления. Начальник толкнул меня в спину и сказал:

— Мы за тебя получим хороший выкуп.

Я был изумлен.

— За ме-ня? Неужели я кому-нибудь нужен?

— Твои родственники выкупят тебя.

Абреки показались мне решительными дураками.

— Родственники? Только им и дела, что выкупать меня. Как же! Есть у меня один дядя, да и тот повесится прежде, чем заплатит за меня три рубля.

— Мы за тебя получим десять тысяч!

Впервые узнал я свою настоящую рыночную стоимость, и размер ее немало меня порадовал. Лично я был о себе более скромного мнения.

— Не буду с вами торговаться, — сказал я, качая головой, — потому что это меня унизит. Но если бы была малейшая возможность зашибить на мне деньги, я первый сказал бы вам: "Просите двадцать тысяч. Мы оба по-братьски заработка на этом деле". Однако я не говорю этого. Почему? Совершенно безнадежное предприятие — за меня никто не даст ни копейки!

— У тебя есть друзья! — угрюмо сказал начальник.

Я горько засмеялся.

— Друзья! Я у них по уши в долгах! Я перехватывал деньги, где только мог... Когда ваш посланный явится к ним за выкупом, они поймают его, связуют и потребуют уплаты всех моих долгов. Скажу вам откровенно: никогда вы не делали более глупой и менее удачной кражи, чем кража меня. Ваш торговый дом может лопнуть на мне, как мыльный пузырь. Я величина в покупательском смысле не только положительная, но только нулевая, но даже отрицательная! Прогоните меня как можно скорее.

— Пиши письмо! — закричал сердито начальник.

— Проси выкупа или мы тебя зарежем, как собаку.

— Кому? — вспылил я. — Кому я буду писать? Ротшильду? Испанскому королю? Говорю же вам: ни одна душа в мире не даст за меня ни копейки. Что я такое? Писаный красавец, гений, за которого всякий отвалит какой угодно куш?! Украли... тоже! Не могли найти ничего лучшего... Где у вас глаза-то были?

Тон у меня был такой убедительный, что все сконфузились.

— В таком случае мы тебя зарежем, — предложил начальник.

— Тоже предприятие! Из одной глупости в другую. Такие вы умные интеллигентные разбойники, а рассуждаете, как... черт знает кто. Ну, вы меня зарежете — какая вам от этого польза? А если отпустите — я вернусь в город и буду расхваливать вас на всех перекрестках. Распишу: какие вы смелые, мужественные, благородные... Популярность ваша возрастет, и бедное население ок-

ружит вас ореолом героев. Богачи будут вдвойне бояться вас и беспрекословно выкупать друг друга. Кроме того, вернувшись в город, я постараюсь сам разбогатеть, обрасти, как говорится, шерстью, и если когда-нибудь снова попадусь вам — за меня любой банк заплатит вам сколько пожелаете. Отпустите меня, а? Черт со мной, в самом деле!

— Черт с ним, в самом деле, — сказал, пожимая плечами, начальник. — Развяжите его. Пусть убирается на все четыре стороны.

Опьяненные моим дешевым красноречием, невежественные сыны гор развязали мне руки, и я пустился бежать по крутым утесам и камням с такой быстротой, что, если бы случилось мне споткнуться и упасть в пропасть, — от моего десятитысячного тела остались бы жалкие обломки, рублей на двадцать — двадцать пять по наивысшей оценке.

III

До сих пор я считаю самым гнусным делом третью кражу. Отчасти потому что она была двойная, а отчасти в ней был замешан один из моих лучших друзей.

Друга этого звали Фролов.

В дни нашей ранней молодости мы были неразлучны, но потом, когда в нашем городе появилась красавица вдова Марфа Леонидовна, — наши отношения испортились. Ухаживали мы за ней оба, оба бывали у нее, но однажды Фролов в мое отсутствие совершенно необъяснимым образом взял надо мной перевес, и с тех пор красавица была для меня совсем потеряна. Я был так огорчен, взбешен и расстроен, что не являлся к ним (они поселились вместе) целый год, а потом однажды явился, чтобы высказать счастливым любовникам свое настоящее мнение об их отношении ко мне.

Когда я приехал к ним, Фролова не было, и приняла меня Марфа Леонидовна.

Я уселся в кресло, угрюмо оглядел ее пышную великолепную фигуру и спросил сдавленным голосом:

— Счастливы?

Она улыбнулась.

— О, конечно.

— Послушайте, — сказал я, придвигаясь к ней в порыве неизъяснимого вдохновения. — Я через пять минут

уйду и никогда больше, слышите ли никогда не покажусь вам на глаза. И только об одном умоляю — объясните мне, как другу: за что вы его полюбили? Чем он покорил вас?

Она смотрела в окно, мечтательно улыбаясь и постукивая носком туфельки о ковер. Потом после некоторого колебания сказала:

— Вам это может показаться странным, но Володю я полюбила за одно стихотворение. Такое стихотворение мог написать только талантливый, безумно любящий человек. И когда он прочел его мне и посвятил — я дала ему первый поцелуй.

Я всплеснул руками.

— Володька написал хорошие стихи?! Полноте! Он способен рифмовать "село" и "колесо", "медведь" и "плетень" — я очень хорошо его знаю. Наверное, бездарные глупейшие стишонки написал он вам?

— Ошибаетесь, — нахмурилась она. — Стихи бесподобные. Так мог написать только большой поэт. Правда, такие стихи могла подсказать исключительно любовь ко мне — больше он стихов не писал.

— А как они... начинаются? Не помните?

Она обратила глаза кверху и тихо начала:

В ночь разлуки с тобою приснился мне сон.
Страшек был, непонятен был он...
Для него нет в уме объясненья —
Мне пригрезились волны забвенья
Мутной Леты, и он — этот дряхлый Харон —
Вел ладью свою против теченья...
Я в ладье той сидел
И печально гляде...

Я вскочил с кресла и с громким криком схватил прекрасную вдову за руку.

— Слушайте! — вскричал я. — Да ведь это мое стихотворение!! Я его тогда же, помню, написал и показывал Фролову. Фролов пришел от него в неистовый восторг, просил даже переписать его...

Красавица побледнела, как бумага. Грудь ее вздымалась, подобно морской волне.

— Возможно ли это?

— Клянусь вам — это мои стихи.

Руки ее бессильно упали на колени.

— Что же... теперь делать?

Я заглянул ей в лицо и сказал:

— Первый ваш поцелуй принадлежал вору; отдайте второй — собственнику!

— Но ведь я целый год любила его за это стихотворение!

— В таком случае, — озабоченно сказал я, обнимая ее талию, — нам нужно как можно скорее наверстать этот украденный год!!

И эта честная женщина пожалела обворованного простака, и тихо улынулась ему, и поспешила согласиться с ним...

Я И МОЙ ДЯДЯ

Один знакомый спросил меня:

— Скажите, Двуутробников, у вас есть здесь в Петербурге какие-нибудь родственники?

— Нет, — сказал я. — Никаких.

— Может быть, однофамильцы?

— Нет. Моя фамилия очень редкая. Пожалуй, единственная.

— А я вчера, проходя по Николаевской улице, видел на парадных дверях карточку: "Илья Капитонович Двуутробников".

— Капитонович?.. Гм... И мой отец тоже был "Капитонович".

— У вас был дядя?

— Был... давно-давно. Да куда-то потом исчез.

— Так поздравляю вас! Это, наверно, и есть ваш дядя.

А дядя, живущий на хорошей улице и имеющий на дверях медную карточку — это чудесный материал для будущего наследства!

Глаза мои заблистили.

— Я хочу к дяде! — вскричал я.

— ...Да и не только наследство... богатые дяди любят даже при жизни делать племянникам кое-какие подарочки.

— Я хочу к дяде! — закричал я, обуреваемый новым, неизведанным мною, чувством. — Я сегодня же хочу видеть милого дядю.

— Не забудьте же, — сказал знакомый, прощаясь со мной, — что это я сообщил вам о дяде. Если возьмете у него малую толику — поделитесь со мной.

— К дяде!! — ревел я, приплясывая.

Я написал такое письмо:

"Милый дядюшка! Это пишет вам ваш дорогой племянник Марк Двуутробников, живший доселе в одиночестве без родственного участия, попечения и ласки. О, как тяжело, незабвенный дядюшка... Зайду к вам сегодня вечерком. В чаянии быть вам полезным

Ваш Марк".

Вечером я звонил к дядюшке.

Дверь открыл мне какой-то старик в рваном пестром халате, подпоясанный веревкой с громадным толстым узлом на животе.

— Кого вам? — подозрительно спросил он.

— А что, братец... — спросил я, — дядюшка мой Илья Капитоныч принимает?

Старик, шлепая стоптанными калошами, отошел в угол пустой комнаты, опустился на подоконник и сморщил лицо.

— Принимает?! Где мне принимать. Я и лекарство-то перестал принимать, потому что в доме ни шиша нет, а мошенники-аптекаря в долг не отпускают.

— Это, значит, вы и есть мой дядя? — строго спросил я.

— Я! А то кто же. Спасибо, что вспомнил шлемянничек. Авось хоть он поддержит чем-нибудь бедного больного, разоренного дядьку. Знаешь, братец, не приди ты — я уже не знаю, чтобы мне и делать, форменный ты, брат, якорь спасения.

Идя к дядюшке, я втайне считал его якорем спасения. Теперь два якоря спасения стояли друг против друга и смущенно переглядывались...

Якорь спасения, который помоложе, вздохнул и подумал:

— Не вlopался ли я в скверную историю? Не сядет ли этот оборванный дядюшка мне на шею? Не придется ли мне его содержать? Не проиграл ли я на этом деле?

А старший якорь спасения переминался с ноги на ногу, тер переносье, с надеждой заглядывал мне в глаза.

— Какой же ты молоденький!.. Какой раскрасавчик? Как пышно одет? Небось тысяч шесть в год зарабатываешь?..

Старая развалина имела хорошийнюх: я действительно зарабатывал в год шесть тысяч.

— Дядюшка! — воскликнул я, утирая кулаком слезу. — Дядюшка! Знаете ли вы, что это платье — единственное, что у меня есть. Вы живете по сравнению со мной богачом!..

А я... даже собственного угла не имею... Живешь просто из милости у приятелей: сегодня у одного, завтра у другого.

Заложив руки назад, я поспешил перевернуть бриллиантовое кольцо камнем внутрь и потом, помахивая сжатым кулаком, энергично продолжал:

— Дядюшка! Знаете ли вы, что мне по три дня не приходилось есть горячей пищи?! Чай, колбаса, французская булка — таково было мое неприхотливое меню.

Глаза дяди засверкали:

— Как?! У тебя есть чай, колбаса и булки и ты... жалуешься?! О милый... Если бы ты угостил меня подобным обедом — я, кажется, насытился бы на месяц. О, Боже! Свежая вареная колбаса... чуть-чуть с чесноком. Французская булка похрустывает на зубах... Чай ароматно и приветливо испускает теплый пар... Ложечка тихо позывкает в стакане, размешивая сахар.

Я чувствовал, что гибну, что кто-то схватил меня за горло и хочет ограбить.

— Дядюшка! — отчаянно воскликнул я. — У меня даже нет ложечки! Я размешиваю чай ручкой зубной щетки!

— О?! — недоверчиво прищурился дядя. — У тебя есть даже зубная щетка? Решительно ты прожигаешь жизнь! Зубная щетка... Когда ты, милый, придешь ко мне еще раз, захвати ее с собою... Давно не видел я зубной щетки... Хоть перед смертью поглядеть...

Я с отвращением посмотрел на этого мизерного человечка и угрюмо спросил:

— Значит, вам тоже неважно живется?

— Мне? Если ты, милый, не позаботишься обо мне — я скоро умру от голодухи и лишений... Раньше у меня была одна знакомая кухарка с верхней площадки, которая снабжала меня обедками и огрызками с барского стола за то, что я читал ей Евангелие. Но теперь Евангелие дочитано — и я лишился кухаркиной поддержки.

— Чем же вы питаетесь? — спросил я, нервно прохаживаясь по пустой неприветливой комнате.

Шаркая калошами, он подошел ко мне ближе и шепнул:

— Животными.

— Какими?

— Преимущественно крысами. У нас тут много развелось этих грызунов. Я ставлю ловушку и потом жарю пойманных крыс. Они по вкусу чуть-чуть напоминают молодую баранину и только немножко отдают свечным

салом. Если ты, дорогой мой, заглянешь ко мне еще раз, я угощу тебя горяченьkim...

— Спасибо, дядюшка, — с горечью возразил я. — Но едва ли мне придется еще раз воспользоваться вашим гостеприимством.

— А что? — с беспокойством спросил дядя.

— Дело в том, что это платье, в сущности, не мое, дядюшка. Я давеча прихватил. Это платье взято на прокат у приятеля... Я вернусь к нему сейчас, возвращу платье — и положение мое делается в прямом смысле безвыходное.

У нищего старика, в сущности, была добрая душа... На лице его выражалось живейшее сочувствие.

— Эге! Дела твои действительно плохи... Нельзя ли этому помочь? Я вчера утащил, признаюсь, у швейцара коверчик, который был разостлан на площадке... Нельзя ли тебе соорудить из него своими средствами теплый костюмчик. Только уж ты тогда, являясь ко мне, молнией проносись мимо швейцара. А то — узнает свое добро — беды не оберешься. Хе-хе!..

Я сделал кислое лицо.

— Тоже... придумали! Кто же шьет из цветных ковров платье?! Да и кто шить-то будет?

— Ничего, брат. Можно, как-нибудь... Иглы, правда, у меня нет, но зато есть припрятанная про запас парочка-другая рыбьих костей. А то, хочешь, я тебе свой пальмерстончик уступлю. Ходи в пальмерстончике.

Я оглядел отвратительные лохмотья, облекавшие его тощее тело, и решительно сказал:

— Нет! Не надо. Я не хочу лишать вас последнего. Не судьба нам, значит, встречаться. Прощайте, бедный, дорогой дядюшка.

— Куда же ты? Посиди еще.

— Да на чем тут, черт возьми, сидеть, — досадливо вскричал я. — Когда даже стульев нет.

— А ты... на подоконнике... — робко предложил дядя.

— Или я тебе газетку на полу постелю, посидим еще,

поболтаем о том о сем.

— Благодарю вас!! — вскричал я. — От вас пышет гостеприимством! Усядемся мы на рваных газетах, займемся шитьем пальмерстончика из старых рыбьих костей и крашеных "коверчиков", а потом, подкрепив силы парой жареных крыс, разойдемся веселые и довольные друг другом. Нет-с, дядюшка! Я к такой жизни не привык-с!

— Конечно, — с обидой в голосе прошептал дядя.
— Где нам! Вы привыкли на стульях сидеть, чай с колбасами распивать, зубными щеточками жизнь свою укращать... Где нам...

Я почувствовал, что обидел старика.

— Ну чего там, дядя, бросьте. Не стоит. Только вот что: объясните мне одну дьявольскую загадку.

Дядя побледнел и съежился.

— Что такое?

— Почему у вас медная дощечка прибита? Почему квартира ваша на втором этаже? Что у вас в следующих комнатах?

— О милый! Это целая история... Квартира эта принадлежит моему другу, торговцу стеклом и фаянсовой посудой. Однажды дела его испортились... ему грозила продажа с аукциона товаров, полное разорение... Тогда он ночью свез самый ценный товар в эту квартиру, сложил до поправления дел, а мне разрешил из милости жить в первых двух комнатах. В остальные я и не захожу.

— Гм... Ну, прощайте, дядя... Свидимся ли, Бог весть.

— Куда же ты?

— Я думаю, мне пора! Кстати, который теперь может быть час?

Машинальным движением старик засунул руку за пазуху своей отвратительной хламиды, вынул массивные золотые часы и сказал:

— Шесть.

— Дядюшка! У вас золотые часы!!

С юношеской неосторожностью я всплеснул руками — и бриллиант сверкнул на моем пальце.

Хитрый старик заметил это и, сунув за пазуху часы, с усмешкой сказал:

— Убей меня, если я поверю, что это тысячное кольцо одолжил тебе тот же приятель!

Я потыкал пальцем в грудь старика и многозначительно сказал:

— Часы. Золотые.

— Золотые? Ха-ха, — визгливым, фальшивым смешком раскатился дядя. — Нового золота, брат! Шесть с полтиной — в лучшие времена были куплены. Их теперь и за рубль не продашь.

— Э, черррт!.. — вне себя зарычал я. — Вы все еще ломаетесь?.. Так докажу же я вам, что юность порыви-

стее, откровеннее и честнее старости! Вот... и вот! И вот!
И вот!!

Я снял кольцо, вынул золотой портсигар, часы, бумажник, в котором было около сотни рублей, тонкий батистовый платок — и все это лихорадочно расшвырял по подоконнику.

— Вот вам колбаса! Вот булки! Вот вам моя нищета и злосчастье! Перехитрил ты меня, старая лисица! А дома еще есть фрак, два сюртука, бриллиантовая булавка и запонки.

Мы обернулись друг к другу и долго пронзительно смотрели один на другого.

— Ага... — сказал, лукаво хихикнув, старикашка.

— Вот это другое дело.

Он развязал веревку на животе, стянул свой халатик и с отвращением отбросил его в угол.

— Долго пришлось мне рыться на чердаке, пока подвернулась под руку эта подходящая дрянь.

Под халатом у него был черный суконный жилет и элегантный бархатный пиджак.

— Адольф! — заорал он во все горло. — Вели Ильюшке подавать обед!! Ты не откажешься, надеюсь, пообедать со мной?

— Крысами? — насмешливо прищурился я.

— Но ведь и не колбасой, — возразил дядя. — У меня повар не из последних.

Он взял меня под руку, потащил в столовую, но на пути остановился и с силой хлопнул меня по плечу.

— А ведь получишь ты после меня наследство, каналья! Чувствую я это.

— А то как же, — хладнокровно улыбнулся я. — Конечно получу. Ведь я ваш настоящий, неподдельный племянник.

— Выдергки у тебя не хватает... — упрекнул он.

— Я ж еще молодой!

Дядька визгливо захохотал.

МОЛНИЯ

I. ПРИЕЗД НЕЗНАКОМЦА

Если сказать правду, то рудничный поселок "Исаевский" считался первым среди других поселков — по числу и разнообразию развлечений.

Жаловаться было нечего: каждая неделя приносила что-нибудь новое. То конторщик Паланкинов запьет

и в пьяном виде получит выговор от директора, то штейгерова корова сбесится, то свиньи съедят сынишку кухарки чертежника... А однажды рудничный врач, в пьяном виде, отрезал рабочему совсем не ту ногу, которую следовало. Этой ногой досужие, скучающие конторщики кормились целую неделю, потому что хотя здоровая нога и была зарыта в больничном саду, но родственники безногого пронюхали об этом, вырыли ногу и явились к доктору просить на чай. Доктор раскричался, заявил, что понимает в медицине не хуже любого человека, и только после долгих споров, когда родственники стали энергично наступать на него с ногой в руках, — он сдался и уплатил десять рублей, не считая докторского старого осеннего пальто, подаренного безногому рабочему за беспокойство.

Немало развлекла рудничную молодежь и история с неизвестным прохожим, который, шатаясь в зимнюю ночь около поселка, влез погреться на коксовую печь старой системы и прогорел. Объясняли так: когда он ложился, печь была еле-еле теплая, а потом огонь разгорелся, пробился сквозь угольную кору и прожег бок спящему.

Видом своим изжаренный прохожий напоминал громадного поросенка, кожа на нем полопалась, волосы обгорели, и, так как он из-за каких-то формальностей целую неделю ждал погребения — конторщики, стосковавшись по свежему, новому человеку, гурьбой шли в сарай, поднимали простыню и рассматривали покойника.

Но все это были мелочи по сравнению с тем событием, которое оставил самый яркий след в жизни поселка... Событие это было — кинематограф и стереоскопы.

Однажды в осеннее утро, похожее как две капли воды на другие утра, в контору приехал худой черный человек с цыганским лицом и белыми зубами, сверкнул этими зубами, сверкнул белками глаз и потребовал, чтобы его проводили к главному инженеру...

Сначала все предположили, что это — лесной поставщик, и не обратили на него никакого внимания, но это оказалось не поставщик!

Инженер после краткой беседы с приезжим вышел в контору и сказал:

— Вот, господа, monsieur Кибабич предлагает устроить у нас временный кинематограф. Я думаю дать ему разрешение, конечно, только в том случае, если это не будет неблагоприятно отражаться на общем ходе занятий вверенного мне поселкового персонала!..

Инженер повернулся и ушел, а контора загудела, ожидалась, и Кибабич сразу оказался в кругу двадцати молодых людей с испытыми от работы, пьянства и скуки лицами.

Все впились в него глазами и стояли молча с полминуты.

Самый развязный из конторщиков Масалкин протянул ему руку и сказал:

— Позвольте познакомиться.

Кибабич очаровал всех своим ловким непринужденным ответом. Он сказал:

— Очень рад.

— Позвольте познакомиться, — протянул руку табельщик Уважаев.

И конторщик Петухин протянул тоже руку и сказал:

— Позвольте познакомиться.

И всем говорил Кибабич, этот чудесный, загадочный человек из другого неведомого мира:

— Очень рад. Очень рад.

— Ну, — сказал старик Лиховидов, — посмотрим, посмотрим ваши кинематограф.

— Не оставьте меня вашим благосклонным вниманием, — расшаркался Кибабич.

— Мы будем ходить каждый день! — в порыве беспредельной радости вскричал Петухин.

Над поселком "Исаевским" загоралась новая заря.

II. ПРЕМЬЕРА

В большом помещении, носившем название "ожидальная", потому что зимой в нем сотни рабочих ожидали расчета, кипела работа. Плотники натягивали на раму полотно, устраивали скамьи для публики и загородку для рабочих.

Конторщики то и дело выскакивали из конторы и прибегали смотреть, как идет работа и успеют ли закончить все к вечеру воскресенья, когда была назначена премьера.

Уже в субботу утра в конторе никто не занимался. Все бродили от одного стола к другому и с напускным видом равнодушия вели беседы.

— Симпатичный он человек, этот Кибабич. Такой простой. Вчера даже обедал у штейгера Анисимова.

— Ну?.. Все-таки, что ни говорите, затеять такое дело нужна большая сметка! Ведь это как театр!

— А его сестра на мандолине играть будет, — сказал пронырливый Масалакин.

— Что ты! Артистка?

— Значит, артистка, если играет на мандолине!

— И ты с ней знаком?

— Ну, не знаком еще. Но могу познакомиться... через Анисимова.

Все пожали плечами, но на лицах читалась самая некрасивая, незамаскированная зависть.

Наступило воскресенье.

Хотя начало сеанса было назначено в восемь часов, но рабочие пришли в четыре, конторщики — в шесть с половиной, а бухгалтер и штейгер, как истые аристократы, пресыщенные жизнью и удовольствиями, — в семь часов.

Масалакин, этот несокрушимый смелый лев, успел-таки познакомиться с сестрой Кибабчича, невзрачной брюнеткой, и с семи часов вечера уже стоял около ее стула, рассматривая мандолину с искусственным спокойствием человека, умеющего владеть собой.

Масалакин одет был шикарнее всех. На нем были смокинг, темно-красный закрытый жилет и изящные скороходы, сквозь верхние прорезы которых виднелись чистые белые чулки. На пальце сверкал огромный бриллиант, вымененный у Петухина на собрание сочинений Жюля Верна, а в галстуке торчала такая громадная булавка, что Масалакин время от времени одним размашистым движением подбородка сверху вниз втыкал ее глубоко по самую шляпку в галстук.

Дамы смотрели на него с обожанием, конторщики завидовали, а он бросал на всех рассеянные, снисходительные взгляды и вел со своей соседкой разговор вполголоса.

И думал он: "Почему не все люди одинаковы? Почему я красив, блестящ и умею поговорить, а другие конторщики — жалкие, невидные, ничем не выделяющиеся... Почему одних Господь отличает, а других сваливает в одну кучу?..."

Премьера удалась на славу. Картины весело мелькали на экране, т-ле Кибабич играла вальс "Сон жизни", а Масалакин изредка наклонялся к ней с целью показать, что между ними уже установились дружеские отношения, и спрашивал:

— А из "Евгения Онегина" Чайковского что-нибудь играете? Или марш "Вахтпарат"?

Во время перерыва дочь больничной сиделки Аглай Федоровна подозвала блестящего Масалакина и сказала:

— Фу, какой вы нарядный! Слушайте, вы знакомы с самим антрепренером... как его?

— Кибабич, — уронил небрежно Масалакин. — Как же, Кибабич!

— Познакомьте меня с ним.

Масалакин ринулся в будку, вытащил оттуда Кибабича и, дружески взяв его под руку, потащил в третий ряд.

— Да иди, Костя! Да иди сюда, я тебя с одной барышней познакомлю. Не бойся!

Все ахнули, услышав, что Масалакин уже на "ты" с гордым, богатым директором кинематографа. Конторщики завидовали...

И когда этот человек все успевал?

III. НА ДРУГОЙ ДЕНЬ

Утром в конторе опять завидовали блестящему Масалакину, расспрашивали его о домашней жизни директора кинематографа и, подмигивая, говорили:

— А вы прямо ухажером сделались этой, что на мандолине играла. Смотрите, влюбитесь.

Масалакин радостно смеялся.

— Уж и влюблусь! Просто я люблю театральный мир и артистов. В них есть что-то благородное!

— Она действительно его сестра?

— Да-а. Она окончила курсы игры на мандолине, бывала в Петербурге. Даже несколько раз.

Во время обеденного перерыва Масалакин предложил товарищам:

— Хотите, пойдем в кинематограф?

— Да там же сейчас ничего нет.

— Все равно. Я покажу вам полотно, ленты. Картинки маленькие-маленькие.

И он, как свой человек, повел конторщиков в "ожиданию".

Там царила полутьма. Кибабич возился в будке, а сестра его меняла на мандолине струну.

— Позвольте познакомить вас, — сказал Масалакин.

— Очень приятно, — сказала барышня.

— Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно, — застенчиво сказали три конторщика.

Кибабич вылез из будки и стал показывать полотно и ленты.

— Неужели за полотном ничего нет? — удивился Уважаев.

— Ничего. Простая стена.

— Поразительно. А я думал... А это что такое?

— Стереоскопы. Сейчас я зажгу лампочку. Если в это отверстие бросить пятак и вертеть ручку, то вы увидите раздевающуюся парижанку, купанье в Биаррице и мечеть в Каире. Очень интересно.

Раздевающаяся парижанка понравилась больше всего. Петухин истратил на нее три пятака, Уважаев — четыре, а какой-то маленький, вновь поступивший конторщик с бледным лицом — сорок копеек.

Масалакин в это время что-то шептал барышне тихим, разнеженным голосом.

IV. ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

Каждый вечер зажигались лампы, впускалась по билетам публика и Кибабич показывал свои картины. Несмотря на то что их было только восемь и программа ни разу не менялась, публика с охотой десятки раз просматривала и "Выделку горшков в Ост-Индии", и "Барыня сердится" (очень комическая), и "Путешествие по Замбезе" (видовая)...

Наоборот, было так приятно узнавать старых знакомых: барыню, бьющую посуду на голове мужа, негров, вытаскивающих гиппопотама, и неловкого штукатура, обливающего краской прохожих.

— Сейчас будет "Жертва азарта"! — предсказывал Петухин, развалившись во втором ряду.

— Нет, это через картину, — возражала сиделкина дочь Аглай. — А сейчас "Барыня сердится", очень комическая. Я хорошо помню, Константин Сергеич! — кричала она, оборачиваясь к будке. — Ведь сейчас "Барыня сердится", очень комическая?

— Да, да, Аглай Федоровна. Впрочем, какую вы хотите, ту и пущу!

— Ах, какой вы кавалер!

Аглай краснела. Все завидовали.

Днем в "ожидальне" всегда торчал кто-нибудь из конторщиков.

Заходил Петухин и, здороваясь с Кибабичем, говорил:

— Скучно что-то. Посмотреть разве "Парижанку"?

— Пожалуйста, — радушно говорил Кибабич, — картина интересная.

Петухин бросал пятак, смотрел "Парижанку", потом "Купание в Биаррице", а потом, чтобы отстранить от себя подозрения в склонности к эротике, жертвовал пятак на скучную "Мечеть в Каире".

Приходил и Уважаев.

— Смотрел уже "Парижанку"?

— Смотрел. И "Мечеть" смотрел. И "Купанье".

— Хочешь еще посмотрим? Куда ни шел пятачок? Посмотрим?

— Ну, давай.

Друзья становились у стекол и вертели ручку, любуясь знакомой, до последней черточки и складки белья, "Парижанкой".

— Вечером будете? — спрашивал Кибабич.

— Конечно, будем. "Барыня сердится" будете показывать?

— Все буду. Приходите.

Кибабич был светлым лучом Исаевского поселка, несмотря на то что конторщики совершенно разорились на стереоскопы и билеты. Кибабича приглашали с сестрой на обеды, на именины, катали на рудничных лошадях... Аглай вышила ему голубую сорочку, а Масалакин подарил m-lle Кибабич громадную коробку конфет от Шелепова — таких сухих, что их перед едой нужно было обливать теплой водой.

V. ТЬМА

И вот в один осенний день все это неожиданно кончилось... Кибабич объявил, что завтра состоится последний спектакль и на другое утро они с сестрой перевозят свой театр на новое место.

Погас светлый луч...

Больше всех были в отчаянии Масалакин и Аглай... Она пришла вечером к Кибабичу, вызвала его и имела с ним долгий разговор. А Масалакин сказал своей артистке, что едва ли переживет удар... Она ответила, что им нужно расстаться, а Масалакин заявил, что все артистки равнодушны и жестоки!.. И намекнул, что если он когда-нибудь умрет, то немалая доля вины в этом придется на долю кое-кого.

По окончании спектакля директору кинематографа и его сестре был устроен ужин, на котором Петухин

говорил длинную, отрывистую речь, смысл которой заключался в том, что он благодарит дирекцию за доставленное эстетическое удовольствие и что деньги, в сущности, дрянь. Все сидели печальные, как на похоронах... А утром блестящая труппа покинула Исаевский поселок... Уехали: брат, сестра, "Парижанка", "Барыня сердится", штукатур, гипопотам, "Мечеть" и Аглайя, которая бросила отчий кров для захватывающе интересной жизни с обаятельным авантюристом Кибабичем.

И стало мертвое, темно и пусто...

Даже неудачное покушение Масалакина на самоубийство при помощи баночки хлористого натра, украшенного в рудничной аптеке, и то не расшевелило заснувших.

СВОЙ КРЕСТ...

Noblesse oblige¹

Однажды канцлер докладывал королю о текущих делах.

— ...Кроме аудиенции, которую, ваше величество, вам предстоит дать завтра итальянскому послу, сегодня вам будут представляться: турецкий посланник, поверенный в делах Мексики и...

Король поднял свое бледное, угрюмое лицо и неожиданно произнес странные, неслыханные слова:

— А... знаете что? Ну их всех к черту!

— Ваше королевское величество! Осмелюсь напомнить, что с итальянским посланником предстоит беседа о новом торговом договоре...

— А... знаете что.. Ну их всех к черту. Отвяжитесь от меня с вашими договорами, — крикнул король. — Не желаю! Довольно. Никаких приемов, официальных обедов и полуофициальных завтраков. Спасибо! Сыт по горло.

Канцлер почтительно склонился.

— Слушаю-с. В таком случае, может быть, вы не откажетесь принять в пятницу немецкого посла?

Король всплеснул руками.

— Это удивительно! Скажите, неужели мы говорим с вами на разных языках? Неужели вы меня не поняли?

— Слушаю-с. Какие будут теперь приказания вашего королевского величества?

¹ Положение обязывает (фр.).

— Никаких. В том-то и штука, что никаких. Надоело мне все это до смерти! Ухожу я от вас. Уйду в лес, найду какую-нибудь заброшенную хижину и буду жить в ней, питаясь плодами да рыбой, пойманной в ближайшей речке. Ах, если бы ты знал, — сказал задушевным тоном король, переходя на "ты", — как я давно об этом мечтаю.

— Слушаю-с. Прикажите приготовить автомобиль и выработать маршрут?

— Этого только недоставало!! Смешной ты человек, братец... Единственно, что я прикажу — чтобы мне по дороге никто не мешал, не кричал "ура!" и не приставал с расспросами и услугами. Дай повсюду распоряжение, чтобы считали меня по дороге простым крестьянином. Да приготовь котомку и палку.

— Будет исполнено. Котомка и палка будет, к сожалению, готова только к вечеру.

— Господи! Почему так долго?

— Котомку я предлагаю сделать из лионского бархата с вышивкой жемчугом, шелками и аграмантом. Палку изготовим вам из розового дуба с золотым набалдашником, украшенным десятком-другим бриллиантами...

— Знаешь что? Ты мне надоел. Если ты это сделаешь, я выброшу твою бархатную котомку и золотую палку в окно, а сам убегу безо всего.

Ранним утром вышел из дворца король, одетый в крестьянское платье, и пошел на восток.

Пройдя несколько верст, свернул в сторону и зашагал по девственным пустым полям. Только один раз встретился ему работавший в поле человек.

Человек этот, увидев короля, раскрыл рот и выпучил глаза так, что они чуть не выссыпались из орбит.

— Чего ты смотришь? — нахмурился король. — Разве ты знаешь, кто я?

— Так точно. Знаю.

— Ну кто?

— Кто вы? Простой мужик, ваше королевское величество.

— Тыфу!

Раздосадованный, зашагал король дальше. И вот, углубившись в лес, нашел король то, что искал. Среди высоких, стройных деревьев притаилась маленькая заброшенная хижина дровосека, все убранство которой за-

ключалось в маленьком кабинетном рояле, кровати с пружинным матрасом и полдюжины простых венских стульев. Даже ковров не было в этом убежище нищеты и заброшенности!

Король, как ребенок, захлопал в ладоши и нашел, что лучшего помещения ему и не потребуется.

Голод стал мучить его.

"В речке должна быть рыба, — подумал король. — Хорошо бы поймать ее. Но чем?"

Он задумчиво опустил глаза и вскрикнул от радости: на траве лежала брошенная кем-то удочка. Король схватил ее и помчался к речке. У берега лежал красивый, выдолбленный посредине камень, на котором сидеть оказалось очень удобно. Король забросил в густые камыши удочку и, когда через минуту дернулся удилище, на конце лесы держалась большая серебристая рыба. К удивлению короля, она оказалась совершенно очищенной от чешуи и даже выпотрошенной. Это заставило короля призадуматься. Он еще раз забросил удочку и опять через минуту вынул рыбку, которая была битком набита перцем и лавровым листом, а во рту держала большой очищенный лимон.

"Странная порода", — подумал король и пошел в свою хижину.

В печке весело пыпал огонь.

— Откуда это? Гм... Может быть, я нечаянно давеча бросил на стружки спичку — стружки и загорелись? Не понятно...

Король сварил рыбку, съел вкусную, жирную уху и вышел прогуляться. Жаждда томила его. По дороге ухо короля уловило журчанье ключа, пробивавшегося в скале. Жаждущий путник без труда нашел ключ, прильнул к нему — и, изумленный, отпрянул прочь. Вода была сладкая, пахла апельсином, а сбоку на скале висела медная дощечка с надписью: "Газирована. Приготовлена на кипяченой воде".

Глаза короля потускнели, и лицо омрачилось. Он тихо отошел от лимонадного ключа и побрел дальше среди роскошных фруктовых деревьев, отягченных большими аппетитными плодами.

Рука его машинально протянулась к белому сочному яблоку. Но яблоко было высоко. Король стал на цыпочки... Со своей стороны яблоко тоже принағнулось, вздрогнуло и, отделившись от ветки, упало в королевские руки. Близорукий король не заметил, что от ветки шла

вниз проволока, терявшаяся в кустах, но близорукий король заметил, что яблоко было искусно очищено от кожицы и даже сердцевина с семенем была выдолблена.

Король швырнул яблоко в кусты и побрел дальше. По дороге он нервно теребил тонкий батистовый платок, который какими-то судьбами очутился в кармане его грубой крестьянской куртки. Потом возвел глаза, свои печальные потускневшие глаза, к небу — и выронил из рук платок.

В тот же момент из густых кустов высунулась чья-то рука, схватила платок и почтительно протянула его королю.

— Негодяй! — заревел король, хватая эту руку.

— Так-то вы устраиваете вашему королю одиночество и жизнь в пустыне!!

Он вытащил за руку растерянного слугу, закричал на него, затопал ногами, покатился в истерическом припадке наземь и стал рыдать и вопить, стуча кулаками по траве.

— Как?! Я хочу быть один, я хочу уйти от вас, и я не могу этого сделать?! Я, король, не могу сделать того, что доступно ничтожнейшему из моих подданных?! Всю жизнь, значит, на меня наложены эти проклятые цепи ненужной мне придворной заботливости и дурацкого комфорта — и никуда я, никуда не спрячусь от них?! И, значит, как бы я ни старался — я до самой смерти не сброшу этих бархатных, усеянных жемчугом, пут, этих золотых палок с бриллиантовыми набалдашниками... О, если так — довольно! Лучше смерть...

Вокруг рыдавшего короля уже стояла почтительная, молчаливая толпа придворных и робко поглядывала на своего повелителя.

— Лучше смерть! — ревел обезумевший король. — Лучше в реку! Прощайте, мои погубители. Ни с места! Не смейте следовать за мной.

И помчался бедный король к реке.

Но как ни спешил король — придворные были резвеев его...

Король добежал до реки и остановился, удивленный: на берегу он увидел маленькую пристань и несколько ступенек, ведущих к воде. Пристань была украшена зелеными гирляндами, цветами и транспарантами, а ступеньки, ведущие к воде, обиты красным дорогим сукном.

— Это что? — строго спросил король.
Выдвинулся вперед церемониймейстер.

— Это-с? Место для самоубийства, ваше королевское величество. Мы в отчаянии, что не успели нагреть воду и довести ее до температуры вашей ежедневной утренней ванны — но времени было так мало...

Король опустился на траву (впрочем, не на траву: под него сейчас же подкатили свернутый в трубку персидский ковер) и долго и тихо плакал. Все, окружив короля, молча ждали... Потом король встал, утер слезы и обвел всех страдальческими глазами.

— Ну... черт с вами! Забирайте меня.
И повели короля во дворец.

ДУРАКИ, КОТОРЫХ Я ЗНАЛ

I. УДИВИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС

Громов сосредоточенно взглянул на меня и сказал:
— В этом отношении люди напоминают устриц.

— В каком отношении и почему устриц? — спросили мы: я и толстый Клинков.

— В отношении глупости. Настоящая, драгоценная, кристальная глупость так же редка в человеке, как жемчужина в устрице.

— Не рискованно ли сравнивать глупость с жемчужиной? — спросил рассудительный Клинков.

— Не рискованно!! Вы знаете, я уже второй год культивирую около себя дурака. Что это за прелесть! Сущая жемчужина. Нужен был тщательный половой подбор, несколько поколений глупых людей, чтобы произвести на свет такое сокровище. Зовут его Петенька.

— У меня тоже есть свой дурак, — похвастался Клинков. — Он, вероятно, лучше твоего. Это самый веселый, восторженный дурак на свете. Я познакомился с ним в одном доме шесть месяцев тому назад и с тех пор полюбил его, как сына. Он восхищается всем, что я говорю, и от самых серьезных слов хохочет, как сумасшедший. Этот человек считает меня самым тонким остряком. Когда я однажды при нем рассказал о землетрясении в Мессине, он перегнулся пополам от хохота. "Ах, ты ж, Господи!" — воскликнул он, задыхаясь. — Только этот плютишка Клинков может так рассказывать курьезные вещи с серьезным лицом".

— Позвольте! — хлопнул себя ладонью по лбу молчавший до того Подходцев. — Да ведь и у меня есть дурак. Правда, он хитер, как дикарь, и скрывает свою глупость, как скопой рыцарь — золото. Но иногда она — эта глупость — блеснет нечаянно сквозь какую-нибудь прореху и озарит тогда своим сиянием весь мир! Он служит в таможне, и зовут его Эрастом.

— Красивое имечко, — завистливо проворчал Клинков. — Моего зовут просто Феодосий.

— А у меня... нет своего дурака, — печально вздохнул я. — Боже ты мой! У всех других есть дураки, все живут люди как люди, — а я совершенно одинок. Громов, подари мне своего дурака.

— Ни за что на свете. Вот еще!

— Ну на что он тебе? Ты другого найдешь.

— Нет, нет, — сухо сказал Громов. — Не будем говорить об этом.

— Клинков! — обратился я к толстому другу. — Продай мне своего веселого дурака. Я тебе отвалил бы не маленькие деньги.

— Попроси у Подходцева.

— Зарежьте вы меня прежде, чем я отдам вам его, — закричал Подходцев. — Если я лишусь его, я не перенесу этого. Я умру от горя.

— Самый лучший дурак — мой, — хвастливо засмеялся Громов. — Мой славный, кристальный Петенька.

— Ну нет, — возразил пыхтя Клинков. — Твой сдаст перед моим.

Подходцев самоуверенно засмеялся.

— Оба они, вероятно, ничто перед моим Эрастом. Я уверен, что ваши дураки и не дураки вовсе. Так просто самозванцы. А мой — стоит только посмотреть на его лицо — и всякий скажет: "Да, это он!"

Все трое счастливцев закричали, заволновались, запороли.

— Чего проще, господа, — пожал я плечами. — Устройте конкурс своих дураков. Чей дурак лучше — тот возьмет первый приз.

— Прекрасно! — восхликал Подходцев.

Все благодарили меня, а Клинков даже поцеловал.

Конкурс решено было устроить в моей квартире. Так как я не имел своего дурака ("обездурчен" — как определил мое положение Подходцев), меня и выбрали в качестве жюри.

В тот же день я получил от Подходцева, Клинкова и Громова адреса Эраста, Феодосия и Петеньки, поехал

к ним и, после недолгой беседы, получил от каждого определенное обещание посетить меня. Чтобы все три дурака могли заранее освоиться друг с другом, я утром в день конкурса собрал их в маленьком ресторанчике, где мы позавтракали и обменялись мнениями по разным вопросам жизни.

Все трое действительно оказались на редкость дураками — всё здоровый, отборный, неимоверно глупый народ.

От часовой беседы с ними голова моя так распухла, что, при возвращении домой, шапку пришлось нести в руках.

II. КОНКУРЕНТЫ

К десяти часам вечера приехали все. Каждый приехал со своим дураком, подобно охотникам, которые являются к сборному пункту с собственной собакой на веревке...

Сразу же все прибывшие разбились на две группы: умные тихо шушукались в углу кабинета, а дураков я усадил за чайный стол и принял энергично угощать чаем с коньяком.

Ко мне подкрался на цыпочках Подходцев с миной озабоченного родственника мертвеца, которого собираются отпевать, и шепнул:

— Ну что ж... Можно начинать?

— Да. Я распоряжусь, чтобы дали закуску и вино.

Я ободрительно подмигнул насторожившимся дуракам и вышел из комнаты.

Подали ужин. Я посадил всех вразбивку: дурака между двумя умными и умного между двумя дураками. Мне же, как арбитру, пришлось сесть вне этого порядка.

Была минута напряженного молчания.

— Однако и жарко же здесь! — вздохнул Подходцев.

Подходцевский дурак Эраст укоризненно поглядел на своего хозяина и возразил:

— В доме повешенного не говорят о веревке.

— Почему, милый?

— Потому что потому.

— Нет, Эрастик, — захныкал Подходцев. — Вот ты сделал мне замечание, ты обидел меня, а за что? Где у тебя веревка и где повешенный? Если веревка — воздух, а повешенный — хозяин, то ты обидел и хозяина. Если же веревки — все присутствующие, ты обидел и присутствующих. Что ты, родной, думал сказать этой фразой?

— Не хотели ли вы сказать, что из нас можно веревки вить? — спросил обиженно Громов.

— Или что мы вешаемся всем на шею? — возвысил голос Клинков.

Дурак Клинкова, веселый Феодосий, услышав слова своего патрона, всплеснул руками и громко захохотал.

— Ну и Клинков! Ну и удружил же! Молодец Клиничек. Очень зло сказано.

— Ваш спор, господа, отклонился в сторону, — заметил Петенька. — Я принужден указать на то...

— Тише, ребята! — зычно рявкнул Громов. — Мой Петя говорит.

— ...На то, что сравнение разогретого воздуха с веревкой грешит неправильностью. Веревка, как известно, имеет два измерения.

— Одно, — тихо сказал Эраст.

— Почему, Эрастик? — прищурился Подходцев.

— Одна веревка, одно и измерение.

— Дайте Петечке договорить, — ревниво перебил его Громов. — Говори, Петечка.

— ...Итак, я говорю: воздух есть нечто невесомое, нечто такое, нечто...

— Искомое! — подсказал Громов.

— Почему искомое?

— Потому что мы его ищем. Все люди ищут воздуха, потому что иначе они бы задохлись.

Эраст пожал плечами и сухо возразил:

— Однако же я никогда не ищу воздуха и — как видите — не задыхаюсь.

— Очень зло сказано! — усмехнулся, кивая головой, Феодосий.

— Мы опять отклонились от темы, — поморщился громовский дурак. — Сравнение воздуха с веревкой неправильно в самом корне.

— В корне чего? — переспросил методичный, сухой, таможенный Эраст.

— Э?

— Я говорю — в корне чего: воздуха или веревки?

— Веревки и воздуха.

— Очень зло сказано, — значительно сказал Феодосий.

— Значит, по-вашему, веревка и воздух имеют корни? — придиричиво подхватился Эраст. — Да? Может, веревка имеет и листья, да?

— Я не понимаю, — робко сказал громовский дурак Петенька, — чего он на меня кричит?

— Отчасти Петя прав, — вступил Клинков. — Если веревка не имеет листьев — она имеет ствол.

— Кто из вас, господа, был когда-нибудь влюблен? — спросил неожиданно Подходцев.

Его дурак Эраст прищурился.

— Это вы почему спросили?

— Так просто, Эрастик.

— Нет, позвольте... нельзя так спрашивать... Ведь всякий вопрос должен же иметь под собой какую-нибудь почву?

— Господа! У нас получается сад! — вскричал Клинков.

— Почему сад? — презрительно спросил непоколебимый дурак Эраст.

— У нас есть почва, есть стволы, есть листья и есть корни...

— Зло сказано!! — восторженно взвизгнул Феодосий.

— Тонко сострено!

Но сейчас же под тяжелым взглядом таможенного Эраста съежился Феодосий и сконфуженно зашептал что-то Петеньке.

— Мы сейчас говорили одно, а Подходцев о какой-то любви спрашивал. Был разговор о вещественности воздуха, атмосферы...

— Воздух и атмосфера не одно и то же, — встрепенулся Петенька.

— А какая же разница?

— Атмосфера одна, а воздуху много, — подсказал Громов.

— Да? Вы так думаете? — заскулил, вертя головой, ядовитый подходцевский дурак Эраст. — Вы так полагаете? Таково ваше мнение?

— Так его, Эраст, так! — зааплодировал Подходцев.

— Хватай его за ноги.

— Вы полагаете — атмосфера одна, а воздуху много? Да? Так? Так я скажу вам, миленький, что иногда в одном паровом кotle помещается двадцать атмосфер.

— Ай да ловко! — загрохотал Феодосий. — Ловко подцепили Громова! Молодец Эраст! Остроумно! Осадили Громчика с атмосферой.

— Это называется атмосферический осадок, — добродушно вставил Петенька.

— Зло сказано! — похвалил и его восторженный Феодосий.

.....

.....

III. ИТОГИ

— А не довольно ли? — шепнул мне Подходцев.

— Кажется, физиономии выяснились.

— Господа! — громко сказал я. — Пойдем в кабинет. Туда нам дадут кофе. Эраст, Петенька, Феодосий! Идите в кабинет — мы скоро придем — сейчас только кое-какие счеты нужно выяснить.

Дураки переглянулись, подмигнули друг другу и, взявшись под руку, послушно зашагали в кабинет.

Мы остались одни.

— Ну-с, — сказал гордо Громов. — Теперь вам ясно превосходство моего веселого Феодосия? Надеюсь...

— Ну, уж твой Феодосий... Обратили вы внимание, господа, какой у меня умный, рассудительный дурак Эрастик? Как он методически рассуждает?

— Что?! Да мой Петенька на голову выше. Он, правда, не веселый, не методичный, но ведь его разговор о корне веревки и воздуха — это все! Это Шекспир.

— Тссс!.. — приложил я палец к губам. — Хотите слышать, о чем говорят дураки на свободе? Пойдем в спальню. Оттуда все слышно.

В спальне было темно. Мы на цыпочках подкрались к полуоткрытым в кабинет дверям и заглянули...

— Господа! — возбужденно говорил Петенька. — По справедливости, приз принадлежит мне за моего дурака! За Громова. Вы заметили, что он ляпнул насчет атмосфры. Я в душе чуть не помер со смеху.

— Па-авольте. Па-авольте, — перебил Эраст.

— По-моему, мой Подходцев в тысячу раз глупее Громова. Его бестактный разговор о любви, когда его никто и не спрашивал...

— Это зло сказано! — захохотал Феодосий. — Но, братцы, прошу вас! Ей-Богу! Пусть мой Клинков будет первым. Он самый веселый, остроумный дурак современности. А? Братцы!

— Па-авольте! Я стою за своего Подходцева! Впрочем, спросим хозяина, как мы с ним и условились. Пусть он скажет.

В спальне произошла возня. Это Подходцев схватил меня за шиворот и вытащил в столовую.

— Говори, что это все значит?

Я нахально засмеялся.

— То и значит, что конкурс был двойной. Я уверил васших дураков, что они умные, а вы — дураки, и что забавно бы устроить насчет вас конкурс. Вы думаете, что это вы их привезли, а они думают, что они вас привезли. Вы состязались на них, а они на вас.

— Проклятый! Ты испортил наших дураков!

— Зачем ты это сделал? — сурово спросил Громов.

Я сделал умильное лицо и пропищал:

— Что ж, братцы... У вас небось были дураки, а у меня не было. Я и сделал себе... целых шесть сразу!

МУЖЧИНЫ

Кто жил в меблированных комнатах средней руки, тот хорошо знает, что прислуга никогда не имеет привычки предварительно докладывать о посетителях... Как бы ни был неприятен гость или гостья, простодушная прислуга никогда не спросит вас: расположены ли вы к приему этих людей.

Однажды вечером я был дома, в своей одинокой комнате, и занимался тем, что лежал на диване, стараясь делать как можно меньше движений. Я человек очень прилежный, энергичный, и это занятие нисколько меня не утомило.

...По пустынному коридору раздались гулкие шаги, шелест женских юбок, и чья-то рука неожиданно громко постучалась в мою дверь.

Машинально я сказал:

— Войдите!

Это была скромно одетая, немолодая женщина в траурной шляпе с крепом.

Я вскочил с дивана, сделал по направлению к посетительнице три шага и спросил удивленно:

— Чем могу быть вам полезен?

Она внимательно всмотрелась в мое лицо.

— Вот он какой... — пробормотала она. — Таким я его себе почему-то и представляла. Красив... Красив даже до сих пор... Хотя прошло уже около шести лет.

— Я вас не знаю, сударыня! — удивленно сказал я.

Она печально улыбнулась.

— И я вас, сударь, не знаю. А вот привелось встретиться. И придется еще вести с вами длинный разговор.

— Садитесь, пожалуйста. Я очень удивлен... Кто вы?

Дама в трауре поднялась со стула, на который только что опустилась, и, держась за его спинку, с грустной торжественностью сказала:

— Я мать той женщины, которая любила вас шесть лет тому назад, которая нарушила ради вас супружеский долг и которая... ну, об этом после. Теперь вы знаете, кто я?! Я — мать вашей любовницы!..

Посетительница замолчала, считая, вероятно, сообщенные ею данные достаточными для уяснения наших взаимоотношений. А я не считал эти данные достаточными. Я не считал их типичными.

Я помедлил немного, ожидая, что она назовет, по крайней мере, фамилию или имя своей дочери, но она молчала, печальная, траурная.

Потом повторила, вздыхая:

— Теперь вы знаете, кто я... И теперь я сообщу вам дальнейшее: моя дочь, а ваша любовница, недавно умерла на моих руках с вашим именем на холодеющих устах.

Я рассудил, что вполне приличным случаем поступком будет: всплеснуть руками, вскочить с дивана и горестно схватиться за голову:

— Умерла?! Боже, какой ужас!

— Так вы еще не забыли мою славную дочурку? — растроганно прошептала дама, незаметно утирая уголком платка слезинку. — Подумать только, что вы расстались больше пяти лет тому назад... Из-за вашей измены, как призналась она мне в минуту откровенности.

Я молчал, но мне было безумно тяжело, скверно и горько. Я чувствовал себя самым беспросветным негодием. Если бы у меня было больше мужества, я должен был откровенно сказать этой доброй, наивной старушке:

“Милая моя! Для тебя роман замужней женщины с молодым человеком — огромное, незабываемое событие в жизни, которое, по-твоему, должно сохраниться до самой гробовой доски. А я... я решительно не помню, о какой замужней dame говоришь ты... была ли это Ася Званцева, или Ирина Николаевна, или Вера Михайловна Березаева?”

Я нерешительно поерздал на диване, потом бросил на посетительницу испытующий взгляд и потом, свесив голову, осторожно спросил:

— Расскажите мне что-нибудь о вашей дочери...

— Да что ж рассказывать?.. Как вы знаете, они с мужем не сошлись характерами. Он ее не понимал, не

понимал души ее и запросов... А тут явились вы — молодой, интересный, порывистый. Она всю жизнь помнила те слова, которые были сказаны вами при первом сердечном объяснении... Помните?

— Помню, — нерешительно кивнул я головой, — как же не помнить?.. Впрочем, повторите их. Так ли она вам передала.

— В тот вечер мужа ее не было дома. Пришли вы, какой-то особенный, "светлый", как она говорила. Вы заметили, что у нее заплаканные глаза, и долго добивались узнать причину слез. Она отказывалась... Тогда вы обвили рукой ее талию, привлекли ее к себе и тихо сказали: "Счастье мое! Я вижу, тебя здесь никто не понимает, никто не ценит твоего чудесного жемчужного сердца, твоей кристальной души. Ты совершенно одиночка. Есть только один человек, который оценил тебя, сердце которого всецело в твоей власти..."

— Да, это мой приемчик, — задумчиво улыбнулся я.
— Теперь я его уже бросил...

— Что?! — переспросила старушка.

— Я говорю: да! Это были именно те слова, которые я сказал ей.

— Ну вот. Потом вы, кажется, стали... целовать ее?

— Наверное, — согласился я. — Не иначе. Что же она вам рассказывала дальше?

— Через несколько дней вы гуляли с ней в городском саду. Вы стали просить ее зайти на минутку к вам выпить чашку чаю... Она отказывалась, ссылаясь на то, что не принято замужней dameходить в гости к молодому человеку, что этот поступок был бы моральной изменой мужу... Вы тогда обиделись на нее и целую аллею прошли молча. Она спросила: "Вы сердитесь?" — "Да, — сказали вы, — вас оскорбляет такое отношение и вообще вам очень тяжело и вы страдаете". Тогда она сказала: "Ну, хорошо, я пойду к вам, если вы дадите слово вести себя прилично..." Вы пожали плечами: "Вы меня обижаете!" Через полчаса она была уже у вас, а через час стала вашей.

И, опять приподнявшись со стула, спросила старуха торжественно:

— Помните ли вы это?

— Помню, — подтвердил я. — А что она говорила, уходя от меня?

— Она говорила: "Наверное, теперь вы перестанете уважать меня?", а вы прижали ее к сердцу и возразили:

"Нет! Никого еще в жизни я не любил так, как тебя!"
А теперь... она умерла, моя голубка!

Старая дама заплакала.

— О! — порывисто, в припадке великодушия вскричал я. — Если бы можно было вернуть ее вам, я пожертвовал бы для этого своей жизнью!

— Нет... ее уже ничто не вернет оттуда, — рассудительно возразила старуха.

— Не говорила ли она вам еще что-нибудь обо мне?

— Она рассказывала, что вы сначала виделись с ней каждый день, потом через день, а потом на вас свалилась неожиданно какая-то срочная работа, и вы виделись с ней раз в неделю. А однажды она, явившись к вам неожиданно, застала у вас другую женщину.

Я опустил голову и стал сконфуженно разглаживать рукой подушку.

— Помните вы это? — спросила дама.

— Помню.

— А когда она расплакалась, вы сказали ей: "Сердцу не прикажешь!" И предложили ей остаться хорошими друзьями.

— Неужели я предложил ей это? — недоверчиво спросил я.

Вообще это было на меня не похоже. Я хорошо знал, что ни одна женщина в мире не пошла бы на такую комбинацию, и потому никогда не предлагал вместо любви дружбу. Просто я спрашивал: "Кажется, мы охладели друг к другу?" У всякой женщины есть свое профессиональное женское самолюбие. Она почти никогда не говорит: "Кто это мы? Никогда я к тебе не охладевала!" А опустит голову, промедлит минуты три и скажет: "Да! Прощайте!"

Очевидно, старуха что-то напутала.

— Не передавала ли мне покойница что-нибудь перед смертью?

И в третий раз торжественно поднялась со стула старуха, и в третий раз сказала торжественно:

— Да! Она поручила вам свою маленькую дочь.

— Мне? — ахнул я. — Да почему?

— Как вы знаете, муж ее умер четыре года тому назад, а я стара и часто хвораю...

— Да почему же именно мне?

Старуха печально улыбнулась.

— Сейчас я скажу вам вещь, которая не известна никому, — тайну, которую покойница свято хранила от

всех и открыла ее мне только в предсмертный час: настоящий отец ребенка — вы!

— Боже ты мой! Неужели? Вы уверены в этом?

— Перед смертью не лгут, — строго сказала старуха.

— Вы отец, и вы должны взять заботы о вашей дочери.

Я побледнел, сжал губы и, опустив голову, долго сидел так, волнуемый разнородными чувствами.

— А может быть, она ошиблась? — робко переспрашивал я. — Может быть, это не мой ребенок, а мужа.

— Милостивый государь! — величаво сказала старуха. — Женщины никогда не ошибаются в подобных случаях. Это инстинкт!

Нахмутившись, я размышлял.

С одной стороны, я считал себя порядочным человеком, уважал себя и поэтому полагал сделать то, что подсказывала мне совесть. Он должен быть мне дорог, этот ребенок от любимой женщины (конечно, я в то время любил ее). С другой стороны, эта неожиданная, тяжелая обуза при моем образе жизни совершенно выбивала меня из колеи и налагала самые сложные, запутанные обязанности в будущем.

Я — отец! У меня — дочь!..

— Как ее зовут? — спросил я, разнеженный.

— Верой, как и мать.

— Хорошо! — решительно сказал я. — Согласен. Я усыновлю ее. Пусть носит она фамилию Двуутробникова.

— Почему Двуутробникова? — недоумевающе взглянула на меня старуха.

— Да мою фамилию. Ведь я же Двуутробников.

— Вы... Двуутробников?!

— А кто же?

— Боже мой! — в ужасе закричала странная гостья.

— Значит, это не вы?!

— Что не я?

— Вы, значит, не Класевич?! Дочь называла фамилию Класевич и сказала этот адрес.

Неожиданная бурная волна залила мое сердце.

— Класевич, — захохотал я. — Поздравляю вас: вы ошиблись дверью. Класевич в следующей комнате, номер одиннадцатый. А моя комната — номер десятый. Пойдемте, я провожу вас.

Оживленный, веселый, взял я расстроенную старуху за руку и потащил за собой.

— Как же! — тараторил я. — Моя фамилия Двуутробников, номер десятый, а Класевич дальше. Он — номер

одиннадцатый. Он тут уж давно живет в этих комнатах, вот тут, рядом со мной. Как же! Класевич... Очень симпатичный человек. Вы сейчас с ним познакомитесь... А вы, значит, вместо одиннадцатого номера в десятый попали?! Хе-хе... Ошибочка вышла. Как же! Класевич, он тут. Эй, Класевич! Вы дома? Тут одна дама вас по важному делу спрашивает... Идите, сударыня. Хе-хе... А я-то, слушаю, слушаю...

НОВЫЙ СОЛОМОН

Vanitas vanitatum et omnia vanitas...¹

I

Я не помню, что именно навело моих ближних на мысль сделать меня мировым судьей: была ли у них гениальная способность угадывать скрытое призвание в человеке, или просто не было никого другого, кому можно было бы навязать это хлопотливое дело? Во всяком случае я охотно взялся за него, не споткнувшись даже об единственное условие, которое мне поставили: судить по совести.

Наоборот — должен сказать, что это условие именно и прельстило меня... Законы я знал плохо, а совести у меня был непочатый угол. Совести — могу сказать с гордостью — у меня были целые залежи (вероятно, потому что до сих пор мне не приходилось пускать ее в дело...).

Кроме совести у меня перед глазами был еще благой пример в лице царя Соломона, который тоже был судьей и, занимаясь этим делом, ловко умел выкручиваться из самых затруднительных положений, несмотря на полное отсутствие законов и уставов о мировых судах.

В особенности восхищал меня его известный всем прием с двумя женщинами, которые судились из-за ребенка: одна присваивала его себе, а другая — себе. Я согласен, что узнать действительную мать было бы трудно, если бы не гениальная мысль царя Соломона: он взял меч и заявил, что разделит ребенка на две равные части. Фальшивая мать согласилась на это (по принципу: ни тебе, ни мне), а настоящая мать упала на колени и,

¹Суета сует и все — суета... (лат.)

заливаясь слезами, вскричала: "Не рубите младенца, пожалуйста! Отдайте его лучше ей!"

Таким образом Соломон и обнаружил настоящую матер.

Были и другие способы: установить истину свидетельскими показаниями, разыграть младенца в чет и нечет или подождать, пока он вырастет, чтобы посмотреть — на кого он будет похож? Но, конечно, "способ с мечом" в таких случаях — наилучший.

Вступая в новую должность, я дал себе слово отбросить всякие связывающие человеческое творчество законы и действовать исключительно по принципам, завещанным великим царем Соломоном: быстрота и натиск! А эпиграфом к своей деятельности я мысленно поставил историю с мечом и ребенком. По-моему, она должна быть исходным пунктом для каждого здравомыслящего судьи.

Вступая в новую должность, я не знал, что деятельность судьи так разорительна для его здоровья, для его кошелька и его самолюбия: меня подцепили на удочку, сделав судьей, — я в этом убедился в первый же день моей работы, в тот самый первый день, который был и последним. Да! Сознаться нужно — маловато поработал я на почетном поприще правосудия: всего один день...

II

...Я сел в кресло, обвел присутствующих взглядом и сказал:

— Итак — начнем. Тяжущиеся! Подходите по порядку.

Втайне я был бы очень рад, если бы первым делом оказалось дело двух женщин, заспоривших о младенце... Я знал бы, как поступить в этом случае... (недаром в кармане у меня лежал громадный складной ножик, купленный еще вчера, как необходимый атрибут жреца правосудия). Но, к сожалению, первым делом оказалась сложная и запутанная история под названием: "Оскорблечение словами".

Мещанин Федосеев жаловался на купеческого сына Лутохина, который якобы обозвал его словом "дурак".

Дело упростилось бы, если бы Лутохин отпирался от сказанного слова (в таких случаях дело обыкновенно прекращается), но Лутохин на первый же мой вопрос откровенно признался:

— Да. Я назвал его дураком!

— И не стыдно вам? — сказал я. — Зачем же вы это сделали?

— Потому что он действительно дурак.

— Вот странно: что это, звание, что ли?

— Конечно, звание, — хладнокровно подтвердил Лутохин. — Сметливый вы, например, судья — вас называют судьей; Федосеев дурак — его нужно называть дураком...

Лутохин крепко утвердился на этой позиции, и мне трудно было выбить его оттуда.

"Интересно, — подумал я. — Как бы поступил на моем месте сметливый царь Соломон? Я уверен, он подошел бы к этому запутанному делу с самой неожиданной стороны... Эх! Будь один из них младенец..."

И тут же меня озарила мысль, настоящая царская, соломоновская: "А что если Федосеев в самом деле дурак? Попробую испытать его. Если Лутохин прав, прекращу это загадочное дело, да и все".

Я очнулся от задумчивости, поднял глаза на обиженное лицо Федосеева и сказал тоном судьи:

— Вы жалуетесь на купеческого сына Лутохина, который назвал вас дураком... Скажите, вы твердо уверены, что вы умный?

— Твердо, — отвечал Федосеев.

— Хорошо-с, — потер я с довольным видом руки (дело начинало налаживаться). — Если это так, то я задам маленькую загадку и по ответу посмотрю: кто вы такой? Федосеев промолчал, растерянно глядя на меня.

— Вот-с, если бы перед вами горели две свечи: длинная и короткая... То какую бы вам нужно было погасить, чтобы эти обе свечи потом сравнялись?

Федосеев долго, напряженно думал и потом, солидно погладив бороду, ответил:

— Длинную.

Я усмехнулся.

— Вот и выходит, что Лутохин был прав. И выходит, что вы дурак. Ступайте! Прекращено дело.

Царь Соломон, глядя с небес на меня, вероятно, радовался, а мещанин Федосеев обиделся.

Он сказал:

— Какой же вы судья, если ругаетесь... Я буду жаловаться на вас.

— Ступайте, ступайте, — нетерпеливо крикнул я.
— Сколько угодно! Следующий! Подходите!

Следующим делом я заинтересовался больше: оно было почти соломоновским, только роль ребенка играло осеннее пальто, да вместо женщин были мужчины. Но принцип был тот же.

— Вот, ваше благородие, — сказал один из двух мужчин, по профессии смазчик вагонов. — Висело мое пальто на гвоздике, а он пришел да взял. "Ты, говорю, куда?" "Это, говорит, не твое пальто, а мое". "Как твое, когда я его покупал?" "Нет, говорит — мое".

— А что вы скажете? — обратился я к другому человеку с рыжими волосами и грязными руками.

— Он врет, ваше благородие, — заявил грязный человек. — Пальто мое.

— Хорошо-с, — с наружным хладнокровием резюмировал я. — Он говорит пальто его, вы говорите пальто ваше. Самое справедливое будет, если я разделю его пополам.

Я разложил пальто на столе, вынул ножик и выжидательно посмотрел на тяжущихся. Я ожидал, что настоящий владелец, по соломоновскому принципу, упадет на колени и со слезами на глазах, простирая ко мне руки, скажет: "О, не режьте его! О, отдайте его лучше этому человеку!"

Однако оба они стояли и хладнокровно смотрели, как я вертел ножиком, занесенным над распростертым пальто.

В "деле с ребенком" Соломона удержало от раздела ребенка на две части то обстоятельство, что предмет спора был живой. Меня это удержать не могло...

Я аккуратно разделил ножом пальто на две части и, вручив их смазчику и грязному человеку, сказал:

— Вот вам по справедливости! Ступайте.

Один из них повертел в руках свою половину (именно грязный человек), чему-то усмехнулся, бросил свою часть на пол и ушел, хлопнув дверью.

А смазчик — теперь я убедился, что он был настоящим владельцем — положил обе половины пальто на стол и сказал:

— Пожалуйте за пальто пятьдесят рублей.

— Как? — испугался я.

— Да так. Пальто было новехонькое, а вы его разрезали... Пожалуйте деньги!

По зреющему обсуждению этого вопроса я решил, что смазчику, действительно, причитается указанная сумма. Я заплатил ему и тут же утешил себя тем, что мой принцип судопроизводства в общем все-таки был верен: настоящий-то владелец был все-таки мною обнаружен!

III

Следующее дело заставило забиться мое сердце живейшей радостью: дело это именно и заключалось в споре двух женщин из-за знаменитого ребенка.

Это казалось прямо-таки чудесным: аналогия между моим и соломоновским делом была почти полная. И обе матери, и ребенок, завернутый в одеяльце, находились тут же.

Выше я сказал слово "почти". К сожалению, разобравшись в деле, я нашел в нем значительное уклонение от соломоновского шаблона.

Это выяснилось из разговора.

— Добрые женщины! — сказал я. — Насколько я понимаю, каждая из вас, называя себя матерью, хочет присвоить этого ребенка?

— Если она хочет, — сказала спешно толстая женщина, — пускай забирает себе. Ребенок ведь ее!

— Иши ты, ловкая какая! — подхватила худая.

— Мой ребенок?! Какой же он мой? Он твой! Дала мне его на руки подержать, да сама убечь и хотела! А еще мать!..

— Нет, ты мать, — возразила другая. — Что ты врешь? Знаем мы вас: всякая хочет своего ребенка спасти! Грешить вы все мастера, а потом ребят на чужую шею вешать норовите!

Они подняли невозможный крик.

Я задумался.

— Вот, — говорил я сам себе. — Как со временем Соломона изменился свет! Раньше каждая женщина присваивала себе даже чужого ребенка, а теперь каждая мать своего подсовывает чужим людям. Боже мой, Боже мой... А из-за какого-то пальто люди теперь способны перегрызть друг другу глотку!..

Привычным движением я вынул из кармана ножик и сказал:

— Сейчас каждая из вас получит по половине ребенка! Я его разрежу.

Ни одна из них не бросилась передо мною на колени... Обе стояли в ожидании операции, тупо глядя на меня и на мой ножик.

Конечно, у меня и в мыслях не было перерезывать пополам младенца... Я только хотел попугать женщин. Но они не испугались. Просто они, как я полагаю, не доверяли мне.

Я со вздохом спрятал в карман ножик и попробовал прием более культурный.

— А-а... Хорошо же! — угрожающе сказал я. — Если так — я забираю ребенка себе. Вот вам!

Поразительно. Опять ни одна из них не испугалась, не заплакала, не умоляла "о, добрый господин" и т. д.

Просто обе они облегченно вздохнули и, повернувшись, вышли из комнаты.

А младенец остался у меня на руках.

IV

Я устал от всех этих судейских дрязг и следующее дело — об оскорблении действием — гнал на всех парах, стремясь поскорее закончить свой трудовой день.

— На что вы жалуетесь? — спросил я здоровенного приказчика бакалейной лавки.

— Он мне вчерась по морде ударил, этот вот.

Его противником был жирный, легковой извозчик с наглым выражением лица.

— А если бы и вы его ударили? — спросил я. — Вы бы на него не жаловались?

Приказчик задумался.

— Нет. Тогда бы не жалился.

— А почему же вы его не ударили?

— Не успел, ваше благородие, некогда было.

— А сегодня у вас время есть?

— Есть.

Я обратился к его противнику:

— Что бы вы хотели? Сидеть две недели в тюрьме или получить один удар по физиономии.

Извозчик обрадовался и сказал:

— Лучше один удар!

— Так дайте ему хорошенъко по голове, — сказал я приказчику. — И все тут.

Приказчик тоже обрадовался и, размахнувшись, так ударил своего врага, что тот покатился на пол.

— А! — сказал извозчик, поднимаясь. — Я тебя бил — ты не падал, а меня небось с ног валишь. Покажу ж я тебе!

Он вцепился в приказчика и стал беспощадно тузить его. По долгу милосердного человека и судьи я бросился разнимать их и сейчас же почувствовал, что сделал это напрасно: оба набросились на меня — судью и милосердного человека.

Только теперь я понимаю, как трудна деятельность мирового судьи: в один день я потерял пятьдесят рублей и доброе имя, получив взамен этого — чужого, ненужного мне ребенка и несколько тумаков.

“Царю-то Соломону хорошо было, — подумал я. — У него стража была и царская власть... Что ни сделает — все хорошо”.

Теперь я сижу дома и рассуждаю: почему я не удержался на своем месте? Ума у меня не было, что ли? Нет, ум был. Совести? Была и совесть. Сообразительности не хватало? Сколько угодно.

Почему же?

МОКРИЦА

I

Когда я дочитал до конца свою новую повесть, все присутствующие сказали:

— Очень хорошо! Прекрасное произведение!

Я скромно поклонился. Сзади кто-то тронул меня за плечо.

— Послушайте... извините меня за беспокойство... послушайте...

Я обернулся. Передо мной стоял маленький человек средних лет, ординарной наружности. Глаза скрывались громадными синими очками, усы уныло опускались книзу, бороденка была плохая, наполовину как будто осыпавшаяся.

— Что вам угодно?

— А то мне угодно, милостивый государь мой, что повесть ваша совершенно неправильная! Уж я-то знаток этих вещей...

Он самодовольно засмеялся.

— Вы... что же критик?

— Бухгалтер.

— А... так... — нерешительно протянул я. — Но вообще-то вы: знаток литературы?

— Бухгалтерии! — упрямо сказал он, глядя на меня громадными стеклами.

— Уж в бухгалтерии-то, батенька, меня не поймаешь!

Он поежился и кокетливо захочотал с таким видом, будто я собирался его ловить.

— Вам не нравится моя повесть?

— Нет, ничего. Повесть как повесть. Только неправильная.

Заинтригованный, я отвел его в угол, сунул ему в руку рукопись и сказал:

— Укажите мне неправильные места.

Такое доверие польстило ему. Он вспыхнул до корней волос, застенчиво перелистал рукопись и, найдя какое-то место, отчеркнул его ногтем.

— Вот! Это неправильно: "Корчагин не показывал виду, что знает о проделках жены, но втайне все ее вольности, все изменения и оскорблении записывал ей в кредит. Дебет же ее, в который он решил записывать ее ласки и поцелуи, — был пуст". Вот!

— Вам не нравится это место?

— Присядем, — сказал маленький бухгалтер.

Мы сели.

— Видите ли... Я взял на себя смелость сделать вам замечание, потому что вы впали в громадную ошибку... Вы знакомы с двойной итальянской бухгалтерией?

— Н...нет...

— Двойная итальянская бухгалтерия изобретена несколько сот лет тому назад монахом Лукой Пачиоло. Принцип ее заключается в двойной записи каждого счета, чем достигается механическое контролирование правильности записи. Если баланс счетов не сходится в цифрах, — это показатель неправильности в частных записях. Записи в счетовых книгах отмечаются на двух сторонах развернутой книги: на левой и правой. На левой стороне счета или лица записывается так называемый дебет — это счет или лицо должны владельцу книги; на правой стороне записывается так называемый кредит — это владелец книги состоит в долгу у лица или счета. Поняли?

— Да... пожалуй...

— Теперь ясно, что вы совершили колоссальную, непростительную ошибку: Корчагин должен был измены и оскорблении жены записать ей не в кредит, а в дебет! А ласки ее — наоборот — не в дебет, а в кредит! У вас это перепутано.

Я горячо пожал бухгалтеру руку.

— Я вам очень, очень признателен. Я сейчас же исправлю эту досадную погрешность.

Моя горячая благодарность смущила его. Он махнул рукой и сказал:

— Помилуйте! Я всегда рад... Конечно, нужно хорошо знать бухгалтерию... Дебет — это, что нам должны, кредит — то, что должны мы счету.

Я еще раз пожал ему руку и отошел.

Он озабоченно крикнул мне вслед:

— Так не забудьте же: дебет — нам должны, кредит — мы должны.

— Не забуду, не забуду.

II

Мы сидели в укромном уголке обширного кабинета и тихо разговаривали.

Ольга Васильевна положила свою руку на мою и ласково, задушевно, сказала:

— Эта повесть — ваша лучшая вещь. Громадная изобразительная сила, яркие краски причудливо смешиваются на этих страницах с волшебными, лирическими полутонами, мощный голос зрелого мужа сплетается с полудетским лепетом влюбленного юноши...

— А, вы здесь, — сказал бухгалтер, подходя к нам.

— Ну что... исправили?

— Исправил, — сказал я. — Спасибо.

— Что такое? — удивилась Ольга Васильевна.

Бухгалтер усмехнулся, снисходительно подергав плечом.

— Ах, уж эти писатели... Представьте, какую он штукку написал... Ну хорошо, что я был тут, указал, исправили... А то что бы вышло? Неприятность! Скандал! Можете себе вообразить: он дебет написал там, где нужен кредит, а кредит — где дебет!

Укоризненно покачав головой, он прошел дальше, но потом круто повернулся и крикнул нам:

— А разница называется — сальдо!

— Что-о?

— Я хочу вас предупредить — если будете писать еще что-нибудь: предположим, что в дебете 100 рублей, а в кредит — полтораста; разница — 50 рублей — и называется сальдо! Сальдо в пользу кредитора.

— Ага... хорошо, хорошо, — сказал я, — запомню.

Бухгалтер снисходительно улыбнулся и добавил:

— А изменения и оскорблении ваш Корчагин в кредит ее счета не мог записывать... Он записал их в дебет.

Он кивнул головой и исчез; вслед за ним ушла и Ольга Васильевна. Оставшись один, я побрел в гостиную.

В одном углу происходил оживленный разговор. До меня донеслись слова:

— Как услышал я — так будто бы меня палкой по голове треснули. Как-с, как-с, думаю? Она же его оскорбляла, она же ему изменяла, да он же ей это и в кредит пишет? Хорошая бухгалтерия... нечего сказать! Хорошо еще, что спохватились вовремя... исправили...

Один из гостей, заметив меня, подошел и сказал:

— Вы неисправимый пессимист. В вашей повести вы показываете такие бездны отчаяния и безысходности...

— Это что! — раздался сзади нас вкрадчивый голос.

— Он еще лучше сделал: его Корчагин дурные стороны жены заносил в кредит ей, а хорошие — в дебет. Помилуйте-с! Да я бухгалтерию как свои пять пальцев знаю. Как же... Вот если бы здесь была книга — я бы вам наглядно показал... Вот, предположим, этот альбом открыток: тут, где Кавальери — это дебет... А тут... вот эта... Типы белорусов — это кредит. Я-то уж, слава тебе Господи, знаю это как свои пять пальцев.

— Да, да, — нетерпеливо сказал я. — Хорошо. Ведь я уже исправил.

— Хорошо, что исправили, — добродушно согласился он. — А то бы... Ведь таких вещей никак нельзя допустить!.. Помилуйте... Дебет и кредит — это небо и земля.

— Пожалуйте ужинать, — сказал хозяин.

III

Все усаживались, шумно двигая стульями. Бухгалтер сел против меня... Посмотрел на меня, как заговорщик, сделал правой рукой предостерегающий знак и засмеялся.

— Да-с! — сказал он. — Бухгалтерия — это штука тонкая. Ее нужно знать. Я вам когда-нибудь дам почитать книжку "Популярный курс счетоводства". Там много чего есть.

Я сделал вид, что не слышу.

Сосед с левой стороны спросил меня:

— Если я не ошибаюсь, в основу вашей повести заложена большая отвлеченная мысль, но она затемнена повествовательной формой, которая...

— Была затемнена, — согласился бухгалтер. — Но теперь все исправлено. Все, как говорится, в порядке. Вы... вот что... Если еще что-нибудь будете писать и вам встретятся на пути какие-нибудь такие бухгалтерские штуки и экивоки — вы, пожалуйста, ко мне... без церемоний! Обсудим: как и что. Я выложу вам как на ладонке!

— Нет, зачем же, — сухо возразил я. — В этом, вероятно, не представится надобности. Ведь беллетристика и бухгалтерия — это две совершенно разные вещи.

Огорченный бухгалтер притих. Съел какую-то рыбку, подумал немного, потом приподнялся и, ударив меня через стол по плечу жестом старого знакомого, спросил:

— А вы знаете, что такое транспорт?

— Знаю.

— Нет, не знаете! Вы думаете, это просто собрание разных подвод для перевозки кладей? Да? Но в бухгалтерии это совсем другое: транспортом называется обыкновенный перенос итога с одной страницы на другую. Внизу подписывается итог страницы и переносится на следующую.

— Почему вы думаете, — спросил я левого соседа, — что повествовательная форма произведения должна затемнить общую отвлеченную мысль?

— Потому что художественные детали разбивают это впечатление.

— Это верно, — согласился бухгалтер, делая мне ободряющий жест. — Разбивает впечатление. Ведь это, если сказать какому-нибудь бухгалтеру, — он помрет со смеху. А? Хе-хе... Дебет поставить в кредит? А? Что такое, думаю? Это же невозможно!

Не дождавшись сладкого, я извинился и встал:

— Я пойду на минуту к письменному столу. Хочу не забыть исправить два-три места в повести.

Я сел и исправил.

Когда сзади раздался голос: "Ну что, исправили? Теперь уж не спутаете дебет с кредитом?" — я нахмурился и сказал:

— Да-с, я исправил. Вот слушайте: "Корчагин не показывал виду, что дебет жены записан ему в сальдо. Он перенес большой кредит в транспорт, который вместе с сальдо давал перенос дебета на счет того лица, которому пришла идиотская затея заняться бухгалтерией; это заносим ему в кредит".

С жалобным криком, простирая дрожащие руки, бросился он ко мне, но я с отвращением отшвырнул его и, сунув рукопись в карман, ушел.

СЛУЧАЙ 24-ГО ДЕКАБРЯ

Возвращаясь по вечерам в свой запущенный, пустынный дом, я уже привык к этим трем парам тусклых, стеклянных глаз, внимательно следивших с верхней площадки лестницы за тем, как я подымался на второй этаж, открывал ключом дверь в свою холодную, неуютную комнатку и шарил спички на ночном столике.

Три пары глаз следили за мной вплоть до того момента, когда я захлопывал дверь... Вслед за тем над моей головой раздавались робкие, тихие шаги, заглушенный шепот, капризный визг малютки — и все смолкало.

Это были три обычновенных безобидных привидения из числа тех, которые водятся в старых, полуразрушенных домах: вероятно, муж, жена и их малютка-привиденцы — крохотное смешное существо в коротеньком, потертом балахончике, с кривыми ногами и прозрачным, печальным лицом.

Мне иногда хотелось приласкать его, но он был пуглив, как мышонок, и стоило только ему заметить мой ободряющий жест, как он с визгом убегал под защиту отца — унылого, сосредоточенного привидения, которое вечно шепталось о чем-то с женой и сокрушенно качало прозрачной, худой головой, цвета морской воды.

Иногда, открыв внезапно дверь, я заставлял их за невинной забавой, которая, очевидно, доставляла некото-

рое удовольствие маленькому привидению: стоя на верхней площадке лестницы, мать сажала малютку верхом на перила, и он с тихим визгом съезжал вниз — прямо в объятия отца.

Но стоило только им заметить меня, как они подхватывали сына под руки и поспешно убегали с самым смущенным видом.

А в общем мы не могли пожаловаться друг на друга... Жили, как добрые соседи. Я не мешал им, они не шатались ко мне, не смущали мой покой и не мешали мне работать...

"24 декабря меня не пустили в трактир, в котором я привык проводить свои вечерние досуги за чашкой кофе и бутылкой коньяку.

Я долго стучал в закрытые ставни и раздраженно кричал:

— Пустите меня! О, черт возьми!.. Пустите вы меня или нет?! Что это за новости, в самом деле?

После моих долгих криков и проклятий дверь наконец приоткрылась, и выглянувший слуга сказал:

— Извините, господин, но сегодня канун праздника и наше заведение совсем закрыто.

— А куда же мне деваться? — сердито заревел я.

— Куда я пойду в этой проклятой дыре?

— Это нас не касается-с.

Я поднес к его лицу сжатый кулак.

— А хочешь ты, чтобы это тебя коснулось, паршивец? Ну черт с вами. Я не пойду в ваш проклятый вертеп. Но только условие: вынеси мне бутылку коньяку и стаканчик... я отправлюсь домой! Чтоб вам всем сгинуть до завтра!

Я был разъярен, вероятно, больше, чем того требовали обстоятельства, но нужно же понять и меня: вместо долгой задушевной беседы в теплой накуренной комнате с несколькими радужными завсегдатаями, мне предстояло провести целый вечер и ночь в одиночестве в холодной, угрюмой комнате старого дома.

Поднимаясь по лестнице, я опять заметил три пары стеклянных глаз, молча следивших за моими движениями. Мальчишка просунул ужасную бледную голову сквозь колонки перил и моргал глазами застенчиво и часто.

Я вошел в комнату, заперся, налил стаканчик вина и опустил со столом голову: одиночество подошло ко мне и стало грызть мое сердце, мою голову, мой мозг.

— Ба! — проворчал я, сжимая горячие виски. — А не отправиться ли мне к соседям? Все равно, если я сегодня ночью повешусь — завтра, наверное, уже попаду в ихние друзья дома.

Я опустился на кровать и стал рассуждать так:

— Удобно ли это? Как они взглянут на мой визит?.. Впрочем, будем рассуждать так: если, вообще, привидения иногда являются человеку, то почему человек не может явиться привидениям? Сегодня, кажется, ночь таких появлений. Если они, эти профессионалы, забыли свой обычный долг вежливости — мое дело напомнить им об этом.

Я захватил под мышку бутылку коньяку, сунул в карман стаканчик и, пригладив машинально волосы, побрел вверх по дряхлой, скрипучей, как старуха, лестнице.

Они жили на чердаке в восточном углу, за старым поломанным комодом красного дерева.

Когда я вошел, все трое, освещенные луной, стояли у слухового окна и рассматривали какого-то паука, которого держал на ладони отец семейства.

Кажется, они испугались, увидев меня: малютка тихонько пискнул и сел на пол, а мать и отец обвили руками плечи друг друга и, сдвинувшись ближе, попятились. Вероятно, произошло то замешательство, которое случается при появлении среди людей призрака.

— Здорово, милые соседи, — успокоительно сказал я, ставя бутылку на старый комод. — Как видите — хе-хе — гора пришла к Магомету.

Не думаю, чтобы это были интеллигентные призраки. Они меня не поняли. Отец семейства тихо сказал:

— Да... Здравствуйте... Какой Магомет?

— Ничего, это так говорится. Как поживаете, дорогая хозяйка? Довольны ли помещением?

— Ах нет, — возразила она, поднимая ребенка с пола. — Очень плохо.

— Сыро?

— Ах, что вы... Наоборот, очень сухо. Посудите сами, как же мальчику жить в сухом месте? Он и так у нас такой слабенький...

Слова эти привели меня в недоумение, но я сделал вид, что понял ее, и утвердительно сказал:

— Так, так... И потом, вероятно, эта проклятая темнота...

— Проклятая темнота? Да ее нет совсем. Ну как ребенок, спрошу я вас, может жить на свету, да еще на этом проклятом свежем воздухе, который всякого призрака губит хуже, чем дневной свет. У нас тут неподалеку есть двоюродный брат с женой — тем повезло так повезло... Со стен вода течет, как водопад, — паутина, пыли по горло и темнота кромешная.

Я решительно не мог взять в толк, о чем говорит эта болтливая баба. А когда она замолкла, вышло еще хуже: я не знал, о чем говорить с угрюмой семейкой, сидевшей передо мной.

— Вот пишу теперь пьесу, — сказал я в припадке откровенности. — Весной, вероятно, поставлю.

Отец семейства постучал рассеянно, равнодушно по застонавшему комоду и спросил:

— Мокриц любите?

— А на что они мне, — не менее равнодушно возразил я. — Бог с ними.

— Плохо в нынешнем году. Осень была сухая и ребенку есть нечего: ни одной мокрицы.

— Если бы вы прочли мою статью о рациональном питании...

— Хоть бы пауки были, — сказала печально жена.

— А то ни тех ни других. Не все же мальчику плесень со стен слизывать.

В полном изумлении посмотрел я на нее.

— Да зачем... плесень слизывать?

— То-то и я говорю. Разве это еда? Уж о сороконожках и говорить нечего — их днем с огнем не сыщешь.

Я чувствовал себя в самом глупом положении: нужно было как-нибудь вытягивать разговор, но собеседники мои давали такие странные реплики, что я ежеминутно рисковал попасть впросак.

— Вчера я читал книгу: чудеса загробного мира — я думаю, сюжет очень для вас интересный...

— Дайте нам вашу книгу, — сказала мать, — пусть ребенок пососет ее.

— Эта книга не для того, сударыня, — сухо возразил я, — чтобы сосать ее. Книги читают.

— Вот так-так, — ехидно улыбнулась мать. — Книжку для дитенка жалеют! Хорошие люди...

Мне сразу как-то сделалось смертельно скучно с этой троицей, для которой сороконожки были идеалом роскоши, а паутина — лучшей частью меблировки.

Было очевидно, что мы говорим на разных языках... Я думал, что они заинтересуются моей пьесой — они не интересовались. Надеялся, что их заинтересует человеческое мнение о загробном мире — они посмотрели на книгу, трактующую об этом вопросе, как на предмет насыщения своего прожорливого отпрыска.

У нас были разные интересы, разные вкусы и противоположные взгляды на жизнь.

"Эти привидения не блещут умом, — с горечью подумал я. — Просто ограниченные, тупые, глупые люди".

Я встал, захватил свою бутылку и стал сухо прощаться.

Они меня не удерживали. Когда я спускался с лестницы, до меня донесся вопрос жены, очевидно обращенный к мужу:

— Спрашивается, зачем этот осел притащился сюда?

— Да... Тоски нагнал порядочно, — хихикнул столбобразный супруг.

Вернулся я к себе в комнату в еще более скверном настроении, чем вышел давеча.

Выпил с горя весь коньяк и заснул...

Теперь, когда я возвращаюсь по вечерам домой, за мной уже не следят три пары внимательных, любопытных глаз: мы, очевидно, хорошо раскусили друг друга.

ГРАЖДАНЕ

...Матушка! Матушка! Пожалей своего бедного сына.

Гоголь

Хозяин дома Хохряков сидел, склонив голову набок, и слушал...

— Нет, это что, — говорил один из гостей. — А вы помните студента Ивкова, которого в прошлом году арестовали?.. Оказывается, этажом ошиблись. Правда, через три дня выпустили...

— Что ваш Ивков! Мою знакомую барышню Матусевич в Харькове выслали из города за то, что она не знала галантейного приказчика Файнберга.

— Как так? — лениво спросил один из гостей.

— Очень просто. Изловили за какие-то книжки Файнберга, а потом спросили вскользь: "Не знаете курсистки Матусевич?" — "Не помню. Впрочем, фамилия знакомая". Тогда вызывают Матусевич. "Не знаете ли приказчика Файнберга?" — "Не помню. Впрочем, фамилия незнакомая"... Ага! Явное противоречие! Он говорит — знакомая, она говорит — незнакомая...

— Ну?

— Вот вам и "ну"!

— Это что! — сказал тот гость, который уже рассказывал об Ивкове. — В Севастополе одному книгопродающему грозили каторжные работы за то, что у какого-то человека при обыске нашли записочку: "Явка к книгопродающему такому-то. Получишь 500 рублей. Пароль — Александр". А тот — ни сном ни духом! Насилу адвокат отстоял.

— Страшно! — сказал Хохряков.

Все удивленно оглянулись на него.

— Чего вам страшно?

— Ничего... Пойдем, господа, ужинать.

Гости поужинали и, рассказав еще пару-другую забавных случаев, разошлись...

Хохряков остался один.

Подойдя к письменному столу в кабинете, он увидел прислоненное к свече письмо с заграничным штемпелем и с адресом, написанным рукой его друга Плясовицкого. Распечатал, прочел:

"Дружище Хохряков! Я в Швейцарии, классической, как говорится, стране свободы. Ах, свобода, свобода!.. Помнишь, как мы ходили с тобой в девятьсот пятом году, начиненные трескучими прокламациями, как колбасы... Ты тогда еще толковал об активной работе и на две ночи дал приют какому-то заблудшему эсдеку, а я похоронил на организацию милиции одиннадцать рублей... Смехи, как вспомнишь! Воздух здесь чудный и гор..."

Губы Хохрякова побелели.

Он скомкал письмо, бросил его в корзину и прошелся, дрожа всем телом:

— Он... сумасшедший...

Направился к себе в спальню, но сейчас же вернулся, отыскал в корзине скомканное письмо из Швейцарии, порвал его на мелкие кусочки, перемешал их, после чего, потоптавшись по кабинету, отправился спать.

Спал он беспокойно. Забылся к утру, но и утром помешали... Из шкафа вылез неизвестный старик с белой бородой, побряцал какими-то штуками, надетыми на руки, покачал головой и, сказав Хохрякову внушительно: "Кусочки, бывает, и склеивают", снова уполз в шкаф — постоянное, как решил Хохряков, его местопребывание...

Было восемь часов утра.

Хохряков вскрикнул, спрыгнул с кровати, побежал в кабинет и заглянул в корзину. Она была пуста.

"Свершилось!" — подумал Хохряков и скрипнул зубами.

II

Слуга Викентий, суетясь по кабинету, стирал пыль с мебели, а Хохряков смотрел на него из спальни в замочную скважину и думал:

"Большое самообладание. Отметим... Издалека к тебе не подойдешь... Нужно или следить за тобой, или огоршить сразу. Поборемся, поборемся".

Странно: ужаса, страха перед будущим пока не ощущалось...

Даже какая-то бодрость и предприимчивость вливалась в усталый от дум и тревог мозг.

Хохряков распахнул внезапно дверь и, стараясь, чтобы не задрожал голос, спросил:

— Как погода?

— Солнечно, — отвечал, повернувшись, Викентий.

"Солнечно?" — мысленно прищурился Хохряков.

— А письмо где? А швейцарские кусочки куда дел?" Вслух спросил:

— Скоро кончишь уборку?

— Сейчас.

— А из корзины выбросил сор?

— Выбросил.

"О-о, — подумал, нервничая, Хохряков. — Ты, милый мой, опаснее, чем я думал. Ишь ты, ишь ты! Ни один мускул, ни одна жилка не задрожала. А? Это что? Губы? Губы-то и поджал, губы и поджал... На губах и попался... Хе-хе! Ага! А ведь пустяк..."

Хохряков прошелся по кабинету и, равнодушно смотря в окно, тихо уронил:

— Кусочки все были?

— Как-с?

— Небось с подбором повозился...

— Чего-с?

Хохряков нагнулся к нему и взял за плечо:

— А там-то, там... Хорошо поблагодарили? Есть на молочищко?.. Знаем-с! Не проведешь.

Викентий странно посмотрел на него и, отвернувшись к креслу, спросил:

— Чай сюда подать прикажете?

— Сюда! — напряженно засмеялся Хохряков.

— А к чаю дай мне... швейцарского шоколада. Даешь, милый?

— Слушаю-с, — сказал Викентий и выбежал из кабинета.

Когда Хохряков остался один — силы его покинули. Он опустился в кресло и, стирая пот со лба, прощептал:

— Хорошо владеете собой, Викентий Ильич! Пре-красное само-обла-дание... Это и понятно! Барина своего — с нервами не продашь. Хе-хе! Ну да мы-то поборемся!

III

Викентий действительно прекрасно владел собой...

На другой день Хохряков после разговора о погоде в упор спросил его:

— Что, если бы я случайно разорвал письмо — ты мог бы подобрать обрывки и склеить?

Викентий скользнул по Хохрякову взглядом и сказал:

— Попробую.

— Так, так... (Не вздрогнул даже! Не пошевелился!) Я, знаешь, голубчик Викентий... Что, наш участок — далеко отсюда?

Хохряков наклонился к лицу Викентия и громко, хрипло дыша, вонзился в него взглядом.

— На том квартале. На углу.

— Ага! Прекрасно! Я пойду сегодня в участок, — потолковать с приставом. Хе-хе! Понимаешь, милуша Викентий, потолковать...

— О чём-с? — спросил Викентий, переступая с ноги на ногу.

"Ага! Вот оно! Заинтересовался парень. Не выдержало ретивое... А вот мы вас..."

Хохряков помедлил.

— О чём? О Швейцарии. Об эсдеках... О письмах, чудесно воскресающ... Что ты так на меня смотришь?!.. Понял? Понял?

Хохряков пронзительно крикнул и, оттолкнув Викентия, выбежал из комнаты.

По дороге в участок Хохряков криво улыбался и думал:

“Я даже знаю, что произойдет... Я приду пощупать почву, только пощупаю ее, матушку! Но произойдет сцена в участке из “Преступления и наказания” Достоевского... Ха-ха... Поборемся, Порфирий, поборемся!!”

Когда Хохряков вошел в приемную, он увидел стоящего у дверей пристава, который распекал оборванного простолюдина.

— Ты говоришь, подлец, что золотые часы купил? Ты? Ты? Ты их мог купить??!

— Да и купил, — возражал простолюдин. — Захотел узнать который час — и купил.

Пристав мельком взглянул на вошедшего Хохрякова и обратился к оборванцу:

— Ведь часы ты украл! Где ты мог взять 200 рублей? Ну? Ну?

— Нашел, ваше благородие... В уголочку лежали.

Хохряков приблизился к приставу и внушительно, серьезно глядя в его глаза, прошептал:

— Я Хохряков.

— Хорошо. Потрудитесь обождать.

— Эге, — болезненно покривился про себя Хохряков.

— Да и ты, брат, я вижу, дока!.. И ты нервы свои, чтоб не разгулялись, в карман прячешь. О-о... Ну, что ж — походим... Походим друг около друга.

— В уголочку лежали? Просто украл ты их и больше ничего!

— Ошеломил я его, — внутренне усмехнулся Хохряков. — Наверное, втайне прийти в себя не может... Понимаем-с! На оборванце успокаивается, а сам про себя думает: “Зачем Хохряков сам обьявился? Извещения ему еще не было?” Не-ет, брат. А Хохряков-то и пришел. Хохряков сам с усам.

Пристав подошел к Хохрякову и, рассматривая какую-то бумагу, спросил:

— Чем могу служить?

— Насчет Швейцарии я...

— Какой Швейцарии?

“Хладнокровничаешь? — подумал Хохряков. — А зачем головы не поднимаешь? Голос мой изучить тебе хочется, повадки... Просты уж больно ваши хитрости, господин пристав!”

— В Швейцарию хочу ехать. Зашел узнать, как можно в наикратчайший срок получить заграничный паспорт...

— Это нужно через градоначальство, — пожал плечами пристав.

Хохряков стал нервничать. Хладнокровие противника повергло его в дрожь и не изведанный еще страх...

Он встал и резко сказал:

— Прощайте, ваше благородие... Поклон вам от Викентия Карпикова... Хе-хе!

— Какого... Карпикова?

— Знаете что, господин пристав, — серьезно сказал Хохряков, наклоняясь вперед. — Бросим все эти штуки, уловки, будем говорить, как два умных человека: когда?

— Что — когда? Что с вами?

— Когда меня возьмете? — покорно прошептал Хохряков.

— Куда??!

— Хе-хе... Кусочки как подклевывали? На прозрачную кальку? Чтоб обратную сторону можно было прочесть? А Викентий молодец! Твердокаменный!.. Я — и так и этак...

Пристав внимательно глядел на Хохрякова и наконец ласково засуетился.

— Сейчас, сейчас... Вы позволите мне, господин Хохряков, поехать с вами домой? Вы недалеко живете?

— Кусочек не хватает? — бледно улыбнулся Хохряков. — Ищите... Все равно. Мне теперь уже все равно... Ищите! Всюду ищите! Мучители мои! Кровопийцы! Инквизиторы... Сибирь? Давайте ее, вашу Сибирь... Лучше Сибирь, чем так... Душу? Душу мою вы вынули за эти два дня — так Сибирью ли вам запугать меня?!

Он обрушился на стол и затрясся от долго сдерживаемых рыданий.

— Ефремов! — сказал пристав, придерживая голову Хохрякова. — Позвони семнадцать ноль восемь: карету и двух служителей!.. Успокойтесь, господин Хохряков... Мы все это разберем и сейчас же отвезем вас в Швейцарию... Не плачьте... Хорошо там будет, тепло...

— Суда не надо, — попросил, вздрагивая нижней челюстью, Хохряков. — Не правда ли? Зачем суд? Прямо и отправляйте.

— О, конечно, — согласился поспешно пристав. — Конечно. Прямо и отправим.

— Прямо и отправляйте. Зачем еще мучить?

Карета увозила Хохрякова. Полузакрытые глаза, он изредка судорожно всхлипывал и повторял:

— Бедные мы, русские! Бедные...

ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА

I

Я был в гостях у старого чудака Кабакевича, и мы занимались тем, что тихо беседовали о человеческих недостатках. Мы вели беседу главным образом о недостатках других людей, не касаясь себя, и это придавало всему разговору мирный, гармоничный оттенок.

— Вокруг меня, — благодушно говорил Кабакевич, — собралась преотличная музейная компания круглых дураков, лжецов, мошенников, корыстолюбцев, лентяев, развратников и развратниц — все мои добрые знакомые и друзья. Собираюсь заняться когда-нибудь составлением систематического каталога, на манер тех, которые продаются в паноптикумах по гривеннику штука. Если бы все эти людишки были маленькие, величиной с майского жука, и за них не нужно было отвечать перед судом присяжных, я переловил бы их, вздев на булавки, имел бы в коробке из-под сигар единственную в мире коллекцию! Жаль, что они такие большие и толстые... Куда мне с ними!

— Неужели, — удивился я, — нет около вас простых хороших, умных людей, без глупости, лжи и испорченности?

Мне казалось, — я этими словами так наглядно нарисовал свой портрет, что Кабакевич поспешил признать существование приятного исключения из общего правила — в лице его гостя и собеседника.

— Нет! — печально сказал он. — А вот, ей-Богу, нет!

“Сам-то ты хорош, старый пьяница”, — критически подумал я.

— Видишь, молодой человек, ты, может быть, не так наблюдателен, как я, и многое от тебя ускользает.

Я строю мнение о человеке на основании таких микроскопических, незаметных черточек, которые вам при первом взгляде ничего не скажут. Вы увидите *настоящее лицо* рассматриваемого человека только тогда, когда его перенести на исключительно благоприятную для его недостатка почву. Иными словами, вам нужна лакмусовая бумажка для определения присутствия кислоты, а мне эта бумажка не нужна. Я и так, миленький, все вижу!

— Это все бездоказательно, — возразил я. — Докажите на примере.

— Ладно. Назови имя.

— Чье?

— Какого-нибудь нашего знакомого, это безразлично.

— Ну, Прягин Илья Иванович. Идет?

— Идет. Корыстолюбие!

— Прягин корыстолюбив? Вот бы никогда не подумал... Ха-ха! Прягин корыстолюбив?

— Конечно. Ты, молодой человек, этого не замечал, потому что не было случая. А мне случая не нужно.

Он умолк и долго сидел, что-то обдумывая.

— Хочешь, молодой человек, проверим меня. Показать тебе Прягина в натуральную величину?

— Показывайте.

— Сегодня? Сейчас?

— Ладно. Все равно, делать нечего.

Кабакевич подошел к телефону.

— Центральная? 543—12! Спасибо. Квартира Прягина? Здравствуй, Илья. Ты свободен? Приезжай немедленно ко мне. Есть очень большое, важное дело... Что? Да, очень большое... Ждем!

Он повесил трубку и вернулся ко мне.

— Приедет. Теперь приготовим для него лакмусовую бумажку. Придумай, молодой человек, какое-нибудь предприятие, могущее принести миллиона два прибыли...

Я засмеялся.

— Поверьте, что, если бы я придумал такое предприятие, я держал бы его в секрете.

— Да нет... Можно выдумать что-нибудь самое глупое, но оглушительное. Какой-нибудь ослепительный мираж, грезу, закованную в колоссальные цифры.

— Ну ладно... Гм... Что бы такое? Разве так: печатать объявления на петербургских тротуарах.

— Все равно. Великолепно!.. Оглушительно! Миллионный оборот! Сотни агентов! Струи золота, снег из

кредитных бумажек! Браво! Только все-таки разработаем до его прихода цифры и встретим его с оружием в руках.

Мы энергично принялись за работу.

II

— Что такое стряслось? — спросил Прягин, пожимая нам руки. — Пожар у тебя случился или двести тысяч выиграл?

Кабакевич загадочно посмотрел на Прягина.

— Не шути, Прягин. Дело очень серьезное. Скажи, Прягин... мог бы ты вступить в дело, которое может дать до трех тысяч процентов дохода?

— Вы сумасшедшие, — засмеялся Прягин. — Такого дела не может быть.

Кабакевич схватил его за руку и, сжав ее до боли, прошептал:

— А если я докажу тебе, что такое дело есть?

— Тогда, значит, я сумасшедший.

— Хорошо, — спокойно сказал Кабакевич, пожимая плечами и опускаясь на диван. — Тогда извиняюсь, что побеспокоил тебя. Обойдемся как-нибудь сами. (Он помолчал.) Ну что... был вчера на скачках?

— Да какое же вы дело затеваете?

— Дело? Ах да... Это, видишь ли, большой секрет, и если ты относишься скептически, то зачем же...

— А ты расскажи, — нервно вскричал Прягин. — Не могу же я святым духом знать. Может, и возьмусь.

Кабакевич притворил обе двери, таинственно огляделся и сказал:

— Надеюсь на твою скромность и порядочность. Если дело тебе не понравится — ради Бога, чтобы ни одна душа о нем не знала.

Он сел в кресло и замолчал.

— Ну?!

— Прягин! Ты обратил внимание на то, что дома главных улиц Петербурга сверху донизу покрыты тысячами вывесок и реклам? Кажется, больше уже некуда приткнуть самой крошечной вывесочки или объявления! А между тем есть место, которое совершенно никем не использовано, никого до сих пор не интересовало и мысль о котором никому не приходила в голову... Есть такое громадное, неизмеримое место!

— Небо? — спросил иронически Прягин.

— Земля! Знаешь ли ты, Прягин, что тротуары главных улиц Петербурга занимают площадь в четыре миллиона квадратных аршин?

— Может быть, но...

— Постой! Знаешь ли ты, что мы можем получить от города совершенно бесплатно право пользования главными тротуарами?

— Это неслыханно!

— Нет, слыхано! Я иду в городскую думу и говорю: "Ежегодный ремонт тротуаров стоит городу сотни тысяч рублей. Хотите, я берусь делать это за вас? Правда, у меня на каждой тротуарной плитке будет публикация какой-нибудь фирмы, но не все ли вам равно? Красота города не пострадает от этого, потому что стены домов все равно пестрят тысячами вывесок и афиш — и никого это не шокирует... Я предлагаю вам еще более блестящую вещь: у вас тротуарные плиты из плохого гранита, а у меня они будут чистейшего мрамора!"

Прягин наморщил лоб.

— Допустим, что они и согласятся, но это все-таки вздор и чепуха: где вы наберете такую уйму объявлений, чтобы окупить стоимость мрамора?

— Очень просто: мраморная плита стоит два рубля, а объявление, вечное, несмываемое объявление — двадцать пять рублей!

— Вздор! Кто вам даст объявления?

Кабакевич пожал плечами. Помолчал.

— А впрочем, как хочешь. Не подходит тебе — найду другого компаньона.

— Вздор! — взревел Прягин. — К черту другого компаньона... Но ты скажи мне: кто даст вам объявления?

— Кто? Все. Что нужно для купца? Чтобы его объявление читали. И чтобы читало наибольшее количество людей. А по главным улицам Петербурга ходят миллионы народа за день, некоторые по нескольку раз, и *все смотрят себе под ноги*. Ясно, что — хочешь не хочешь, — а какой-нибудь "Гуталин" намозолит прохожему глаза до тошноты.

— Какую же мы прибыль от этого получим? — нерешительно спросил Прягин. — Пустяки какие-нибудь? Тысяч сто, полтораста?

— Странный ты человек... Ты зарабатываешь полторы тысячи в год и говоришь о ста тысячах, как

о пяти копейках. Но могу успокоить тебя: заработка мы больше.

— Ну, сколько же все-таки? Сколько? Сколько?

— Считай: четыре миллиона квадратных аршин тротуара. Возьмем даже три миллиона (видишь, я беру все минимумы) и помножим на 25 рублей... Сколько получается? 75 миллионов! Хорошо-с. Какие у нас расходы? 30% агентам по сбору реклам — 25 миллионов. Стоимость плит с работой по вырезыванию на них фирмы — по три рубля... Ну, будем считать даже по четыре рубля — выйдет 16 миллионов! Пусть — больше! Посчитаем даже двадцать! На подмазку нужных человечков и содержание конторы — миллион. Выходит 46 миллионов. Ладно! Кладем еще на мелкие расходы 4 миллиона... И что же останется в нашу пользу? 25 миллионов чистоганом! Пусть мы не все плиты заполним — пусть половину! Пусть — третья! И тогда у нас будет прибыли 10 миллионов... А? Недурно, Прягин. По 5 миллионов на брата.

Прягин сидел мокрый, полураздавленный.

— Ну что? — спросил хладнокровно Кабакевич.
— Откажешься?

— По... подумаю, — хрипло, чужим голосом сказал Прягин. — Можно до завтра? Ах, черт возьми!..

III

Я вздохнул и заискивающе обратился к Кабакевичу и Прягину:

— Возьмите и меня в компанию...

— Пожалуй, — нерешительно сказал Кабакевич.

— Да зачем же, ведь дело не такое, чтобы требовало многих людей, — возразил Прягин. — Я думаю, и вдвоем управимся.

— Почему же вам меня не взять? Я тоже буду работать... Отчего вам не дать и мне заработочек?

— Нет, — покачал головой Прягин. — Это что ж тогда выйдет. Налезет десять человек, и каждому придется по копейке получить. Нет, не надо.

— Прягин!

Я схватил его за руку и умоляюще закричал:

— Прягин! Примите меня! Мы всегда были с вами в хороших отношениях, считались друзьями. Мой отец спас однажды вашему — жизнь. Возьмите меня!

— Мне даже странно, — криво улыбнулся Прягин.
— Вы так странно просите... Нет! Это неудобно.

Я забегал по кабинету, хватаясь за голову и бормоча что-то.

— Прягин! — сказал я, глядя на него воспаленными глазами. — Если так — продайте мне ваше право участия в деле. Хотите десять тысяч?

Он презрительно пожал плечами.

— Десять тысяч! Вы не дурак, я вижу.

— Прягин! Я отдаю вам свои двадцать тысяч — все, что у меня есть. Подумайте, Прягин: завтра утром мы едем с вами в банк, и я отдаю вам чистенькие, аккуратно сложенные двадцать тысяч рублей. Подумайте, Прягин: когда вы входили сюда, вы продали бы это дело за три рубля! А теперь, — что изменилось в мире? Я предлагаю вам капитал — и вы отказываетесь! Бог его знает, как у вас еще выйдет это дело с тротуарами!.. Городская дума может отказать...

— Не может быть!! — бешено закричал Прягин. — Не смеет!! Ей это выгодно!!

— Торговые фирмы могут найти такой способ рекламы не достигающим цели...

— Идиотство!! Глупо! Это лучшая в мире реклама! Всякий смотрит себе под ноги и всякий читает ее...

— Прягин! У меня есть богатая тетка... Я возьму у нее еще двадцать тысяч и дам вам сорок... Уступите мне дело!!

— Перестанем говорить об этом, — сухо сказал Прягин. — Довольно!! Кабакевич... я завтра утром у тебя; условимся о подробностях, напишем проект договора...

— А, так... — злобно закричал я. — Так вот же вам: сегодня же пойду в одно место, расскажу все и составлю свою компанию... Я у вас из-под носа выдерну это дело!

Я вскочил и побежал к дверям, а Прягин одним прыжком догнал меня, повалил на ковер, уцепившись за горло, и стал душить.

— Нет, ты не уйдешь, негодяй... Каба... кевич... Помо... ги мне!..

Нечаянно, в пылу этой дурацкой борьбы, мои глаза встретились с глазами Прягина, и я прочел в них определенное, страшное, напряженное выражение...

Кабакевич был удивительный человек.

— Прочли, — догадался он, освобождая меня из-под Прягина. — Ну, довольно. У вас разорван галстук... Не находите ли вы, что кислоты слишком подействовали на лакмусовую бумажку?

— Вот не ожидал я от него этого, — тяжело дыша, проворчал я.

— Ага! — засмеялся старый Кабакевич. — Ага? Прочли? Глаза-то, глаза — видели? Ха! Такую вещь приходится читать не каждый день!..

ТРУДОЛЮБИВЫЙ ХАРЛАМПЬЕВ

Как-то в дружеском разговоре его спросили:

— Вы знаете, в каждом человеке есть какое-нибудь одно качество, которое резко выделяется на общем фоне; какое качество есть у вас?

Он поднял серые глаза, в которых застыла вековечная печаль, и скромно сказал:

— Трудолюбие.

Все засмеялись.

— Только-то? Ну, это маловато.

— Ничего... Я очень доволен этим качеством, и с меня его хватит.

Человека, который обладал единственным качеством — трудолюбием, — звали Харлампьев. Он был маленький, хромой и всегда ходил с громадным зонтиком, который по росту был похож на его старшего брата. Жил тем, что писал в скучных газетах и журналах скучные статьи.

Впрочем, если бы он написал когда-нибудь нескучную статью — ее бы не напечатали.

Однажды, когда он сидел за утренним чаем, к нему пришел его приятель Волкодавский и, усевшись рядом, долго молчал.

— Чего вы? — спросил Харлампьев.

— Я о вас сегодня слышал кое-что очень неприятное... Совсем я этого не думал и не мог предполагать.

Лицо у Волкодавского было расстроенное, нахмуренное.

— А! — хладнокровно сказал Харлампьев. — Что же именно?

— Помните, вы как-то говорили, что вы трудолюбивы... Мне рассказывали о такого сорта вашем трудолюбии, от которого лучше быть подальше. Знаете, что я слышал? Что вы в молодости служили в Харькове почтовым чиновником... И были настолько трудолюбивы,

что ни одно простое письмо не доходило до адресата, потому что все марки сдирались, а письма уничтожались. Потом на каком-то денежном пакете вы попались уже серьезным образом и вам пришлось уйти с большими неприятностями... Сидели, кажется, в тюрьме... Как честный человек, я не пустил этот слух дальше, а принес его вам. И, как честный человек, считаю долгом спросить: "Правда ли это? Если это неправда, — для меня будет особенным удовольствием пожать вашу руку. Если же правда..."

— Постойте, — поднимая загадочные глаза на Волкодавского, остановил его трудолюбивый Харлампьев. — Не надо жать мне руку, а только скажите: от кого вы это слышали?

— Я этого не могу сказать... Дал слово...

— Послушайте, — быстро потирая руки, сказал Харлампьев. — Почему-то лицо, которое сообщило вам о моем прошлом, взяло с вас слово не называть его? Потому что боялось попасть в ответ? Это могло быть только в том случае, если ваше лицо само выдумало мое прошлое. В таком случае вам стыдно покрывать негодяя. Но я не думаю, чтобы то лицо выдумало. Оно от кого-то слышало — я в этом уверен. В таком случае оно ничем не рискует, и я ему не причиню никакого вреда.

— Вы правы, — сказал прямолинейный Волкодавский. — Я слышал это от Алексея Михайловича Козубовича.

— Спасибо. Эй, Марья! Собери-ка мне чемодан. Положи немного белья, папирос и револьвер. Я уезжаю.

— Куда вы уезжаете? — спросил, широко открыв глаза, Волкодавский.

— О, мало ли куда? Я еще и сам не знаю — куда придется ехать. Трудолюбивый человек должен работать. Ему нельзя сидеть на одном месте. Прощайте! Я вам очень благодарен за сообщение. Я думаю, может быть, вам еще и удастся пожать мне руку. Марья! Не забудь и мой зонтик!

В тот же день до обеда Харлампьев положил чемодан на извозчика и уехал.

Козубович собирался обедать.

— Доложите барину, — сказал в передней чей-то тоненький голос, — что Харлампьев хочет видеть его на минутку. Что он, мол, его не задержит.

— А, Харлампьев! — радушно сказал хозяин. — Входите в кабинет.

Маленький Харлампьев вошел, неся в одной руке большой чемодан, в другой — свой колоссальный зонтик.

— Вот и я, — сказал он. — На минутку.

— Куда это вы собирались ехать?

— Еще не знаю. На всякий случай. Слушайте, Козубович! От кого вы слышали, что я в Харькове был почтовым чиновником, отклеивал марки и украл денежный пакет?

Козубович поморщился и нервно сказал:

— Этот Волкодавский! Словно баба какая-то. Вы извините... Он мне даже дал слово молчать.

— От кого вы слышали? — опять спросил тоненьким голоском Харлампьев, поблескивая серыми печальными глазами.

— Гм... Я не считаю удобным... Может быть, это обыкновенная сплетня.

— Тем более... От кого вы слышали?

— Но... мне неудобно...

Харлампьев подошел к чемодану, открыл его, вынул револьвер и направил на хозяина.

Процедил тихонько:

— Если вы не скажете, от кого вы слышали, — значит, выдумали вы. В таком случае сию же минуту я вас застрелю.

— Да как же... — подхватил оживленно Козубович.

— Варнакин Петя мне это и сказал. Когда бишь? Да... позавчера в ресторане. Именно позавчера. Что ты, Петя, говорю я. Мысленно ли это?

Трудолюбивый Харлампьев взял зонтик, с трудом поднял большой чемодан и, кивнув головой, хлопотливо вышел из кабинета.

Через полчаса Петя Варнакин был очень удивлен, когда увидел Харлампьева у себя в меблированной комнате с чемоданом в одной руке, револьвером в другой и зонтиком под мышкой.

— Петя! — сказал Харлампьев. — С тобой я долго не буду разговаривать. Кто рассказал тебе о моих проделках на харьковской почте? Живо! А то голова твоя треснет сейчас, как пустой орех.

Петя звякнул зубами и оперся на стол.

— А, здравствуйте. Как поживаете?

— Кто тебе сказал? Имя.

— Господи! Такой случай... Захар Иваныч Миронов мне это рассказывал. Только представьте — ведь он уехал в Одессу на прошлой неделе.

— Это ничего. Я поеду за ним. Видишь, у меня и чемоданчик припасен. Только... Петя! Ты не врешь? Если ты хочешь меня сбить с толку, я вернусь из Одессы и застрелю тебя.

— Да ей-Богу не вру! Разве можно врать...

— Ну, прощай, Петя. Спасибо.

Харлампьев подхватил свой чемодан, зонтик, сунул револьвер в карман и, прихрамывая, мелкими шажками выкатился на улицу.

— Извозчик! На вокзал!

Миронов был найден в Одессе с большим трудом. Узнав, что у Харлампьева револьвер, он принял этого трудолюбивого человека с распростертыми объятиями.

— Будьте добры сообщить мне, — мягко попросил Харлампьев, — от кого вы слышали, что я в Харькове был, как почтовый чиновник, замешан в краже на почте?

— Вы знаете, что? Я этому не верю!

— Благодарю вас. Но от кого вы слышали?

— Да бросьте. Пойдем лучше ужинать. Охота разводить сплетни.

— Верите ли вы тому, что, если я сейчас не найду у вас дальнейшей нити этого слуха, если эта нить сейчас обрвется на вас — вы будете мной убиты?

— Верю.

— Ну?

— Марья Дмитриевна Остроухова.

— Она сейчас где?

— Она к брату поехала в Лодзь. Там вы ее и найдете.

Харлампьев кротко вздохнул, собрал свои пожитки, сунул револьвер в карман и, покорно опустив голову, ушел.

Несколько дней он провел в вагоне, почти не останавливаясь в тех городах, где ему приходилось бывать. Остроухова послала его из Лодзи к Максудову в Ростов, Максудов выразил ему искреннее сожаление и перебросил его в Самару. Из Самары он должен был поехать в Ряжск, и только в Ряжске получил отрадное известие: оказалось, что инженер Когортов, командированный в Ряжск, слышал о почтовых подвигах Харлампьева от

Балкина, который жил в том же городе, где и Харлампьев, — в Петербурге.

Что-то подсказало усталому Харлампьеву, что нить клубка подходит к концу.

Он приехал в Петербург и, не заезжая домой, с вокзала, отправился к Балкину.

— Балкин! — сказал он, опуская на пол чемодан, зонтик и привычным движением вынимая револьвер.

— Вы меня знаете. Я изъездил пол-России и не остановился бы даже перед поездкой за границу, чтобы найти только кончик той веревки, которая опутала меня. Смотрите мне в глаза и скажите: кто говорил вам о том, что я, в бытность в Харькове почтовым чиновником, воровал марки с писем и попался в краже денежного пакета?

— Вы очень похудели и осунулись, — с состраданием глядя на него, сказал Балкин. — Бедный вы! Неужели вы объездили для этого пол-России?

— Да. Я очень трудолюбивый человек.

— Бедный вы, бедный. Спрятите ваш револьвер. Я и так сказал бы вам. Всю эту историю рассказывал мне Илья Ильич Паяльников.

— Что-о? Илюша Паяльников? — Харлампьев хрипло засмеялся. — О-о! Ну вот это, вероятно, и конец. Даете вы честное слово, что подтвердите ему то, что говорили мне?

— Отчего же? Три честных слова!!

У Паяльникова были гости: два чиновника, художник Мстивоеv и Волкодавский.

— Не докладывайте обо мне барину, — сказал кротко маленький Харлампьев, когда горничная открыла ему дверь. — Я сам доложусь.

Он вошел, как был — в пальто, с чемоданом и зонтиком в руках. Ни с кем не поздоровавшись, поставил на пол чемодан, сел на него, положил зонтик на колени и, подперши голову маленькими кулачками, внимательно стал всматриваться в полное, цветущее лицо хозяина Паяльникова.

— Что ты, брат Харлаша, — удивился хозяин, — с чемоданом, как будто собираешься куда? Почему ни с кем не здороваяешься?

— Сейчас, — сказал Харлампьев, странно посматривая на него. — Ты, Илюша, рассказывал обо мне

Балкину, что я, служа в Харькове на почте, воровал марки и денежные пакеты? Постой, постой, не возражай. Это правда, что я говорю. Не хочешь ли, чтобы я сейчас же привез сюда Балкина? Илюша! Я бы мог спросить тебя, как и других: кто тебе сообщил это? Но я не спрошу. Почему? Да потому что мы в Харькове жили с тобой в одно время, и ты прекрасно знаешь, что я даже не служил на почте. Ты тогда был студентом, а я работал в газете. Не правда ли? Действительно, в прошлом году ты просил меня, чтобы я написал статью о построенным тобой мосте; действительно, я отказался — но неужели за это ты мне платишь почтовыми марками? Твое положение сейчас очень нехорошее. Ты Балкину обо мне говорил — это факт. Мою харьковскую жизнь ты знаешь — это факт. Следовательно, тебе даже нельзя отпереться и сослаться на какого-нибудь уже умершего человека, который якобы сообщил тебе об этом. Ну-с? Что мне с тобой теперь делать? Единственно — это.

Трудолюбивый Харлампьев поднялся с чемодана, прихрамывая подошел к хозяину и вдруг звонко ударил его по лицу маленькой рукой.

Прихрамывая подошел затем к Волкодавскому и сунул ему эту руку.

— Нате. Пожимайте, если хотите.

— С удовольствием, — засмеялся прямолинейный Волкодавский. — Пойдемте, милый, отсюда. Га! Га! Да здравствует трудолюбие!

РЕВОЛЮЦИОНЕР

В первый день св. Пасхи к Кутляевым пришел Птицын. Глава семьи Кутляевых был чиновник, и звали его Исидором Конычем, а Птицына называли Васенькой.

Птицын пришел, наряженный в смокинг и лакированные башмаки, с ярким, сверкающим цилиндром в руках.

— А! — закричал весело Кутляев, растопыривая руки.
— Васенька! Христос Воскресе!

— Здравствуйте, — вежливо поклонился Птицын.
— Я, простите, не христосуюсь...

— Почему, Васенька? — кокетливо склоняя голову набок, спросила жена Кутляева.

Васенька поздоровался с ней, поклонился сидевшей в углу старой тетке, опустился на предложенный стул и, обмахиваясь платочком, сказал:

— Видите ли... Я нахожу этот обычай отжившим. В нем, вы меня извините, нет логики. Будем рассуждать так: почему знакомые целуются при встречах на Пасху и не целуются на Рождество? Вы, конечно, возразите мне, что Пасха — это праздник любви, торжества и радости. Хорошо-с. Тогда, — спрошу я вас, — а Рождество, чем же хуже Рождество? Чем оно меньше по радости и торжеству? Да и вообще: я понимаю поцелуй как акт физического влечения одного пола к другому, что уже, конечно, есть простое требование природы. А, согласитесь сами, ведь указанных мною элементов в пасхальном поцелуе нет? Ведь нет?

Жена Кутляева задумчиво качнула головой и вздохнула. Муж сказал:

— Пожалуй, это и верно.
— Конечно же верно!

Васенька говорил серьезно, подыскивая выражения, округляя периоды и внимательно поворачиваясь к собеседнику, который подавал реплику. Собеседник внимательно выслушивался и сейчас же получал ясный, точно формулированный ответ.

— Хотя, — возразила госпожа Кутляева, — я того мнения, что в этой радости, в этих поцелуях и дружеских объятиях есть что-то весеннее.

— Хорошо-с, — солидно, складывая руки на груди, сказал Васенька. — Хорошо. Но если это так, то почему же не целоваться в июне или сентябре?

— Что вы говорите?! — вспыхнула Кутляева. — Разве можно?

— Вот то-то и оно. Нужно как можно дальше отходить от нашей затхлой традиции, от всего того, что "все делают".

— Однако, — сказал Кутляев, — вот вы же, Васенька, с визитом пришли?..

Васенька привстал.

— Я могу и уйти, если вам мое посещение не нравится...

— Что вы, что вы! Как вам не стыдно?.. Мы очень рады! Я только к тому говорю, что визиты тоже традиция.

— Да-с! Пошлейшая, никому не нужная традиция! И вот именно поэтому я решил всюду ходить и во

всеуслышанье заявлять: "Господа! Бросьте этот глупый, утомительный обычай! Станьте выше! Стремитесь быть сверхчеловеками!"

— Вы водку пьете? — спросил Кутляев.

— Что? Какую водку? Ах водку. Рюмочку я, конечно, выпью, но не потому, что это какой-то там праздник, а просто небольшое количество алкоголя мне не повредит.

Кутляев налил две рюмки водки, а жена его сказала:

— Если вы, Васенька, это натощак — я вам дам сначала кусочек свяченого куличка. Хотите?

Васенька резко и строго обернулся к хозяйке.

— Нет-с, Наталья Павловна, не хочу. Нет, не хочу! Согласитесь сами, зачем? Что изменится в нашей будущей жизни от того, если я съем этот кусок желтого, сладкого хлеба, а не тот? Если вы мне дадите именно тот, который был обрызган священником? Зачем это? Да и вообще кулич... Почему вы меня не угостили им, когда я у вас был в декабре? Почему теперь мне должно хотеться, а тогда нет? Согласитесь сами, странно!

— Да бросьте вашу философию, — хлопнул его по плечу хозяин. — Ох уж эта мне интелигенция! За ваше здоровье!

— При чем тут здоровье, — поморщился Птицын.

— Просто нам с вами хочется выпить — мы и пьем.

— Кулича нашего попробуете? — робко спросила хозяйка.

— Принципиально не попробую, уважаемая Наталья Павловна. Вот в сентябре будут именины вашей дочки, — тогда съем. А есть его сейчас, согласитесь сами, это ординарно.

Он обвел глазами стол, и взгляд его остановился на высоком куличе, увенчанном тремя сахарными розами и шоколадным барашком с крошечным зеленым флагом.

— Вы простите меня, Наталья Павловна, но... можно мне быть с вами откровенным?

— Пожалуйста, — съежившись, сказала хозяйка.

— Я уж такой человек, что всегда режу правду-матку в глаза! Это самое лучшее. Не правда ли? Скажите: неужели вы серьезно думаете, что эти сахарные розы и этот барашек — на что-либо нужны? Ведь вкусу они вашим куличам не приадут, а...

— Ах, какой вы критик, — слабо усмехнулась хозяйка.

— Я и не знала... На всякий пустяк обращаете внимание... Это сделано так — только для красоты.

Птицын горько улыбнулся.

— Для красоты... Красота — это Рафаэль, Мадонна, Веласкес какой-нибудь! Венера Милосская! Вы извините меня, но я так говорю, потому что считаю вас хорошиими, умными людьми, и знаю, что вы не обидитесь... А какая же красота — барашек с рынка стоимостью в пятиалтынный? Ни моего эстетического, ни моего морального чувства такая безвкусная вещь удовлетворить не может.

— Ха-ха! — засмеялся Кутляев, — вот не думал, что у покойного Павла Егорыча такой умный сынок будет. Ай да Васенька! Бог с ними, с барашками... Вы бы еще рюмочку! Красным яичком закусите или поросеночком.

Васенька нахмурился.

— Позвольте быть с вами откровенным: вы их для вкусу покрасили или для красоты?

— Черт его знает для чего. Взял да и покрасил.

— Я думаю, краска, которой они выкрашены, не безвредна. В таком случае я очень попрошу вас, добрейшая Наталья Павловна, дать мне простое, белое яйцо. Оно, правда, не так сияет, но ведь я же и не любоваться на него буду...

Птицын долго ел молча, опустив голову и о чем-то думая.

— Поросенок тоже, — закачал он укоризненно своей широкой черной костистой головой. — Ведь если крашеное кушанье вообще красиво, — почему бы и поросенка не выкрасить в голубой цвет или побронзировать золотым порошком. Однако этого не делают. Правда, для чего-то всунули ему в рот кусок петрушки, но, я думаю, никто этим не будет восторгаться. Всунули просто неизвестно для чего...

— Охота вам, Васенька, петь Лазаря, — нервно перебил его хозяин. — Ну и всунули! Ну и поросенок. Надо же чем-нибудь великий праздник отметить.

— Так, так, — покачал головой Васенька. — Подъем религиозного чувства знаменуется всовыванием в пасть мертвого животного пучка зелени... Логично!

* * *

В комнату влетел завитой, пронизанный насквозь праздничным настроением блондин, расшаркался и радостно, во всю мочь легких заорал:

— Христос Воскресе! Исидор Коныч, троекратно! Наталья Павловна, троекратно! Мой молодой товарищ, — троек...

— Простите, не целуюсь, — сказал твердо и значительно Птицын. — Устаревший пережиток. Форма без содержания...

— Фу-ты ну-ты, — пропел молодой блондин. — А то бы лобызнулись. Не хотите? Как хотите.

Склонив голову набок и смотря укоризненными глазами на пришедшего, Птицын ехидно спросил:

— Визиты делаете?

Блондин склонил голову направо и юмористически пропищал:

— Визиты делаю! Мученик естества.

— Выпейте чего-нибудь.

— С восторгом в душе! Боже ты мой! Какие красивые яйца!! И зелененькие, и розовенькие. И липовые!

— Вам нравятся? — иронически спросил Птицын.

— А мне, представьте, не нравятся. Это не есть вечная красота... Вечная красота — это Рафаэль, Мадонна... Знаменитая статуя Венеры Милосской, находящаяся в одном из заграничных музеев, — вот что должно нравиться.

— Эх, куда заехали, — засмеялся молодой человек и молящим голосом попросил:

— Можно съесть лиловенькое? Мне нравится лиловенькое!

— Да какое угодно, — радушно сказала хозяйка.

— Вечные самообманы в жизни, — печально прогудел Птицын. — Гонимся мы за лиловыми яйцами и забываем, что внутри они такие же, как и красные, как и белые... Слепое человечество!

— Где вы были у заутрени? — спросила хозяйка.

— В десяти местах! Носился как вихрь. Весело, ей-Богу! Радостно! Колокола звонят вовсю. Ди-ли-бом! Бам-бам! То тоненькие. То такие большие густые дяди! Гу-у! Гу-у!

— Красота не в этом, — сказал Птицын, внимательно, по своему обыкновению, выслушав собеседника. — Не в том, что по одному куску металла бьют другим куском металла... И не в том, что яйца красные и голубые... И не в том, что у вас на сюртуке атласные отвороты. Красота — это Бетховен, симфония какая-нибудь... Кёльнский собор! Микеланджело! Слепое человечество...

Хозяйка вздохнула и сказала блондину:

— Садитесь! Чего же вы стоите?

— Мерси. С удовольствием, — расшаркался представитель слепого человечества.

Повернулся к столу и сел.

— Что вы делаете! — закричал болезненно и пронзительно Птицын. — Вы сели на мой цилиндр!

— Ну? — удивился блондин. — В самом деле!

Птицын вертел в руках сплющенный, весь в крупных изломах и складках цилиндр и со слезами в голосе говорил:

— Ну что теперь делать! Сели на цилиндр. Ну куда он теперь годится... Кто вас просил садиться на мой цилиндр?!

— Я нечаянно, — оправдывался блондин, пряча в усах неудержимое желание рассмеяться. — Да это пустяки. Его можно выпрямить и по-прежнему носить.

— Да-а... — злобно смотря на блондина, плаксиво протянул Птицын. — Сами вы носите! Разве в нем можно показаться на улице?!

— Почему же? — усмехнулся гость. — Красота не в этом. Красота — это Рембрандт, Айвазовский, Шиллер какой-нибудь... Мадонна!

На глазах Птицына стояли слезы бешенства и обиды.

— Полез... Прямо на шляпу!

— Слепое человечество, — захохотал блондин. — Ну, если не хотите так ее носить, я вам заплачу. Ладно?

Птицын сжал губы, получил от блондина пятнадцать рублей и, ни с кем не прощаясь, угрюмо ушел.

Поросенок, держа в зубах пучок зелени, заливался беззвучным смехом.

ПРИНЦИП

Иван Сергеич имел цельный, гармоничный характер и не гордился этим только потому, что был скромен и прост в обращении; эти качества резко отличали его от других воров, водившихся в трактире "Лужайка", — людей в общей массе крикливых, хвастливых и наглых.

Деятельность Ивана Сергеича имела строго определенное направление, от которого он не уклонялся ни вправо, ни влево: не убивал, но зато и не работал. Только воровал.

К людям не ворующим относился недоверчиво, с легким затаенным презрением, и когда вдумывался в их жизнь, то про себя нередко удивлялся: "Почему они тоже не воруют?"

После долгого раздумья объяснял это себе двумя причинами: беспощадной логикой социального строя (если все обворовываемые будут воровать, то некого будет обворовывать), а также отсутствием предприимчивости и неловкостью лиц, которые предпочитали зарабатывать пропитание трудом.

— И трудитесь, черти, — думал с ласковой насмешливостью Иван Сергеич. — Вам же хуже! Все равно украду.

И крал.

Эту веселую человеческую комедию изредка прерывали длинные антракты — именно тогда, когда Иван Сергеич попадал в тюрьму. Здесь он имел возможность бросать ретроспективные взгляды на пройденный путь и каждый раз успокаиваться на том, что ошибок в системе не было: право Ивана Сергеича — воровать, но зато право обворованных — ввергать его в тюрьму... Пожалуйста!

После этого никто не имел возможности упрекать друг друга в несправедливости и дуться один на другого. И по выходе из тюрьмы можно было начинать новую жизнь: трудящиеся, нажившись, должны были снова плохо положить несколько вещей, а Иван Сергеич брал уже остальное на себя.

Воровал Иван Сергеич двадцать пять лет — с тех пор как себя помнил. Если считать, что проживал он в год около двух тысяч, то накрадено им было за всю жизнь мелкими вещами и суммами — пятьдесят тысяч. Эти деньги должны бы вызвать еще большее к себе уважение, если принять во внимание, что ни одна копейка из них не была нажита обычным трудом или убийствами. Кражи — только кражи.

Это был превосходный, очень уютный особняк, имевший все данные для того, чтобы понравиться Ивану Сергеичу.

Оба они — особняк и Иван Сергеич стояли друг против друга на глухой, пустынной улице, и один из них думал: "Если выдавать стекло — стоят на подоконнике

горшки с цветами или не стоят? Свалишь их или не свалишь?"

Долго размышлять было рискованно: через час прекрасная темная ночь сменится рассветом. Поэтому Иван Сергеич, закусив нижнюю губу, провел по стеклу кольцом, наложил на него какую-то тряпку и через минуту стоял уже на подоконнике, зорко всматриваясь в непроглядную тьму, сгустившуюся в комнате. Мягко спрыгнул босыми ногами на паркет и, простирая вперед чуткие руки, побрел наугад...

— Ох, черт!..

Нога его споткнулась обо что-то мягкое, большое, неподвижное, и Иван Сергеич, падая, схватился рукой за спинку кресла. Кресло стукнулось о стол, на столе задребезжала лампа... Иван Сергеич присел и сейчас же увидел, как в стороне мелькнула желтая вертикальная полоска света, которая сейчас же перешла в прямоугольник — и в дверях, освещенный маленькой лампой, показался человек.

Лампу он вытянул вперед и с любопытством водил ею во все стороны до тех пор, пока луч света не упал на присевшего около стола Ивана Сергеича.

Иван Сергеич взвизгнул, выпрямился и бросился к открытому окну, но незнакомец опередил его одним прыжком, не выпуская лампы из рук, сел на подоконник и, усмехнувшись, спросил:

— Испугались?

— Испугался, — признался Иван Сергеич и зашаркал смущенно босой ногой по полу.

— Эх вы! Как же можно быть таким нервным... Не бойтесь. Хозяина дома нет.

Иван Сергеич изумленно сверкнул глазами и спросил:

— Да... а вы кто?

— Я? Вот тебе раз! Ну, угадай-ка, миленький, кто я?

Блуждающие глаза Ивана Сергеича остановились на выдвинутых ящиках письменного стола, на большом солидном узле, валявшемся на полу, — том самом узле, о который споткнулся он минуту тому назад, — затем глаза Ивана Сергеича перешли на широкую смеющуюся рожу незнакомца, и оба человека, глядя друг на друга, стали смеяться.

— Ах, поди ж ты! — всплеснул руками Иван Сергеич.

— А я думаю: хозяин. Тика́ть хотел. Один ты тут?

— Один.

— Да как ты сюда пролез? Окна были целые, парадные заперты — я толкал.

— А я ключом. Зашел, а потом заперся, чтобы не мешали.

— А если хозяин подойдет?

— Он-то? Каждую ночь в клубе до восьми часов утра в карты режется! Всю хурду-мурду успеем вывезти.

— Вы... везти? — ахнул Иван Сергеич.

— А ты что думал? Эх вы, — засмеялся новый вор.

— Сколько уже веков прошло, а все вы, воры, ничему не научились. Простой вы народ — воры! Без плана, без выдержки, без хладнокровия... Тебе бы, дураку, только влезть в окно, рискуя, что тебя сцепают, стянуть какую-нибудь подушку или пальто, ценой в пять целковых — и убежать... и ты уже думаешь, что большое дело сделал!

— А ты... как же? — спросил, усаживаясь на узел, Иван Сергеич.

— Вот так же! Как видишь!.. Я целую неделю потратил на слежку: как живет хозяин, да что он делает, да когда возвращается вечером? И что ж ты, братец мой, думаешь... Прислуга приходящая, никого больше ни души, а сам из клуба под утро возвращается.

Иван Сергеич вздрогнул.

— А он сейчас не приедет?!

— Будь покоен, братец: верные сведения имею.

Новый вор помолчал.

— Так вот как. И задумал я вычистить квартиру до последнего гвоздика. Переулок глухой — кому помешать нужно? Работай тихенько, смирненько. К семи часам утра заказал я две подводы с нашими ребятами — приедут, все и вывезем.

Иван Сергеич удариł себя по коленкам и восторженно вздернул головой.

— Ловко!! Все как есть?

— Все, миленький ты мой. До гвоздочка, до последней карточки. Кой-что я уже и уложил.

— Ловкий дьявол... Меня-то в долю примешь?

— Почему не принять. Товару много. Растируемся. Однако, миленький... Американцы, о которых ты по своему умственному убожеству не имеешь никакого понятия, говорят: время — деньги. За дело! Я письменным столом займусь, а ты картины снимай.

Новые друзья весело захлопотали.

Наглость и уверенный план другого вора обворожили Ивана Сергеича. Заворачивая в полотняные простыни

картины и связывая веревками груды золотообрезных книг, Иван Сергеич время от времени садился на пол и громко торжествующе хохотал:

— Ай да мы! Ну и мы! Ну и воры нынче пошли!

— Не дери глотку, — скромно сказал новый вор.

— Дело нужно делать, а он гогочет... Укладывай лампу в ящик... Да с резервуаром поосторожней! Он, кажется, фарфоровый. Разве вы, черти, понимаете?

Иван Сергеич хлопотал, вертесь по комнате, упаковывал, распутывал веревки, развязывая узлы острыми зубами, и все время среди этих занятий восторженно поглядывал на товарища.

А тот, уложив всего одну этажерку с безделушками и какой-то чемодан, уселся в кресло и важно закурил папироску.

Работы было еще много, но он всем своим видом показывал, что закончить ее предоставляет престоватому Ивану Сергеичу, который с мокрым, потным лицом то и дело подбегал к товарищу и, держа в руках какой-нибудь альбом с фотографическими карточками, отрывисто спрашивал:

— Брать?

— Бери, Ваня, бери. Все пригодится.

— А салфеточку эту? Неужто и ее брать? На что она?

— А что ж салфеточка — собака, что ли? Зачем ее оставлять... Да поторопливайся! А то ребята с подводами приедут — куда нам все поспеть?

И вместо того чтобы помочь утомленному, запыленному Ивану Сергеичу, он только курил да поглядывал на окна, в которых занимался рассвет...

Приехали "ребята с подводами".

Все было уложено, связано, и Иван Сергеич, еле держась на ногах от усталости и суеты, разрешил и себе закурить папироску.

— Нечего там раскуриваться! — оборвал его безжалостный товарищ. — Помогай таскать вещи. Смотри — до хозяина досидимся.

— А ты чего же не помогаешь? — робко спросил Иван Сергеич.

— Напомогался достаточно! Моя работа раньше была. Не бросай папироски на ковер: прожжешь — за него и полцены не дадут! Чертвы! Разве понимаете?

На улице было холодно... Босые ноги чувствовали на мостовой предрассветную сырость.

Товарищ Ивана Сергеича тоже вышел к подводам и равнодушно смотрел, как их нагружали "ребята".

— Готово, ребята? — спросил он.

— Все готово.

Тогда товарищ обратил сонное лицо к Ивану Сергеичу и, улыбнувшись, сказал:

— А теперь — иди себе, братец, подобру-поздорову.

— Как — иди? — ахнул Иван Сергеич. — А вещи?

А дележка?

— Какие вещи?

— Да эти! Что мы собирали.

— А разве они твои, эти вещи?

Иван Сергеич рассердился.

— Да ведь и не твои!!

— Нет, мои.

— Это же еще почему такое? Хозяин ты им, что ли?

Незнакомец засмеялся.

— Эх ты! Говорил же я, дураки вы, воры! А кто ж я?

Конечно, хозяин. На другую квартиру переезжаю, с ноги укладывался... А ты тут пришел, помог... Да я ничего не имею. Спасибо, что помог. По крайней мере, честным трудом рубль заработал. Хе-хе! Я даром, братец, чужого труда не хочу. На, получай! За честный твой труд!

Хозяин вынул из кармана рубль и сунул его в руку Ивану Сергеичу.

Уже всходило солнце, когда Иван Сергеич брел по пустой улице недовольный, брюзжащий сам на себя, с серебряным рублем, зажатым в грязный кулак.

Гармоничная натура Ивана Сергеича могла показаться странной непонимающему, недалекому человеку.

Этот рубль, заработанный трехчасовым тяжелым, неблагодарным трудом, — жег ему руку.

Проходя по мосту, Иван Сергеич плонул, очень не-прилично обругался и, размахнувшись, выбросил дурацкий рубль в воду.

ЖИВОТНОЕ

Мой приятель, студент Ушкуйников, и я — мы сидели в цирке и смотрели на громадного, мясистого парня, который стоял на арене и, изогнувшись чудовищным глаголем, поднимал над головой какие-то металлические шары.

— Ловко! — восторженно прошептал Ушкуйников, шевеля мускулистыми руками. — Одной рукой! А в них около семи пудов.

— Ну так что? — спросил я, с усмешкой глядя на него.

— Семь пудов! Это — рекорд!

— Чего ты так волнуешься? Разве тебе не все равно, если в этом инструменте, висящем сейчас над его головой, — семь пудов, а не пять или шесть?

— Что ты! — удивился Ушкуйников. — Как же может быть все равно? Шесть пудов — это и я жму! А вот семь — это уже гениально!

— А что, если бы нашелся человек, — саркастически спросил я, — который мог бы переплюнуть через двухэтажный дом? Ты бы тоже назвал его гениальным?

— Поехала! — засмеялся Ушкуйников. — Это уже, брат, философская отвлеченность. Шопенгауэр!

Не знаю, что меня привязало к этой большой, добродушной, глуповатой, сильной собаке. Мы были совершенно разные люди: я — маленький, худой, с нежными руками, впалой грудью и вечной боязнью холода, жары и ветра; он — высокий, широкогрудый, с железными мускулами, громким хохотом и с какой-то медвежьей грацией и ловкостью в движениях... Я — умный, много читавший, много знающий человек, он — недалекий, простой, с самыми примитивными влечениями и настроениями.

Когда мы шли из цирка, я, делая короткие шаги, смотрел на него снизу вверх, нервно дергал его большую красную руку и язвительно говорил:

— Я тебе удивляюсь! Ты человек без полутонов. Осчастливить тебя можно тем, что — каким-либо образом — устроить твой рекорд в поднимании восьми пудовой гири... А сделать несчастным — еще легче. Стоит только ударить тебя оглоблей по голове; тогда ты, ощущив физическую боль, — будешь чувствовать себя страшно несчастным.

Он рассмеялся.

— Ну и чудак же ты! Выдумает что-нибудь вечно. Разве можно оглоблей драться?

— Вот видишь! Видишь? Очень мило... ты даже не уловил моей главной мысли, а обратил почему-то внимание на оглоблю, будто бы в ней весь центр! Оглобля играет здесь чисто служебную роль, как подспорье, как иллюстрация к отвлеченной мысли.

— Да брось, — сказал Ушкуйников. — Философия. Гегель.

— Ты меня извини, — с горячностью вскричал я. — Но я не понимаю тебя... У тебя какая-то мания притворяться глупее, чем ты есть. Ведь ты, как студент, все-таки знаешь, что употребление тобой имен философов совершенно бессмысленно. Ни Шопенгауэр, ни Гегель здесь ни при чем.

— Да брось.

— Чего там бросать? Я знаю, когда тебе возразить нечего, ты говоришь: да брось. Это, брат, самый глупейший прием в споре.

Он, сбитый с толку, приостановился.

— Чего ты ругаешься? Смотри — горло пересохнет. Хочешь, я сейчас посажу тебя на крышу этого киоска? Оттуда удобно говорить блестящие речи!

— Конечно, конечно! У тебя ведь другого аргумента быть не может. Или на какую-нибудь дурацкую крышу посадишь, или повалишь на тротуар.

— Да брось, — поежился Ушкуйников. — Я же пошутил.

Я сделал вид, что не слышу его.

— Ты можешь ударом кулака раздробить мне голову, но ведь эту же операцию может произвести и любой дом, который уронит с карниза мне на голову кирпич. Какая же между вами тогда разница?

— Между мной и домом? — спросил притихший студент.

— Да-с. Между тобой и домом. Теперь уже пора бросить это!.. Раньше, конечно, когда любовь женщины добывали дубиной, и пищу добывали дубиной, и честь свою защищали дубиной — тогда физическая сила была хороша... А теперь, когда мы идем по гладкому тротуару, мимо целой тучи городовых, навстречу вежливо извиняющимся при невольном толчке прохожим, — кому и на что нужны твои рекорды, бицепсы и твое примитивное "да брось..." .

— Да брось, — сказал Ушкуйников. — Почему же человеку и не быть сильным, если он хочет этого?

— Не надо. Устарело. Пережиток. Уродливый атавизм.

— Эммануил Кант, — прошептал Ушкуйников.
— Дурак.
— Да брось. Пойдем лучше в кабак. Чего ты так распетушился?

II

В ресторане мы выбрали в боковой комнате укромный, безлюдный уголок и уселись за столик.

— Дайте мне баранью котлетку. А ему, — усмехнулся я, указывая на Ушкуйникова, — четыре порции сосисок с капустой.

— А сколько у вас штук на порцию? — спросил с любопытством Ушкуйников.

— Четыре штуки.

— Тогда четырех порций хватит.

— Однако, — болезненно поморщился я. — Я хотел пошутить... А ты серьезно?..

— Такими вещами не шутят, — сентенциозно сказал Ушкуйников. — И дайте маленькую кружку пива за 20 копеек.

— Это самая большая, — возразил лакей.

— Ну уж и большая! Хвастаетесь. Давайте скорей! Иначе я вышлю всю вашу кровь и жалкие остатки тела съем!

Он подмигнул лакею и захохотал.

Когда лакей отошел, Ушкуйников сладко потянулся, встал и заявил.

— Хорошо бы, пока подадут ужин, сыграть одну партийку на бильярде. Как движение — очень полезно!

— Играй сам свою партийку. Я не хочу.

— Да почему?

— Что в ней хорошего, в бильярдной игре? Тычут палками в какие-то шарики, а те катаются по сукну, падая изредка в узкие, неудобные для этой цели, отверстия. Очень забавно!

Эта живая, нарисованная мною картина подействовала на впечатлительного Ушкуйникова угнетающе. Он приостановился, и на его лице появилось выражение нерешительности и колебания: стоит ли действительно играть?

Но сейчас же его медленную голову осенила какая-то мысль... Он улыбнулся, погрозил мне пальцем, сказал:

— Барух Спиноза!

И ушел в бильярдную.

Я развернул газету. Погрузился в чтение.

III

— Зд...расссьте! Скуч...ск...учаете?..

Я поднял голову и увидел перед собой неопределенно улыбающееся лицо какого-то плотного господина, склонившегося над моим столом.

— Простите, — заявил я. — Я не имею удовольствия вас знать.

— Неужели? Оч-чень жаль. Позвольте присесть?

— Да зачем же? — возразил я.

Он придвинул стул, сел, протянул руку к моей газете и отложил ее на подоконник.

— Охота вам читать! Все равно чепуха. Ничего интересного. А я — можете представить — вдребезги!

— Что вдребезги?

— Прокутился. Даже на пиво не осталось.

— Это место занято, — сказал я, с гримасой смотря на его красные сузившиеся глазки.

— За-ня-то? — откинулся он на спинку стула. — Послушайте!.. Может, вы не рады, что я к вам сел, а?

В его заплывших глазах мелькнуло что-то такое, от чего я сделал равнодушное лицо и с легкой дрожью в голосе сказал:

— Почему же не рад? Я ничего... Я только к тому, что место занято. А то — сидите.

— Б...лагодарю вас! Спасибо. Б...лагороднейший человек!

На лице его появилось выражение нежности.

— Ни...когда не забуду! Позвольте поцеловать вас.

— Да к чему же, — насищенно засмеялся я.

— Ведь мы же даже не знакомы.

— Позвольте расцеловать вас, — упрямо повторил незнакомец.

— Я... вообще... не целуюсь, — возразил я, с нетерпением поглядывая на двери, выходившие в общую ресторированную залу.

— Глупо! Ид...иотски глупо! Как так можно — не целоваться?

Он притих, потом поднял тяжелую голову и ударил сжатым кулаком по столу.

— Я требую!

— Чего вы требуете? — с тайной злостью и нервной дрожью в голосе спросил я.

— Я вам противен? — кричал он, размахивая перед моим лицом массивными руками. — Ха-ха! Вы важный...

барин? Да? Может, граф? Может, какой-нибудь князь де
Черт меня побери?

Я бледно улыбнулся и, снисходительно смеясь, сказал:

— Да извольте... Если вы уж так хотите — поцелуемся.

— Снисхождение... да? Они сизошли! Ха-ха! А теперь я не желаю!.. Ага! Что, съел? Вот не желаю и не желаю.

Я сидел молча с дрожащим подбородком и больно покусывал губы. Он посмотрел на меня исподлобья.

— Обиделись? А? Нерви... "Ах, милый Жан," — прошипал он тоненьким голоском, — у меня сегодня нервы..." Ну черт с тобой! Из-звиняюсь. Дай руку!

— Зачем вам моя рука?..

— Дай руку! — закричал он. — Раз я говорю — значит, дай!

— Чего вы ко мне пристаете? — дрожащим голосом сказал я. — Я с вами не знаком, а вы говорите мне "ты".

Он грузно встал, взял одну из моих рук и хлопнул ею по своей мясистой ладони.

— Значит, так? Решено?

Неожиданно он навалился на меня всей тушей. Спиртом несло от него невыносимо.

— Гов...вори!.. Значит, чтоб уж больше никаких? Что-бы нет и нет! И конечно! Пр...правильно?

В двух вершках от меня нависли его мутные, воспаленные глаза. Я снова усмехнулся уголками дрожащих губ и, подделываясь под его несусazonо пьяный тон, сказал:

— Ну, правильно — и правильно. Хорошо. И конечно.

А теперь садитесь на свое место.

— Од...дин поцелуйчик!

Я закрыл глаза и вообразил себе, что бы я сделал со своим собеседником, если бы обладал силой Ушкуйникова... Я схватил бы его за горло, вцепился бы зубами в его ухо, а когда он заревет от боли, повалил бы его на пол и стал бы бить ногами в бока и живот, в этот отвратительный толстый живот, который сейчас терся о мое лицо...

— Одно лобзание! Лобызни меня, друже!

Любитель поцелуев неожиданно отшатнулся от меня, и из-за него выглянуло улыбающееся лицо Ушкуйникова...

— Что за черт? С кем ты тут поцелуи разводишь?

Я вскочил, нервно дрожа.

— Ты его спроси, а не меня! Подходит ко мне, незнакомый, пьяный, кричит, хватает за руки, лезет целоваться...

Я думал, что Ушкуйников сейчас же взмахнет кулаком и ударит моего мучителя.

Он обернулся к нему и укоризненно сказал:

— Вы чего же это, дядя, а? К незнакомым пристаете... Выпили — и идите домой.

Пьяный нахмурился и, внезапно обернувшись, схватил Ушкуйникова за воротник.

— А ты кто здесь такой?

— Да это все равно, — усмехнулся Ушкуйников.

— А только вы мне воротник поломаете так. Пустите... Шли бы вы домой.

— Ах ты, корова, — сказал пьяный. — Взять да трахнуть тебя, чтоб ты знал.

— Совершенно это лишнее. Ну что хорошего. Вы меня поколотите, я вас. Обоим будет больно...

— Што-с?!

Я не мог сдержать себя.

— Дай ты хорошенько этому пьяному скоту по затылку... Чего ты с ним церемонишься?

Незнакомец оттолкнул Ушкуйникова и быстро обернулся ко мне.

— Ага... Вот как?

Рука его мелькнула в воздухе, натолкнулась на что-то, подставленное Ушкуйниковым, и бессильно повисла.

— Это уже не хорошо, — серьезно сказал Ушкуйников. — А я еще с вами церемонился. Вы просто глупый пьяница. Убирайтесь отсюда!

— Нет, я не пойду, — завизжал злобно и испуганно пьяный.

— Ну как же так не пойдете, — не мог сдержать улыбки Ушкуйников. — Пойти нужно. Позвольте, я вам помогу.

Он толкнул незнакомца в плечо, тот сделал пол-оборота, как на невидимой оси, и сейчас же, странным, особенным образом, схватенный двумя руками моего приятеля, — понесся вон из комнаты.

В дверях показались лакеи.

Нам подали ужин.

Я был бледен и задумчив, а Ушкуйников, осмотрев одобрительным взглядом сосиски и заглянув в кружку с пивом, — рассмеялся.

— А он веселый все-таки дядя. Я думаю, когда не пьян — рубаха-парень!

Я заскрипел зубами.

— Убить его надо бы, мерзавца.

— Да брось! За что?..
— Есть люди, которые не имеют права пить!
— Спенсер!

ПРАЗДНИК ЛЮБВИ

I

По обширной базарной площади, мокрой от недавнего дождя и сверкающей от солнца, — шли, взявшись за руки, два подрядчика: Никифор Блазнов и Иван Потапыч Стечкин.

— Конечно, — говорил Никифор, — будь я барон или там герцог — тебе было бы приятнее со мной идти.

— Мила-ай ты мой, — ласково возражал разнеженный Стечкин. — Что мне барон! Что мне герцог! Главное — чтоб душа была, да чтоб человек без поступков был.

— Без поступков человека не бывает.

— Бывает. Редко, но бывает.

— Нету такого человека, чтоб был без поступков. Все с поступками!..

— Ну хорошо, родной мой. Ну, может быть, бывает. Бог с ними. Пошли им Господь Вседержитель счастья... Ничего, Никифор Васильич, что я вас под руку держу?

— Ничего. Помилуйте-с.

— Ты бы застегнул пальто, Никифор Васильич. Дуэт, а?

— Ничего, благодарю вас. Вы, может быть, устали, Ваня? Мне бы очень не хотелось, чтобы вы уставали...

На глазах Стечкина блеснули слезы умиления.

— Ах, что вы, Никифор. Мне даже очень приятно с вами идти.

Приятели остановились среди площади и, припав друг к другу, обменялись долгим поцелуем.

— Смотрите, Ваня, — сказал подрядчик Никифор, указывая на деревянный балаган, обвешанный разноцветным полотном, — вот цирк. Не зайдем ли мы сюда повеселиться?

— В такой праздник не повеселиться грех. В буденный день нужно трудиться, а праздники посланы нам Господом для отдохновения.

— Что верно, то верно!

Приятели взялись за руки и подошли к кассе.

— Господин кассир! Христос Воскр... Чудеса! Кассира-то нет. Где же кассир?

— Они, может быть, внутри заняты? Пойдем внутрь, поищем...

Подрядчики вынули по трехрублевке и, держа деньги впереди себя на вытянутой руке, чтобы кто-нибудь ненароком не заподозрил в них желания повеселиться на дармовщинку, — шагнули за занавес.

Худой, костлявый человек, бормоча что-то, сидел на барьеере, покрытом кумачом, и натягивал на тощие ноги темно-розовое трико.

— Актер! — благоговейно сказал Никифор. — Здравствуйте. Христос вам Воскресе. Извините, что так нахально... Нам бы кассира...

— Я кассир, — сказал худой человек и, не натянув как следует трико, побежал к кассе.

Получив билеты, подрядчики поблагодарили артиста и осведомились:

— Представление скоро?

— Да вот публика наберется — и начнем.

— А буфет тут есть? Лимонадцу бы...

— Пожалуйте!

Расторопный кассир, придерживая руками плохо натянутое трико, побежал вперед, юркнул за стойку и, взяв в руку штопор, сразу превратился в солидного буфетчика.

— Как дела? — спросил Никифор.

— Дела как будто ничего, только публики мало. Место выбрали неудачное, что ли, — уж не знаю.

— Публику зазывать надо, — посоветовал Стечкин.

— Такое дело.

— Где ж тут нам разорваться, — жалобно сказал артист. — Мы только работаем вдвоем с братом да великан, да лошадь.

— А хозяин?

— Да мы-то и хозяева. И ничего тут не поделаешь. Великан с утра лежит пьяни — разговелся сильно. А брат одевается к выходу. Хучь разорвись.

Опечаленные этим меланхолическим сообщением, подрядчики вздохнули и тихо поплелись на места.

— Нет, так нельзя... — сказал вдруг Никифор, приостанавливаясь. — Этак дело и лопнуть может. Пойдем, Ваня, наружу.

Подрядчики вышли на помост, отыскали какой-то барабан, звонок и энергично принялись за дело... Барабан

загудел, застонал, колокольчик залился бешеным, тонким звоном, а Ваня, у которого голос был зычный, внушительный, — сложил руки рупором и крикнул на всю площадь:

— Пож-жалте! Замечательное представление лучших магиков, комиков и солистов лучших дворов! Будет выведена настоящая живая лошадь! Поразительный великан, небывалой еще длины, исполнит разные группы!!

Заметив нескольких прохожих, остановившихся около балагана, Ваня отнял руки от отверстого рта и сказал более интимным тоном:

— Заходите, господа, — чего там. По крайней мере, коммерцию поддержите...

И, подмигнув, сообщил совсем уж конфиденциально:

— Дело-то совсем швах... Хозяин худой, в чем только душа держится. Поддержали бы ради православного праздничка.

— Заходите! — приветливо поддержал его Никифор Блазнов. — Милости прошу к нашему шалашу.

Кое-кто из публики ухмыльнулся и нерешительно взошел на ступеньки.

Ваня хватал колеблющихся за талию и деликатно подталкивал их к кассе, а Никифор, выставив голову из окошечка кассы, напустил на себя профессиональный вид и, не стеснясь отсутствием хозяина, занялся коммерческими операциями: выдавал билеты, получал деньги и быстро, привычным жестом бросал сдачу.

...К кассе подошел хозяин в коротком поношенном пальто, из-под которого виднелись темно-розовые ноги. Нисколько не удивившись деятельности друзей, он заглянул в кассу и спросил:

— Много?

— Двенадцать сорок.

— Можно начинать. Идите на места.

II

Первый номер был такой: костлявый хозяин выкатил большой деревянный шар и вскочил на него... Но шар выскользнул из-под ног, и хозяин чуть не упал.

Длинноносый брат хозяинаглянул из-за кулис и презрительно сказал:

— Эх ты! Растепа.

— Я тебе говорил, что не надо было мне давать натощак вина: "нет — выпей да выпей". Вот тебе и выпил, — возразил хозяин.

Он снова прыгнул на шар, но шар, как пугливая лошадь, сбросил его и отбежал в угол.

— Трудно, небось? — сочувственно спросил мастеровой с синяком под глазом.

— А ты думаешь что, — с досадой сказал хозяин.

— Попробовал бы сам!

— Да, это дело трудное, — согласилась добродушная публика, грызя семечки.

Порывистый подрядчик Никифор вскочил с места.

— Позвольте, я вам помогу!

Он перешагнул через барьер, подкатил шар и, взяв хозяина под руку, подсадил его.

— Ну, теперь держись за меня... Постой... Экий, братец, ты... Так и ушибиться легко.

Подрядчик обратил к публике сияющее, неизвестно по какой причине, лицо и снисходительно сказал:

— Выпивши они... Дело праздничное.

— Ничего, — отвечала публика. — В этакий праздник — да не выпить?

Хозяин, устоявшись на шаре, засеменил ногами, подрядчик, держа эквилибриста под руку, одобрительно покрикивал, а шарманка, руководимая длинноносым братом, залилась веселым галопом.

Все захлопали.

— Готово! — сказал подрядчик. — Отзвонил — и с колокольни долой. Следующий!

Длинноносый брат хозяина вышел из-за кулис, таща на веревке собаку.

Одет он был в ситцевый клоунский костюм, помятый цилиндр и кое-где робко присыпан мукой.

Вид его вызвал всеобщее сочувствие и жалость.

— Молоденький! — сказала старуха, утирая нос платком.

Длинноносый снял цилиндр, раскланялся и начал:

— Милосиби господа и госпожа! Я умею шрезвычайни шесть демонстрировать этот четвероног, котори...

— Говори по-русски, — посоветовал Никифор.

— Ладно. Вот, братцы, собака. Замечательной работы! Стреляет из пистолета, умирает по команде и отгадывает цифры.

— Да ну? — удивились в публике.

— Ей-Богу. Вот, смотрите!

Клоун разложил на земле несколько кусков картона с цифрами, раскланялся с публикой и спустил с веревки собаку.

Собака повернулась и побежала за кулисы.

— Куда она?! — закричал клоун. — Иси сюда, проклятая! Ты чего там стоишь, разиня?.. Придержи ее!..

Костлявый хозяин поймал собаку и подтащил к своему горемычному брату.

— Иси, чтоб тебе подохнуть! А-лле! Господа, назовите какую-нибудь цифру.

— Раз, — сказал мальчишка.

— Сто семнадцать тысяч пятьсот двадцать три, — крикнул мастеровой.

— Нет, нет, чтоб одна цифра была. До десяти!

В публике подсказали:

— Один! Семь! Два! Девять! Пять! Четыре! Восемь! Шесть! Три! Десять!

Собака, ободренная увесистым пинком длинноносого хозяина, взвизгнула, прыгнула и схватила цифру 6.

— Кто сказал 6? — спросил клоун.

— Я, — пролетел гимназист, всхихнув от гордости.

— Вот-с ваша цифра! Собака сама взяла.

Шарманка, заведование которой, по просьбе хозяина, взял на себя гимназист, заиграла, публика бешено зааплодировала.

Ободренный успехом, клоун вынес стул, на спинке которого висел пистолет с веревкой, привязанной к курку, и сказал:

— Сейчас моя собака будет стрелять. Сейчас будет японская война двух держав. Алле!

Собака забилась под стул.

— Алле!!

Ни просьбы, ни пинки, ни угрозы не могли заставить собаку вылезти из-под стула.

— Алле, мразь разнесчастная!!

— Позвольте, я выстрелю, — предложил Иван Потапыч, искренно болея душой за клоуна.

— Пожалуйста... Сделайте одолжение.

Подрядчик встал и, потянув за веревку, выстрелил из пистолета.

Ему поаплодировали.

— Трудно? — спросил гимназист.

— Нет, пустое, — скромно ответил подрядчик.

— Еще что будет? — спросил хозяина Никифор.

— Лошадь еще могу вывести, если хотите.

— Не стоит. Чего там животное зря мучить. Повеселились и баста.

— Может, шпагу проглотить? — несмело предложил хозяин.

— Еще что выдумай. Я в позапрошлом году был на Святую в балагане — так один тоже шпагу глотал. Только (покусал он плотно, что ли) возьми и затошни его, извините. Что же вы думаете? Шпагу эту аршина на три вперед выбросило. Не пасхальное это дело — шпага...

— А я тоже в Армавире видел... — сказал мастеровой...

III

Хозяева и публика уселись на барьер, на первые места и погрузились в разные интересные воспоминания. Старуха рассказала, как детей в молоке варят, чтобы они были мягче; подрядчик Ваня вспомнил случай, когда один из его рабочих поднял на спине 18 пудов.

— А у нас великан есть, — таинственно сказал длинноносый клоун. — Пьет и пьет. Так уж сложили его в уборной и не показываем публике.

— Большой? — спросил мастеровой.

— Не особенно. Так, средний. Больших-то на праздники всех разобрали, осталась только мелочь. Может, посмотрите?

Все гурьбой встали и отправились осматривать пьяного великана.

Братья оказались правы наполовину: он был скорее пьян, чем великан.

— Так в лежачем виде не видно его, — сказал подрядчик. — Его бы поставить.

— Илья! — сказал хозяин, — прислони его к стенке.

— Пошел! — закричал великан, поднимая кулак.

— Тронь только, я тебе покажу, стерва!

— Ох, эти уж закулисные интриги, — вздохнул Никифор. — Чистая беда с ними. Пойдемте, господа.

Все вышли. На правах старого знакомого хозяин удержан за руку двух подрядчиков и шепнул им:

— Может, по рюмочке водки выпьете?

— Дело, паренек! Только уж мы угостим! Может, ваш братец за коньяком сбегает?

Была ночь... Маленькая керосиновая лампочка тускло освещала уборную цирка. В углу висели украшенные бумагой обручи, клоунский костюм, и лежал тот самый

шар, который был укрошен хозяином лишь при помощи подрядчика. На полу, укрытые размалеванной парусиной, мирно спали четверо: два подрядчика, хозяин и его длинноносый брат. Издали, из другой уборной, доносился тоненький носовой свист великана.

Голодная лошадь отвязалась, вышла из стойла и долго бродила всюду, молчаливо отыскивая какой-нибудь пищи.

Зашла в уборную, сняла со стола соленый огурец и, разжевывая его, посмотрела на спящих.

"Хороши голубчики, — подумала она про хозяев. — И с какой только вы подозрительной компанией не свяжетесь! Сегодня напились, а завтра опять есть нечего".

ПРИЗВАНИЕ

I

Угадать призвание в человеке, направить его на настоящий путь, — что может быть прекраснее этого?

Издатель газеты "Суeta сует" критически оглядел мою фигуру и сказал:

— Гм... Что же вы можете у нас делать?.. Гм... Василий Васильевич очень просил за вас, а мне хотелось бы сделать ему приятное. Знаете что? Поступайте к нам на вырезки.

— На вырезки так на вырезки, — равнодушно согласился я. — На какие вырезки?

— Это очень несложное дело. Вы берете пачку только что полученных чужих газет и начинаете пролистывать их, вырезывая ножницами самое интересное и сенсационное. Потом наклеиваете эти вырезки на бумагу и, сопроводив их соответствующими примечаниями, отсылаете в типографию. Справитесь с этим?

— Всякий дурак справился бы с этим.

— Ну, а вы?

— Тем более я справлюсь, — скромно подтвердил я.

— Ну, с Богом.

Я сел на указанное мне место и прилежно занялся своим новым делом. Я читал газеты, резал их ножницами, мазал kleem, наклеивал, приписывал и хотя устал как собака, но зато с честью выполнил свою задачу.

На другой день утром редактор подошел ко мне и решительно сказал:

— Не делайте больше вырезок!

— Почему?

— Потому что у вас получается черт знает что.

— Рассказывайте! — недоверчиво возразил я. — Приснилось это вам, что ли?

— Нет, не приснилось... Ну, посмотрите, что вы навырезывали! Ну, прочтите сами, своими глазами, что напечатано в нашей газете, благодаря вам! Можно это допустить?

Я пожал плечами и, развернув газету, просмотрел свою вчерашнюю работу.

"Обзор печати". Газета "Тамбовский голос" сообщает очень интересное сведение: "Вице-губернатор Можачев выехал в Петербург. К сожалению, причина выезда этого администратора не указана..."

В "Калужских вестях" читаем: "Вчера его пр-во г. губернатор присутствовал на панихиде по усопшему правителю канцелярии. Вечером его пр-во отбыл в имение".

Небезынтересное для наших читателей сведение сообщает "Акмолинское эхо": "Акмолинский архиерей собирается в поездку по епархии. Степной генерал-губернатор вчера, по недосугу, обычного приема у себя не делал. Городской голова возвращается 15-го".

"Минскому листку" удалось узнать, что "вчера предводитель дворянства праздновал обручение своей дочери с полковником Дзедушецким. Его сиятельство собирается за границу".

Я внимательно прочел все до конца и спросил редактора:

— А разве плохо?

— Не плохо, а бессмысленно. Кому интересны ваши поездки вице-губернатора, семейные радости предводителей дворянства и экскурсии архиереев. Неужели кому-нибудь из нас интересно, что акмолинский городской голова вернется 15-го. Начхать нам на него!

— Ну, вы поосторожнее... Ведь он все-таки начальство.

— Вы не годитесь для вырезок, — категорически заявил редактор. — Вы слишком раболепны.

— Ну, попробуем что-нибудь другое, — равнодушно согласился я. — В самом деле, вырезки мне не по душе. Дайте мне что-нибудь повыше.

Редактор задумался.

— У нас как раз нет заведующего театром. Хотите попробовать? Вы понимаете что-нибудь в театре?

— Что ж тут понимать? Тут и понимать-то нечего.
— Ну, попробуем вас. Займитесь пока назначением рецензентов в театры на сегодня — кому куда идти. А потом составьте хронику. Ну, с Богом.

II

Оставшись один, я первым долгом ознакомился с отделом зрелищ и после краткого раздумья решил остановиться на самом интересном:

1. Опера.
2. Симфонический концерт.
3. Борьба.

Когда я разобрал редакционные билеты, ко мне постучались.

— Войдите.

В комнату вошел один из рецензентов.

Он опрокинул попавшееся на его пути кресло, вежливо поклонился портрету Толстого и, обратившись к печке, спросил ее:

— Вы, кажется, заведуете теперь театром? Куда я сегодня должен пойти?

Сразу же я выяснил, что в словах рецензента не было никакой иронии. Просто он был преотчаянно близорук, почти слеп. Когда я окликнул его, он обернулся, наткнулся на другое кресло и, добродушно извинившись, пожал ручку этого кресла.

— Куда мне этого калеку? — пробормотал я. — Хорошие сотрудники, нечего сказать. Ну, как я пошлю его куда-нибудь в ответственное место?..

Я выбрал билет похуже и сказал:

— ...Эй, вы! Вот вам, нате билет на сегодня. Дайте отчет. Да только, смотрите, хороший!

Он взял билет и побрел обратно, натыкаясь на все стулья и путаясь ногами в ковре.

Потом зашел другой рецензент и тоже осведомился насчет вечера.

— Надеюсь, у вас зрение в порядке? — спросил я.

— Что?

— Видите-то вы хорошо?

— Что?

Я открыл рот и заревел во все горло:

— Я говорю — глаза хорошие?

Он прислушался к моему голосу и нерешительно отвечал:

— Да уж, если этот дождик зарядит, так держись.
— Какой же вы рецензент, — спросил я, — если вы глухи, как бревно? Зачем вы лезете в это дело, черт вас побери?!

— Были у меня калоши, — печально отвечал рецензент, — да их украл кто-то.

— В оперу я тебя не пошлю, — сказал я вслух, разглядывая его. — Это слишком серьезное дело. Возьми-ка, братец, этот билетик. Это не так опасно...

Он ушел с самым бессмысленным выражением лица, а я позвал третьего рецензента и спросил его:

— Глаза хорошие?

— Прекрасные.

— А уши?

— Помилуйте! Я могу расслышать топот лошади за три версты.

“Вот это настоящий! — подумал я, удовлетворенный”.

— Вот что, голубчик... Берите этот билет и отправляйтесь в театр. Я вам приберег самый лучший.

Он взглянул на билет и нерешительно сказал:

— Должен вам заметить...

— Вы? Мне? Заметить? Этого только недоставало! Кто здесь заведующий? Вы или я? Это я могу вам заметить, а не вы мне. Ступайте!

III

После окончания театров, около двенадцати часов ночи, моя команда съехалась, и через час я имел уже в своих руках три добросовестных талантливых рецензии. Оригинальность замысла сквозила в каждой из них и придавала всем трем ту своеобразную прелест, которой не найдешь и днем с огнем в других шаблонных измышлениях рецензентов.

Рецензии были таковы:

“ФРАНЦУЗСКАЯ БОРЬБА... Сегодняшняя борьба проходила под аккомпанемент духового оркестра, который, к сожалению, нас совсем не удовлетворил. Ремесленность исполнения, отсутствие властности и такта в дирижерской палочке, некоторая сбивчивость деревянных инструментов в групповых местах и упорное преобладание меди — все это показывало абсолютное неумение дирижера справиться со своей задачей... Отсутствие воздушности, неумелая нюансировка, ломаность общей

линии, прерываемой нелогичными по смыслу пьесы барабанными ударами, — это не называется серьезным отношением к музыке! Убожество репертуара сквозило в каждой исполняемой вещи... Где прекрасные шумановские откровения, где Григ, где хотя бы наш Чайковский? Разве это можно назвать репертуаром: "Китаянка" сменяется "Ой-рой", а "Ой-ра" — "Хиватой" — и так три эти вещи — до бесконечности. И еще говорят, что серьезная музыка завоевывает себе прочное положение... Ха-ха!"

* * *

"СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. Прекрасное помещение, в котором давался отчетный концерт, вполне удовлетворило нас. На эстраде сидела целая уйма музыкантов — я насчитал шестьдесят пять человек. Впрочем, по порядку. Ровно в девять часов вечера на эстраду вышел какой-то человек, раскланялся с публикой и, схватив палочку, стал ею размахивать. Сначала он делал это лениво, еле заметно, а потом разошелся, и палочка сверкала в его руке, как бешеная. Он изгибался, вертел во все стороны свободной рукой, вертел палочку, мотал головой и даже приплясывал. Потом, очевидно, утомился... Палочка снова лениво заколебалась, изогнутая спина выпрямилась, руки поднялись кверху — и он, усталый, положил палочку на пюпитр. Музыканты тогда занялись каждый по своему вкусу: кто натирал канифолью смычок, кто выливал из трубы слону. Передохнув, снова принялись за прежнее. Начальник размахивал палочкой и плавно, и бешено, и еле заметно, а все не сводили с него глаз, следя внимательно за его движениями. Через некоторое время симфонический концерт был таким путем закончен, и поднялась невообразимая толкотня публики..."

* * *

"ОПЕРА. Хорошая погода собрала массу спортсменов. Большое число записавшихся певцов делало невозможным угадывание фаворита, и первый заезд, или, как здесь говорят — акт, поэтому прошел особенно оживленно. Состязались в первом заезде: князь Игорь (камзол красный, рукава синие), княгиня Ярославна (камзол се-

ребристый, рукава белые) и Владимир Галицкий (голубое с черным). Первой весьма заметно стала выдвигаться в дуэтах с "Игорем" "Ярославна", но на прямой "Игорь" вырвался, стал ее догонять и, к концу дуэта, оба пришли голова в голову. Приятное впечатление произвело появление настоящей лошади (гнедая кобыла зав. Битягина, от "Васьки" и "Снежинки", как нам удалось узнать, за кулисами, на поддоке). Скакал на ней Игорь (камзол красный, рукава синие)..."

IV

На другое утро, когда эти оригинальные, бойкие рецензии появились в свет, редактор подошел ко мне и сказал:

— Можете больше театром не заведовать.

— Неужели нехорошо?

— Нехорошо?! Вас убить мало за такое распределение рецензентов. Вы послали симфонического рецензента на борьбу! Полуслепой человек вместо музыки должен был писать черт знает о чем!! Вы могли на борьбу послать глухого, потому что в борьбе важен не слух, а зрение... Нет! Вам понадобилось погнать его на симфонию, которую он так же слышал, как тот видел борьбу. Спортивного обозревателя вы погнали в оперу, которую он понимает не лучше конюшеннего мальчика!! Ну, чего же вы молчите?

— Да как же я мог знать, кто из них куда годен!!

— Вы не знали? А я вот знаю, куда и на что вы годны!! О, я это теперь хорошо знаю!!

— Куда? — с любопытством спросил я.

— Идите в редакционные сторожа!! Вы подобострастны, тупы и исполнительны!! Подавайте сотрудникам чай и подметайте по утрам комнаты!!

— Ну хорошо, — согласился я.

* * *

Теперь иногда, внося редактору чай на подноссе, я с уважением гляжу на этого проницательного человека, вспоминаю свои неудачные шаги в оценке театральных рецензентов и думаю:

"Угадать призвание в человеке, направить его на настоящий путь, — что может быть прекраснее этого?..."

СТАРИКИ

I

Отнимите у человека его маленькие слабости — и он сделается страшен. Очистите его от грешков, ложных, наивных шагов, наивных шалостей, беспомощности и смешных глупостей. Сделайте это — и перед вами будет стоять не человек, а страшная, сверкающая сталью и добродетелью машина, около которой вы никогда не согреетесь и которая не задумается оттяпать вам руку, если вы сделаете ошибочное движение.

Мне часто хочется ласково обнять и прижать к своей груди человечество, но не все. Только ту его часть, которая пьет, лжет, развратничает, дерется в зависимости от настроения и пляшет, когда весело...

Именно ту смешную часть человечества люблю я, которая каждый день терзает себя за совершенные накануне глупости, горько рыдает, раскаивается и каждый день бесплодно мечтает "начать новую жизнь".

Милые вы мои...

* * *

Архитектор Макосов долго взбирался к себе на третий этаж. Взобравшись, открыл английским ключом парадную дверь, вошел в переднюю, а затем — не снимая пальто, фуражки и калош, — в столовую.

Остановился, прислонившись к притолоке, и тяжелым взглядом обвел стены, стол, поглядел внимательно на самовар и, нахмурившись, сказал хлопотавшему у самовара слуге Перепелицыну:

— Отчего ты, черт тебя подери, не следишь за самоваром. Почему самовар потух?

Перепелицын скорбно покачал головой и сказал:

— Да он вовсе не потух...

— Молчать! — закричал Макосов. — Если я говорю: потух — значит, потух!

— Извольте посмотреть... — мягко сказал Перепелицын.

— Ах так! Значит, я лгу! Так смотри же, собачье отродье!

Макосов схватил горячий чайник и одним духом выпил его содержимое в самоварную трубу.

— Ну? Теперь что?

— Так точно. Потух самовар.

— А я что говорил?

— Что самовар потух.

— Значит, я прав был?

— Правы. Прикажете приготовить постельку?

— Ты! Ты! Не-ре-пе-ли-ца!! Не думаешь ли ты, старое чучело, что я пьян?

— Нет, помилуйте. Вы просто устали...

— Не-ет... Ты думаешь, что я пьян?!

— Да, ей-Богу, не думаю.

— Помолчи ты, ради Бога!

— Слушаю.

Макосов опустился на стул, не снимая пальто и калош, положил голову на руки и задумался.

— И это называется слуга... — обиженно прошептал он. — Какая-то жалкая пародия на человека. Нос толстый, глаза маленькие. Ты некрасив, брат Перепелицын, ты чертовский некрасив — это ясно. Ведь ты меня ненавидишь — я знаю. Думаешь: нализался барин как сапожник, ноги его не держат. Врешь ты, тварь! Я, брат, и пьяный, может быть, умнее тебя, трезвого. Почему? Тебе это, конечно, любопытно знать? А? Любопытно? Отвечай, Перепелицын!! Любопытно?

— Любопытно, — со вздохом отвечал Перепелицын.

— Оттого, — поднимая голову и торжественно в такт размахивая рукою, сказал архитектор, — что ты мужик, хам, а я барин, братец! Господин! Homo sapiens!!¹ Ага?

— Так точно. Но только теперь, скажу я вам, господа еще спят. Девять часов утра. Я бы постельку сейчас...

— Молчи! Ты мне противен со своей примитивной хитростью дикаря. Я тебя, братец, насквозь вижу. Тебе неприятно, что барин твой говорит тебе тяжелые истины прямо в лицо, и ты мечтаешь о том, чтобы сплавить меня спать. Ага??

— Да по мне — хоть здесь сидите, — добродушно улыбнулся Перепелицын. — Может, чайку налить?

— Протрезвить хочешь? Хам ты, старик. Форменный мужлан. Никакой в тебе деликатности. Отвечай мне откровенно: думаешь ли ты, что я пьян?

— Вы не пьяны, а только вы устали, — деликатно сказал Перепелицын.

— Так-с... Значит, я, по-твоему, трезвый? А почему я шатаюсь? Почему от меня вином пахнет? Ты это все

¹Человек разумный (лат.).

прекрасно видишь! И ты лжешь... Лжешь своему господину, которого должен любить и почитать пуще отца. Ага! Да ты знаешь, я, может, из-за тебя и пьян. Ей-Богу. Как слуга — ты ниже всякой критики. Гм... Да. Пусть моя кровь падет на твою голову.

Перепелицын молчал. Глаза его покорно и печально смотрели в угол, а руки машинально в десятый раз перетирали чистые стаканы.

— Слуга... тоже! Должен бы, кажется, понимать, что ты черная кость, а я белая кость. Где же уважение? Где почтение перед высшим интеллектом. Ты меня как называешь? Павлом Егорычем? А надо говорить: ваше высокоблагородие!

— Хорошо, — сказал Перепелицын.. — Теперь буду вас так звать. Может, скучаете что-нибудь?

— Убрайся! Отстань. Не люблю я тебя, знаешь ли? В тебе нет грации, нет манер, говоришь ты ужасно... А фамилия... Ха-ха-ха! Пере-пели-цын! Это, знаешь, от какого слова? Думаешь, от слова перепел? как бы не так... Дудочки-с! От слова "пе-репить-ся". Твой предок, вероятно, был пьяница, перепился однажды — так его и назвали.

— У кого разговаривались? — спросил Перепелицын, неуклюже переводя разговор. — У Ишимовых?

— Да-а, брат... Там разговаривался, где тебя, черта лысого, не пустят. Ты не воображай о себе много. Другой бы взял барина, отвел бы в кровать, а ты... Господи! И выдумывает же Господь такую чудовищную физиономию... Ни грации, ни манер.

— Действительно, где мне... Разве ж я не понимаю?.. Эх, Господи! Так, как же... спать... пожалуете?

Перепелицын взял архитектора под локоть и отвел бережно в спальню.

II

Спал Макосов до самого вечера. Хмель его прошел, в голове ощущалась неприятная тяжесть и шум, а в сердце ныла тихая весенняя беспричинная тоска.

Макосов надел халат и вышел в столовую. За столом сидел Перепелицын.

...Сидел, опустив голову, около опорожненной наполовину бутылки водки. О чем-то сосредоточенно думал.

— Здравствуй, Перепелицын, — мягко сказал Макосов, делая вид, что не замечает водки и раскрошенного по всему столу кулича. — Здравствуй... Ну что, брат, разговелся?

Перепелицын молчал, повесив голову. Потом скорбно улыбнулся и проворчал:

— У других, как у людей... Ежели светлый праздник, то господа со слугами христосуются, а у нас, видите ли, не до того. Некогда. А какое-то занятие? Лишь бы нос задрать повыше.

— Бог с тобой, Перепелицын, — улыбнулся Макосов.

— Я с удовольствием с тобой похристосуюсь, поцелуюсь.

— Снизошли? — захохотал Перепелицын. — Жалуете поцелуй со своего барского плеча? Не надо мне ваших поцелуев.

— Ты... на меня сердишься?..

— Я? На вас?

В тоне Перепелицына было многое самого ужасного, самого ядовитого презрения.

— Разве я имею право сердиться на вас? Ведь я ваш раб, вы купили меня и можете делать со мной, что хотите. "Высокоблагородие"... Вы можете сейчас даже голову мне отрезать — ничего вам никто за это не скажет.

Архитектор молчал, искренно огорченный, обиженный словами Перепелицына.

— А, спрашивается, чем вы лучше меня? Тем, что вы архитектор? Накупит только разных линеек, циркулей да красок — и малой себе на здоровье. Денег только нет — вот беда. А заставь вас делать то, что я делаю, да вы и повернуться не сумеете. Вы... (Перепелицын облизнул Макосова презрительным взглядом) даже самовара не поставите! Ха-ха! Нет-с. Не сумеете.

— Если ты хочешь, Перепелицын, чаю, — я могу поставить самовар. Я сумею...

— Сидите уж лучше! Ба-арин... Почему белая кость? Кто ее смотрел? А может, и у меня белая? Только людей морочат.

Макосов сидел понурившись, сгребал пальцем со стола крошки кулича и ел их.

Перепелицын сделал долгую, тяжелую паузу.

— Конечно, я вам служить обязан, потому что вы мне платите деньги, но уважать вас — за это? Да разве уважение на деньги берется? Не-ет, миленький. Уважение не такая музыка. Ха! Белая кость... Вот ежели человек

сделает какую-нибудь такую штуку — велосипед там какой-нибудь смешной выдумает или песни играет хорошо — я его уважу. А так — что? Наш брат рабочий майстровой человек и фундамент выкопает, и камни сложит, и крышей покроет, а потом говорят: "Кто строил дом?" — "Архитектор Макосов". — "Да не может быть?" — "Так точно".

— Ты не понимаешь, Перепелицын... Ведь я план делаю, всю постройку выдумываю, — я ведь учился для этого сколько...

Перепелицын сардонически улыбнулся.

— А косить умеете?

— Косить не умею.

— Вот вам и план. Без вашего-то плана проживут, а без хлеба у человека брюхо вспухнет, почернеет он и помертв. Нет уж, что там разговаривать.

— Если ты хочешь спать, Перепелицын, — иди. Я сам оденусь. Мне еще в клуб надо.

Перепелицын сжал руками голову и, нахмурившись, долго думал, чем бы еще уязвить архитектора.

— Как ваша фамилия? — спросил он, вскидывая глаза.

Макосов кротко улыбнулся.

— Ты же знаешь, вот чудак!

— Ну? Как?

— Макосов.

— Так... значит, ваши родители макосы были!

— Что такое — макосы?

Перепелицын захохотал.

— Такие бывают... Макосы. Даром не назовут. Значит, было за что.

— Ты, голубчик, говоришь вздор.

— Конечно. Где же мне... Черная кость! А как сапоги починить или за газетами сбегать — тогда не черная кость?.. Тогда Перепелицын? Если у вас есть имя "высокоблагородие", то и у меня есть не хуже — Иван Захарыч! Вот что-с! Потрудитесь на будущее время называть меня Иван Захарыч.

— Хорошо. Ну, прощай, брат Иван Захарыч. Пойду одеваться.

— Конечно! В деревне люди от голода дохнут, а они по клубам в карты-марты разыгрывают. Нешто вам есть до чего-нибудь дело?..

* * *

Утром на другой день солнце целым каскадом света ворвалось через полуоткрытую штору в окно спальни и разбудило архитектора.

Архитектор поморщился, потянулся и позвонил.

Вошел Перепелицын, сосредоточенный, с поджатыми губами, и остановился у кровати.

— Здравствуй, Перепелицын.

— Доброго здоровья, барин.

— Газеты купил?

— Так точно, купил.

— Какова погода, Перепелицын?

— Погода хороша, Павел Егорыч.

— А у меня чего-то голова болит, Перепелицын.

— У меня тоже, Павел Егорыч, побаливает.

— С чего бы это, Перепелицын?

— Надо думать, ревматизм. Старость подходит, Павел Егорыч.

— Ну ладно, голубчик Перепелицын. Самовар готов?

— Как же-с. Кипит... Кушайте на доброе здоровье!

Солнце брызнуло в красный ковер на стене и рассыпалось золотыми маками.

КОММЕНТАРИИ

В состав второго тома Собрания сочинений Аркадия Аверченко вошли произведения, которые впервые были опубликованы в 1910—1912 гг.

Рассказы (юмористические)

Книга 3 (1911)

В эту книгу Аверченко включил полностью свой сборник "Юмористические рассказы", вышедший ранее, в 1910 г. Данная книга вышла впервые в 1911 г. и печатается в настоящем Собрании сочинений по 10-му изданию (Петроград, 1916).

Дебютант. — Аверченко проявлял значительный интерес к театру не только как зритель и критик, но и как актер-любитель, режиссер и драматург. Этим объясняется большое число произведений писателя, сюжеты которых так или иначе посвящены театру.

С. 3. *Тамберлик* Энрико (1820—1889) — итальянский певец (драматический тенор); в одном из театров Италии есть мраморная доска с надписью, что такую-то оперу после Тамберлика никто не смеет петь. Неоднократно гастролировал в России.

С. 4. *Гаррик* Дэвид (1717—1779) — английский актер и драматург; много гастролировал в Европе, оказал большое влияние на развитие мирового актерского искусства. Исполнял роли, как трагические, так и комедийные, в 25 пьесах Шекспира.

С. 5. ... роль отца Хлестакова... — Разумеется, никакой роли отца Хлестакова в "Ревизоре" нет, и, следовательно, ни один Кааратыгин (будь то трагик Василий Андреевич (1802—1853) или его брат, выступавший в комических ролях, Петр Андреевич (1805—1879) не мог ее играть. Здесь Аверченко прибегает к приему усиления комического эффекта посредством приписы-

вания историческим персонажам неожиданных фактов их биографии.

Коса на камень. С. 13. ... *Резон д'этр* (фр.) — буквально "смысл существования", здесь: разумное основание, смысл.

Сплетня. С. 17. ... заменить домашний очаг неизбежным винтом или *chemin de fer'ом*. — Винт и *chemin de fer* (фр., буквально железная дорога, "железка") — названия карточных игр.

Дурак. В этом рассказе впервые появляются персонажи Подходцев и Клинков, которые впоследствии вместе с третьим персонажем — Громовым — станут героями многих произведений Аверченко, в том числе единственной его повести "Подходцев и двое других" (войдет в последний том Собрания сочинений). В характерах и внешности персонажей отражены черты реальных лиц — сотрудников "Сатирикона" — художников А. Радакова и Н. Ремизова (Ре-Ми), а также самого Аверченко. Клинков почти до мелочей списан с Радакова. Общая любовь ко всякого рода штукам и розыгрышам тоже нашла отражение в этом рассказе.

Новоселье. С. 38. ... не приглашать особ первых четырех классов... — Имеются в виду первые четыре класса согласно Табелю о рангах, а именно: канцлер, действительный тайный советник, тайный советник и действительный статский советник, а также соответствующие им военные чины: генерал-фельдмаршал, генерал от инфантерии (а также от кавалерии, артиллерии), генерал-лейтенант и генерал-майор.

Настоящие парни. С. 71. ...как говорил старик Смит и Вессон... — Смит-Вессон — одна из систем револьвера.

Вы читали "*Ника Картера*"? — В конце XIX—начале XX века огромной популярностью как за границей, так и в России пользовались небольшие книжки о приключениях сыщика Ника Картера. Авторы этих книжек были разные, безвестные, но весьма плодовитые. Поскольку книжки пользовались спросом, издатели нанимали бедных писателей, и те изготавливали к нужной дате очередную книжку.

Пипин Короткий (714—768) — первый король франков из династии Каролингов; захватив в 751 г. королевскую власть, он значительно расширил территорию Франкского государства. Разумеется, никаких путешествий по Африке он не совершал.

Какао-Шуа — марка ликера.

С. 72. ...на мотив "*По дорожке зимней, скучной*" пел "*Прибежали в избу дети*". — "*По дорожке зимней, скучной*" — начало

второй строфы стихотворения Пушкина "Зимняя дорога" (1826) (у Пушкина "по дороге"). Стихотворение было положено на музыку Алябьевым (1831), Афанасьевым, Кюи и др. композиторами.

"Прибежали в избу дети" — начальная строка стихотворения Пушкина "Утопленник" (1828), далее приводятся цитаты из этого стихотворения.

"Одних уж нет, а те далече" — цитата из "Евгения Онегина" (гл. восьмая, строфа LI) (у Пушкина — "Иных").

Солидное предприятие. Рассказ был впоследствии включен автором в сборник "Шалуны и ротозеи".

С. 82. ...ставить дело слишком *en grand...* — *en grand* (фр.) — на широкую ногу.

В ресторане. С. 91. *Престидижитатор* — фокусник, развиивший необыкновенную ловкость и быстроту пальцев.

Тихое помешательство. Рассказ был впоследствии включен автором в сборник "О маленьких — для больших".

С. 134. *Компренэ? Анфана!... анфан террибл!* — Понимаете? Ребенка!... ужасный ребенок (фр.)

Новая история (Из "Всеобщей истории, обработанной "Сатириконом") (1910)

Книга была написана сотрудниками журнала "Сатирикон" и выпущена в качестве бесплатного приложения к журналу для годовых подписчиков на 1910 г.

Авторами разделов книги были:

Надежда Александровна Тэффи (1872—1952) — Древняя история.

Осип Дымов (Осип Исидорович Перельман, 1878—1959) — Средняя история.

Аркадий Аверченко — Новая история.

О. Л. Д'ОР (Оршер, 1878—1942) — Русская история (раздел появился, начиная с издания 1911 г.).

В пародийно-шуточной форме авторы "обработали" школьные учебники по истории и при этом представили историю как цепь ошибок и недоразумений, как всемирную комедию, и вместе с тем они стремились не искажать исторических событий.

Реклама, публиковавшаяся во время подписной кампании на страницах "Сатирикона" в 1909 г., гласила:

"Все годовые подписчики получат в виде бесплатного приложения роскошно иллюстрированное издание: "Всеобщая ис-

тория, обработанная "Сатириконом" под углом его зрения под редакцией А. Т. Аверченко.

Хотя наша "Всеобщая история" и не будет рекомендована ученым Комитетом, состоящим при М-ве народного просвещения, как руководство для учебных заведений, но эта книга даст подписчикам единственный случай взглянуть на историческое прошлое народов в совершенно новом и оригинальном освещении..."

Книга вышла несколькими изданиями — в 1910, 1911, 1912 и 1916 гг.

Последнее издание, использованное как основа для публикуемого текста, носило несколько измененное заглавие: "Всеобщая история, обработанная сатириконцами", что, видимо, объясняется тем обстоятельством, что к тому времени вместо журнала "Сатирикон" уже в течение трех лет выходил "Новый Сатирикон".

С. 142. ...Как из мешка посыпались разные реформаторы, протестанты, Эразмы Роттердамские и Мартини Лютеры. — Эразм Роттердамский (1469—1536) — гуманист, писатель, представитель так называемого "северного" Возрождения. Пытался соединить возрожденческую античность и раннее христианство. Облекая в религиозную форму, он проповедовал светские ценности: веротерпимость, свободу личности, уважение к человеку, разуму и знаниям. Учению Лютера о предопределении он противопоставлял идею свободы воли человека. Мартин Лютер (1483—1546) — один из вождей Реформации в Германии, выступивший с осуждением злоупотреблений католической церкви. Лютер стал основателем одного из первых протестантских направлений в христианстве — лютеранства. Только личная вера в Бога и Библию являются основой спасения человека, по Лютеру. Отрицал монашество и избранное священство. Утверждал, что жизнь любого человека предопределена волей Бога.

Бертольд Шварц (начало XIV в.) — немецкий монах, согласно легенде, он изобрел порох. Однако, по другим источникам, еще ранее порох был известен в Китае и у арабов.

...писали... на... кирпичах... — Имеются в виду глиняные таблички, на которых писали древние народы Ближнего Востока, в частности шумеры.

С. 143—144. ...Гуттенберг... вошел в компанию с каким-то золотых дел мастером Фаустом. — Изобретатель книгопечата-

ния Иоганн Гутенберг (ок. 1400—1468) в 1450 г. вступил в соглашение с состоятельным бургом из Майнца Иоганном Фаустом (правильнее Фустом) (1400—1466) и на его средства оборудовал типографию; однако спустя пять лет Фуст по суду отобрал за долги типографию у Гутенberга.

С. 144. *Флавио Джойо* (Джайо) (конец XIII—начало XIV в.) — итальянский мореплаватель, ему долгое время приписывали изобретение магнитной стрелки. Однако позднее стало известно, что описание магнитной стрелки было дано в Китае еще в 124 г. В Европе также было описано использование магнитной стрелки в мореплавании еще в конце XII в.

С. 146. ...раздавил... куриное яйцо. — Здесь Аверченко не совсем точен. Согласно одной из легенд, в ответ на ироническое замечание одного из собеседников, что Америку было открыть совсем не трудно, Колумб предложил тому поставить на стол яйцо. После безуспешных попыток собеседника Колумб взял яйцо и, ударив одним концом о стол, поставил его, при этом заметив: "Да, это не представляет большой трудности".

С. 149. *Лас Касас Бартоломе* (1474—1566) — испанский доминиканец, миссионер, сопровождал Колумба в первом путешествии в Америку и с 1502 по 1551 г. провел в Америке. Предложил на тяжелых работах на сахарных плантациях использовать труд африканских негров. В действительности работорговля началась еще раньше.

С. 151. *Баярд Пьер де Террайль* (1477—1524) — французский военачальник, находился на службе у Карла VIII, затем при Людовике XII и Франциске I. Был прозван Рыцарем без страха и упрека, его имя стало нарицательным для обозначения храбрости и великолдушия.

С. 152. ...одного Людовика тоже называли Красивым... — Здесь ошибка автора. Людовика Красивого в истории не существовало.

С. 153. ...какой-то Цвингли... доказал, что Лютер — постепеновец... обвинил... в октабризме... — Цвингли Ульрих (1484—1531) — идеолог швейцарского бургерства, один из наиболее радикальных вождей Реформации в Швейцарии. Цвинглианство наиболее значительно реформировало католическую церковь: из храмов были удалены иконы, статуи, кресты, моши, алтари, органы, колокола; богослужение сводилось к проповеди и пению псалмов. Аверченко сравнивает действия Лютера с деятельностью различных партий в России после 1905 г., призы-

вавших к постепенным переменам в направлении социального прогресса и демократии. Одной из наиболее характерных в этом отношении партий был "Союз 17 октября", полагавший, что царский манифест полностью отвечает интересам нации. В Государственной думе октабристы блокировались с кадетами и монархистами.

Кальвин Жан (1509—1564) — один из деятелей Реформации, основатель кальвинизма; центром его деятельности стала Женева, где он претворял в жизнь свои идеи богочествления и осуществления заповедей Божьих в действиях церкви и людей. Согласно Кальвину, судьбы людей предопределены Богом.

По имени Кальвина... стали называться гугенотами... — Гугенотами назывались последователи кальвинизма во Франции, это название происходит от немецкого слова Eidgenossen (объединенные клятвенным союзом).

С. 154. "...ввалившиеся горящие глаза..." — цитата из учебника Д. И. Иловайского.

Эк (Экк) Иоганн-Майер (1486—1543) — доктор богословия, привез в 1520 г. из Рима папскую буллу против Лютера, участвовал во многих диспутах.

...(Шлезинг, II ч., стр. 143) — Здесь и далее Аверченко для усиления комического наукообразия ссылается на несуществующих авторов.

...земли секуляризовали. — Секуляризация (от позднелатинского saecularis — мирской, светский) — процесс освобождения различных сфер общества, как материальной, так и духовной, от влияния церкви. В области экономической это означало передачу церковного имущества (главным образом земель) в собственность государства, правительства, частных светских лиц.

С. 155. *Анабаптисты* (от греч. anabaptízō — вновь погружаю, т. е. крещу вторично) — приверженцы движения, возникшего в ходе Реформации в Германии и Швейцарии; анабаптисты считали, что вторичное крещение в сознательном, зрелом возрасте обеспечит создание свободной церкви, не зависимой от государства; многочисленство признавали не все анабаптисты, а лишь наиболее радикальная их часть (например, Иоанн Лейденский).

...какой-то священник Менно... основал sectu меннонитов. — В действительности основателем секты меннонитов был Менно Симонс (ум. в 1561), который выступил с проповедью

примирения с действительностью и, разделяя взгляды ана뱁тистов на крещение, считал, что необходимо отказаться от всякого насилия для достижения целей секты и, следовательно, от насильственного построения царства Божия на земле.

С. 159. ...умирали... от угрывзений совести (*Карл IX, Людовик XIII и др.*) — Все эти монархи умерли от различных болезней.

С. 160. ...не хватало еще седьмой, чтобы борода его посинела. — Намек на героя сказки Ш. Перро "Синяя Борода", имевшего семь жен, шесть из которых он умертвил. Генрих VIII казнил лишь вторую и пятую из своих жен.

С. 161. ...англичане поднесли... титул "Оливера"... — После казни в 1649 г. короля Карла I в Англии была провозглашена республика и в 1653 г. установлена военная диктатура Оливера Кромвеля, которому был присвоен титул лорда-протектора.

...закон под названием *habeas corpus*. — В 1679 г. английский парламент принял *Habeas Corpus Act* — Закон о свободе личности. Согласно этому закону, без решения суда никого нельзя было арестовать или задержать. Любой гражданин в случае ареста имел право потребовать, чтобы в течение суток ему было предъявлено обвинение, а при отсутствии такового должен был быть освобожден.

С. 162. *Сапоги выше Шекспира!* — Приписываемая Ф. М. Достоевскому ироническая формулировка позиции некоторых публицистов из демократического лагеря (например, Д. Писарева), отдававших приоритет материальному перед духовным.

...три великих человека: Ибсен, Бьёрнстьерне Бьёрнсон и Гамсун... — Аверченко называет имена всемирно знаменитых норвежских писателей: Ибсен Генрик (1828—1906), чьи пьесы были поставлены во многих театрах России; Бьёрнсон Бьёрнсьтерне (1832—1910) — прозаик, драматург и общественный деятель; Нобелевская премия (1903); Гамсун Кнут (1859—1952) — прозаик, драматург, поэт; Нобелевская премия (1920).

...только один Ваза. — Имеется в виду Густав I Ваза, шведский дворянин, поднявший восстание против датского господства и избранный в 1523 г. королем Швеции; Ваза стал основателем королевской династии, правившей в Швеции в 1523—1654 гг.

С. 163. *Антипринитарии* — сторонники христианских сект, отрицавших троичность Бога и признававших Божественную природу лишь Бога-Отца; Иисус Христос считался ими челове-

ком, хотя и совершенным. Учение антипринитариев возникло во 2—3 вв., когда христианская доктрина только формировалась.

Liberum veto — право единоличного вето; практиковалось в польском сейме, упразднено в 1879 г.

С. 166. *Нет более Пиренеев!* — После восшествия на испанский престол в 1700 г. внука Людовика XIV — Филиппа V Людовик считал, что границы между Францией и Испанией (проходившей по Пиренеям) как бы не существует, поскольку внук находился под огромным его влиянием. После смерти Людовика влияние это стало ослабевать.

— *Après nous le déluge!* — После нас хоть потоп! (фр.) — Не точное цитирование слов Людовика XV, который в действительности сказал: "Après moi le déluge!" (После меня хоть потоп!)

С. 174. ...свой зейдель пива... — Зейдель (нем.) — пивная кружка.

Экспедиция в Западную Европу сатириконцев:
Южакина, Сандерса, Мифасова и Крысакова (1911)

Впервые книга в виде богато иллюстрированного альбома вышла в 1911 г. в Петербурге в качестве бесплатного приложения для подписчиков журнала "Сатирикон" на 1911 г. Потом неоднократно переиздавалась. В настоящем издании печатается по тексту книги "Экспедиция в Западную Европу сатириконцев..." (Петроград, 1915).

Книга написана на основе впечатлений от более чем двухмесячной поездки сатириконцев по странам Западной Европы летом 1911 г. Идея поездки долго вынашивалась Аверченко, решение было принято, когда в коллектив редакции "Сатирикона" вошел новый сотрудник — Георгий Александрович Ландау (1883—1974). Составителю данного Собрания сочинений довелось на протяжении более десятка лет неоднократно встречаться и беседовать с Георгием Ландау. В одной из бесед он поведал, что среди сатириконцев было мало людей, владевших иностранными языками, и поэтому, когда в редакцию журнала принес свои забавные рассказы молодой инженер-путеец, в совершенстве владевший немецким, французским и английским языками, Аверченко тут же зачислил его в штат. А уже через неделю предложил поехать за границу в группе сотрудников.

Ландау, закончившего помимо Института путей сообщения в Петербурге Политехнический институт в Цюрихе, предложение окрылило.

В составе путешественников указаны Южакин, Сандерс, Мифасов и Крысаков. Псевдонимы раскрываются следующим образом: Южакин — Аверченко, Сандерс — Ландау, Мифасов — художник Реми-Ми (наст. имя Ремизов Николай Владимирович (1887—1962), постоянный карикатурист журналов "Сатирикон" и "Новый Сатирикон", после революции эмигрировал), Крысаков — Радаков Алексей Александрович (1879—1942) — художник, график, поэт; один из создателей "Сатирикона" и его первый редактор.

Иллюстрации к альбому были выполнены Реми-Ми и Радаковым, текст принадлежал Аверченко и Ландау.

С. 188. *a part* (фр.) — наедине, с глазу на глаз, отдельно.

С. 193. — *Коммензи майн либер фрейлен, их либези, данке, зицен-зи, гиб мир эйн кусе.* — Иди ко мне, моя милая, я люблю тебя, спасибо, садись, подари мне один поцелуй (нем.).

С. 202. *Lustige Blätter* — "Веселые страницы" (нем.).

... "бутер" и "брюдер", "шинкен" и "тринкен" ... — "масло" и "брать", "ветчина" и " выпить" (нем.).

С. 205. — *Мейн герр! Бимте цаллен.* — Мой господин! Пожалуйста, заплатите (нем.).

Was? — что? (нем.).

Цузамен — вместе (нем.).

С. 207. *Ферайн* — союз, общество (нем.).

С. 212. *Трегер* — носильщик (нем.).

С. 215. *canale grande* — большой канал (ит.).

С. 216. *Cartolina postale* — почтовая открытка (ит.).

Molto bene — очень хорошо (ит.).

С. 217. *Алевузан* — убирайся, проваливай (фр. груб.).

forestieri russo — здесь: русские туристы (ит.).

С. 218. *бульон "мит-ай"* — бульон с яйцом (нем.).

братвурст мит-краут — жареная колбаса с капустой (нем.).

С. 222. *"прого, синьоре камерьере, даме мио глячио вермуто"* — кроме первых трех слов (прошу синьора официанта (ит.), остальное — конструкция из искаженного русского — дать мне горячий вермут.

морген фри — бессмысленная конструкция из немецкого "утро" и английского "свободный".

С. 232. *факкино* — носильщик (ит.).

С. 240. ... *по Куковскому маршруту...* — имеются в виду поездки, организуемые известным старинным туристским английским агентством Т. Кука.

С. 245. *любителем dolce far niente* — любителем сладостного безделья (ит.).

"sole mio" — мое солнце (ит.), популярная неаполитанская песня.

С. 248. *Эввива, руссо!* — Да здравствует русский! (ит.)

С. 251. *синьорита беллисима! Париссима!* — синьорита прекраснейшая! Редчайшая! (ит.)

O, mio Dio! — О, мой Бог! (ит.)

С. 256. ... *напоминая смешную пародию на штуковскую картину "Бог войны".* — Штук Франц фон (1863—1928) — немецкий живописец и скульптор; представитель экспрессионизма, под влиянием Ф. Ницше создавал произведения, проникнутые культом грубой силы, что отразилось и в его картине "Бог войны".

Круги по воде (1912)

Книга впервые была опубликована в Петербурге в 1912 г. При жизни автора выдержала около 20 изданий (в 1916 г. вышло 16-е издание). В настоящем Собрании сочинений печатается по изданию, выпущенному в 1918 г. издательством "Новый Сатирикон" без указания номера издания. Книга посвящена артистке петербургских театров "Новый драматический" и "Зимний Буфф" Александре Яковлевне Садовской.

Публикуемый в составе сборника рассказ "Двуличный мальчишка" впоследствии был включен автором в сборник "О маленьких — для больших".

От автора. С. 290. *Увидев эту обложку уже в печати, я зашатался...* — На обложке художник изобразил множество плавающих на воде спасательных кругов.

Язык. С. 323. *Компренэ?* — Понимаете? (фр.)

Променад! — Прогулки! (фр.)

С. 326. — *Аллон нах гауз!* — Идем домой! (фр., нем.)

Я и мой дядя. С. 359. ... *я тебе свой пальмерстончик уступлю.* — Пальмерстон — верхнее мужское и женское платье с застежкой сверху донизу (от имени английского государственного деятеля Генри Пальмерстона, 1784—1865).

Свой крест. С. 369. *Аграмант* — узорчатое плетение из шнура, употребляемое как упражнение для обшивки краев пластия, занавесей и т. д.

Дураки, которых я знал. С. 372. ...*рассказал о землетрясении в Мессине...* — Мессина — город и порт в Италии, на острове Сицилия, где в 1908 г. произошло одно из самых страшных землетрясений начала XX в. В результате землетрясения погибло около ста тысяч жителей, было разрушено более 90% зданий.

Новый Соломон. С. 383. *Соломон* — царь Израильско-Иудейского царства в 965—928 до н. э.; считается одним из мудрейших правителей древнего мира; ему приписывается авторство библейских книг (Песнь Песней, Екклесиаст, Притчи и др.).

Vanitas vanitatum et omnis vanitas... — Суэта сует и все — суэта! (лат.) — Цитата из библейской книги Екклесиаста (гл. 1, ст. 2), автором которой, согласно традиции, был царь Соломон.

...судились из-за ребенка... — описанный эпизод содержится в Третьей книге Царств (гл. 3, ст. 16—28).

Граждане. С. 398. ...*Матушка! Матушка!*.. — эпиграфом служат слова из "Записок сумасшедшего" Н. В. Гоголя (1834). Цитируется неточно (у Гоголя: "Матушка! пожалей о своем больном дитятке!..").

Животное. — Упоминаемые в этом рассказе имена философов: Шопенгауэра, Гегеля, Иммануила Канта (в рассказе — Эммануил, принятое тогда написание), Спенсера никакой смысловой нагрузки не несут. Просто студент демонстрирует к месту и не к месту поверхностную эрудицию.

С. 428. *Атавизм* — появление у животных (в том числе и человека) признаков, свойственных их далеким предкам.

С. 432. *Спенсер*, Герберт (1820—1903) — английский ученый, философ, психолог и социолог, позитивист. Ч. Дарвин интересовался работами Спенсера и считал его своим предшественником. Труды Спенсера были широко известны в России и неоднократно издавались на русском языке начиная с 1860-х годов.

Старики. — Рассказ этот был впоследствии автором переделан в короткую пьесу, с огромным успехом шедшую в течение нескольких лет на разных сценах. Н. А. Тэффи называла ее маленьким шедевром Аверченко.

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы (юмористические) (1910—1911)

Книга третья	3
Дебютант	3
Корень зла	8
Коса на камень	10
Сплетня	15
Дурак	19
Измена	23
Жалкое существо	27
Друг	30
Люди четырех измерений	34
Новоселье	37
Оскорбление действием	42
История одного рассказа	45
Первый дебют (Рождественская история)	49
Поездка в театр	53
Пьяный	57
Служитель муз	60
История одной картины. Из выставочных встреч	63
Настоящие парни	65
Катька	78
Солидное предприятие. Записки делового человека	80
Жертва цивилизации	84
Бойкий разговор	87
В ресторане	91
Камень на шее	93
Легенда старого озера	99

Воздухоплавательная неделя в Коркине	101
Виньетки	106
Дуэль	111
Пинхус Розенберг	119
Наследственность	122
Дитя	125
Тихое помешательство	131
Новая история (Из "Всеобщей истории, обработанной "Сатириконом") (1910)	141
Экспедиция в Западную Европу сатириконцев: Южакина, Сандерса, Мифасова и Крысакова (1911)	181
Круги по воде (1912)	289
От автора	289
Двуличный мальчишка	291
Раздвоение личности	297
Чад	304
Сазонов	310
Курильщики опиума	315
Язык	321
Цепная собака	327
Пловец на большие расстояния	333
Горничная из большого дома	339
Неудачная антреприза	345
Как меня обворовывали	350
Я и мой дядя	356
Молния	361
Свой крест...	368
Дураки, которых я знал	372
Мужчины	378
Новый Соломон	383
Мокрица	389

Случай 24-го декабря	394
Граждане	398
Лакмусовая бумага	404
Трудолюбивый Харлампьев	410
Революционер	415
Принцип	420
Животное	426
Праздник любви	432
Призвание	438
Старики	444
КОММЕНТАРИИ	450